



ЮЛИУС БЕЛОХ
ГРЕЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ

В ДВУХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РОССИИ

Юлиус Белох

ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В двух томах

Перевод с немецкого М.О.Гершензона

*Третье издание под редакцией и со вступительной статьей
Ю.И.Семенова*

Том 1

КОНЧАЯ СОФИСТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ И ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНОЙ

Москва
2009

УДК 94 (38)
ББК 63.3 (0) 32
Б 44

Sean By Vitautus

Печатается по изданию: Белох Ю. *История Греции: в 2 т. /Ю.Белох; пер. с нем. М.О.Гершензона. — Изд. 2-е. — М.: Изд. М. и С.Сабашниковых, 1905.*

Белох Ю.

Б 44 Греческая история: в 2 т. /Юлиус Белох; пер с нем. М.О.Гершензона; Гос. публ. ист. б-ка России. — 3-е изд. /под ред. и со вступ. ст. Ю.И.Семенова. — М., 2009.

ISBN 978-5-85209-213-7

Т.1: Кончая софистическим движением и Пелопоннеской войной. — 512 с.

ISBN 978-5-85209-214-4

Труд крупнейшего немецкого историка К.Ю.Белоха (1854—1929) „Греческая история“ и сейчас остается самой полной из существующих на русском языке общих историй Греции эпохи архаики и классики (VIII—IV вв. до н.э.). В большинстве общих курсов древнегреческой истории она чаще всего сводится к истории Афин и Спарты. В данной же работе дана история Древней Греции в целом.

Это чуть ли не единственный на русском языке общий курс греческой истории, из которого можно узнать о развитии событий в Милете, Византии, Мегарах, Коринфе, Сикионе, Сиракузах, Акраганте, Беотии, Фессалии, Фокиде, Арголиде, на Керкире, Эвбее, Самосе, Лесбосе и других полисах, областях и островах Греции. Из этого труда можно почерпнуть достаточно подробные сведения о деятельности не только Солона, Писистрата, Клисфена, Перикла, Леонида, Павсания, но и Фрасибула, Поликрата, Кипсела, Феагена, Гелона, Гиерона, обоих Дионисиев, Диона, Тимолеона и многих других выдающихся исторических лиц. К.Ю.Белох одним из первых занялся исследованием не только политической, но и социально-экономической истории Греции, что, однако, не только нисколько не помешало, но, наоборот, помогло ему дать превосходные очерки развития греческой духовной культуры (философии, науки, искусства, религии).

УДК 94 (38)
ББК 63.3 (0) 32

ISBN 978-5-85209-214-4
(т.1)
ISBN 978-5-85209-213-7

© Государственная публичная историческая библиотека России, 2009
© Семенов Ю.И., вступительная статья, редакция, 2009

КАРЛ ЮЛИУС БЕЛОХ И ЕГО „ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ“

I

Взгляд на экономику как на важнейший и даже определяющий фактор развития общества зародился задолго до марксистского материалистического понимания истории (исторического материализма). По-видимому, одним из первых, если не первым, был английский мыслитель, видный деятель революции Джеймс Гаррингтон (1611—1677). В работе „Республика Океания“ (1656) он отстаивал мысль, что в основе политического строя страны лежат отношения собственности на деньги, вещи и землю. Решающими он считал отношения поземельной собственности, распределение земельных владений. ...Где существует неравное распределение земли, — писал он, — должно существовать неравенство силы, а где существует неравенство силы, там не может быть республики... Где существует равенство земельных владений, должно быть равенство силы, а где существует равенство силы, там не может быть монархии“¹

Идея решающей роли отношений собственности лежит в основе получившей теоретическую разработку в работе шотландского мыслителя Адама Фергюсона (1723—1816) „Опыт истории гражданского общества“ (1767) унитарно-стадиальной концепции человеческой истории, в которой в качестве последовательно сменявшихся стадий выступают дикость, варварство и цивилизация. Дикость — период безраздельного господства общественной, коллективной собственности, варварство — время перехода от коллективной собственности к частной, цивилизованное общество целиком основано на частной собственности.

Другой вариант идеи определяющей роли экономики лежал в основе созданной в середине XVIII в. экономистами Анном Робером Жаком Тюрго (1727—1781) и Адамом Сми-

¹ Harrington J. The Commonwealth of Oceana and other works. London, 1887. P. 61, 64.

том (1723—1790) концепции четырех стадий развития человечества: охотничье-собираательской, скотоводческой, земледельческой и торгово-промышленной. Один из ее приверженцев, Виктор де Мирабо (1715—1789), в „Философии земледелия“ (1763) особо подчеркивал, что образ жизни и поведение людей в том или ином обществе зависит от существующего в нем „способа жизнеобеспечения“ Другой — шотландский историк Уильям Робертсон (1721—1793) в „Истории Америки“ (1777) указывал: „В любом исследовании деятельности людей, объединенных в общество, первым объектом внимания должен быть способ жизнеобеспечения. Когда он изменяется, другими должны стать и законы, и политика“¹ Джон Миллар (1735—1801), показав в работе „Происхождение различия рангов в обществе“ (1771; 1781) всю несостоятельность географического детерминизма, сразу же вслед за этим писал: „Цель настоящего исследования — прояснить историю человечества в нескольких важных пунктах. Это предпринято путем указания на наиболее очевидное и общее усовершенствование, которое постепенно происходит из состояния общества, и на последующее его влияние на нравы, законы и формы правления народа“² Говоря об очевидном и общем совершенствовании, Дж. Миллар имел в виду развитие и смену форм хозяйства.

Поэтому ничуть не удивительно, что известный британский исследователь Рональд Мик в работе „Социальная наука и неблагородный дикарь“ (1976) охарактеризовал концепцию четырех стадий в том ее варианте, в котором она была изложена в труде Дж. Миллара, как настоящее материалистическое понимание истории³ В этом с Р.Миком вряд ли можно согласиться. Но Дж.Миллара, по-видимому, вполне можно отнести к числу первых представителей экономического детерминизма.

Другим таким представителем был Гийом Тома Франсуа Рейналь (1713—1796). В труде „Философская и полити-

¹ Robertson W. The History of America. Vol. 2. London, 1821. P. 1.

² Millar J. The Origin of the Distinction of Ranks. London, 1781. P. 14.

³ Meek R. L. Social Science and Ignoble Savage. Cambridge etc., 1976. P. 161.

ческая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях“ (1770; 1780) достаточно отчетливо проявляется тенденция объяснять все социальные, политические и идеологические перемены, в конечном счете, влиянием видоизменяющихся форм обмена и распределения. Автор неоднократно подчеркивает, что смена одних общественных форм другими происходит спонтанно, стихийно, вопреки и независимо от воли и сознания людей, ставящих свои частные ограниченные цели. Экономический подъем итальянских городских республик был непосредственной причиной Ренессанса. Возникновение суконных мануфактур и ткацких фабрик обусловило рост политического могущества Голландии. Технический прогресс способствовал развитию естественных наук, прежде всего физики и математики, и привел к распространению просвещения и знаний. „Как только Европа покрылась мануфактурами, — пишет Г.Рейналь, — течение мыслей и чувств человека, кажется, переменяло свой наклон“¹

Само за себя говорит название работы англичанина Чарлза Паттона “Влияние собственности на общество и государство” (1797). Та же самая идея развивалась в труде его брата Роберта Паттона „Принципы азиатских монархий, политически и экономически исследованные и противопоставленные тем, что действовали в монархиях Европы...“ (1801).

Экономический детерминизм в совершенно четкой форме присутствует в работах выдающегося английского экономиста Ричарда Джонса (1790—1853). Последний решительно отстаивал взгляд, согласно которому экономическая структура общества определяет прежде всего его основные особенности. „Только точное познание этой структуры, — писал он, — может дать нам ключ к пониманию минувших судеб различных народов мира, вскрывая их экономическую анатомию и показывая таким образом наиболее глубокие источники их силы, элементы их учреждений и причины их обычаев и характера... Нет ни одного периода древней или новой истории,

¹ Цит.: Попов-Ленский И.А. Антуан Барнав и материалистическое понимание истории. М.; Л., 1924. С.179.

на который обстоятельное знание различий и изменений в экономической структуре наций не проливало бы ясного и постоянного света. Именно такого рода знание должно научить нас понимать тайные чудеса Древнего Египта, могущество его монархов, великолепие его памятников; военную силу, с которой Греция отбивала легко возобновляемые мириады войск великого царя; юную мощь и длительную слабость Рима; преходящую силу феодальных государств; более постоянную мощь современных наций Европы...“¹

Эта идея легла в основу созданного в середине XIX в. Карлом Генрихом Марксом (1818—1883) и Фридрихом Энгельсом (1820—1895) материалистического понимания истории, или исторического материализма.

В значительной степени уже под прямым или косвенным влиянием марксизма к мысли о том, что экономика играет важнейшую роль в истории, пришли во второй половине XIX в. многие историки. Это направление, которое принято называть историко-экономическим, или просто экономическим („экономизмом“), получило самое широкое распространение в исторической науке Германии, Франции, Великобритании, России. Более того, на рубеже XIX и XX веков оно стало ведущим, что признавали как его приверженцы, так и противники.

Так, русский историк и историософ Николай Иванович Кареев (1850—1931) в статье, опубликованной в 1890 г., спорил с „тем убеждением, все более и более утверждающимся среди историков, что главнейшие исторические явления имеют свою основную подкладку в экономических отношениях общественного тела, определяющих собой отношения и политические, и частно-правовые...“²

В 1903 г. известный историк, будущий академик, Евгений Викторович Тарле (1875—1955), в статье „Чем объясняется современный интерес к экономической истории“ писал: „Никто не будет спорить, что в настоящее время ни одной

¹ Джонс Р. Вводная лекция по политической экономии // Экономические сочинения. Л., 1937. С.221.

² Кареев Н.И. К вопросу о свободе воли с точки зрения исторического процесса // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн.4. С.120.

стороной исторического процесса так не интересуются, как именно историей социально-хозяйственной. Притом интерес этот как в весьма широких (особенно в Германии) слоях читающего общества, так и среди ученого мира. Можно сказать, что последние 30—35 лет создали почти не существовавшую прежде отрасль исторической науки — хозяйственную историю: можно сказать также, что, кроме социально-экономической истории, никакая другая особенно не интересует последнее время большинство неспециалистов¹

Взгляды сторонников экономического подхода к истории были весьма разнообразными. Прежде всего, среди них не было единства в том, что понимать под экономикой. Как известно, слово „экономика“ имеет несколько значений. В самом широком смысле под экономикой понимают общественное производство, как оно существует в том или ином конкретном отдельном обществе (=социоисторическом организме)² в целом, в единстве всех его сторон и моментов, включая технику и технологию разных отраслей хозяйства, их взаимосвязь и взаимоотношения, уровень производительности и формы организации труда, и, наконец, общественные отношения по производству. Именно такой смысл нередко вкладывают в это слово, когда говорят об экономике той или иной страны.

В более узком смысле под экономикой понимают организацию, структуру или состояние той или иной отрасли производства или вообще формы хозяйственной деятельности. Именно такой смысл вкладывают в данный термин, когда говорят об экономике сельского хозяйства, экономике транспорта и т.п. И, наконец, под экономикой можно понимать существующую в обществе систему социально-экономических, производственных отношений.

Сторонники упомянутой выше четырехчленной схемы периодизации истории человеческого общества имели в ви-

¹ Тарле Е.В. Чем объясняется современный интерес к экономической истории // Вестник и библиотека самообразования. 1903. № 17. Стб. 739.

² О понятии социоисторического организма см.: Семенов Ю.И. Философия истории: общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М., 2003. С. 15—35.

ду прежде всего формы хозяйства. С каждой такой формой они связывали определенные отношения собственности и структуры власти. Дальше они не шли. Поэтому, когда перед ними возникал вопрос о причинах смены форм хозяйства, то многие из них склонялись к демографическому детерминизму. Р.Джонс, говоря о том, что экономика определяет форму общества, имел в виду прежде всего систему социально-экономических отношений. Но ответить на вопросы, почему в обществе существуют именно такие, а не иные экономические отношения, и почему происходит смена систем социально-экономических отношений, он не смог. Сторонники историко-экономического направления в большинстве случаев под экономикой, если не теоретически, то практически понимали прежде всего систему социально-экономических отношений. В ней они искали ответы на мучившие их вопросы.

Одни из них прямо заявляли о том, что экономический фактор является определяющим в истории. Их с полным правом можно назвать экономическими детерминистами. К числу их прежде всего относятся английский историк Джеймс Торольд Роджерс (1823—1890), перу которого принадлежат такие выдающиеся работы, как „История земледелия и цен в Англии“ (Т. 1—8. 1866—1888), „История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в.“ (1884), „Экономическая интерпретация истории“ (1888), „Индустриальная и коммерческая история Англии“ (1891).

„Труды, подобные предпринятому мною, — писал он в предисловии к первому тому „Истории земледелия и цен в Англии“, — весьма существенны для экономической интерпретации истории, которое, я смело берусь утверждать это, имеет первостепенное значение для понимания прошедшего, все равно идет ли речь о юридических древностях, дипломатических интригах или военных походах. Немного можно насчитать таких событий в истории, на которые не был бы пролит яркий свет с помощью фактов, составляющих предмет изучения одних лишь экономистов“¹

¹ Rogers J.E.T. A History of Agriculture and Prices in England. Vol.1. Oxford, 1866. P.VI.

Таких же взглядов придерживался его соотечественник Уильям Джеймс Эшли (1860—1927), среди трудов которого особо выделяется „Экономическая история Англии в связи с экономической теорией“ (1886; рус. пер.: М., 1887). Но, подчеркивая огромную роль экономики, эти ученые так и не смогли создать сколько-нибудь стройной концепции исторического развития. Не смогли этого сделать и те историки, которые прямо называли себя „экономическими материалистами“

Другие сторонники историко-экономического направления, практически исходя в своих исследованиях из положения о примате экономики, в то же время никогда его не прямо не провозглашали и не обосновывали. Наоборот, некоторые из них даже объявляли себя приверженцами плюралистического, т.е. многофакторного, подхода к истории, который выражался в признании существования нескольких одинаково важных факторов исторического развития. Поэтому от них еще труднее, чем от первых, можно ожидать создания сколько-нибудь последовательной концепции исторического развития.

Среди них прежде всего следует назвать известного русского историка, этнографа и социолога Максима Максимовича Ковалевского (1851—1916). Взгляды его всегда были довольно противоречивыми и к тому же претерпевали известные изменения. Практически в своих многочисленных трудах он исходил из того, что система социально-экономических отношений представляет собой фундамент общества. И в некоторых работах он это прямо и утверждал.

„Историку, который пожелал бы представить картину внутреннего быта той или другой страны в ту или иную эпоху ее существования, — писал он в книге „Общественный строй Англии в конце Средних веков“ (М., 1880), — необходимо остановиться прежде всего на вопросе о распределении в ней недвижимой собственности. Эта последняя всегда являлась и доселе является одним из материальных фундаментов всякого господства, общественного и политического; от сосредоточения ее в руках того или иного сословия зависело и зависит распадение общества на влиятельные и невлия-

тельные классы... Если и в наши дни поземельное владение является необходимым условием власти, то тем более так было в XV в. ^{“1}

И в то же время он выступал против исторического монизма (монофакторализма), т.е. выделения одного из факторов истории как определяющего, решающего. А когда он пытался объяснить эволюцию экономической структуры общества, то приходил к демографическому детерминизму. „Продолжительные изыскания, — писал он, — привели меня к тому заключению, что главным фактором всех изменений экономического строя является не что иное, как рост населения“²

Однако сколько-нибудь четкой грани между названными двумя группами сторонников историко-экономического направления провести невозможно. И у первых встречаются элементы полифакторного подхода, причем иногда не декларативного, а реального, а среди вторых были такие, у которых полифакторализм носил во многом декларативный характер.

Однако все они без исключения отстаивали положение о важнейшей роли в истории экономического фактора. Кроме указанных выше исследователей, крупнейшими сторонниками историко-экономического направления были во Франции — Анри Сэ (1864—1936), в Австро-Венгрии — Карл Теодор Инама-Штернегг (1843—1908), в Германии — Густав Шмоллер (1838—1917), Карл Лампрехт (1856—1915).

Широко было представлено историко-экономическое направление в русской исторической науке. В какой-то степени его предтечей в России был замечательный мыслитель Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889), из-под пера которого вышло несколько прекрасных историко-публицистических работ: „Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X“ (1858), „Кавеньяк“ (1858), „Июльская монархия“ (1860) и др.

¹ Ковалевский М. Общественный строй Англии в конце Средних веков. М., 1880. С.1.

² Ковалевский М. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. СПб., 1899. С.2.

Н.Г.Чернышевский руководствовался в своем подходе к событиям новой истории Западной Европы концепцией классов и классовой борьбы, созданной французскими историками эпохи Реставрации. Последовательно проводя эту линию, он пришел к выводу об огромной и даже решающей роли экономического фактора в истории. В „Примечаниях к переводу „Введения в историю XIX века“ Г.Гервинуса“ Н.Г.Чернышевский, приведя мысль Т.Бокля о том, что „история движется развитием знания“, сопроводил ее следующим замечанием: „Если дополним это верное понятие политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни, то получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обуславливались развитием трудовой жизни и средств материального существования“¹

Известный историк общественной мысли Юрий Михайлович Стеклов (наст. фам. — Нахамкис) (1873—1941) в своей монографии „Н.Г.Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889“ (СПб., 1909; Т.1—2. М.; Л. 1928) утверждал даже, что этот выдающийся мыслитель самостоятельно открыл материалистическое понимание истории. „Чернышевский, — писал он, — смотрел на историю глазами строгого объективиста. Он видел в ней диалектический процесс, процесс развития путем противоречий, путем скачков, которые сами являются результатом постепенных количественных изменений. Действующими лицами в истории являются общественные классы, борьба которых обуславливается экономическими причинами. В основе исторического процесса лежит экономический фактор, определяющий политические и юридические отношения, а также идеологию общества. Можно ли отрицать, что эта точка зрения близка к историческому материализму Маркса и Энгельса? От системы основателей современного научного социализма мировоззрение Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и

¹ Чернышевский Н.Г. Примечания к переводу „Введения в историю XIX века“ Г. Гервинуса // Полн. собр. соч. Т.10. М., 1953. С.441.

определенности некоторых терминов“¹ С Ю.М.Стекловым вряд ли можно согласиться. Н.Г.Чернышевский не создал материалистического понимания истории. Но к экономическому детерминизму он, действительно, был близок.

Кроме уже упомянутого выше М.М. Ковалевского, к историко-экономическому направлению в России принадлежали (по крайней мере, в течение определенного периода своей творческой деятельности) — Иван Васильевич Лучицкий (1845—1918), Павел Гаврилович Виноградов (1854—1925), Иван Михайлович Гревс (1860—1941), Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863—1942), Владимир Константинович Пискорский (1867—1910), Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867—1934), Александр Николаевич Савин (1873—1923), уже упоминавшийся выше Е.В.Тарле и многие другие специалисты по всеобщей и отечественной истории.

Характеризуя экономическое направление в западной исторической науке, И.В.Лучицкий писал: „Благодаря ему на первый план выдвинуто изучение важнейшего из факторов жизни: экономического фактора, и вполне ясно поставлено, как главная задача изучения, выяснение во всех деталях процесса экономических изменений, происходивших в жизни, как отдельных народов, так и всей Европы, но процесса не самого лишь в себе (как то было раньше), а в связи с остальными явлениями и факторами жизни. Какое влияние оказывали экономические явления на ход событий, какое взаимодействие существовало между экономическими факторами и тем калейдоскопом событий и фактов, который составляет содержание того, что называют обыкновенно историей, — вот в чем деятели этого нового движения в историко-экономической науке видят главное условие для создания научной истории“²

И сам И.В.Лучицкий полностью разделял подобный взгляд. Возражая в одной из своих статей французскому математику и философу Антуану Огюстену Курно (1801—

¹ Стеклов Ю.М. Н.Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889. СПб., 1909. С.175—176.

² Лучицкий И. Джемс Сорольд Роджерс //Юрид. вестн. 1891. Т.7. Кн. вторая (сентябрь). С.172.

1877), придававшему важнейшее значение открытию Америки самому по себе, И.В.Лучицкий писал: „Между тем чисто фактическое изучение этого периода показало бы ему, что развитие это (в Новое время) исходило существенном образом из развития индустриального элемента, за которым следовало развитие эстетическое, и что собственно научное началось лишь в XVI веке, являясь результатом развития предварительно указанных двух элементов“¹

„Сознание простого факта — влияния производственных форм на исторический процесс, — говорил М.В.Довнар-Запольский, — составляет важный поворот в направлении исторической мысли... В настоящее время было бы ошибкой полагать, что формула исторического процесса, как она вылилась в учении Маркса, Энгельса и их последователей, является вполне обоснованной, подобно гегелевской философии для своего времени. Это обоснование пока не сделано удовлетворительно. Следовательно, конечная формула прогресса еще ждет своего разрешения. Теперь ясно одно: важное и даже преобладающее значение экономического фактора в истории и формула исторического процесса на нем, без сомнения, будет обоснована“²

Отстаивая важную или даже решающую роль экономики, часть сторонников историко-экономического направления одновременно выступала с критикой марксистского материалистического понимания истории. Для некоторых из них это был способ отвести от себя обвинение в сочувствии марксистским идеям революционного преобразования общества. Другие сторонники „экономизма“ в конце концов пришли к пониманию огромной ценности исторического материализма.

Е.В. Тарле в уже упоминавшейся выше статье дал высокую оценку марксову материалистическому пониманию истории. „Как философская система, — писал он, — исторический материализм далеко не всегда может быть (при состоя-

¹ Л-кий И. Обзор литературы по философии истории за 1872 год //Знание. 1873. № 9. С.88.

² Довнар-Запольский М.В. Исторический процесс русского народа в русской исторической науке. М., 1906. С. 30–31.

нии нынешних исторических знаний) проведен со всей последовательностью и доказательностью, но, как метод, он дал и продолжает давать весьма плодотворные результаты... ученые же, даже не разделяющие материалистического воззрения, приучились отчасти под влиянием этого течения с особым вниманием относиться к пренебрегавшейся ими до тех пор хозяйственной истории“¹ А в вводной части курса по всеобщей истории, опубликованной под названием „Всеобщая история (Очерк развития философии истории)“ (СПб., 1908), выдающийся историк довольно решительно защищал материалистическое понимание истории от различного рода нападок и обвинений²

Как бы ни оценивать взгляды отдельных представителей историко-экономического направления, которое, возникнув во второй половине XIX в. продолжало существовать и в XX в., совершенно ясно, что, по крайней мере, часть их считала экономику определяющим, решающим фактором истории.

Первоначально историко-экономическое направление составляли ученые, исследовавшие в основном Западную Европу Нового времени и в меньшей степени позднего Средневековья, начиная с возникновения городов как центров ремесла и торговли. И лишь потом оно нашло сторонников в среде исследователей античного мира. Это прежде всего были три немецких историка: Роберт Пёльман (1852—1914), Карл Юлиус Белох (1854—1929) и Эдуард Мейер (1855—1930).

II

Карл Юлиус Белох родился 21 января 1854 г. в отцовском имении в округе Любен в Силезии. Однако большую часть жизни он провел в Италии, где с 1879 г. был профессором древней истории Римского университета. В 1912—1913 гг. читал курс лекций по истории античности в Лейпциге. Первые его работы — „Компания“ (1879) и „Италий-

¹ Тарле Е.В. Указ. работа. Стб. 741.

² См.: Тарле Е.В. Всеобщая история: (очерк развития философии истории). СПб., 1908. С.90—102.

ский союз под гегемонией Рима“ (1880) были посвящены древней Италии. Затем он обратился к истории Древней Греции. В 1884 г. появилась его монография „Аттическая политика со времен Перикла“ (1884). В следующем его труде „Народонаселение греко-римского мира“ (1886) впервые в широких масштабах был применен статистический метод к древней истории. Он положил начало исследованиям по античной демографии. Самый крупный и самый известный труд К.Ю.Белоха, оказавший заметное влияние на всю науку об античности, — его „Греческая история“ В 1891 г. в Риме на итальянском языке увидело свет ее начало. Оно носило название „История Греции. Часть первая“ На этом томе итальянское издание оборвалось. Но в 1893 г. в Страсбурге на немецком языке вышел первый том уже „Греческой истории“ (Griechische Geschichte) с подзаголовком „Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной“ В 1897 г. появился второй том с подзаголовком „Кончая Аристотелем и завоеванием Азии“ Оба тома сразу же были переведены на русский язык М.О.Гершензоном; первый из них вышел в 1897 г., второй — в 1899 г. На двух томах К.Ю.Белоха не остановился: в 1904 г. он опубликовал состоявшийся из двух отделений (двух книг) третий том с подзаголовком „Греческое мировое господство“ Изложение там завершалось битвой при Селласии (221 г. до н.э.) и появлением римлян в Иллирии. С 1912 г. начало выходить новое, совершенно переработанное и значительно расширенное второе издание „Греческой истории“ К.Ю.Белоха. Завершено оно было лишь в 1927 г. Оно включало четыре тома, каждый из двух отделений: всего, таким образом, оно состояло из восьми больших книг. Через два года после окончания этого издания 7 февраля 1929 г. К.Ю.Белоха скончался.

Оценивая первое издание „Греческой истории“ К.Ю. Белоха, прежде всего первые два его тома, выдающийся российский историк античности Владислав Петрович Бузескул (1858—1931) писал: Что составляет особенность „Греческой истории“ Белоха, отличающую ее от всех предшествующих и общую ей с трудом Э.Мейера и „Очерком“ Пёльмана...., так это то, что в ней выдвинута *социально-*

экономическая сторона жизни Древней Греции. Белох отнесся к фактам из этой области с полным вниманием, и у него мы найдем целые отделы, посвященные описанию перемен в хозяйственном быту греков — очерки торговли, промышленности, сельского хозяйства, сведения о положении разных классов населения, особенно рабов, и т.д., т.е. найдем то, чего до тех пор не было в других общих трудах по истории Греции или что затрагивалось в них лишь мимоходом. Белох же первый воспользовался напр. и материалом, который содержит для хозяйственной истории списки дани афинских союзников; он же указал на ту большую революцию в ценах, которая произошла в IV в.¹

III

В советской исторической литературе К.Ю.Белоха, равно как и Э.Мейера и Р.Пёльмана, обвиняли в приверженности к „реакционной циклической теории, модернизирующей древность“² „По Белоху, — писали о нем, — общество Нового времени отличается от древнего лишь количественно (масштабами явлений). Белох утверждал, что в Древней Греции после первобытного периода наступил феодализм — „греческое средневековье“, которое в 6 в. до н.э. начал сменять капитализм, достигший значительного развития в 5 и 4 вв. до н.э. и особенно в эпоху эллинизма и римского господства. Белох преуменьшал число рабов в Древней Греции и отождествлял их фактическое положение с положением рабочих в капиталистическом обществе, а ремесленные мастерские — с капиталистическими фабриками“³

В известной степени подобного рода упреки справедливы в отношении трудов Э.Мейера, особенно таких, как его „Экономическое развитие Древнего мира“ (1895) и „Рабство

¹ Бузескул В. Введение в историю Греции: обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX века. 3-е изд., перераб. Пг., 1915. С.481.

² Пикус Н.П. Белох Карл Юлиус //Сов. ист. энцикл. Т.2. М., 1962. Стб. 277.

³ Там же.

в древности“ (1898). Но как я попытался показать во вступительной статье к сборнику теоретических работ Э.Мейера, и здесь дело обстоит не так просто, как это представлялось нашим историкам¹ Что же касается К.Ю.Белоха, то первые два тома первого издания его „Греческой истории“ не дают серьезных оснований для изложенных выше обвинений.

Не нужно забывать, что когда историки занялись исследованием экономики античного мира, то им потребовался определенный понятийный аппарат. Его пришлось заимствовать из политической экономии. Но политическая экономия первоначально возникла как наука исключительно о капиталистических экономических отношениях. Никакой другой экономикой, кроме капиталистической, она не занималась. И сейчас немалое число экономистов вопреки всем фактам категорически утверждает, что никаких других экономических систем, кроме капиталистической, не существует. Если же они и замечают их, то объявляют их системами неестественными, искусственными, обязанными своим возникновением насилию. Единственной естественной системой для них является капитализм² Как с сарказмом писал К.Маркс: „Экономисты употребляют очень странный прием в своих рассуждениях. Для них существуют только два рода институтов: одни — искусственные, другие — естественные. Феодальные институты — искусственные, буржуазные — естественные. В этом случае экономисты похожи на теологов, которые тоже устанавливают два вида религий. Всякая чужая религия является выдумкой людей, тогда как их собственная религия есть эманация бога“³

Были и имеются ученые, включая экономистов, которые не только признают бытие некапиталистических, прежде всего докапиталистических, экономических систем столь же

¹ См.: Семенов Ю.И. Эдуард Мейер и его труды по методологии и теории истории //Мейер Э. Труды по теории и методологии исторической науки. М., 2003.

² См. подробнее об этом: Семенов Ю.И. Философия истории... С.310—312, 343—347.

³ Маркс К. Нищета философии //Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.4. С.142.

естественным, что и капиталистическая. Но до недавнего времени никаких теорий докапиталистических экономик не было. Единственно существующими были теории капиталистической экономики. Только совсем недавно была создана первая теория одной из докапиталистических экономик — первобытной экономики¹

В силу подобного положения вещей и К.Ю.Белох, и Э.Мейер, и Р.Пёльман, которые жили и творили в конце XIX — начале XX в., с неизбежностью вынуждены были при описании античной экономики обращаться к понятиям теорий капиталистической экономической системы. Другого понятийного аппарата не было. В этом одна из причин приписываемой им модернизации античной экономики, но не единственная и, может быть, даже не главная.

К.Ю.Белох, в отличие от Э.Мейера, в рассматриваемой работе нигде прямо не характеризует общество Гомеровской и Архаической Греции как тождественное средневековому обществу Западной Европы, но в ряде ее мест действительно пишет о существовании в эту эпоху в отсталых областях Греции (Фессалия, Крит и др.), а также и в более позднее время крепостных и помещиков. Он, в отличие от Э.Мейера, нигде не утверждает, что „если крепостные отношения аристократической эпохи древности, гомеровского периода соответствуют хозяйственным отношениям христианского Средневековья, то рабство последующего периода стоит на равной линии со свободным трудом Нового времени и выросло из тех же моментов, что и последний“² Но он пишет в своей „Греческой истории“ о фабриках, фабрикантах, несвободных фабричных рабочих, капитале в классической Греции и т.п. Но хотя это внешне и отдает модернизацией, но имеет под собой серьезные основания.

IV

Чтобы разобраться в сути дела, необходимо обратиться

¹ См.: Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Экономика первобытного и раннего предклассового общества. Ч. 1—3. М. 1993.

² Мейер Э. Рабство в древности // Мейер Э. Труды по теории и методологии исторической науки. М., 2003. С.118.

к единственной в настоящее время подлинно научной общей теории исторического процесса — материалистическому пониманию истории. Согласно ему основой любого конкретного отдельного общества (социоисторического организма, сокращенно — социора) является система социально-экономических производственных отношений. Существует несколько качественно отличных типов экономических производственных отношений. Целостная система социально-экономических производственных отношений одного определенного типа носит название общественно-экономического (социально-экономического) уклада.

Каждая система социально-экономических отношений одного определенного типа (общественно-экономический уклад) представляет собой внутреннюю структуру процесса производства, особую общественную форму, в которой осуществляется процесс созидания материальных благ. Производство материальных благ всегда происходит в определенной общественной форме.

Производство не вообще, а взятое в определенной общественной форме, есть не что иное, как определенный способ производства. Таким образом, *способ производства* есть тип производства, выделенный по признаку его общественной формы. Способов производства существует столько, сколько существует общественно-экономических укладов. Общественно-экономические уклады и соответственно способы производства подразделяются на основные и неосновные. Основные способы производства суть такие социально-экономические типы общественного производства, которые одновременно являются и стадиями его всемирно-исторического развития.

Особенность социально-экономических отношений заключается в том, что они, в отличие от всех прочих общественных отношений, не зависят от сознания и воли людей. Существовая независимо от сознания и воли людей, они определяют их волю и сознание. Социально-экономические связи являются отношениями объективными и в этом смысле материальными.

Поэтому система этих отношений, являясь обществен-

ной формой, в которой идет производство, одновременно представляет собой фундамент любого социоисторического организма. Он определяет общественное сознание и волю живущих в нем людей, а тем самым и все остальные существующие в нем общественные отношения. В отличие от социально-экономических связей, которые по своей природе материальны, все прочие общественные связи — отношения волевые. *Общественное сознание* совокупно с волевыми общественными отношениями представляет собой *надстройку* над социально-экономическим базисом.

Так как социально-экономические отношения составляют базис, фундамент любого общества, то совершенно естественным является положить в основу классификации социоисторических организмов тип господствующих в них производственных связей.

Социоисторические организмы, в которых господствует один и тот же общественно-экономический уклад, относятся к одному и тому же типу общества. Социоисторические организмы, в которых доминируют различные способы производства, относятся к разным типам общества. Типы социоисторических организмов, выделенные по такому признаку, носят название общественно-экономических формаций. Но общественно-экономической формацией может быть назван не всякий социально-экономический тип общества, а только такой, который есть одновременно и стадия *всемирно-исторического развития*. Общественно-экономических формаций существует столько, сколько существует основных общественно-экономических укладов и соответственно основных способов производства. Со сменой одного способа производства другим происходит смена общественно-экономических формаций. Всемирная история с точки зрения исторического материализма есть, прежде всего, процесс развития и смены общественно-экономических формаций.

В принципе вполне возможны и реально существовали такие социоисторические организмы, в которых все социально-экономические отношения относились исключительно к одному типу. Так обстояло дело на ранних стадиях развития человеческого общества. Но в более поздние эпохи в со-

циоисторических организмах нередко одновременно существовали социально-экономические связи, относившиеся не к одному, а к нескольким разным типам. И это делает необходимым введение еще одного понятия — социально-экономического строя общества. *Социально-экономический строй* социоисторического организма — это система всех без исключения существующих в нем социально-экономических отношений.

Когда в социоисторическом организме все социально-экономические отношения принадлежат к одному типу, понятие его социально-экономического строя совпадает с понятием определенного общественно-экономического уклада. Когда же в социоисторическом организме социально-экономические отношения принадлежат к разным типам, такого совпадения нет.

Разные социально-экономические отношения могут существовать в социоисторическом организме по-разному. Отношения того или иного определенного типа могут образовывать в обществе целостную систему — *общественно-экономический уклад*, а могут существовать в нем в качестве лишь придатка к существующим укладам — *общественно-экономического подуклада*. И для исследователя очень важно отличать укладное бытие социально-экономических отношений от неукладного их бытия.

Когда в социоисторическом организме существуют социально-экономические отношения только одного типа, то общество — *одноукладно*. Одноукладно оно и тогда, когда в нем наряду с единственным укладом существует один или даже несколько подукладов. Но в социоисторическом организме могут одновременно существовать и несколько общественно-экономических укладов, не говоря уже о подукладах. Такое общество — *многоукладно*.

Обычно в многоукладном обществе один из существующих в нем укладов является *господствующим, доминирующим*, остальные же уклады — *подчиненными*. Господствующий уклад определяет характер социально-экономического строя общества в целом, а тем самым и тип общества, его принадлежность к той или иной общественно-

экономической формации. Различие между господствующими и подчиненным укладами во многих случаях носит относительный характер. В процессе исторического развития тот или иной подчиненный уклад может превратиться в доминирующий, а господствующий стать подчиненным.

Однако не всякий подчиненный уклад может стать господствующим. Наряду с рассмотренной выше существует и иная классификация общественно-экономических укладов. Они подразделяются на такие, которые в принципе могут быть господствующими, и такие, которые никогда господствующими стать не могут. Первые уклады можно назвать *стержневыми*, вторые — *дополнительными*. Стержневые уклады могут быть единственными в обществе или господствующими в нем и соответственно определять тип общества, его принадлежность к той или иной общественно-экономической формации или параформации.

Социально-экономический строй общества либо совпадает (полностью или в основном) с каким-либо общественно-экономическим укладом, либо состоит из нескольких укладов. Это делает необходимым более или менее детальный анализ структуры общественно-экономического уклада.

Социально-экономические отношения суть один из видов отношений собственности. Другим видом отношений собственности являются волевые отношения собственности, приобретающие в классовом обществе, в котором всегда существует и не может не существовать государство, облик отношений правовых, юридических. Социально-экономические и волевые отношения собственности всегда существуют в неразрывном единстве, в котором ведущая роль принадлежит первым.

Важнейшим понятием, характеризующим отношения собственности, является категория *ячейки собственности*, которая обозначает собственника (им может быть и индивид, и группа индивидов и, наконец, все общество в целом) вместе со всеми принадлежащими ему объектами (ими могут быть и вещи, и люди). Когда в ячейку собственности входят средства производства, она представляет собой производственную единицу: в ней создается общественный продукт.

Такую ячейку собственности можно назвать *хозяйственной*, или *экономической*, *ячейкой* (*хозяйячейкой*, или *экономъячейкой*). Экономъячейка может совпадать с социоисторическим организмом. В таком случае она одновременно является и *хозяйственным* (*экономическим*) *организмом* (*хозорганизмом*, или *экономорганизмом*), т.е. таким экономическим образованием, которое в принципе может существовать и функционировать независимо от других таких же образований. Если при этом все члены социоисторического организма вместе взятые — собственники средств производства и предметов потребления, перед нами *общественная собственность* в ее наиболее чистом виде.

Когда экономическая ячейка не совпадает с социоисторическим организмом, то это значит, что в состав данного социора входит не одна, а несколько хозяйственных ячеек. В таком случае экономический организм есть объединение экономических ячеек, которое может совпадать, а может не совпадать с социоисторическим организмом. Если в хозяйственной ячейке, входящей наряду с несколькими другими такими единицами в социор, не происходит эксплуатации человека человеком, ее можно назвать ячейкой *обособленной* (*особой*) *собственности*. Обособленная (особая) собственность может быть *персональной*, когда собственник — один человек, и *групповой*, когда несколько человек совместно владеют средствами производства. Если в экономической ячейке процесс производства одновременно представляет собой и процесс эксплуатации, перед нами — ячейка *частной* собственности.

Если же в ячейку собственности входят только предметы потребления, но не средства производства, то в ней общественное производство осуществляться не может. Если в такой ячейке собственности и ведется хозяйство, то только домашнее (приготовление пищи для личных нужд его членов и т.п.). В эти ячейки обычно входят не только собственники предметов потребления, но и люди, находящиеся на их иждивении. Данные ячейки собственности можно назвать *иждивенческими* или *иждивенческо-потребительскими*. Связанную с ними собственность нередко называют личной, что

не очень точно, ибо она может быть не только *персональной*, но и *групповой*. Лучшее для нее название — *отдельная собственность*.

Нередкий случай — совпадение хозяйственной ячейки с иждивенческо-потребительской. Особенно часто совпадают с иждивенческо-потребительскими ячейки *обособленной* собственности. При этом *отдельная* собственность отсутствует. Существует лишь обособленная собственность одновременно, как на средства производства, так и на предметы потребления.

Каждый общественно-экономический уклад, будь то стержневой или дополнительный, имеет свои специфические экономические ячейки. Каждому стержневому общественно-экономическому укладу присущи также свои собственные экономические организмы. В отличие от них, дополнительные уклады своих собственных хозяйств не имеют. Их хозяйственные ячейки вкраплены в состав экономического организма одного из существующих наряду с ним стержневых укладов, чаще всего господствующего. Что же касается общественно-экономических подукладов, то они не обладают не только собственными хозяйственными организмами, но и своими собственными хозяйственными ячейками; специфические для него экономические отношения существуют в рамках не только чужих хозяйственных организмов, но и чужих хозяйственных ячеек.

V

Историки, причем не только советские, при характеристике общественного строя классовых обществ давно уже привыкли пользоваться понятиями рабства, феодализма и капитализма как категориями одного порядка. А это неверно. Понятия феодализма и капитализма, как правило, фактически обозначают способы производства, общественно-экономические уклады и тем самым общественно-экономические формации. Совершенно иначе обстоит дело с понятием рабство.

Рабство, взятое само по себе, вовсе не способ производства, а особое экономическое, а тем самым и правовое со-

стояние людей. Рабы — это люди, являющиеся полной собственностью других людей. Они совершенно не обязательно должны быть заняты в производстве материальных благ. Их могут использовать в качестве домашних слуг, домоправителей, нянь, наложниц, учителей, писцов, врачей, стражников, даже министров и военачальников и т.п. В том или ином социоисторическом организме может быть множество рабов, но если их используют лишь в качестве служников, то никакого рабовладельческого способа в нем нет. Рабство здесь социально-экономическое отношение, но не производственное. Всякое производственное отношение всегда есть социально-экономическое, но не всякое социально-экономическое отношение есть производственное. В таком обществе существуют рабы и рабовладельцы, но нет уклада производства, основанного на рабстве, а, следовательно, и классов рабов и рабовладельцев.

Но даже и использование рабов в материальном производстве само по себе взятое тоже не свидетельствует о существовании в обществе рабовладельческого уклада. Если, например, крестьянин использует 1—2 рабов в качестве помощников в своем хозяйстве, то здесь, разумеется, не может идти речь о рабовладельческом общественно-экономическом укладе, а тем самым о рабовладельческом способе производства. Рабовладельческие производственные отношения в таком случае не образуют уклада. Они существуют в качестве придатка к укладу мелкого самостоятельного производства, т.е. в виде подуклада. То же самое относится к ремесленникам, которым в их работе помогают рабы.

Об особом укладе и способе производства можно говорить только в том случае, когда существуют особые экономические ячейки, владельцы которых целиком живут за счет труда работающих в них рабов. Если такого рода рабовладельцы-предприниматели и заняты в производстве, то только в качестве организаторов и управленцев. Эти хозяйственные ячейки существуют в составе особого хозяйственного организма, каковым, помимо всего прочего, является классический античный полис. С гибелью этого хозяйственного организма разрушаются и специфические для него рабства-

дельческие хозяйственные ячейки и тем самым описанный выше общественно-экономический уклад. Только там, где имеет бытие такого рода общественно-экономический уклад, существуют не просто рабы и рабовладельцы, но особые общественные классы рабов и рабовладельцев. Рабы, образующие особый общественный класс, требуют особого названия, которое отличало бы их и от рабов-услужников и рабов-помощников (рабов-сотружников).

Лучше всего, вероятно, подошло бы для этой цели латинское слово, обозначающее раба, — „серв“ Но, увы, это слово употребляется сейчас в исторической науке для обозначения западноевропейских средневековых крепостных крестьян. Поэтому для обозначения описанной выше категории рабов в дальнейшем изложении будет использоваться термин „*серварий*“, созданный по аналогии со словом „пролетарий“ Соответственно, данный способ производства будет в данной работе именоваться *серварным*, представители противостоящего сервариям класса рабовладельцев-предпринимателей — *серваристами*, специфические для данного общественно-экономического уклада хозяйственные ячейки (эргастерии, виллы и т.п.) — *сервариумами*. Как не все рабы являются сервариями, так и не все рабовладельцы — серваристами. Люди, владеющие рабами, но использующие их только в качестве прислуги, крестьяне, в хозяйствах которых наряду с ними и членами их семей трудились несколько рабов, несомненно, были рабовладельцами, но не серваристами.

В целом же, по аналогии с феодализмом и капитализмом, для обозначения данного общественно-экономического уклада, данного способа производства и данной общественно-экономической формации можно было бы использовать термин „*серваризм*“

Важнейшая особенность серварного способа производства заключается в том, что он базировался на труде не просто рабов, а рабов, которые в основной массе своей не родились в данном социоисторическом организме, а были доставлены в него извне, вырваны из своих родных обществ. Именно за счет использования привлеченной силой извне

рабочей силы, прежде всего, и был достигнут наблюдавшийся в античном мире подъем производительных сил и тем самым невиданный расцвет культуры.

Существуют три основных способа повышения уровня развития производительных сил общества, увеличения продуктивности его общественного производства, исчисляемой объемом общественного продукта в расчете на душу его населения: технический (технологический), темпоральный (за счет увеличения рабочего времени) и демографический (за счет увеличения доли работников в составе населения общества). Если в политарном обществе подъем производительных сил в основном достигался за счет увеличения времени, в течение которого трудился работник, то в античном обществе их прогресс был обеспечен главным образом путем использования демографического способа.¹

Рабство вообще бытовало во многих предклассовых и практически во всех докапиталистических классовых обществах, но серварный способ производства из всех докапиталистических классовых обществ существовал только в античном. Именно поэтому К.Маркс и Ф.Энгельс предпочитали писать не о рабовладельческом, а об античном способе производства и соответственно об античной, а не о рабовладельческой общественно-экономической формации.

Но, кроме серварного способа производства, в истории существовал еще один рабовладельческий же способ производства, наиболее ярко представленный хозяйством Юга США первой половины XIX в. Хозяйственные ячейки этого способа производства именуется *плантациями*. Поэтому его можно назвать *плантационным*, или *плантаторским*. Имея сходство с серварным способом производства, он в то же время существенно отличался от серварного: его хозяйственные ячейки (плантации) находились в составе совершенно иного экономического организма, не полиса, а капиталистического национального рынка. И к жизни его вызвали совершенно иные силы, чем породившие античный серва-

¹ См.: Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Вып.3. История цивилизованного общества (XXX в. до н.э. — XX в. н.э.). М., 2001. С.50—51, 64—67.

ризм, — силы складывавшегося мирового капиталистического рынка.

Рабство в Древней Греции существовало давно. Оно было хорошо известно и в период, который историки нередко именуют гомеровским, и следующий за ним архаический период. Серваризм же стал утверждаться в передовых полисах Греции лишь в VI и V вв. до н.э. И К.Ю.Белоху было крайне важно подчеркнуть качественное различие между старым рабством, представленным рабами-услужниками и рабами-сотружниками, и вновь возникшим. Для нового рабства, в отличие от старого, было характерно существование особых производственных ячеек, целиком основанных на труде рабов, и рабовладельцев, полностью живущих за счет их труда. Именно с целью показать это качественное отличие К.Ю.Белох и называет эти хозяйственные ячейки фабриками, занятых в них рабов фабричными несвободными работниками, а хозяев — фабрикантами. Только с появлением такого, „фабричного“, рабства Древняя Греция становится обществом рабовладельческим. Раньше оно таковым не было.

VI

Как уже указывалось выше, Э.Мейер рассматривал и типологически отождествлял раннее греческое общество с западноевропейским средневековым, т.е. феодальным. И создание им циклической концепции развития античного мира объяснить действием только социальных, вненаучных факторов невозможно. У этой концепции существует и серьезная фактологическая основа.

Именно этим объясняется огромное влияние, которое оказало данное его построение на современную ему историческую науку. Если ограничиться только Россией, то взгляды Э.Мейера были подхвачены такими крупными историками, как Роберт Юрьевич Виппер (1859—1954), Дмитрий Моисеевич Петрушевский и Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952). Сказались они на советской философской, социологической и исторической науке. Конечно, тот факт, что многие советские обществоведы, включая историков, в 20-х

годах рассматривали общество Древнего Востока как феодальное, нельзя объяснить только влиянием идей Э.Мейера. Такого взгляда придерживались тогда многие видные, как зарубежные, так и дореволюционные российские историки.

Но, когда, например, видный специалист по античной истории Владимир Сергеевич Сергеев (1883—1941) в книге „Феодализм и торговый капитализм в античном мире“ (1926) утверждал, что античное общество вначале было феодальным, затем торгово-капиталистическим и что разложение торгового капитализма открыло дорогу для перехода к „так называемому романо-германскому или христианскому феодализму“¹, то влияние концепции Э.Мейера в данном случае несомненно.

Социолог Павел Иванович Кушнер (Кнышев) (1889—1968) по существу прямо принимал взгляды Э.Мейера в той их части, которые касались Древнего мира. Он считал, что в Древней Греции, как и на Древнем Востоке, разложение первобытного общества привело к появлению феодальных отношений, затем на смену им пришли рабовладельческие, которые в конце концов снова были замещены феодальными. Произошел, как говорил сам П.И.Кушнер, своеобразный „исторический зигзаг“² Взгляды Э.Мейера существенно сказались и на концепции всемирной истории, которая развивалась в книге Александра Александровича Богданова (Малиновского) (1873—1928) и Ивана Ивановича Степанова (Скворцова) (1870—1928) „Курс политической экономии“ (1925).

Одна из причин, которые привели Э. Мейера к циклическому пониманию истории Древней Греции и Древнего Рима, заключалась в том, что он, с одной стороны, обнаружил, что в Гомеровской и Архаической Греции (и раннем Риме) господствовали экономические отношения иные, чем рабовладельческие, с другой, руководствовался представлением,

¹ Сергеев В.С. Феодализм и торговый капитализм в античном мире. М. 1926. С.213.

² Кушнер (Кнышев) П. Предисловие //Гуковский А.И. и Трахтенберг О.В. Очерк истории докапиталистического общества и возникновения капитализма. М.; Л., 1931. С.ХХVІІ—ХХVІІІ.

что существуют три, и только, формы эксплуатации человека человеком: рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. К стати сказать, такого взгляда всегда придерживались почти все, если не все историки, включая советских.

Последние, говоря об антагонистических способах производства, обычно сводили их к трем: рабовладельческому, феодальному и капиталистическому. А, начиная с середины 30-х годов, они понимали эти типы общественного производства одновременно и как стадии его поступательного развития. Поэтому, с их точки зрения, феодальные отношения стали существовать, начиная лишь с VI—VIII вв. н.э., а капиталистические — с XV—XVI вв., но ни в коем случае не раньше.

Для западных, дореволюционных российских и советских историков 20-х годов такого временного ограничения не существовало. Не было его и у Э.Мейера. Поэтому ему ничего не мешало, выявив, что экономические отношения, господствовавшие в Гомеровской (и Архаической) Греции, ни в коем случае не были ни рабовладельческими, ни капиталистическими, объявить их средневековыми, т.е. феодальными.

Преодолеть концепцию Э.Мейера невозможно, не отказавшись от постулата о существовании только трех антагонистических способов производства: рабовладельческого, феодального и капиталистического. Он ошибочен. В действительности, кроме трех названных выше антагонистических способов производства, существуют и иные. И все эти иные способы производства, как свидетельствуют данные этнологии, существовали уже на стадии перехода от первобытного общества к классовому, цивилизованному.

VII

Одним из них был способ производства, который принято было называть „азиатским“ Так как он был основан на общеклассовой частной собственности, прежде всего на земле, выступавшей в форме собственности государственной, то предпочтительно именовать его *политарным* (от греч.

полития — государство) способом производства¹ Этот способ производства лежал в основе обществ Древнего Востока, Соантического (=современного античному миру) Востока, Средневекового Востока, а также и Востока Нового времени (до конца XIX в.). Близким к нему был нобиларный способ производства, базировавшийся на корпоративно-персональной частной собственности опять-таки же прежде всего на землю² Прямые отношения к истории Греции в эпоху архаики и классики они не имеют, поэтому специально рассматривать их здесь нет смысла. Но о двух других ранних антагонистических способах производства подробнее сказать нужно, ибо здесь ключ к разгадке мейеровской концепции циклизма.

Один из этих ранних способов эксплуатации — *доминарный* (от лат. *domināre* — господствовать) способ производства. Суть его заключается в том, что эксплуатируемый полностью работает в хозяйстве эксплуататора. Этот способ выступает в пяти вариантах, которые часто являются и его составными частями. В одном случае человек работает только за содержание (кров, пища, одежда). Это — *доминоприжимальческий*, или просто *прижимальческий* подспособ эксплуатации (1). Нередко вступление женщины в такого рода зависимость оформляется путем заключения брака. Это — *брако-прижимальчество* (2). Человек может работать за определенную плату. Этот вариант можно назвать *доминонаймитским*, или просто *наймитским* (3). Человек может оказаться в чужом хозяйстве в качестве заложника или несостоятельного должника. Это — *доминокабальный* подспособ (4). И, наконец, еще одним является *доминорабовладельческий* подспособ эксплуатации (5). Рабство как вариант и составной элемент доминарного способа эксплуатации качественно отличается от рабства как самостоятельного способа

¹ См.: Семенов Ю.И. Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения // Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1980; Он же. Введение во всемирную историю. Вып.3. С.23—24, 35—42, 50—51.

² См.: Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Вып.3. С.25.

производства, или серваризма. В литературе его обычно именуют домашним, или патриархальным, рабством.

Другим ранним основным способом производства был *магнатный*, или *магнарный* (от лат. magna — великий, ср. лат. magnat — владыка). Он выступал в четырех вариантах, которые нередко являлись одновременно и его составными элементами. При этом способе основное средство производства — земля, находившаяся в полной собственности эксплуататора, передавалась в обособленное пользование работника, который более или менее самостоятельно вел на ней хозяйство. Случалось, что непосредственный производитель получал от эксплуататора не только землю, но и все средства труда. Работник обычно отдавал собственнику земли часть урожая, а нередко также часть времени трудился в собственном хозяйстве эксплуататора.

Таким работником мог стать раб, посаженный на землю. Это *магнорабовладельческий* вариант магнарного способа производства (1). Им мог стать приживал. Это — *магноприживальческий* вариант магнарного способа производства (2). Им мог стать человек, оказавшийся в зависимости от владельца земли в результате задолженности. Это *магнокабальный* подспособ эксплуатации (3). И, наконец, им мог стать человек, взявший участок земли в аренду и оказавшийся в результате этого не только в экономической, но и в личной зависимости от владельца земли. Это — *магноарендный* подспособ эксплуатации (4). В литературе такого рода эксплуатацию обычно называют *издольщиной*, а когда работник отдает половину урожая — *испольщиной*.

Очень часто доминарный и магнарный способы производства срастались друг с другом, образуя по существу один единый гибридный способ производства — *доминомагнарный*. Доминаристы при этом одновременно были и магнарристами¹

Нетрудно заметить, что магнарные отношения обладают определенными чертами сходства с феодальными. И как

¹ См.: Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Вып.2. История первобытного общества. М., 1999. С.143—147.

следствие все историки, сводящие все формы эксплуатации человека к трем: рабству, феодализму и капитализму, в большинстве своем трактуют магнарные отношения как феодальные. Так, например, почти все советские историки рассматривали общественный строй Древней Руси как феодальный, хотя в действительности никакого феодализма там не было. В этом обществе господствовали магнарные и нобиларные (тоже имеющие сходство с феодальными) связи¹

VIII

В Гомеровской Греции, которая была обществом предклассовым, преобладали доминарные отношения. Однако наряду с ними существовали нобиларные и магнарные отношения. В обществе Архаической Греции господствующими стали магнарные отношения. Именно они и были приняты Э.Мейером за феодальные связи, а К.Ю.Белохом названы крепостническими. Последний считал, что в ряде греческих социоисторических организмов в крепостных были превращены жители завоеванных областей. Таковы, например, мноиты и войкеи на Крите. Однако он ни в коем случае не сводил причины древнегреческого крепостничества исключительно к завоеванию. Оно, по его мнению, имело корни, прежде всего, во внутренней структуре социоисторических организмов Архаической Греции. Там шло развитие заемно-долговых отношений, что вело к разорению крестьян. „Обеспечением (долга — Ю.С.), — писал К.Ю.Белох, — был земельный участок, на котором кредитор ставил камень с высеченным на нем закладным актом; если ценность участка была ниже долговой суммы, то должник и его семья отвечали своим телом. При этом размер процентов был высок, как всегда бывает при первобытном экономическом строе; 18% считались в Афинах во времена Солона умеренной платой. При таких условиях заем должен был в большинстве случаев разорить крестьянина, тем более что после падения царской

¹ См.: Семенов Ю.И. В.И. Сергеевич и его труд „Древности русского права“ („Русские юридические древности“) и проблема исторического пути Руси-России //Сергеевич В.И. Древности русского права. Т.1. М., 2007. С. 3—81.

власти все управление и судопроизводство находились в руках знати, которая тогда, как во все времена, пользовалась своим положением для извлечения экономических выгод. Преимущество крупных землевладельцев увеличивалось тем, что оптовая торговля велась исключительно ими.... Против могущества капитала крестьянство было бессильно; предоставленное самому себе, оно неизбежно должно было погибнуть. Так действительно и случилось в большей части Греции. На обширной Фессалийской равнине знати удалось превратить крестьян в крепостных (пенестов), а на исходе VII в. Аттика стояла на пути к таким же социальным отношениям. Всюду на крестьянских землях стояли залоговые камни; многие хозяева были изгнаны из своих дворов, другие попали в рабство или покинули страну, чтобы избежать этой участи. Что в большей части остальной Греции дела находились не в лучшем положении, это доказывают Гесиодовы „Труды и дни“, главная цель которых — научить крестьян рациональному ведению хозяйства и этим предохранить от нужды и долгов. Но одним этим средством, конечно, нельзя было помочь; чтобы спасти греческое крестьянство, нужны были более решительные меры — нужны были такие реформы, какие Солон провел в Аттике¹

В результате революций VII—VI вв. до н.э. в передовых полисах Греции магнарные отношения были уничтожены и на смену им пришли серварные связи. Греция из домино-магнарного общества стала превращаться в общество серварное. Конечно, наряду с серварными отношениями в этом обществе продолжали существовать и иные, в частности, наемный труд, о чем пишет и К.Ю.Белох. Но как неоднократно подчеркивал последний, господствующими в передовых полисах Греции были принципиально новые рабовладельческие отношения, отношения „фабричного“ рабства.

IX

Совершенно безосновательны упреки советских историков в том, что К.Ю.Белох занижал численность рабов в Гре-

¹ Белох Ю. Греческая история. М., 2008. С.205—206.

ции. Он действительно критически подошел к имеющимся источникам, в частности, он первый в своей работе „Народонаселение греко-римского мира“ убедительно показал совершенную недостоверность цифр, приводимых в „Пире софистов“ („Пире мудрецов“) Афиней (ок. 200 г. н.э.). Там число рабов в Коринфе определялось в 640 тыс., на Эгине — в 470 тыс., в Аттике — в 400 тыс. на 21 тыс. граждан и 10 тыс. метеков¹ Во втором издании крайне авторитетного в то время труда Анри Валлона (1812—1904) „История рабства в античном мире“ (1879) утверждалось, что население Аттики состояло из 67 тыс. граждан, 40 тыс. метеков и 206 тыс. рабов² Сходные цифры приводили и другие авторы. К.Ю.Белох одним из первых выступил с опровержением такого рода взглядов. Рабов, по его мнению, было в Греции значительно меньше, хотя и достаточно много. В рассматриваемой работе он пишет, что рабы составляли половину, а кое-где (в Коринфе и на Эгине) и значительно больше половины населения древнегреческих социоисторических организмов³ В Аттике к началу Пелопоннесской войны проживало, по его расчетам, примерно, 100 тыс. граждан, 30 тыс. метеков и до 100 тыс. рабов⁴

Дальнейшие исследования в этой области показали, что К.Ю.Белох был гораздо ближе к истине, чем его предшественники. Рейчел Луиза Сарджент (р.1891) в работе „Численность рабского населения Афин в V и IV веках до н.э.“ (1925) определяет его в 71—91 тыс. (из них 16200—18200 женщин)⁵ Арнольд Уикомб Гомм (1886—1960) в работе „Население Афин в V—IV вв. до н.э.“ (1933) подсчитал, что население этого полиса накануне Пелопоннесской войны (431 г. до н.э.) включало 172 тыс. граждан (вместе с женщинами и детьми), 28 с половиной тыс. метеков (считая жен-

¹ Афиней. Пир софистов. VI. 272 a-d (Афиней. Пир мудрецов. М., 2003. С.304).

² Валлон А. История рабства в античном мире. М., 1941. С.107.

³ Настоящее издание. Т.1. С.325.

⁴ Там же. С.325—326, 329.

⁵ Sargent R.L. The Size of the Slave Population of Athen during he Fifth and Fourth Centuries before Christ . Urbana, 1925.

щин и детей) и 115 тыс. рабов (из них 30 тыс. взрослых мужчин)¹ По расчетам Виктора Эренберга (р. 1891), содержащимся в его труде „Греческое государство“ (1957), в Афинах около 434 г. до н.э. обитало 110—115 тыс. граждан (считая вместе с семьями), 35—80 тыс. метеков (тоже с семьями) и 80—110 тыс. рабов² Все эти цифры считал наиболее вероятными советский историк-античник Аристид Иванович Доватур (1897—1982) в труде „Рабство в Аттике в VI—V веках до н.э.“ (1980). Уильям Линн Уэстерманн (1873—1954) в книге „Системы рабства в греческой и римской древности“ (1955) полагал, что рабы в античном обществе составляли самое большое треть, а скорее даже четверть населения³

Многие наши историки стремились опровергнуть все эти цифры из боязни поставить под сомнение принадлежность античных обществ к рабовладельческой общественно-экономической формации. Страхи совершенно напрасные. Когда в обществе существует серварный общественно-экономический уклад, он с неизбежностью является господствующим и тем самым определяет его формационную принадлежность. Все остальные производственные отношения либо существуют в неукладной форме (например, наймитство), либо образуют дополнительные уклады, в принципе не способные определять тип общества. Такой дополнительной системой общественного производства был в античности уклад мелкого частного самостоятельного хозяйства, который, возможно, в процессе развития разделился на две системы социально-экономических отношений: крестьянско-общинный уклад и ремесленный уклад.

Аналогично обстояло дело с капитализмом. Когда был уничтожен феодальный уклад, капиталистический уклад стал господствующим, несмотря на то, что доля промышленных рабочих во всех странах Западной Европы, а также и в США в течение всего XIX в. составляла сравнительно не-

¹ Homme A.W. The Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuries b. C. Oxford, 1933.

² Erenberg V Der Staat der Griechen. Bd. 1. Leipzig, 1957. S. 24.

³ Westermann W.L. The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity. Philadelphia, 1955.

большую часть их населения. В середине этого века в самой развитой капиталистической стране — Великобритании при общем населении в 20,9 млн человек промышленных рабочих было 4,1 млн, для Франции эти цифры — 35,8 и 2,5 млн, США — 23,2 и 1,4 млн, Германии — 35,9 и 0,9 млн. На рубеже XIX и XX вв. численность населения и численность промышленных рабочих были: Великобритания — 41,8 и 8,5 млн, Франция — 39,8 и 3,4 млн, США — 76,5 и 10,4 млн, Германия — 56,4 и 8,6 млн, Италия — 32,5 и 2,6 млн.¹

Во всяком случае, К.Ю. Белох, в отличие от некоторых авторов ни в малейшей степени не сомневался, что в большинстве социоисторических организмов Греции классической эпохи рабство было господствующим способом производства. Приведя цифры численности рабов в передовых полисах Греции, он писал: Это искусственное увеличение рабочих сил должно было дать могучий толчок развитию промышленности, подобно тому, как это случилось в наш век благодаря введению паровой машины. Без рабства культурное развитие Греции совершилось бы гораздо медленнее. Только применение невольничьего труда дало демургам возможность расширить свое производство, накапливать капиталы и, таким образом, сломить перевес земледельческой и торговой аристократии. Политическое возрождение нации исходило именно из промышленных государств²

Х

В предисловии переводчика — М.О.Гершензона ко второму русскому изданию „Греческой истории“ (1905) было сказано, что за 11 лет, прошедших после появления первого ее тома, в результате обширных раскопок, первые две его главы устарели. Еще в большей степени можно это сказать сейчас, когда после выхода оригинала этого тома прошло 115 лет. К.Ю.Белох фактически отождествлял микенскую и гомеровскую эпохи и соответственно полагал, что Микен-

¹ См.: Микульский К.И. Рабочий класс //Экон. энцикл. Политическая экономия. Т.3. М. 1979. С.434; Комерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М., 2001. С.234.

² Белох Ю. Греческая история. Т.1. М., 2008. С.209.

ское общество непосредственно предшествовало обществу Архаической Греции. В действительности же Микенское общество, которое, бесспорно, было классовым и относилось к тому же типу, что все остальные общества Древнего Востока, т.е. к политарной (азиатской) общественно-экономической формации, возникнув в первой половине второго тысячелетия до н.э., в XII в. до н.э. рухнуло. Исчезли все признаки цивилизации: монументальное каменное зодчество и письменность. Произошел возврат к предклассовому обществу. Наступили „темные века“, которые длились до VIII в. до н.э. Общество „темных веков“ или лишь нескольких последних из их числа принято было называть гомеровским. В VIII в. до н.э. на территории Греции стало снова возникать классовое общество, но уже иного типа: вначале оно было доминагнарным, а в результате революций VII—VI вв. стало превращаться в серварное. И история Греции VIII—IV вв. до н.э. изложена в труде К.Ю. Белоха так полно, как ни в одном из имеющихся к настоящему времени на русском языке курсов общей древнегреческой истории.

Об одном из огромных достоинств этого труда в свое время очень хорошо сказал В.П.Бузескул: „У Белоха история Греции не сводится, как это часто бывает, преимущественно к истории Спарты и Афин: Афины и Спарта не стоят у него на первом плане, заслоняя собой всю остальную Грецию. Напротив, их история введена, так сказать, в общую рамку, излагается не отдельно, не как особые отделы, под особыми рубриками, а в неразрывной и органической связи с историей всего греческого мира, с ее постепенным развитием и с точки зрения общегреческой“¹ С тех пор на русском языке не появилось ни одной общей работы по истории Греции, о которой можно было бы сказать то же самое. К сказанному можно добавить, что в отличие практически от всех общих курсов, в которых о Македонии начинают говорить лишь после воцарения Филиппа II, в работе К.Ю.Белоха история этого государства рассматривается как неотъемлемая часть общегреческой истории.

¹ Бузескул В. Указ. работа. С. 480.

Кроме отмеченного выше В.П.Бузескулом порока общих курсов древнегреческой истории, серьезный недостаток подавляющего их большинства заключается в том, что они по существу обрываются на конце Пелопоннесской войны (404 г. до н.э.). Более или менее обстоятельно рассказав об истории VII—V вв. до н.э., авторы крайне бегло касаются событий, происходивших в первые шесть десятилетий IV в. (до полного подчинения Греции власти Македонии). Так, например, в книге В.С.Сергеева „История Древней Греции“ (1948) этому периоду уделено всего-навсего двадцать страниц (с.335—355). Даже в самом обстоятельном из имеющихся у нас курсов общей истории Греции — книге Соломона Яковлевича Лурье (1891—1964) „История Греции“ (1993) этому времени посвящено 98 страниц (с.477—574). В самой последней „Истории Древней Греции“ (2006), написанной В.И.Кузициным, Т.Б.Гвоздевой, В.М.Строгецким и А.В.Стрелковым, этой эпохе уделено где-то около 25 страниц (см. с.173—204).

В результате, когда рядовой читатель в стихотворении П.Ж.Беранже „Тиран Сиракузский“ наталкивается на строки: „Как Дионисия из царства //Изгнал смельчак Тимоллеон //Тиран, пройдя чрез все мытарства //Открыл в Коринфе пансион“¹, то ему остается лишь гадать. Если о Дионисии, причем чаще всего не о младшем, который упомянут в стихах, а о старшем — его отце, он, может быть, что-нибудь и слышал, то о Тимолеоне — вряд ли. В книге С.Я.Лурье и труде четырех авторов этот крупнейший исторический деятель древнегреческого мира вообще даже не упомянут, в курсе В.С.Сергеева ему уделено четыре строки.

В труде же К.Ю.Белоха история первых шести десятилетий IV в. до н.э. составляет большую часть второго тома (с.68—355). Там, в частности, детально рассказывается о свержении Тимолеоном не только Дионисия Младшего, но всех других тиранов в греческих городах-государствах Сицилии и восстановлении там демократических порядков.

¹ Беранже П.Ж. (в пер. В.С.Курочкина). Тиран Сиракузский //Избранные песни. М., 1936. С.253.

Более обстоятельно, чем в других общих курсах, рассмотрены К.Ю.Белохом все вообще события греческой истории. На русском языке нет ни одной работы, в которой была бы столь подробно изложена и история греческой колонизации VIII—VI вв., и знаменитой Пелопоннесской войны. „Греческая история“ К.Ю.Белоха чуть ли не единственный на русском языке общий курс греческой истории, из которого можно узнать о развитии событий не только в Афинах и Спарте, но и в Милете, Византии, Мегарах, Коринфе, Сикионе, Сиракузах, Акраганте, Беотии, Фессалии, Фокиде, Арголиде, на Керкире, Эвбее, Самосе, Лесбосе и других полисах, областях и островах Греции. Из этого труда можно почерпнуть достаточно подробные сведения не только о Солоне, Писистрате, Клисфене, Перикле, Леониде, Павсании, но и о Фрасибуле, Поликрате, Кипселе, Феагене, Гелоне, Гиероне, обоих Дионисиях, Дионе, Тимолеоне, Агесилае II, Эвбуле, Хабрии, Ификрате и о многих других выдающихся деятелях древнегреческого мира.

К.Ю. Белоха часто упрекали за чрезмерно критический подход к источникам, за гиперкритицизм. Гиперкритическое отношение к источникам действительно присуще ему, но оно проявляется почти исключительно по отношению к событиям греческой истории VIII—VII вв. до н.э. Он, например, считает мифическими персонажами не только Миноса, но и законодателей: Спарты — Ликурга и италийских Локр — Залевка. К.Ю. Белох ставит под сомнение установление в 621 г. до н.э. одним из архонтов — Драконом (Драконтом) писанных законов в Афинах. Так называемое „драконово законодательство“, — утверждает он, — не что иное, как идеальная конституция афинских олигархов конца V века, которую какой-то политический писатель, ради вящей рекомендации ее, выдал за творение древнего законодателя...“¹ Что же касается VI—IV вв. то там присутствует вполне здравый критицизм, свойственный всем профессиональным историкам.

Труд К.Ю.Белоха содержит массу добротного фактиче-

¹ Белох Ю. Греческая история. Т.1. М., 2008. 267—268.

ского материала, который не устарел к нашему времени и к которому, если оставить в стороне Микенскую цивилизацию, трудно что-либо сколько бы значительное добавить. Можно соглашаться или не соглашаться с той или иной интерпретацией фактов, данной К.Ю. Белохом, но его добросовестность вряд ли может быть поставлена под сомнение. Он не делит факты на подходящие и неподходящие, а приводит, по возможности, все без исключения.

Поражает глубокое понимание автором процесса развития духовной жизни Греции. Он, например, прекрасно показывает, как в греческой религии возникает и получает развитие идея посмертного воздаяния. Автор гораздо лучше многих профессиональных историков философии прослеживает объективную логику развития античной философской и общественно-политической мысли. Очень хороши и главы, посвященные греческому искусству.

Советские историки нередко характеризовали К.Ю.Белоха как откровенного не только модернизатора, но и реакционера¹ Об одном из оснований такой его оценки — его якобы приверженности к „реакционной циклической теории“ — выше уже говорилось. Другое основание — его неприязнь к греческой демократии вообще, к Периклу в частности. К.Ю.Белох действительно критически относился, но не к демократии вообще, а к радикальной демократии, которую нередко именуют охлократией. Но одновременно он был ярким противником тирании, а также олигархических и аристократических политических режимов. Его идеалом была та умеренная демократия, которую Аристотель в своей „Политике“ называл политией. Именно поэтому он с таким восторгом описывал деятельность Тимолеона по свержению сицилийских тиранов и утверждению режима умеренной демократии в полисах этого острова. Аристотель отрицательно относился к демократии, под которой он понимал исключительно крайнюю демократию. Но никто его на этом основании не объявляет реакционером. Думаю, что и

¹ См.: Пикус Н.П. Указ. работа; Историография античной истории. М., 1980. С.146.

К.Ю.Белох ни в коей мере не заслуживает такого эпитета.

Все отмеченные выше несомненные достоинства „Греческой истории“ К.Ю.Белоха, ставящие его и сейчас в целом ряде отношений вне конкуренции на поле нашей литературы по истории античности, и побудили переиздать его и тем самым сделать его наконец-то снова доступным для общественности. Можно с большим основанием надеяться, что новое, третье по счету, русское издание этого классического труда будет полезным не только для любителей истории, но и для специалистов-историков, включая и античников.

О третьем русском издании „Греческой истории“ К.Ю.Белоха

Первые два тома первого издания „Греческая история“ К.Ю.Белоха, появившиеся в Германии соответственно в 1893 и 1897 гг., были переведены М.О.Гершензоном и вышли в России в 1897 и 1899 гг. М.О.Гершензоном же было подготовлено и второе русское издание, увидевшее свет в 1905 г. В отличие от первого, в нем были опущены почти все примечания автора, исключая лишь те, без которых невозможно понять основной текст (см. предисловие переводчика ко второму изданию). Именно это издание и положено в основу данного, третьего по счету, русского издания. Перевод в целом сделан прекрасно. Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) — известный историк литературы и общественной мысли, публицист (в частности, один из участников сборника „Вехи“), не только в совершенстве знал немецкий язык, но и реалии, о которых шла речь в труде К.Ю.Белоха. Его перу принадлежит несколько работ, посвященных сюжетам из древнегреческой истории. Тем не менее несколько мест при подготовке данного издания пришлось сверить с немецким оригиналом и несколько отредактировать. Проведена определенная стилистическая правка. Исправлены прямые ошибки и опечатки. Так, например, один из семи мудрецов — Биант из Приены назван Биасом, Киаксар — Киксаром, Семонид из Аморга — Симонидом, гора Парнет на границе Беотии и Аттики в одном из мест работы названа Парнасом, который находится намного севернее, в других местах — Парнесом и нигде правильно. В одном из мест граждане Сиракуз названы сикелами.

В одном из мест работы время существования эгейско-критской культуры именуется медным веком (Kupferzeit), в действительности она принадлежит к бронзовому веку. В нескольких местах и немецкого оригинала, и русского перевода говорится о возникшем в 378—338 гг. до н.э. Третьем Афинском морском союзе. В литературе его принято назы-

вать Вторым Афинским морским союзом. К некоторым местам книги редактором настоящего издания даны примечания, они отмечены — Ред. 2008.

Названия многих сочинений античных авторов давались в старых изданиях лишь по-гречески, в новом издании они приведены в русском переводе. В тех случаях, когда в прежних изданиях названия античных работ давались по-русски, они часто расходились с принятыми в современной отечественной науке. Труд Аристотеля, который переводчик именуется „Об афинском государстве“, давно уже принято называть „Афинской политией“ „Афинской политией“ обычно именуется у нас и приписываемое Ксенофону сочинение неизвестного автора, которое в старом издании выступает как трактат „О государстве афинском“ Труд Аристотеля, который в старом издании именуется „Зоологией“, у нас принято называть „Историей животных“ Сочинения Платона, которые названы М.О.Гершензоном „О государстве“ и „О законах“, известны у нас как „Государство“ и „Законы“

Первые два издания содержали немалое число греческих слов, данных в оригинале. В новом издании там, где эти слова давались в скобках после раскрытия их значения, они в большинстве своем опущены. В случаях, когда эти слова вкраплены прямо в текст и/или широко применяются в качестве терминов в исторической и иной литературе на русском языке (например, мноиты, войкеи, ойкумена, эйдос, апейрон и т.п.) они приведены, но в русской транскрипции. В старом издании, помимо греческих, встречалось много и других иноязычных слов и выражений, чаще всего латинских. Все они сохранены, но с добавлением в скобках их перевода на русский язык.

В труде фигурирует множество монархов, носящих одно и то же имя, без дальнейших уточнений. В новом издании при первом упоминании они обязательно даются так, как принято в исторической литературе: Артаксеркс II, Дарий II, Архидам III и т.п. Персидский царь Артаксеркс III Ох во многих местах назван только Охом, причем это относится и к немецкому оригиналу. В данном издании он именуется Артаксерксом III Охом или просто Артаксерксом.

Определенные сложности возникли с терминологией. Во втором русском издании существовал значительный разрыв в написании одних и тех же собственных имен, географических, этнических и иных названий. Буквально рядом соседствовали: Арей и Арес, Ахиллес и Ахилл, Геркулес и Геракл, Анакреон и Анакреонт, Ибик и Ивик, Птоломей и Птолемей, Аргинузские острова и Аргинусские острова (Аргинусы), Геликарнасс и Геликарнас, Мессалия и Массалия, Пзания и Пеания, Пиэрия и Пиерия, Сунион и Суний, Тенарон и Тенар, беотяне и беотийцы, доряне и дорийцы, дорический и дорийский, ионяне и ионийцы, ионический и ионийский, лидяне и лидийцы, локры (жители Озольской, Опунтской и Эпикнемидской Локриды на Балканах и Локр Эпизефирских в Италии) и локрийцы, мегаряне и мегарцы, мессяне и мессенцы, милетяне и милетцы, тегеаты и тегейцы, фивяне и фиванцы, фокийцы и фокейцы, халкидяне и халкидцы, эвбеяне и эвбейцы, этоляне и этолийцы, аргивский и аргосский. В новом издании проведена унификация имен и названий. Из конкурирующих написаний избраны те, что преобладают в современной литературе: Арес, Ахилл, Геракл, Анакреонт, Ивик, Птолемей, Аргинусские острова, Геликарнас, Массалия, Пиерия, Пеания, Суний, Тенар, беотийцы, дорийцы, ионийцы, дорийский, ионийский, лидийцы, локрийцы, мегарцы, милетцы, тегейцы, фиванцы, фокейцы, халкидцы, эвбейцы, этолийцы, аргосский.

Проведена замена всех вообще написаний имен, названий, обозначений социальных групп на более, а нередко единственно принятые сейчас в отечественной науке: Аммон — Амон, Ате — Ананке, Иасон — Ясон, Радаманф — Радамант, Сисиф — Сизиф, Фесей — Тесей, Фесейон — Тесейон, Эрехфей — Эрехтей, Эрехфейон — Эрехтейон, Ахеронт — Ахерон, цербер — кербер, циклопы — киклопы, феогония — теогония, феаки — феакийцы, Агасеполис — Агасепол, Амазис — Амасис, Акорит — Ахорис, Арсес — Арс, Ассаргаддон — Асархаддон, Ассурбанипал — Ашшурбанипал, Багоас — Багой, Гиппонакс — Гиппонакт, Клеофон — Клеофонт, Котис — Котий, Леон — Леонт, Мавсолл — Мавсол, Мазэй — Мазей, Мегабит — Мегабиз, Мифрин — Мифрен,

Орэт — Орет, Панэтий — Панетий, Плейстоанакс — Плистоанакт, Плейстрах — Плистрах, Рамзес — Рамсес, Севф — Севт, Тах — Тахос, Фалэк — Фалек, Феопомп — Теопомп, Теофраст — Теофраст; Эврипид — Еврипид, Эсоп — Эзоп, Акрокераунские горы — Акрокеравнские (Керавнские) горы, Арахф — Аратф, Босфор — Боспор (соответственно: босфорский — боспорский), Геркулесовы столбы — Геракловы столбы, Гиссарлик — Гиссарлык, Гипазис — Гипанис, Енипей — Энипей, Иасос — Ясос, Имбр — Имброс, Исфм — Истм (соответственно: исфмийский — истмийский), Ифака — Итака, Ифома — Истома, Корцира — Керкира, Мэотида — Меотида, Нотион — Нотий, Пагасийский залив — Пагаситский залив, Пахинон — Пахин, Пепареф — Пепарефос, Фегей — Тегей, Циклады — Киклады, Эйра — Ира, Абдера — Абдеры, Амфиполис — Амфиполь, Герионида — Герионеида, Гереон-Тейхос — Гиерон-Тейхос, Гиппофонтис — Гиппотонтида, Гистизотида — Гистеотида, Даскилейон — Даскилий, Каллиполис — Каллиполь, Киернион — Киер, Кумы (в Эолии) — Кима, Мефона — Метона; Ореос — Орей, Пелиннейон — Пелинней, Перрэбия — Перребия (соответственно: перрэбы — перребы), Приэна — Приена, Пэония — Пеония, Фалерон — Фалер, Ффия — Фтия, Ффиотида — Фтиотида; Хрисополис — Хрисополь, Эгоспотамос — Эгоспотамы, Эоантис — Эоантида, Эолида — Эолия, аргивяне — аргосцы, аркадяне — аркадцы, ассирияне — ассирийцы, афаманы — афаманцы, корциряне — керкирцы, мессапийцы — мессапы, мидяне — мидийцы; мионяне — мионийцы, мисяне — мисийцы, пеоняне — пеонийцы, регинцы — регийцы (соответственно: регинский — регийский), руку — лукка, сидоняне — сидонцы, сиракузяне — сиракузцы, тавлантйцы — тавлантии, финикяне — финикийцы, ффиоты — фтиотийцы, шакаруша — шакалуша, эдоняне — эдонийцы, энианы — энианцы, эоляне — эолийцы, эпироты — эпирцы, гелоты — илоты, метэки — метеки, пельтасты — пелтасты, феорикон — теорикон, синойкисм — синойкизм, пентализм — пентализм, гексаметр — гекзаметр, гиероглифы — иероглифы, гамафские гиероглифы — хаматские иероглифы (надписи на камнях, найденные в Хамате, на севере Сирии), сек-

сагезимальная система — шестидесятиричная система, брахицефалы — брахикефалы, противоаристократический — антиаристократический.

Однако все это относится только к именам и названиям, более или менее часто встречающимся в работах на русском языке. Но в труде К.Ю.Белоха немало имен и названий, которые крайне редко или почти совсем не попадают в отечественной литературе, и поэтому в ней не выработалась традиция их передачи в тексте на русском языке. Все они приведены в том виде, в каком они содержатся в переводе М.О.Гершензона.

Довольно небрежно были оформлены подстрочные сноски, особенно ссылки на источники. При указании на русские переводы нередко отсутствовали данные о месте и годе издания и не приводились страницы. В новом издании все ссылки проверены и приведены по возможности в порядок. При ссылках на „Илиаду“ ее песни обозначаются не буквами греческого алфавита, как в немецком оригинале и переводе М.О. Гершензона, а римскими цифрами, как это повсеместно принято в отечественной научной литературе.

И, последнее, в новом русском издании труду К.Ю.Белоха возвращено название немецкого оригинала — „Греческая история“

В заключение хочу выразить признательность молодому, но уже известному исследователю античного мира доктору исторических наук Игорю Евгеньевичу Сурикову за помощь, оказанную при подготовке данного издания.

Ю.И.Семенов

ПРЕДИСЛОВИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

К первому изданию

Среди новейших общих работ по истории Греции книга К.Ю.Белоха представляет, без сомнения, самое оригинальное явление. Греческая история не имела своего Нибура; те точные методы исследования, которыми римская история пользуется уже более полувека, только на наших глазах начинают проникать в историографию Греции. Критический пересмотр традиции, там почти законченный, здесь едва начат; поэтому неудивительно, что в то время, как в области римской истории последнее десятилетие не отмечено ни одной новой работой общего характера, греческая историография именно в последние шесть лет обогатилась целым рядом подобных трудов — И.Эббота, К.Ю.Белоха, А.Гольма, Э.Мейера и др. Общие отличительные черты всех этих произведений — недоверие к традиции и ее источникам и стремление применить к изучению греческой истории те научные приемы, которые выработаны новейшей историографией в других ее областях; каждый из авторов задается целью изложить только то, „что мы действительно знаем“ Эти принципы нигде не были проведены с такой строгой последовательностью, как в книге Белоха. Правда, он несвободен от увлечений. Осторожность часто переходит у него в недоверие, скептицизм в подозрительность; отвергая старые гипотезы, как недостаточно обоснованные, он нередко заменяет их иными, если не более произвольными, то и не более убедительными. Таково его отношение к хронологии греческой истории, к достоверности показаний позднейших авторов (например, Аристотеля в „Афинской политике“), его гипотезы о микенской культуре, переселении дорян и проч. Тем не менее, с методологической стороны его „История Греции“ более всякой другой удовлетворяет требованиям современной науки.

Она удовлетворяет им еще более в другом отношении. Глубокий переворот, совершающийся теперь в области ис-

торического знания вообще, неизбежно должен был отразиться и на греческой историографии. И здесь, как в истории Средних веков и Нового времени, на первый план должно было выступить изучение социальных и экономических явлений, т.е. именно той стороны греческой истории, на которую обе предшествующие школы — политическая с Дж.Гротом во главе и культурная во главе с Э.Курциусом — обращали меньше всего внимания. Между учеными, наиболее потрудившимися в этой области, К.Ю.Белоху принадлежит одно из первых мест, и те главы его книги, которые посвящены экономическому развитию Греции, представляют собою, может быть, лучшее, что есть по этим вопросам в литературе.

Эти два соображения побудили нас перевести труд Белоха на русский язык.

Что касается транскрипции греческих имен и названий, то в нашей литературе, к сожалению, до сих пор не установлено на этот счет никаких точных правил. У нас господствует двоякая транскрипция — обиходная и научная, и при переводе научно-популярного сочинения вроде книги Белоха приходится избирать средний путь, не всегда обеспечивающий от колебаний и произвола.

Цитаты из „Илиады“ приведены по переводу Н.М.Минского (М., 1896).

Ко второму изданию

Существенным отличием второго издания книги К.Ю.Белоха является то, что в нем опущены все примечания, исключая немногих, необходимых для полного уяснения текста. К этому нас побудили следующие соображения. Примечания Белоха представляют собою ученый аппарат в самом строгом и специальном смысле слова: это — либо голые ссылки на источники, либо детальное обоснование (большею частью в полемической форме) содержащихся в тексте утверждений. Для среднего образованного читателя этот аппарат излишен; студент же, специально интересую-

щийся спорными вопросами греческой истории, легко найдет первое издание этой книги, снабженное всеми примечаниями, в университетской, как и в любой общественной библиотеке. Опуская примечания, для обыкновенного читателя досадно пестрящие текст, мы вместе с тем достигаем значительного удешевления книги, так как объем ее сокращается на пятую часть.

Нами руководило еще и другое соображение. В целом „История Греции“ Белоха стоит и сейчас на уровне современной науки. Устарели в ней преимущественно первые две главы I тома, потому что обширные раскопки, произведенные в течение тех 11 лет, которые протекли со времени выхода в свет немецкого подлинника этого тома, заставили во многом изменить старые гипотезы об этнографическом составе доэллинических обитателей страны, о месте и времени образования диалектов, о доисторических передвижениях греческих племен, об источниках и хронологических пределах микенской культуры и проч. Но и в этих двух главах, а в остальных частях книги уже безусловно, устарели главным образом именно примечания, и дать их теперь в их старом виде значило бы ввести начинающего специалиста подчас в серьезные ошибки. Внести же в книгу все необходимые теперь поправки — огромный труд, которого не мог предпринять для этого издания ни автор, ни тем менее, уже по малой своей компетентности, переводчик. Таким образом, и по существу, и формально представлялось наиболее разумным отказаться от перепечатки примечаний.

Текст перевода, если не считать стилистических поправок, остался неизменным.

М.Г.

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДАНИЕ

Исторический интерес есть плод культурного развития. Первобытный человек живет только настоящим; его еще не тревожит вопрос о том, каковы были судьбы его племени в прежние времена, а если подобный вопрос и возникает в нем иногда, он отвечает на него так же произвольно, как на вопрос о причине того или другого явления природы. Поэтому дикие и полудивилизованные народы совершенно лишены исторических преданий в точном смысле этого слова.

Каковы были исторические представления греков в глубокой древности, это лучше всего показывают генеалогические предания знатных семейств. В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков. Все эти родословные восходили до богов, но списка человеческих предков нигде нельзя проследить дальше X века. Так, обе спартанские династии насчитывали от персидских войн до героев-эпонимов Агиса и Эврипонта, т.е. за период приблизительно в четыре столетия, одна 12, другая 13 членов, исключая самих эпонимов, причем ближайшие преемники последних, подобно им самим, вероятно, относятся к области мифа, так что действительное историческое предание восходило здесь, по-видимому, не дальше начала VIII столетия. Такой же характер носили родовые записи знати малоазиатских колоний. Историк Гекатей из Милета, писавший около 500 г. до Р.Х., называл себя потомком бога в 16-м поколении; следовательно, его первый человеческий предок должен был жить в X веке. Но и в эту родословную были, вероятно, зачтены эпоним рода и, может быть, также некоторые другие мифические предки. Великий врач Гиппократ из Коса, родившийся около 460 г., насчитывал 18 предков до Асклепия; так как последний и сын его Подалирий —

мифические лица, то в лучшем случае остаются только 16 исторических предков. Значит, и в этом роде воспоминания не шли дальше 1000 г. Притом, всякое подобное генеалогическое предание в своей древнейшей части совершенно бесцветно; оно дает одни голые имена, и ничего более. Достаточно бросить взгляд на подвиги, которые приписываются спартанским царям, жившим до Телекла и Теопомпа, чтобы тотчас заметить, что мы имеем здесь дело не с историей и даже не с легендой, а просто с позднейшим вымыслом.

Правда, рядом с генеалогическим преданием существует и поэтическое предание — героическая песнь. Но певцы нисколько не интересуются той исторической связью, в которой совершались воспеваемые ими доблестные подвиги; мало того — обыкновенно они лишены даже способности различать, что было раньше, что — позже. В самом деле, какие известия об Одоакре и Теодорихе сообщает нам „Песнь о Гильдебранте“ или что мы знали бы о великой революции, потрясшей Афины в конце VI века, если бы от того времени до нас не дошло никакого другого памятника, кроме песни о Гармодии? Но главное — то, что историческая песнь как таковая большею частью недолговечна. Уже древний Гомер знал, что слушатели постоянно требуют новых рассказов; поэтому греческая героическая песнь доисторической эпохи исчезла очень рано, и притом так бесследно, что до нас почти не дошло известий о ней, и мы заключаем о ее существовании главным образом на основании аналогии в истории развития других литератур.

Историческая песнь составляет, правда, лишь один из элементов народного эпоса, но она нераздельно сливается в нем с другими составными частями — с религиозными мифами и свободными созданиями поэтической фантазии. В глазах певца весь легендарный материал представляет однородную массу, которою он, в известных границах, считает себя вправе распоряжаться по своему произволу. Какая критика отважилась бы выделять крупницы исторической правды из нашей „Песни о Нибелунгах“ или из французского рыцарского эпоса, если бы до нас не дошли, кроме поэтических, еще и документальные свидетельства? А так как от

эпохи, в которую складывался греческий эпос, не сохранилось никаких письменных памятников, то все попытки выделить историческое ядро „Илиады“ или „Фиваиды“ остаются пустыми предположениями, на место которых с равным правом можно поставить противоположные гипотезы. Конечно, верить можно всему, чему угодно; но тот, кто считает поход „семи против Фив“ историческим фактом, должен, оставаясь последовательным, признать за действительное событие и поход бургундов против столицы Этцеля.

Все, что было сказано об эпосе, применимо — притом, конечно, еще в большей степени — и к остальным сказаниям, с которыми мы знакомимся только по позднейшим источникам и которые отчасти возникли уже под влиянием эпоса. Для реконструкции древнейшей истории подобные мифы ничего не дают.¹ В области римской истории этого не отрицал, со времен Нибура, ни один серьезный исследователь; пора бы нам применить этот вывод и к греческой историографии.

Но эпос является первоклассным источником для изучения политической, хозяйственной и духовной жизни греков в доисторическую эпоху. Однако этим источником надо пользоваться осторожно. „Илиада“ и „Одиссея“, в той форме, в которой они дошли до нас, составляют результат многовекового развития. Мало того, что отдельные части обеих эпопей возникли в совершенно различные эпохи, но согласно условиям эпической техники, из одной песни в другую было перенесено множество оборотов, стихов и даже целых отрывков. Из подобных повторений состоит почти половина нашей „Илиады“ и „Одиссеи“, и несомненно, что многие такие формулы были заимствованы из более древних эпических произведений. Эти особенности главным образом и составляют то, что мы называем условным эпическим стилем. Понятно, что они должны были влиять и на содержание; стремясь к чистоте слога, певцы естественно избегали упоминания о таких предметах, которые не встречались в более ранних песнях. Последовательно проводить это пра-

¹ Подробности — ниже, в V главе.

вило было, конечно, невозможно, да и сами поэты были далеки от такой педантической приверженности к старине; сплошь и рядом в их произведениях сказываются условия их собственного времени, и тем сильнее, чем дальше отстоит это время от возникновения эпического стиля. Таким образом, „Одиссея“ в общем изображает более высокую ступень культурного развития, чем „Илиада“, и такая же разница обнаруживается между более древними и позднейшими песнями каждой из этих двух эпоей.

Наряду с эпическими произведениями, уже древность черпала сведения о доисторической культуре греков из археологических памятников, какими являются стены Микен, Тиринфа и других столиц, или гробницы вроде так называемых сокровищниц Атрея и Миния. Но ясное и живое представление о промышленности и искусстве этой отдаленной эпохи дали нам только раскопки, произведенные в течение последних двадцати лет в Трое, Микенах, Тиринфе и других местах. Многочисленные памятники, добытые этим путем, создали новую эпоху в нашем знакомстве с доисторическим бытом греков, и в изучении этого материала наука далеко еще не пришла к окончательным выводам, тем более что изо дня в день приходится отмечать все новые важные открытия. Еще более далекие перспективы, за эпоху разделения племен, открывает нам сравнительное изучение языков и религий, отчасти также сравнительная история права. Понятно, что пользование этими данными требует еще большей осмотрительности, чем пользование эпосом или археологическими памятниками.

Напротив, мы напрасно стали бы искать сведений о доисторическом прошлом греков у древних культурных наций Востока. Из финикийской литературы до нас не дошло ни одной строки, которая имела бы отношение к первоначальной истории Греции, а древнейшие места Библии, упоминающие о греках (яван), относятся к эпохе не ранее конца VII столетия. Ассирийцы также пришли в соприкосновение с греками лишь в сравнительно позднее время; поэтому мы узнаем из клинообразных надписей только то, что знали бы и без них, именно, что большую часть населения Кипра в

конце VIII века составляли греки. Правда, иероглифы сообщают о вторжениях в Египет „северных народов“¹ в эпоху девятнадцатой династии, т.е. около 1200 г. до Р.Х.; рядом с ливийцами, в точном смысле (ребу), названо также ливийское племя машауаша, и далее — народы шардана, турша, шакалуша, акайваша и лукка. Эти названия пытались отождествлять с именами сардинцев, тирренцев, сицилийцев, ахейцев и ликийцев, но единственное основание, на которое опираются эти рискованные гипотезы, есть приблизительное однозвучие имен. Несколько позже, при Рамсесе III (ок.1180—1150), Египет снова подвергнулся нападению со стороны „северных народов“, между которыми на этот раз упоминаются и данауны. Некоторые ученые видели в последних данайцев, но эта догадка остается простым предположением даже для тех, кто не считает данайцев чисто мифическим образом. Еще и авторы „Илиады“, за исключением одного позднейшего места, совершенно не знают Египта, и даже в „Телемахии“ путешествие в Египет изображается как чрезвычайно опасное предприятие. Поэтому трудно предположить, чтобы культурные народы, жившие по берегам Эгейского моря, уже в столь раннюю эпоху предпринимали военные походы в Египет, и во всяком случае ни один осторожный исследователь не будет строить исторических комбинаций на таком шатком основании.

На вопрос о времени появления письменности у греков наши предания не дают, конечно, никакого ответа, по той же причине, по которой, говоря словами Гомера, никто не может рассказать о своем рождении как очевидец. Первоначально греки, по-видимому, заимствовали у малоазиатских народов то силлабическое письмо, которое на отдаленном Кипре удержалось до времен Александра, но некогда было распространено на гораздо большем пространстве. Следовательно, греки могли познакомиться с алфавитом только после заселения Кипра, потому что невероятно, чтобы, зная алфавит уже до прибытия на этот остров, они заменили его

¹ Сейчас в литературе их принято называть „народами моря“. (Ред. 2008).

столь несовершенным письмом. Притом, ко времени принятия алфавита звук „iod“, по-видимому, уже исчез из большей части наречий, так как семитическое изображение этого звука было употреблено для обозначения гласной i. Напротив, звук „vau“ (дигамма) был еще повсюду в употреблении, чем и объясняется то обстоятельство, что для гласной и (у) пришлось создать новый знак. Таким образом, греческий язык стоял в это время приблизительно на той ступени развития, которую представляет наша „Илиада“ В эпосе письменна упоминаются только однажды, притом в таких выражениях, которые ясно показывают, что ни поэт, ни его слушатели не умели читать и со страхом смотрели на таинственные знаки, которые способны перенести выражение наших мыслей в отдаленные страны¹ Поэтому мы должны представлять себе ионийское общество IX и, может быть, даже VIII века, в общем безграмотным. Действительно, ни одна из дошедших до нас греческих надписей не восходит далее VII столетия, а древнейшие надписи на камне, время которых можно установить с полной уверенностью, относятся лишь к началу VI столетия. Точно так же почти все монеты VII века еще лишены надписи² Таким образом, едва ли можно допустить, чтобы алфавит вошел в употребление у греков раньше VIII века, хотя, разумеется, возможно, что это случилось еще в IX веке и даже несколько раньше. Впрочем, с точки зрения историографии это обстоятельство не имеет большого значения; во всяком случае несомненно, что до VII века письменность была достоянием немногих лиц и только с этого времени стала входить во всеобщее употребление³

¹ Илиада. VI. 168—170: ...в Ликию послал и недобрые дал ему знаки. Много зловещих писем на дощечке складной начертал он. И на гибель его приказал передать ее тестю“ (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М. 1896. С.95). Значит, это было действительно письмо, какие бы письменна поэт ни имел в виду —фонетические, или кипрские силлабические, или хаматские иероглифы.

² Древнейшей монетой, имеющей надпись, является, по-видимому, найденный в Галикарнасе статер Фанеса, который относится, может быть, еще к VII столетию. К последним годам этого века относятся, вероятно, и древнейшие коринфские статеры, носящие простой знак O.

³ В литературе письмо упоминается, кроме цитированного выше

Итак, уже древние не обладали ни одним письменным памятником, который восходил бы за VII или, в крайнем случае, за VIII столетие. Надписи, сделанные „кадмейским“ письмом, которые Геродот видел в храме Аполлона Исмения в Фивах, не могли быть древнее, так как были написаны на эпическом диалекте. В храме Геры в Олимпии хранился медный диск, на котором старинными письменами были изложены постановления о соблюдении божьего мира в дни празднеств: здесь упоминалось имя какого-то Ликурга, которого позже отождествляли со спартанским законодателем. Между тем последний вовсе не представляет собою исторической личности, и так как Олимпийское празднество получило известное значение только в VII веке, то и наша надпись не может относиться к более раннему времени. Многие греческие храмы обладали списками своих жрецов, восходившими до глубокой древности. Так, в Аргосе точно знали имена жриц Геры и число лет служения каждой из них, по меньшей мере, до XIII столетия. До нас дошел список жрецов Посейдона в Галикарнасе; он начинается с Теламона, сына самого бога, и здесь также чрезвычайно точно указана продолжительность службы каждого жреца. Нет надобности доказывать, что древнейшие части этих списков сочинены в позднейшее время, но где именно начинается настоящее историческое предание, — этого мы, при современном состоянии дошедшего до нас материала, не можем определить. Само по себе маловероятно, чтобы списки жрецов были более древнего происхождения, чем генеалогические предания царских и аристократических фамилий.

Имена победителей на Пифийских, Истмийских и Немейских играх начали записывать не раньше первой половины VI века; списки карнейских победителей сохранялись в Спарте, по преданию, начиная с 26-й Олимпиады (676—673 г.). Еще раньше, с 776 г., начинается список победителей на Олимпийских играх; но в своей древнейшей части, до VI века, он не опирается на одновременные записи и полу-

места „Илиады“, впервые у Архилоха, fragm. 89, т.е. в середине VII столетия.

чил свою теперешнюю форму только после 480 г. Списки магистратов-эпонимов, ввиду их огромной практической важности, принадлежат, вероятно, к древнейшим письменным памятникам; возможно поэтому, что имена спартанских эфоров действительно записывались уже с 757 г., как утверждают наши источники. В Афинах имена архонтов стали записывать приблизительно с 682 г. Точно так же в VII веке впервые начали записывать договоры, законы и т.п. Приблизительно в то же время возник, вероятно, и обычай писать на жертвенных дарах имя жертвователя и на надгробных камнях — имя покойника. Тогда же и художники начали выставлять на своих произведениях свои имена.

В то время, конечно, еще никому не приходило в голову сохранять для потомков путем письменности известия об исторических происшествиях, и позже об этом не думал в Греции ни один человек вплоть до V века¹ Письмом пользовались пока еще исключительно для практических надобностей; читающей публики еще не было, поэтому каждое произведение было рассчитано на устную декламацию и заключено в размеренную речь. Но поэзия уже не жила исключительно в мире мифов, а обращалась иногда и к интересам настоящего. Солон рассказывал о своем законодательстве, Тиртей — о мессенских войнах, Мимнерм — о борьбе ионийских городов с царями Лидии, Каллин — о набегах диких киммерийцев, Алкей — о политической борьбе в Митилене. Так постепенно рассеивается мрак, окружающий греческую древность; исторические события и лица начинают выступать из тумана легенды, и впервые становятся возможными, хотя и неточные, но близкие к истине хронологические определения, тогда как в дописьменную эпоху всякая датировка сводится, как в геологии, на „раньше“ и „позже“ Однако

¹ Хроник, какие существовали в Средние века или в Риме, у греков в древности не было, иначе до нас дошло бы известие о них. Так наз. *горой*, (*annales*), вроде того, какой впервые составил во времена Геродота Харон Лампсакский для своего родного города, а позже Гелланик и другие аттидографы для Афин, были научными работами и составлялись отчасти на основании документального материала, которым эти писатели, впрочем, не всегда пользовались правильно.

и легенда продолжала свою работу, и позднейшая греческая историография охотно черпала из этого источника, чтобы пополнять пробелы действительного исторического предания, не страшась в то же время возмещать недостающее собственными комбинациями, пока не получалось, наконец, подобие прагматического рассказа. Таким образом, наша ближайшая задача состоит в разрушении этих произвольных построений; мы должны быть довольны, если нам удастся уяснить себе по крайней мере важнейшие моменты развития, и принуждены отказаться от мысли дать настоящую историю этой эпохи, — ибо мнимое знание гораздо хуже незнания.

Сказанное сейчас в значительной степени применимо даже к истории Персидских войн. То поколение, которое сражалось у Марафона и Саламина, не оставило рассказа о своих победах; лишь следующее поколение занялось изложением этих событий с той целью, чтобы, как говорит Геродот, великие и достойные удивления подвиги греков и варваров не были забыты с течением времени. Его произведение и было почти единственным источником, из которого древние черпали сведения о Персидских войнах; главным источником является оно и для нас, сохранившись, к счастью, до нашего времени. Но Геродот писал уже в начале Пелопоннесской войны¹, а в течение полувека, протекшего со времен Дария и Ксеркса, легенда успела заткать своим цветным покровом подвиги отцов. Правда, в распоряжении Геродота были и одновременные свидетельства, вроде надписей на памятнике Победы в Дельфах или на гробнице героев, павших у Фермопил, — и он пользовался этими свидетельствами; он говорил еще со многими людьми, которые принимали участие в битвах 480 и 479 гг. на греческой и персидской стороне. Но Геродот не был способен создать из такого материала истинную историю эпохи; для этого ему недоставало прежде всего способности понимать политические явления и сведений по военному делу, а глубокая рели-

¹ Последний факт, о котором он упоминает, — отправка спартанцами посольства к персидскому царю летом 430 г.

гиозность заставляла его повсюду видеть действие сверхъестественных сил. Поэтому он изобразил нам Персидские войны не так, как они произошли в действительности, а как отразились в сознании его современников; и здесь мы опять должны удовольствоваться восстановлением основных черт.

Не в лучшем положении находится и история так называемой пентеконтаэтии, пятидесятилетнего промежутка времени от Персидских войн до Пелопоннесской. Уже Фукидид жалуется на то, что ни один из его предшественников не описал событий этой эпохи, исключая Гелланика, рассказ которого полон хронологических неточностей. Поэтому Фукидид счел необходимым предпослать своему сочинению краткий очерк развития Афинского государства со времени Персидских войн; но и этот очерк дает лишь голые факты и, вопреки ожиданиям, которые возбуждает упрек Гелланику, нередко оставляет нас в неизвестности по вопросам хронологии. Во всяком случае эти немногие главы были для древних и до сих пор остаются для нас основным источником сведений об этом времени. То, что прибавили к этим известиям позднейшие историки, имеет значение лишь постольку, поскольку они опирались на документальный материал, — а таких сообщений немного.

Лишь для эпохи Пелопоннесской войны мы имеем в „Истории“ Фукидида подробный рассказ очевидца. Конечно, мы не должны предъявлять к автору таких требований, какие предъявляем к современным нам историкам; он дает нам главным образом историю военных действий и дипломатических переговоров, а внутреннего развития государств касается лишь в тех случаях, когда оно приводило к насильственным переворотам. Поэтому он часто умалчивает о том, что для нас было бы всего важнее знать. Притом, и материал, который был в его распоряжении, представлял в своих отдельных частях далеко неодинаковую ценность, и Фукидид не всегда относился к нему в достаточной степени критически, а иногда подчинялся и чисто художественным соображениям больше, чем можно было бы желать. Тем не менее Фукидид остается для нас первоклассным источником, и ни об одном периоде греческой истории мы не осведомлены

так хорошо, как о тех 21 годах Пелопоннесской войны, которые описал этот историк. Зато его произведение уже в древности пользовалось неоспоримым авторитетом, как труд Геродота — для эпохи Персидских войн; и еще в наше время есть немало ученых, которые перед лицом Фукидида готовы отказаться от всякого самостоятельного суждения¹

Фукидиду не было суждено довести до конца свою „Историю“; она внезапно обрывается на рассказе о событиях осени 411 г. Продолжение ее дал младший современник Фукидида, Ксенофонт, в своей „Греческой истории“, доводящей рассказ до битвы при Мантине (362—361 гг.). Этот труд, стоящий во всех отношениях бесконечно ниже „Истории“ Фукидида, значительно уступает ей и в обстоятельности, потому что рассказ о событиях, наполнивших полвека, занимает у Ксенофонта столько же места, сколько Фукидид посвятил истории двадцати одного года. Притом он крайне неравномерно пользуется своим материалом, то впадая в многоречивый тон мемуаров, то сжимая свое повествование до размеров краткого очерка, умалчивает обо многих важных событиях и часто дает нам скорее историю Спарты, чем историю Греции. Но, при всех своих недостатках, „Греческая история“ все-таки имеет для нас неоценимое значение как рассказ современника. Семидесятилетний промежуток от 431 до 362 г. есть единственный продолжительный период во всей греческой истории, о котором мы имеем беспрепятственный рассказ современников.

Однако сочинения Фукидида и Ксенофонта сохранились отнюдь не ради своего содержания, а потому, что были написаны образцовым аттическим слогом. С тех пор, как эллины обратились в „ромеев“, нация потеряла всякий интерес к своему прошлому, а потребностям школы удовлетворяли краткие руководства. Поэтому погибла вся обширная исто-

¹ Спасительную реакцию против этого поклонения Фукидиду представляют сочинения Мюллера-Штрюбингса (Müller-Stübighs H.) (*Aristophanes und die historische Kritik*. Leipzig, 1873; *Thukydideische Studien*. Wien, 1881 и множество мелких статей в журналах); впрочем, иногда автор, как обыкновенно случается, заходит в своей критике дальше предположенной цели.

риографическая литература трех столетий от Филиппа до Августа; уцелел лишь труд Полибия, потому что в нем было изображено возникновение всемирного владычества римлян. Да и из этого сочинения полностью дошли до нас только первые пять книг, а остальные 35 сохранились лишь в отрывках и извлечениях. Последними мы обязаны тому обстоятельству, что Полибий очень рано сделался таким же авторитетом для истории описанной им эпохи, каким был Фукидид для истории Пелопоннесской войны. Так, например, рассказ Ливия об отношениях римлян к Греции, начиная со Второй Пунической войны, есть не что иное, как сокращенный перевод соответствующих мест Полибия; так же широко пользовались его трудом и греческие историки императорского периода — Диодор, Аппиан, Плутарх. Таким образом, все наши сведения по греческой истории за время от начала Второй Пунической войны до разрушения Коринфа основаны почти исключительно на Полибии. И в общем он вполне заслуживает своей славы, потому что он, бесспорно, занимает первое место между всеми греческими историками, сочинения которых дошли до нас, — исключая, может быть, одного Фукидида. Но современным источником, каким являются произведения Фукидида и Ксенофонта, история Полибия оказывается только отчасти. Из 73 лет, которые он описал (219—146), на его зрелый возраст пришлось лишь около половины; следовательно, для всей первой половины своего труда он должен был черпать материал у других историков. При этом он, с одной стороны, обнаруживает такую большую зависимость от них, какой нельзя было бы ожидать от столь замечательного писателя, а с другой — стремление относиться критически к своим источникам и отчасти также раболепие перед известными личностями нередко заставляют его произвольно искажать действительность.

Вообще зависимость большей части античных историков от источников, которыми они пользуются, очень велика. Греческая историография до конца сохранила на себе следы своего происхождения от эпоса; отсюда обыкновение вставлять в рассказ речи, которым не пренебрегали даже писатели вроде Фукидида или Полибия, — отсюда те фантастические

описания битв, в которых полководцы нередко играют роль гомеровских героев, — отсюда те чудеса и трогательные происшествия, о которых с такой любовью распространяются столь многие из этих историков. Если лучшие из них смотрели на эти приемы с презрением, то для большинства история все-таки была частью изящной литературы, и свою цель они видели не столько в выяснении исторической истины, сколько в том, чтобы заинтересовать читателя. Развитию этой школы сильно способствовало и риторическое направление, получившее господство в IV веке. Таким образом, содержание сплошь и рядом отходило на второй план перед формой; о тщательном анализе источников в нашем смысле не думал почти никто, и обыкновенно писатель просто списывал свой источник, большей частью еще придавая ему тенденциозную окраску. В научной обработке истории древность никогда не пошла дальше первых опытов, да и от них до нас дошли лишь обломки.

Сказанное особенно применимо, конечно, к тем руководствам по всемирной истории, которые начали появляться со времен Августа для удовлетворения потребностей „образованной“ публики. Самостоятельные исследования не входили в задачу их составителей; они довольствовались собиранием отрывков. Так написал Николай Дамасский (род. ок. 64 г. до Р.Х.) на греческом языке всеобщую историю от древнейших времен до своих дней, — огромное сочинение в 144 книги, которое, однако, погибло именно вследствие своей обширности. До нас еще дошли большие извлечения из первых семи книг, содержавших историю Греции и Востока до Кира. Такой же характер носила и „Филиппова история“ („*Historiae Philippicae*“) Помпея Трога из Нарбонской Галлии, который жил около этого же времени и писал на латинском языке по греческим источникам. Из этого сочинения, кроме краткого пересказа содержания, сохранился лишь экцерпт, сделанный во II или III веке Марком Юнианом Юстином, — жалкая компиляция, которая именно поэтому много читалась во времена отцов церкви. К сожалению, и мы принуждены пользоваться этой книгой, так как для некоторых периодов греческой истории она представляет единственный

дошедший до нас связный рассказ, как, например, для эпохи до Персидских войн, и особенно для большей части III и второй половины II столетия.

Больше сохранилось от „Исторической библиотеки“ сицилийца Диодора, которая в византийское время получила большое распространение как руководство по греческой истории. Подчиняясь, по-видимому, римскому влиянию, автор избрал для своего произведения форму анналов. В основу его он положил хронологическое сочинение неизвестного автора I века до Р.Х., у которого он заимствовал списки афинских архонтов и победителей на Олимпийских играх, годы царствований, сведения о продолжительности войн и т.п. В эти рамки вставлены извлечения из исторических источников. Все это Диодор проделал со свойственной компиляторам небрежностью: события лишь изредка излагаются у него под тем самым годом, в который они случились; очень часто происшествия нескольких лет соединяются под одним годом, а иногда одно и то же событие рассказывается дважды под различными годами. Таким образом, хронологические указания Диодора заслуживают внимания только в тех случаях, когда они заимствованы из упомянутой выше хроники. Значение самых эксцерптов зависит, конечно, от достоверности источников, из которых они взяты, и надо признать, что Диодор был счастлив в выборе своих руководителей, хотя в большинстве случаев он отнюдь не опирается на первоисточники. Так, историю Персидских войн он излагает исключительно по Геродоту, историю пентеконтаэтии и Пелопоннесской войны — главным образом по Фукидиду, часто даже в сходных выражениях; немало черпал он и из „Греческой истории“ Ксенофонта. Но более точное исследование показывает, что всеми этими произведениями он пользовался не прямо, а через посредство какого-нибудь другого писателя. Для древнейшей истории греческого Востока таким посредствующим источником была всеобщая история Эфора, писавшего в эпоху Филиппа и Александра, а древняя история Сицилии заимствована из сочинения ученого историка Тимея, который жил при Агафокле и Гиероне. Для истории Александра и его преемников источником Диодора был, по-

видимому, Дурис, современник этих событий. Покорение Востока римлянами описано по Полибию, эпоха от разрушения Коринфа до Марсийской войны — преимущественно по сочинению стойка Посидония из Родоса, которое составляло продолжение „Всеобщей истории“ Полибия.

Методологические приемы Диодора лучше всего выясняются, если сравнить сохранившиеся у Фотия отрывки из сочинения Агатархида Книдского о Красном море с соответствующей частью „Исторической библиотеки“ Это сравнение показывает, что Диодор дает не более как сокращенный пересказ своего источника, хотя он и не считает нужным сообщить нам об этом обстоятельстве. В таком же отношении стоит он и к Полибию, и вообще — повсюду, где мы еще имеем возможность сравнивать Диодора с его источниками, мы приходим к тому же выводу. Это обстоятельство делает для нас его произведение самым важным из всех исторических сочинений древности, какие дошли до нас; его „Историческая библиотека“ оправдывает свое название и, по крайней мере отчасти, пополняет пробел, обнаруживающийся в наших источниках между Ксенофонтом и Полибием. Так, без Диодора мы очень мало знали бы по истории Сицилии в доримскую эпоху; ему мы обязаны тем, что Дионисий и Агафокл представляют для нас не бесплотные тени. Точно так же у Диодора мы находим единственный связный и более или менее подробный рассказ об эпохе Филиппа и войнах после смерти Александра, а для полувекового промежутка от Пелопоннесской войны до Филиппа его „Библиотека“ составляет важное дополнение к „Греческой истории“ Ксенофонта. Даже список афинских архонтов, эта основа всей греческой хронологии, дошел до нас в связном виде только у Диодора. Как важен для нас Диодор, лучше всего показывает состояние греческой историографии за тот период, для которого его описание не сохранилось, — потому что, к сожалению, и этот источник дошел до нас не вполне: за исключением немногих отрывков, вся вторая половина „Библиотеки“, обнимавшая эпоху от 300 до 60 г. до Р.Х., погибла, а из первой половины также недостает пяти книг (VI—X), обнимавших древнейшую историю Греции до похода Ксеркса.

Во всемирно-историческом повествовании роль отдельной исторической личности неминуемо умалется; между тем именно великие люди прошлого продолжали возбуждать живой интерес даже в то время, когда всякая способность к пониманию исторических явлений была давно утрачена. Правда, александрийская эпоха создала богатую биографическую литературу; но эти ученые труды уже не соответствовали извращенному умственному вкусу современного общества. И вот, на исходе первого века нашей эры Плутарх из Херонеи задался целью облечь старый материал в новые формы. Он был философом, по крайней мере в том смысле, в каком это слово понималось в его время; у него не было никаких данных, чтобы сделаться историком: легко понять, что должны представлять собою его биографии. Лучше всего характеризует его точку зрения странная мысль ставить рядом с каждым греческим героем топорного римлянина; при этом, например, Перикл попадает в компанию с Фабием Кунктатором, Алкивиад — с Кориоланом, Фемистокл — с Камиллом. Плутарх не стесняется даже поставить в параллель с освободителем Сицилии Тимолеоном — Эмилия Павла, подавившего самостоятельность Греции. Но именно это безвкусное произведение составляет главную заслугу Плутарха. Его биографии, по крайней мере греческие, имеют очень ученый вид и испещрены бесчисленными цитатами, но обыкновенно это — чужие перья. Анализ его источников часто представляет непреодолимые затруднения, там как до нас не дошло почти ничего из всей биографической литературы, которою пользовался Плутарх. Но историк древности не может предъявлять больших требований; он должен быть доволен тем, что в этих жалких компиляциях сохранилось все-таки множество драгоценных сведений, которые мы напрасно стали бы искать в наших остальных источниках!.. Мы оценим заслугу Плутарха, если сравним его с римлянином Корнелием Непотом, биографиями которого почти совершенно невозможно пользоваться.

Из всех героев древности наибольший интерес в образованном обществе возбуждал даже во времена упадка великий Александр. В царствование Клавдия ритор Квинт Кур-

ций Руф написал по-латыни на основании греческого источника историю завоевания Азии. Гораздо большее значение имеет „Анабасис Александра“ Арриана из Никомидии, писавшего в первой половине II века до Р.Х.; этот труд составлен главным образом по сочинениям двух офицеров из войска Александра, Аристубула из Кассандрии, и Птолемея, первого греческого царя Египта. А так как и Плутарх оставил нам жизнеописание Александра, и Диодор посвятил истории великого царя всю XVII книгу своей „Библиотеки“, то эта эпоха известна нам лучше, чем какой-либо другой период древней истории; впрочем, все эти сочинения, конечно, не могут вознаградить нас за утрату первоисточников.

Ввиду тесных сношений, существовавших между Грецией и Римом с начала III века, обработки римской истории должны, естественно, представлять важный источник и для истории греческого мира. Но римская анналистика республиканского периода бесследно погибла; великое произведение, в котором Ливий при Августе изложил историю своего народа, отодвинуло на задний план и обрекло на забвение все прежние работы этого рода. Таким образом, все наши сведения по древнейшей истории Рима мы получаем из вторых или третьих рук, за исключением тех немногих событий, о которых сообщают нам Полибий как очевидец, или какой-нибудь документальный памятник. Между тем, и от „Римской истории“ Ливия до нас дошла едва четвертая часть; его рассказ обрывается для нас тотчас после битвы при Пидне, и в уцелевшей части недостает целых десяти книг (XI—XX), в которых была изложена главным образом история войны с Пирром и Первой Пунической войны. Но высокий авторитет, которым пользовался Ливий в течение всего императорского периода, имел то последствие, что краткие руководства по римской истории, появлявшиеся в это время, для республиканской эпохи давали обыкновенно простые извлечения из Ливия. Так поступили Флор, Евтропий, Орозий; много пользовался Ливием и Дион Кассий, написавший в начале III века обширную историю Рима на греческом языке. Его рассказ о событиях до 68 г. перед Р.Х. утрачен, но до нас дошли большие извлечения из этой части во всемирной ис-

тории византийца Иоанна Зонары XII века.

Уже ритор Дионисий Галикарнасский, живший во времена Августа, дал греческой публике историю Рима от его основания до начала Первой Пунической войны, преимущественно по римским источникам. Но в уцелевшей части рассказ доходит только до децемвирата и, следовательно, лишь мимоходом касается событий греческой истории. Важнее для нас краткая римская история Аппиана из Александрии, II века. Это — чрезвычайно небрежный очерк, составленный, однако, по хорошим источникам; материал расположен в нем по странам, так что внутренняя связь событий большей частью утрачивается. Но как ни плоха эта книга, она представляет собою все-таки один из наших главных источников для истории царства Селевкидов и войн с Митридатом.

Все эти писатели ограничивались преимущественно изложением политической истории. Что касается экономической истории, то древность вообще не дала ни одной обработки ее; для этого ей недоставало главного условия: интереса и способности к изучению экономических явлений. Зато живейший интерес стала возбуждать к себе с IV века история духовной жизни человечества. Но и в этой области древние не пошли дальше частных исследований, ни разу не возвысившись до общей обработки предмета, а тем более — до выяснения взаимодействия между духовным и политическим развитием.

Уже Аристотель дал краткий очерк истории самой популярной из наук — философии; его ученик Теофраст посвятил тому же предмету обширное сочинение (*„Мнения физиков“*), из которого до нас дошли большие отрывки. В III веке до Р.Х. Диоген Лаэртский составил серию биографий знаменитых философов, расположенных по школам; его книга есть последний остаток громадной литературы этого рода, которая не дошла до нас. По истории других наук сохранилось очень мало связных сообщений; таковы отрывки из сочинений родосца Эвдема, ученика Аристотеля, по истории математики и астрономии, и краткий очерк истории медицины во введении к сочинению Цельса. Истории литера-

туры до нас от древности не дошло, несмотря на усердие, с которым этот предмет разрабатывался в александрийскую эпоху; здесь нашим главным источником являются скудные указания, встречающиеся в лексиконе византийца Свиды¹. Краткая история музыки сохранилась между сочинениями Плутарха. О древних исследованиях по истории искусств мы узнаем главным образом из „Естественной истории“ Плиния, частью также из путеводителя по Греции, составленного во II веке до Р.Х. Павсанием, который обращал особенное внимание на уцелевшие памятники искусства.

Однако историографические произведения дают лишь отраженный свет; они представляют нам события не в их истинном виде, а так, как эти события отражались в уме повествователей. Несчастье древней истории заключается в том, что она лишена той твердой основы, которою являются архивы для истории Средних веков и Нового времени. Тем не менее литературные источники сохранили нам довольно большое число документальных памятников по политической истории древности. Первое место между ними занимают речи, которые были произнесены в Афинском народном собрании или афинских судах, или — как речь Исократова о мире, — будучи лишь изложены в форме речи, распространялись в качестве брошюр книгопродавцами. Речь Демосфена и Эсхина в процессах о посольстве и против Ктесифона дают нам более ясное представление о положении дел в Афинах при Филиппе и Александре, чем какое бы то ни было историографическое повествование. Такую же услугу оказывает нам комедия для эпохи Пелопонесской войны. Понятно, что при пользовании подобными источниками мы ни на минуту не должны упускать из виду их субъективного характера и не должны принимать за чистую монету ни преувеличений и карикатур Аристофана, ни обвинений в низости и бесчестности, которые возводит адвокат вроде Демосфена на своих противников или на противников своих клиентов. В эту ошибку впадали прежние ученые, но иногда это

¹ Правильно: Суда — название анонимного Византийского словаря-справочника конца X в. (Ред. 2008).

случается и теперь. — Сюда относится, далее, теоретико-политическая литература греков. До нас дошла одна из древнейших попыток этого рода — трактат „Афинская политика“, ложно приписанный Ксенофону; автором этой книги был афинский олигарх из времен Пелопоннесской войны. Сам Ксенофонт оставил нам краткий очерк государственного устройства Спарты. Гораздо важнее оба больших сочинения Платона „Государство“ и „Законы“ и особенно „Политика“ Аристотеля, — первая теория политики, составленная на основании обширного индуктивного материала. К ним примыкает теперь и новооткрытый трактат „Афинская политика“, кем бы он ни был составлен — самим ли Аристотелем или кем-нибудь из его учеников по его инициативе и под его руководством. Здесь мы впервые находим подробное и связанное описание государственного строя Афин в IV столетии и, сверх того, еще краткий очерк их политической истории до восстановления демократии после падения Тридцати тиранов; и хотя для древнейшей эпохи достоверность сведений, заключающихся в этом очерке, частью очень сомнительна (как и естественно, ввиду характера источников, которыми мог располагать автор), но он сообщает нам все-таки ряд чрезвычайно важных известий, основанных на документальном материале.

Не таково отношение между документальными памятниками и историографической литературой в области истории умственной жизни. Как ни велики потери, понесенные поэтической литературой греков, — до нас дошли образцы почти всех ее родов, и притом как раз лучшие. Мы еще теперь читаем эпопеи Гомера, от каждого из трех великих трагиков сохранилось по несколько драм, а уцелевшие пьесы Аристофана знакомят нас с характером аттической комедии. В большем или меньшем числе уцелели и речи всех десяти классических ораторов Афин. Из литературы александрийской эпохи также сохранились многие выдающиеся произведения, отчасти в подлиннике, отчасти в латинских переработках. Наконец, при помощи фрагментов мы можем составить себе представление даже о большинстве утраченных памятников поэтического творчества.

В худшем положении находится история наук. Так, из греческих философов доримского времени сохранились полностью только сочинения Платона и большая часть сочинений Аристотеля; от всех остальных уцелели только отрывки, правда, очень ценные, но недостаточные для восстановления систем. Это нарушает правильность перспективы, и мы невольно преувеличиваем значение этих двух мыслителей в истории развития греческой мысли. Из медицинской литературы доримского времени до нас дошло только собрание сочинений учеников Гиппократов, из работ по зоологии — только „История животных“ Аристотеля, по ботанике — сочинения Теофраста, по минералогии — только отрывок из сочинения Теофраста „О камнях“ Несколько больше сохранилось из литературы по математике: „Элементы“ Евклида и множество сочинений Архимеда, Аполлония из Перги, Герона Александрийского и других. С исследованиями александрийских филологов мы знакомимся почти исключительно по схолиям. Из древней географической литературы уцелели лишь немногие мелкие произведения, как, например, относящееся к IV веку описание прибрежных стран так называемого Скилака из Карианды и краткая география в стихах, I века до Р.Х., приписываемая Скимносу Хиосскому. За потери в этой области отчасти вознаграждает нас сочинение Страбона из Амасии в Понте, современника Августа и Тиберия. Он не обладал большими научными сведениями и близко придерживался своих источников, особенно главного из них — Артемидора Эфесского, который за сто лет до него написал такое же сочинение, заслуженно пользовавшееся большой известностью и послужившее источником также для Плиния в географических книгах его энциклопедии. Притом „География“ Страбона полна археологических ошибок, так что, например, его описание Греции есть почти не что иное, как комментарий к гомеровскому „списку кораблей“ Но он умеет хорошо и наглядно описывать, а многочисленные исторические сведения, рассеянные в его книге, придают ей большую цену и для историографии.

Из хронографических работ древности, которые дошли до нас, древнейшей является так называемая Паросская хро-

ника — найденная на Паросе надпись 264 или 263 г. до Р.Х. Это — не лишенный ошибок краткий список важнейших событий политической и литературной истории Греции, с указанием числа лет, прошедших от каждого из них до времени составления хроники. Большое значение имеют упомянутые выше извлечения из неизвестного нам хронографа, которые Диодор положил в основание своей „Истории“ Первое хронологическое сочинение, которое дошло до нас вполне, относится уже к христианскому времени; это хроника Евсевия, епископа палестинской Кесарии. Автор задался целью согласовать библейскую хронологию со светской; свое летосчисление он начинает с рождения Авраама, а рождение Христа помещает в 2015 г. этой эры. Его книга основана исключительно на поздних источниках и имеет поэтому лишь относительное значение, но ввиду крайне неудовлетворительного состояния античной хронографии она является для нас необходимым пособием, в особенности для истории эллинистического периода. Вообще точная хронология древней истории была бы невозможна, если бы вера в связь небесных явлений с событиями человеческой жизни не побуждала античных историков тщательно отмечать все солнечные и лунные затмения, — один из немногих случаев, где суеверие оказалось для чего-нибудь полезным.

На границе между литературными и документальными памятниками стоят монеты и надписи. Из последних в начале XIX века были известны лишь немногие; еще в большом издании Бёка было приведено всего лишь около 7000 надписей, тогда как в настоящее время их число простирается до 30—40 тыс. и эта цифра с каждым днем возрастает. Наибольшее значение надписи имеют, конечно, для так называемых „древностей“, т.е. для истории права, финансов, администрации, культа и частной жизни, и относительно всех этих вопросов они произвели полный переворот в наших знаниях; но и политическая история не осталась в обиде, хотя в этой области надписи служат главным образом только для дополнения или исправления сведений, добытых иным путем.

Греческие монеты дошли до нас в большом количестве.

Их значение заключается прежде всего в том, что право чеканки было во все времена одним из главных атрибутов суверенной власти, вследствие чего монеты дают нам самые верные сведения о целом ряде государственно-правовых отношений. Далее, они очень важны и для экономической истории, так как только в них мы можем почерпнуть точные данные о господствовавших в древности системах ценности. Изображения на монетах, заимствованные в большинстве случаев из религиозного культа, составляют важное пособие при изучении греческой религии. Наконец, эти памятники дают ценный материал и для истории пластических искусств, так как мы почти всегда имеем возможность определить древность каждой уцелевшей монеты с весьма небольшим приближением.

Рядом с этими говорящими источниками чисто монументальные памятники имеют лишь второстепенное значение. Как уже было сказано, мы в значительной степени обязаны им нашими сведениями о доисторическом быте Греции; но и для исторических эпох в них содержится немало ценного материала: так, особенно могильные раскопки знакомят нас с верованиями, нравами и экономическими отношениями древних, а изучение городских развалин ставит на твердую почву наши топографические исследования и вводит нас в городскую жизнь греков. Но главное значение монументальных памятников состоит все-таки в том, что они дают нам возможность проследить развитие пластических искусств. Наиболее обильны наши источники по истории архитектуры; многие из знаменитейших строений древности вполне или отчасти стоят еще теперь, и даже там, где уцелели лишь немногие обломки, почти всегда возможна идеальная реконструкция всего здания. Впрочем, сохранившийся материал так обширен и так быстро увеличивается благодаря новым раскопкам, что сколько-нибудь удовлетворительной разработки его мы, вероятно, еще не скоро дождемся. — Из скульптурных произведений первоклассных мастеров до нас дошло, напротив, только одно: статуя Гермеса Праксителя, несравненную прелесть которой может, впрочем, вполне оценить только тот, кому удалось посетить развалины олим-

пийского святилища. Но мы имеем еще целый ряд произведений второстепенных мастеров и множество копий первоклассных произведений, оригиналы которых утрачены; а рельефные украшения храмов еще и нас непосредственно знакомят с характером работы великих художников классической и эллинской эпох. — Более всех других были подвержены влиянию времени, вследствие непрочности материала, произведения живописи, и из них, действительно, не сохранилось ни одного, которое древние могли бы назвать выдающимся; до нас дошли лишь картины, изготовленные ремесленным путем для декоративных целей. Однако и то, что сохранилось, дает нам возможность составить себе представление о ходе развития греческой живописи и понимать указания наших письменных источников. Правда, о степени гениальности знаменитых художников древности мы можем только догадываться.

Таковы дошедшие до нас источники по греческой истории. Этот материал так обширен, что в течение целого столетия его не удалось вполне разработать, и есть еще целые области, которых едва коснулось исследование. И все-таки, как скудны наши источники в сравнении с тем, что утрачено или что мы имеем в своем распоряжении для других периодов истории! Но было бы слишком опрометчиво из-за этого относиться с пренебрежением к тому, что уцелело, — тем более отчаиваться в возможности всякого истинного познания. Конечно, мы знаем о Гёте несравненно более, чем об Еврипиде, о Наполеоне — чем о Перикле или Александре, о государственном устройстве Венеции — чем о государственном устройстве Афин. Но если нам и повсюду остаются неизвестными подробности событий, если мы и принуждены отказаться от надежды раскрыть психологические мотивы, если, наконец, пробелы в наших источниках и очень велики, — основные черты исторического развития греческого народа выступают перед нами с достаточной ясностью. Мало того, мы можем видеть их тем отчетливее, что здесь не приходится иметь дело с той массой подробностей, которая так часто затрудняет наш взор при изучении более близких нам эпох. История древности похожа на ландшафт, обозревае-

мый с вершины горы; мелочи ускользают от взгляда, но тем рельефнее выступают характерные черты. Правда, кто видит движущую силу исторического развития в отдельных личностях, в „великих людях“, а не в народных массах, стремления которых воплощаются в этих героях, тот пусть лучше не прикасается к древней истории.

Но как бы мы ни относились к этим вопросам, — греческая история остается важнейшей страницей в истории человечества. Все то, за что мы еще теперь боремся, — истина, свобода, равенство, — за все это боролись уже греки. Весь путь развития, в середине которого мы теперь находимся, лежит здесь перед нами готовый и законченный; мы видим, как возникает греческая культура, как она расцветает и приносит плод и как она, в конце концов, умирает, погрузившись в мрак умственного и политического деспотизма, — и причины всех этих явлений ясно выступают перед всяким, кто умеет читать книгу истории. И греки боролись не напрасно. Вся наша новая культура основывается на греческой культуре; грекам мы обязаны всеми благами, которые делают нашу жизнь достойной жизни, — нашей наукой, нашим искусством, идеалами умственной и политической свободы. И эти блага будут существовать даже тогда, когда классическое образование в современном смысле слова исчезнет. Исследовать историю такого народа должно было бы быть одной из наших важнейших задач, даже если бы ее источники были еще гораздо более скудны. Обязанность историка — проникнуть так далеко, как позволяют находящиеся в его распоряжении средства; там, где этих средств не хватает, он должен покориться необходимости и не переступать границ, поставленных нашему познанию.

ГЛАВА I

Заселение побережья Эгейского моря

Национальная индивидуальность обуславливается главным образом языком¹ Греческий народ начал существовать лишь тогда, когда греческий язык выделился из индогерманского праязыка; поэтому первыми нашими сведениями о греческой истории мы обязаны языку. Его близкое родство с языком индусов, персов, германцев, кельтов, италиков и других народов, которых мы объединяем под общим именем индогерманцев, свидетельствует о том, что предки всех этих народов жили некогда в соседстве друг с другом на небольшом пространстве и говорили на одном и том же языке. Это заставляет предполагать — хотя отнюдь еще не доказывает, — что они принадлежали и к одному племени.

Где именно находилась родина исконного индогерманского народа, мы до сих пор не в состоянии определить. Но сравнение языков показывает, что наши предки были бродячим или полубродячим пастушеским народом, — а такой образ жизни, конечно, не мог выработаться в покрытых лесами горных местностях Южной и Западной Европы. Лишь потребность найти новые пастбища для возрастающего числа стад заставила индогерманцев проникнуть в эти области и захватывать в них все более широкие пространства, пока море или сопротивление других племен не положили, наконец, предела их наступательному движению. При этом тесная связь между отдельными частями народа неминуемо должна была исчезнуть, различия в языке и нравах становились все более глубокими, и, наконец, народ распался на множество племен, утративших всякое сознание своего прежнего единства.

Греки, если судить по данным их языка, сохраняли тесную связь с остальными индогерманцами Европы еще и в то

¹ Одного языка для этого, правда, недостаточно; негр, говорящий по-английски, далеко еще не англичанин. Хорошее определение понятия национальности дает Геродот. VIII. 144 (Геродот. История /пер. Г.А.Стратоновского. М., 1972. С.416). (См. ниже, с.98).

время, когда индусы и иранцы уже давно успели отделиться от общего ствола. Но так как страна, которую они занимали в историческое время, лежит на периферии области распространения индогерманского языка, то можно с уверенностью сказать, что и они покинули старую родину сравнительно очень рано¹ Первой страной, в которой греки поселились оседло и где они выработали свою национальную индивидуальность, была, вероятно, Фессалийская долина; отсюда они позже, по мере своего размножения, заселили горные области на западе и юге, тогда как отлив на север сдерживался напором следовавших за греками других индогерманских племен.

Таким образом, греки оказались запертыми на южной оконечности Балканского полуострова, между Эгейским и Ионическим морями, до линии, идущей от Олимпа к Акрокеравнским горам, т.е. до 40° с.ш. Эта страна занимает около 70—75 тыс. кв. км и, следовательно, по величине приблизительно равна Баварии и почти в два раза больше Швейцарии или Силезии. Она представляет плоскогорье, круто спускающееся к Средиземному морю; высшая горная вершина, которая именно благодаря этому сделалась в мифологии местопребыванием богов, — Олимп, на севере Фессалии — достигает высоты почти в 3000 м, а многие другие горы возвышаются более чем на 2000 м; таковы горные системы Пинд и Парнас в Средней Греции, Киллене и Тайгет в Пелопоннесе. Между цепями гор остается место обыкновенно лишь для тесных долин или узких низменностей у устьев рек; единственной значительной долиной полуострова является окруженный горами бассейн Фессалийского Пенея. Зато море и суша перерезывают здесь друг друга, как нигде на земном шаре; если исключить область Пинда, то на всем полуострове не найдется ни одного пункта, который отстоял бы от берега более чем на 60 км, и с каждой высокой горы видно открытое море. Вследствие этого не могли образо-

¹ Унаследованное нами от древних представление, будто греки находились в особенно близком родстве с италиками, так что составляли вместе с ними отдельную этнографическую группу, совершенно опровергнуто новейшей лингвистикой.

ваться крупные реки; даже бóльшая часть ручьев совершенно высыхает в период летнего бездождья, так что мы легко можем понять изречение греческого поэта, что вода есть лучшая из всех вещей. Таким образом, почва малопригодна для земледелия и только при упорном труде может прокормить население; такова в особенности менее плодородная восточная половина полуострова у Эгейского моря, где места, пригодные для обработки, кажутся оазисами среди обширной каменистой пустыни. Но по красоте видов Греция может поспорить даже с побережьями Средиземного моря; благородные контуры гор, склоны скал, лишенные растительности, мрачная зелень хвойных лесов, белая снежная пелена, которая бóльшую часть года покрывает высокие горы, и далеко внизу синяя гладь моря, и блеск южного солнца, разлитый над всеми этими красотами, — все вместе составляет очаровательную картину, которая неизгладимо запечатлевается в душе зрителя.

Нет сомнения, что в то время, когда греки заняли эту страну, она была еще почти вся покрыта густым девственным лесом, а ее долины заняты болотами и озерами. Еще и много веков спустя, во времена Гомера, Греция была чрезвычайно лесиста, а горные области запада и севера — Этолия, Эпир, Македония — были богаты лесом в течение всей древности. В лесах обитали лев, медведь и дикий бык, в горах — серны и дикие козы, а волк, олень и кабан водились повсюду в изобилии¹ Но и человеческих обитателей греки должны были найти на полуострове; как и повсюду в Европе, индогерманцам предшествовало более древнее население. Единственный след этих исконных жителей страны со-

¹ О фауне Древней Греции ср.: Keller O. *Thire des klassischen Alterthums in cultargesch. Beziehung*; Innsbruck, 1887. Лев водился в V веке только на Пинде и в горных областях Македонии: некоторые сказания, как напр., мифы о Немейском и Киферонском львах, показывают, что некогда они были распространены по всему полуострову. Точно так же дикий бык (в двух видах, *Bison europaeus* и *Bos priemegenius*) встречался в историческое время еще только в Македонии; в доисторический период граница его распространения лежала, по-видимому, гораздо далее к югу, так как один ручей в Эпикнемидской Локриде назывался *бычий* и Гомер несколько раз называет щит „шкурой дикого быка“.

хранился, по-видимому, в названиях некоторых местностей Греции; других следов мы не в состоянии открыть, по крайней мере при современном состоянии наших знаний, которые, впрочем, именно в этом отношении еще крайне недостаточны. Точно так же мы не можем сказать, к какому племени принадлежали эти первые обитатели Греции; по всей вероятности, они были очень малочисленны и стояли на низкой ступени развития. И действительно, греки очень рано оттеснили или поглотили их; уже древнейшие предания изображают всю страну от моря до моря занятой одной компактной массой греческого населения¹

Только по ту сторону Олимпа и Акрокеравнских гор мы встречаем народы другого племени: на западе иллирийцев, на востоке — фракийцев. От языка последних сохранились лишь немногие следы, которых, однако, вполне достаточно, чтобы уничтожить всякое сомнение в принадлежности этого народа к индогерманской группе племен. То же самое можно сказать об иллирийском языке, который, как известно, продолжает жить в современном албанском. Но если эти народы и были родственны грекам по племенному происхождению, то их наречия сильно отличались от греческого языка и греки могли объясняться с ними только через переводчиков; так же велика была разница между греческой культурой, с одной стороны, и культурой фракийцев или иллирийцев, с другой.

Греческие писатели V и IV веков обыкновенно причисляют к варварам и южных соседей фракийцев и иллирийцев — эфирцев и македонян. И действительно, при своем отдаленном положении, эти народы принимали мало участия в культурном развитии нации; здесь до поздней исторической эпохи уцелел остаток доисторической древности Греции, и мы не можем осудить афинянина времен Перикла или Демосфена, который, путешествуя по этим странам, спрашивал себя, действительно ли он еще в Греции. Древний Гесиод был менее нетерпим: он прямо называет македонян греками, и местные названия, имена лиц и уцелевшие остатки эфирот-

¹ Ниже (гл. V) мы докажем, что этих коренных обитателей нельзя отождествлять с пеласгами.

ского и македонского наречий неопровержимо доказывают, что он был прав, т.е. что македоняне и эфирцы действительно принадлежали к греческому племени. Притом, Додона не могла бы уже так рано сделаться национальным святилищем греков, если бы она лежала в варварской стране. А между эфирцами и македонянами вообще невозможно провести резкой черты в этнографическом отношении. Правда, равнина Аксия — позднейшая Нижняя Македония — была первоначально заселена фракийскими племенами и обратилась в греческую страну лишь с VII века, благодаря завоеваниям македонских царей из дома Аргеадов. Если поэтому примесь чужих элементов должна была быть здесь особенно велика, то она все-таки была не больше той, которая встречалась во многих других колониях, считавшихся, тем не менее, истинно греческими.

На своей новой родине греки, вероятно, еще долго вели бродячий или полубродячий образ жизни. Но по мере того, как население увеличивалось, недостаток земли принуждал его к более интенсивной эксплуатации почвы; земледелие все более отодвигало скотоводство на задний план, и нация оказалась прикрепленной к земле. При этом члены одного и того же рода, державшиеся вместе во время переселения, селились друг подле друга, как это наблюдается и во всех других странах, занятых индогерманцами, — в Индии, Германии, Италии и т.п. Еще в историческое время добрая четверть всех деревень Аттики называлась по именам тех родов, которыми они были основаны.

Дело в том, что у греков, как и у всех остальных индогерманских народов, господствовал родовой порядок, — без сомнения, наследие той эпохи, которая предшествовала разделению племен. Человека, не принадлежащего к такому союзу (*фратрия, фратра* и т.д.), еще Гомер представляет себе не иначе, как незаконным и безбожным¹. В основе этого порядка, по-видимому, и здесь лежало первоначально материнское право. Это доказывается тем выдающимся поло-

¹ Илиада. IX. 63—64. „Тот лишь, кто, чуждый законам, бездомным живет и безродным, междоусобную любит войну“ (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М., 1896. С.134).

жением, которое занимают родоначальницы в генеалогической традиции; а в Эпизефирских Локрах знать даже в позднее время производила себя не от родоначальников, а от благородных женщин из так называемых „ста домов“, которыми, по преданию, была основана эта колония. Такой же характер носит легенда об основании Тарента „сыновьями дев“, парфениями. Во всяком случае этот строй был оставлен очень рано. Уже в самой отдаленной древности, от которой до нас дошли сведения, принадлежность к роду обуславливалась происхождением со стороны отца; и так как с этой точки зрения легенды, возникшие на почве материнского права, казались странными позднейшим поколениям, то предание внесло в них поправку, дав в супруги каждой родоначальнице какого-нибудь бога. Таким образом, все члены рода смотрели на себя теперь как на потомков одного общего родоначальника, от которого они производили и самое имя рода; в действительности дело происходило, конечно, наоборот, т.е. мнимый основатель рода был не чем иным, как персонификацией родового имени. Происхождение со стороны матери не играло при этом никакой роли; даже в то время, когда моногамия достигла уже полного господства, сыновья наложниц и рабынь вступали в род отца наравне с законными сыновьями и — хотя в меньшей степени, чем последние — принимали участие в дележе наследства.

На существование в древности обычая похищать невесту указывали еще в позднее время некоторые свадебные обряды, особенно в консервативной Спарте, где сохранились даже остатки полиандрии. Но уже в гомеровскую эпоху повсюду господствует обычай покупать невесту. Цена соразмерялась с красотой, ловкостью в рукоделиях и искусствах и главным образом общественным положением невесты, и для девушки было честью, если жених давал ее родителям большой выкуп. Путем покупки жена переходила из рук отца во власть мужа; в случае смерти последнего его место занимал старший сын, как опекун матери. Но по отношению к взрослым сыновьям греческое право, в противоположность римскому, не признавало *patria potestas* (отцовская власть); по достижении совершеннолетия юноша становился полно-

правным, поскольку экономические отношения не обуславливали его фактической зависимости от отца.

Первоначально всякий род составлял, по-видимому, отдельное государство, если можно применить это выражение к условиям той далекой эпохи. Но по мере того, как число родичей возрастало и родственные отношения между отдельными семьями становились все менее тесными, родовая связь должна была ослабевать; род распадался на несколько частей, которые постепенно начинали смотреть на себя как на самостоятельные роды. Когда, вскоре затем, земля, прилегавшая к самой деревне, оказывалась недостаточной для прокормления жителей, то безземельные уходили в другое место, выкорчевывали лес, и поблизости старого селения возникало новое. Такая деревня сохраняла тесную связь со своей метрополией; но легко понять, что сами односельчане сближались между собой еще теснее и с течением времени начинали чувствовать себя отдельной частью государства. Таким образом, последнее распадалось на ряд крупных частей — на племена или, как говорили греки, на филы, каждая из которых содержала в себе известное число родов. Новая фила могла образоваться также в случае присоединения какого-нибудь иноплеменного соседнего поселка, или когда пришлая толпа кочевников получала разрешение поселиться на необработанном участке общинной земли.

Но и первобытный лес можно вырубить, и в стране, где так мало удобной для обработки земли, как в Греции, это должно было случиться очень скоро. Дальнейшее распространение было возможно только на счет соседей, и вот началась борьба из-за земли. Победа обыкновенно оставалась, конечно, на стороне численного большинства, т.е. на стороне обитателей тех долин, в которых обилие плодородной земли обуславливало более быстрый рост населения. Это была война всех против всех, безжалостная и беспощадная; побежденное племя стиралось с лица земли, а его землю делили между собой победители. Так, в историческое время мы находим во всей Арголиде вплоть до Мегары по ту сторону Истма, — исключая, может быть, только Гермियोны, бесплодная почва которой представляла мало привлекатель-

ного, — три филы: гиллеев, диманов и памфилов. Следовательно, народ, делившийся на эти три племена, должен был распространиться по всей области из одного центра, и, по всей вероятности, этим исходным пунктом была центральная плодородная равнина, лежащая между Микенами и Аргосом. Точно так же и население всех или большей части областей Аттики до реформы Клизфена распалось на четыре филы: гелеонтов, гоплитов, аргатов и эгикоров¹ Очень вероятно, что тот же процесс совершался и в других областях, хотя мы не имеем об этом никаких сведений.

Но как взрослый сын по греческому праву был независим от отца, так и эти древние колонии устраивали свои дела вполне самостоятельно. Каждая долина, а в больших долинах — даже каждая терраса, образовала отдельное государство, и во многих частях Греции, например в Аркадии, Ахее и Этолии, эта организация держалась долго еще и в историческое время. Поэтому древнейшие греческие названия местностей суть имена областей, как Элида, Писа, Мессена, Лакедемон, Аргос, Фтия и многие другие, сохранившиеся лишь как названия городов, подобно тому, как те же Аргос, Мессена, Элида и Лакедемон с течением времени утратили свое древнее значение в качестве областных названий и обратились в названия городов. Ввиду своеобразного устройства поверхности страны протяжение этих областей было обыкновенно очень ограничено и только в немногих случаях превышало 200—300 кв. км², из которых лишь ничтожная

¹ Те же четыре филы мы находим и в Ионии; очевидно, они существовали еще до заселения Малой Азии. Между тем синойкизм Аттики относился, без сомнения, к более позднему времени. А так как мы можем представить себе филу только как часть государства, то слова текста оказываются оправданными; притом, они подтверждаются и аналогичным примером Арголиды. Следовательно, Клизфен, игнорируя, при основании своих новых фил, местную связь, опирался на отношения, сложившиеся уже задолго до него.

² Например, все 12 или 13 областей Ахайи занимали пространство в 2300 кв. км, 18—19 областей, на которые распалась Аркадия до основания Мегалополиса, — приблизительно 4700 кв. км, Дорида у Ойты — около 200 кв. км. Приблизительно такова же была средняя величина областей Аттики, если последняя действительно распалась до синойкизма на 12 государств, как утверждает предание.

часть была удобна для земледелия. Следовательно, в ту эпоху, когда первобытная обработка земли составляла, наряду со скотоводством, единственный источник существования, население этих областных государств должно было быть очень незначительным. Так, первоначальная военная организация Спарты была рассчитана приблизительно на тысячу мужчин, способных носить оружие; между тем Лакедемон принадлежал, без сомнения, к наиболее густонаселенным областям.

Но одноплеменные соседние области не теряли сознания своего единства. Это сознание выражалось в общем почитании священных мест, куда сходились для празднеств или для совещания о делах, касавшихся культа, иногда, впрочем, в том и другом принимали участие и иноплеменные общины. Но если эти союзы и носили по существу исключительно сакральный характер и ни в чем не ограничивали самостоятельности участвовавших в них государств, то они все-таки сильно содействовали укреплению в последних чувства единства. Это вело, в свою очередь, к образованию общих племенных имен; так, например, беотийцами назывались все те, которые собирались в священной роще Посейдона у Онхеста на берегу Копайдского озера. Наконец, от этих племенных имен произошла большая часть названий местностей; это прилагательные в женском роде, как Беотия, Фессалия, Аркадия (причем подразумевается *и* или *хора*), т.е.: „беотийская, фессалийская, аркадская страна“ Племенное имя не образовалось только в тех странах, где центральная равнина получила перевес над остальными областями, например, в Элиде, Мессении, Лаконии, Арголиде; здесь название самой могущественной области служило и для обозначения всей страны.

Но до IX века областные государства Греции не соединялись в прочные политические союзы. Древнейший эпос и вообще героические сказания еще всецело проникнуты представлением о полновластной, политически изолированной от соседей областной общине с укрепленным центром — резиденцией царя, *полисом*. То же самое доказывают и уцелевшие памятники. Даже на Аргосской равнине, которая

по своим природным свойствам представляет резко ограниченное целое, мы находим рядом две столицы — Микены и Тиринф; и едва ли можно сомневаться, что Мидея, Навплия и Аргос также уже в глубокой древности были средоточиями самостоятельных государств. Агамемнон является в „Илиаде“ вождем греческого войска под Троей, но отнюдь еще не сюзереном остальных греческих царей; только тогда, когда поход против Трои стал представляться поэтам национальным предприятием, они сочли нужным снабдить Агамемнона властью, соответствующей его положению. Впрочем, весьма возможно, что до возвышения Аргоса Микенам действительно принадлежала гегемония над соседними городами, судя по тому, что храм Геры близ Микен оставался главным святилищем всей страны даже во время владычества Аргоса. Но если когда-нибудь и существовала такая Микенская держава, то она могла представлять собою только плохо сплоченный агрегат немногих областных государств¹

Сильное расчленение берегов и многочисленность островов, разбросанных по морю вблизи материка, должны были очень рано заставить обитателей греческого полуострова обратиться к морю. Правда, путешествия на запад, через открытое Ионическое море, были пока невозможны; это море сделалось доступным лишь спустя несколько столетий. Но

¹ Нас не должно вводить в заблуждение на этот счет то подавляющее впечатление, которое производят на зрителя колоссальные стены Микен и Тиринфа. Циклопические стены италийских городов, которые по величине отчасти далеко превосходят греческие, доказывают нам, что и небольшие общины были в состоянии возводить такие постройки. То же самое доказывают нураги Сардинии. В эпоху борьбы всех против всех защита от неприятельских нападений составляет самую настойчивую потребность, удовлетворению которой должны служить все наличные средства. При этом, как подтверждают специалисты, постройка „Сокровищницы Атрея“ должна была потребовать не больше затрат, чем постройка каменного дорического храма средней величины; а царские дворцы из дерева и глины стоили сравнительно очень недорого. Если во всей Греции такие обширные строения встречаются еще только в Беотии, то это свидетельствует лишь о том, что Аргосская равнина была в то время, наряду с Беотией, самой богатой и населенной частью европейской Греции, а вовсе не о том, что Микены и Тиринф представляли центры могущественных государств не только в нашем смысле, но даже с точки зрения классической эпохи.

на востоке острова тянутся непрерывной цепью вплоть до берегов Малой Азии, и мореплаватель никогда не теряет из глаз твердой земли, а с вершины Охи на Эвбее открывается свободный вид через всю поверхность Эгейского моря до Пелиннея на Хиосе. Таким образом, уже географические условия указывали здесь путь грекам, один за другим были заняты острова Эгейского моря до самых берегов Азии. Это не было переселением народов в собственном смысле слова; ни одно греческое племя не покинуло своих старых мест: уходило лишь молодое мужское поколение, которое не могло получить наделов на тесной родине или жаждало добычи и приключений¹ Как совершались эти завоевания, — мы видим из описаний „Илиады“, хотя они и относятся к гораздо более позднему времени. Греки причаливают, разбивают лагерь на берегу и отсюда опустошают окрестную местность. Небольшие поселения они берут штурмом, но для правильной осады сколько-нибудь хорошо укрепленного города им еще недостает военных знаний. В таких случаях война могла длиться годами, пока какой-нибудь случай бросал город в руки осаждающих, либо недостаток в припасах принуждал защитников покинуть родину или сдаться. Если штурм удавался, то все способные носить оружие умерщвлялись, женщины и дети обращались в рабов или, вернее, — так как греческие поселенцы обыкновенно не приводили с собой женщин, — жены побежденных становились женами победителей. Часто бывало, конечно, и так, что продолжительная осада утомляла самих осаждающих, и они уходили, не взяв города, как едва не случилось с ахейцами под Троей; тогда греки выжидали удобного времени и снова повторяли нападение, пока не достигали своей цели.

Таким образом, коренное население небольших островов, лежащих в южной части Эгейского моря, было истреблено так же бесследно, как прежде население самого полуострова. Но на обширном Крите доэллинические обитатели бы-

¹ Уже из этого можно понять, как ошибочна общепринятая гипотеза, будто толчок к этой эмиграции дали передвижения, происходившие внутри самого полуострова. Ведь и колонизация запада и севера в начале исторической эпохи была вызвана, конечно, вовсе не этими переселениями.

ли слишком многочисленны, чтобы их можно было истребить; они были обращены в крепостных (*мноиты, войкеи*), которые должны были обрабатывать землю для своих новых господ¹, а сами победители, чтобы упрочить свое положение в стране, ввели у себя строгую военную организацию. Мало того: восточная окраина острова, область Итана и Прэса, никогда не была покорена греками; население этих двух городов — „исконные критяне“, *этеокритяне*, как они называли себя — сохранило свою национальность и язык до V века. То же самое можно сказать и об „этеокарпафийцах“, обитавших на пустынном соседнем острове Карпаф. Немногие острова северной части Эгейского моря, где господствует уже суровый фракийский климат, греки заселили только в историческую эпоху; до этого времени их крайними форпостами в этом направлении были Лесбос и, может быть, Тенедос; Фасос оставался в руках варваров до VII столетия, Лемнос и Имброс — до конца VI, а гористая Самофракия, насколько нам известно, никогда не была заселена греками, хотя с течением времени, конечно, усвоила их культуру.

Относительно племенного происхождения этих коренных обитателей у нас нет никаких точных известий. Надписи на каком-то негреческом наречии, найденные недавно на Крите и Лемносе, до сих пор еще не разобраны. Очень вероятно, что острова северной части Эгейского моря были первоначально заселены с соседнего фракийского побережья. Действительно, Гомер называет жителей Лемноса синтияцами, и еще в историческое время на Среднем Стримоне сидело фракийское племя, носившее такое имя. Нельзя также сомневаться, что карийцы некогда заселяли ближайшие к ним острова, может быть, они проникли и несколько далее на запад и заняли также Крит и Киклады.

Лучше известен нам этнографический состав коренного населения Малой Азии. Обширное плоскогорье, занимающее середину полуострова, было заселено народом индогер-

¹ Из этого, конечно, не следует, что между критскими крепостными более позднего времени не было и греков; завоевание острова положило только начало крепостному праву, как случилось позже и при заселении Сицилии.

манского племени, фригийцами. Близкое родство их языка с греческим обратило на себя уже внимание древних, но, по-видимому, еще ближе стояли они к фракийцам. Поэтому можно думать, что фригийцы пришли на свою позднейшую родину с Балканского полуострова, через Босфор или Геллеспонт. Их северные соседи, вифинцы, жившие у Босфора, представляли фракийское племя, как, вероятно, и мисийцы на южном берегу Пропонтиды. Возможно, что и лидийцы находились в тесном родстве с этими племенами, но остатки лидийского языка слишком скудны, чтобы можно было прийти к какому-нибудь определенному выводу на этот счет. Об обитателях гористой юго-западной части полуострова, карийцах и ликийцах, мы до сих пор достоверно знаем только то, что они говорили на флектирующих языках, которые по своему морфологическому строению представляли большое сходство с индогерманскими; по-видимому, также карийцы и ликийцы стояли очень близко друг к другу. Но пока не будут прочитаны ликийские надписи, вопрос о том, принадлежали ли эти народы к индогерманскому племени, должен остаться открытым.

Греки также очень рано начали заселять малоазиатское побережье. В начале исторической эпохи мы находим непрерывный ряд греческих колоний вдоль западного берега полуострова от Элейского залива против Лесбоса на севере, до Иасийского залива к югу от Милета. Далее на юг, в Карию, греки заняли оба полуострова, Галикарнас и Книд, весь остальной берег оставался во власти туземцев. На севере Трояда была покорена только в VII веке. Глубже внутрь страны грекам вообще не удалось проникнуть до Александра; почти все их города лежат на берегу, во всяком случае — не дальше одного дня пути от него (около 30 км). Отсюда можно с уверенностью заключить, что греки пришли в Малую Азию с запада, через Эгейское море, притом лишь в то время, когда карийцы, лидийцы и мисийцы уже сидели на своих местах.

Греки проникли и далее на восток, вдоль южного берега полуострова. В горной Ликии удержалось туземное население, зато греки заняли плодоносную равнину Памфилии.

Здесь возникли греческие города Перга, Силлий, Аспенд и Сидя; по-видимому, очень рано были заселены и Нагид, Келендерис, Солы и Малл в Киликии. Но важнее всего то, что обширный и богатый Кипр почти всецело перешел во власть греков; коренное население удержалось только на южном берегу, в Амафунте, финикийцы — в соседнем Китионе и, может быть, также в Лапафе, в северной части острова.

Колонизация Кипра совершилась в то время, когда греки еще не познакомились с фонетическим алфавитом¹; старинный диалект, на котором кипрские греки говорили еще в IV столетии, также доказывает, что остров был заселен в очень ранний период. Западное побережье Малой Азии, как ближайшее к Греции, было заселено, вероятно, гораздо раньше². Поэтому документальных известий об этой колонизации, конечно, не могло существовать. Правда, азиатские греки никогда не забывали, что они чужеземцы в той стране, в которой живут. Так, Милет называется у Гомера карийским городом, и, рассказывая о завоевании Ахиллом „прекрасно построенного“ Лесбоса, поэт, несомненно, исходит из того представления, что в эпоху Троянской войны остров был населен еще варварами. Вообще эпос почти совершенно игнорирует греческие колонии на малоазиатском берегу и прилегающих к нему островах, несмотря на то, что он возник именно в этих колониях. Но о ближайших обстоятельствах, при которых совершилось переселение, в историческую эпоху уже ничего не было известно. Здесь не было и следа той тесной связи с родным городом, которую так усердно поддерживали греческие колонии более позднего времени; точно так же ни один из греческих городов Малой Азии не знал имени своего основателя. Таким образом, миф должен был дать то, в чем отказывало историческое предание.

Эти мифы большею частью очень прозрачны. Важную роль в них играет омонимия. Так, Эритра в Ионии была, по преданию, основана беотийской Эритрой, Фокея — фокейцами, Саламин на Кипре — одноименным островом, лежа-

¹ См. выше, с.56.

² Почему здесь употреблялся менее устаревший язык, чем на Кипре, будет объяснено ниже (с.96—97).

щим у берегов Аттики, кипрская Кериния — ахейским городом того же имени. Мыс Акамант, образующий северо-западную оконечность Кипра, получил название будто бы от сына Тесея, Акаманта, которого поэтому считали и основателем соседних Сол; позже построение этого города приписывали даже Солону. Кефея, мифического основателя одного из кипрских городов (вероятно, Керинии), без обиняков отождествляли с одноименным эфиопским царем, отцом Андромеды, и сообразно с этим полагали, что некогда на острове существовала эфиопская колония. Союзное святилище ионийцев на мысе Микале было посвящено Посейдону Геликонскому; на этом основании ионийцев выводили из Ахеи, где в Гелике также существовал знаменитый храм Посейдона. Другие сказания основывались на родословных царских домов. Так как властители Милета и большей части других ионических городов производили свой род от Нелея, которого эпос по мифологическим соображениям помещал на самой отдаленной западной окраине греческого мира — в Трифилийском Пилосе, то отсюда будто бы и была заселена Иония. Афродита Пафосская имела храм и в Тегее; из этого заключали, что Пафос был основан Агапенором и его аркадийцами во время их возвращения из-под Трои. На основании таких же соображений полагали, что остров Кос, с его храмом Асклепия, был заселен из Эпидавра или из Фессалии, где находились наиболее известные святилища бога врачебной науки. Наконец, ионийцы должны были с течением времени все более убеждаться в близком сходстве своих нравов и языка с нравами и языком обитателей Аттики, и результатом этого наблюдения было то, что на ионийские города начали смотреть как на афинские колонии. Генеалогии VI и V столетий задаются уже целью привести в согласие эти противоречивые предания. По их свидетельству, нелиды первоначально перешли из Пилоса в Аттику, здесь к ним пристали изгнанные из Ахеи ионийцы, и затем те и другие совместно двинулись в Азию. Но для нас эти противоречия легенды служат доказательством, что в историческое время ни ионийцы, ни вообще азиатские греки не имели уже никаких определенных сведений о своем переселении из Европы.

К счастью, мы другим путем можем прийти к более точным выводам. Очевидно, что распространение греков на восток должно было иметь своим исходным пунктом западное побережье Эгейского моря. И мы действительно находим в Милете, Самосе, Эфесе и Трое те самые филы, на которые до реформ Клизфена делилось население Аттики, а арголидские филы гиллеев, диманов и памфилов встречаются также на Фере, Калимне, Косе и Родосе и во многих критских городах. Итак, несомненно, что значительная часть Крита, Южные Киклады и острова, лежащие у карийского берега, были колонизированы из Арголиды, тогда как Иония или, по крайней мере большая часть ее, получила свое греческое население из Аттики. Возможно, что в этой колонизации принимали участие и выходцы из других областей Греции; так, Крит был, вероятно, заселен отчасти из соседней Лаконии, а в Ионию переселялись и эвбейцы и, может быть, также беотийцы. Действительно, рядом с упомянутыми аттическими и арголидскими филами мы находим на Крите и в малоазиатских колониях другие филы, которых не встречаем в Аттике или Арголиде. Но в общем порядок греческих племен в Азии с юга на север точно соответствует тому порядку, в котором они сидели на западном побережье Эгейского моря; поэтому очень вероятно, что города северной Ионии, Лесбос и так называемые эолийские города, лежащие уже на материке Азии, были действительно, как утверждает предание, заселены из Беотии или, по крайней мере, из той части восточного берега Греции, которая простирается к северу от Аттики. Впрочем, точно доказать это предположение невозможно, так как мы не знаем беотийских и фессалийских фил. Язык кипрских греков чрезвычайно близок к языку жителей Аркадии; следовательно, Кипр был заселен, по-видимому, из Пелопоннеса, хотя, конечно, не из самой Аркадии, лежащей внутри полуострова.

Легко понять, что греки переносили свои старые, привычные учреждения и на новые места. Здесь, как и в метрополии, каждое поселение само отвечало за себя, будучи вполне независимо от соседних городов. И здесь одноплеменные общины с течением времени соединялись в сакраль-

ные союзы. Происходившие главным образом из Арголиды колонисты островов и полуостровов вдоль карийского берега избрали своим религиозным центром храм Аполлона на Триопийском мысе близ Книда; население побережья от Милета до Фокеи и обитатели близлежащих островов, родом большею частью из Аттики, собирались в храме Геликонского Посейдона на мысе Микале; третий подобный союз образовали поселения, расположившиеся в области Нижнего Герма, от Смирнского до Элейского залива. И здесь также с течением времени выработались общие племенные названия для участников этих религиозных союзов: все, собиравшиеся на Триопийском мысе, стали называть себя дорийцами, почитатели Геликонского Посейдона — ионийцами, справлявшие свои празднества в долине Герма — золийцами¹ Но при том руководящем значении, какое азиатские греки получили с IX века как в экономической, так и в духовной области, эти племенные имена стали мало-помалу употребляться в более широком смысле. Имя ионийцев было перенесено на родственных ионийцам обитателей большей части Киклад, Эвбеи и Аттики; имя дорийцев — на население Крита и Южных Киклад, которое, как мы знаем, подобно азиатским дорийцам, принадлежало к арголидскому племени, а затем и на обитателей самой Арголиды. Точно так же и название золийцев было распространено на Лесбос и, далее, на Беотию и Фессалию. Это случилось около того времени, когда обе великие эпопеи заканчивались в своих главных частях, т.е. приблизительно в конце VIII столетия. Эпос еще не знает дорийцев в Пелопоннесе, но в одном месте „Одиссеи“ уже упоминаются дорийцы на Крите, а в одном довольно позднем месте „Илиады“ афиняне названы „иаонами“ В каталоге Гесиода, относящемся к VI веку, Дор, Эол и Ксуф называют-

¹ В самой Греции не было ни ионийцев, ни золийцев; следовательно, эти племенные названия должны были образоваться уже в Малой Азии. То же самое относится и к дорийцам. Правда, у южной подошвы Эты была область, носившая имя Дориды; но, лежа внутри полуострова, она никоим образом не могла принимать участия в заселении Малой Азии. Мы имеем здесь дело с одним из тех омонимов, которые так часто встречаются в языках, распространенных на большом пространстве. Подробности — ниже, гл. V.

ся уже сыновьями Геллена, Ион и Ахей — сыновьями Ксуфа. Следовательно, мы уже находим здесь привычное и нам деление греческого народа на три племени: дорийцев, ионийцев и эолийцев¹, к которым, в качестве четвертого племени, присоединяются ахейцы, ввиду той выдающейся роли, какую они играют в эпосе. Отставшие в культурном отношении обитатели западной части греческого полуострова были оставлены при этом в стороне; позднейшие ученые без всякого основания распространили на них имя эолийцев.

Процесс, который мы проследили, мог совершиться только в течение многих столетий. Когда он начался, когда греки пришли в ту страну, которой они дали имя, — об этом мы не можем составить себе даже предположения. Мы знаем только, что образование племен и передвижение внутри самого полуострова были уже закончены, когда греки начали заселять острова и Малую Азию; по крайней мере, в Аттике и Арголиде уже обитали в это время те же самые племена, которые мы находим здесь в историческую эпоху. Эллинизация островов Эгейского моря и западного берега Малой Азии должна была потребовать несколько столетий; не надо забывать, что одни только острова занимают поверхность почти в 18 тыс. кв. км, т.е. немногим менее Пелопоннеса. Закончился этот процесс, самое позднее, в начале первого тысячелетия до нашей эры, так как гомеровский эпос исходит из предположения, что греки уже давно живут в Малой Азии, а основная часть „Илиады“ возникла не позже VIII века, вероятно, еще в IX веке. Большая часть Кипра была заселена греками уже около 700 г., как показывают клинообразные надписи; ввиду крупных размеров острова (9599 кв. км), начало его колонизации греками приходится отнести не позже как к IX веку. Во всяком случае покорение

¹ В то время, как Ион, Дор и Ахей представляют собою не что иное, как героев-эпонимов своих племен, Эол имеет, кроме того, еще самостоятельное значение. Он является у Гомера богом ветров и, как таковой, почитался, вероятно, во многих частях Греции. Понятно, что предание должно было видеть в эолийцах древнейших обитателей этих мест. Так, по Гомеру (VI. 153 и след.), Сизиф, сын Эола, жил в Коринфе; на этом основано известие Фукидида, что город был населен эолийцами до переселения дорийцев.

Кипра должно было совершиться в то время, когда греки еще не знали алфавита и аркадийское наречие еще не начало отделяться от наречий пелопоннесского побережья. С другой стороны, едва ли можно предположить, что после заселения западного берега Малой Азии и Кипра греческая колонизация приостановилась на несколько столетий. Так как, следовательно, колонизация как Запада, так и берегов Фракии и Геллеспонта могла начаться не ранее VIII века, то острова и Малую Азию греки должны были заселить в течение второй половины второго тысячелетия до Р.Х.

Из сказанного ясно, что со времени переселения греков на Балканский полуостров в их состав вошло множество чуждых элементов. Тем не менее эта примесь была недостаточно сильна, чтобы уничтожить в их наружности следы арийского происхождения. Своих любимых героев — Ахилла, Одиссея, Менелая — Гомер изображает белокуроыми; белокуры были и спартанские девушки, которых воспевал Алкман в своих „Парфениях“, и большая часть беотиек даже в III веке. Вообще в течение всей древности светлые волосы считались признаком красоты. Это, конечно, показывает, что, по крайней мере в более позднее время, в Греции преобладал темный цвет волос, что, вероятно, еще в гораздо большей степени наблюдается и теперь; но чем объяснить это явление: влиянием ли климата или смешением рас? Черепа, добытые из древнегреческих могил, все без исключения долихоцефалические, отчасти в очень резкой форме, и имеют поразительно малую емкость, тогда как большинство современных греков — брахикефалы. Относительно роста древних греков у нас нет никаких точных сведений; современные греки не принадлежат к числу особенно рослых народов и стоят в этом отношении приблизительно на одном уровне с французами.

Подобно всем остальным индогерманским народам, древние греки были богато одарены в умственном отношении и способны к военному делу; эти свойства, вместе с благоприятными внешними обстоятельствами, и доставили им духовное, а на короткое время даже политическое господство над миром. Отличительной чертой греков является

сильно развитое эстетическое чувство, каким после них не обладал ни один народ; оно-то и сделало их поэтические и художественные произведения недостижимыми образцами для всех времен. Напротив, худшая нравственная черта их национального характера состоит в недостатке честности и уважения к данному слову; в этом отношении греки далеко уступали своим западным и восточным соседям — италикам и персам. Уже мифы прославляют воровские подвиги Гермеса; многоопытный Одиссей также не может быть назван образцом честности, а его деда по матери, Автолика, эпос даже восхваляет за то, что он был искуснее всех людей в воровстве и вероломстве. Гесиод жалуется на подкупность знатных судей, Солон — на бесчестность государственных людей в Афинах; и даже в классическую и эллинистическую эпоху в Греции было мало людей, которых деньгами нельзя было бы склонить к чему угодно. Когда надо было устранить соперника при помощи политического процесса, его почти всегда обвиняли или в подкупности, или в утайке общественного имущества, потому что почти никто не был вполне чист на руку. Эту черту, так мало гармонирующую с арийским характером, можно было бы, пожалуй, объяснить смешением греков с тем населением, которое они при своем прибытии уже застали на Балканском полуострове, тем более что тот же недостаток, и, по-видимому, еще в большей степени, мы находим у карийцев. Это предположение подтверждается и той дурной славою, которою пользовались критяне, так как именно на Крите примесь чуждых, неэллинических элементов была особенно велика.

Вообще черты национального характера должны были развиваться в различных областях крайне неравномерно, в зависимости от различных географических, а позже и экономических и социальных условий. Население внутренних областей, занимавшееся преимущественно скотоводством и земледелием и рассеянное по небольшим городам и селам, было, конечно, тяжеловеснее и консервативнее, чем обитатели оживленного побережья. Этим объясняется, например, разница между подвижными афинянами и их беотийскими соседями, тупость которых вошла в пословицу. Как мало

такие различия зависят от племенного происхождения, показывает сравнение консервативных пелопоннесцев с их колонистами в Сицилии, которые по гибкости ума не уступали афинянам. Эти условия сильно способствовали выработке и развитию самой пагубной черты греческого национального характера — партикуляризма.

Далее, то обстоятельство, что вся страна изрезана горами и заливами, сильно затрудняющими сообщение между отдельными ее частями, имело последствием распадение греческого языка на целый ряд диалектов; едва ли еще где-нибудь можно найти на таком небольшом пространстве так много разнородных наречий. Этот процесс должен был в главных чертах закончиться еще до того времени, когда греки заселили берега Сицилии и Пропонтиды, потому что каждая из основанных здесь колоний употребляла наречие своего родного города. Напротив, в то время, когда колонизировались западный берег Малой Азии и Кипр, образование диалектов было еще в полном ходу. В самом деле, кипрское наречие обнаруживает самое тесное родство с аркадийским, а так как Кипр не мог быть заселен из Аркадии, лежащей внутри материка, то очевидно, что некогда на восточном или южном берегу Пелопоннеса господствовал диалект, стоявший очень близко к позднему аркадийско-кипрскому. В замкнутой среди гор Аркадии и на дальних островах это старинное наречие осталось сравнительно чистым; на берегах Пелопоннеса, под влиянием сношений с греками из других областей, оно смягчилось и изменилось. Таким образом, здесь выработалось два новых диалекта — арголидский и лаконский, которые, возникнув на одной и той же основе, были, конечно, чрезвычайно сходны между собой, но все-таки не настолько, чтобы их можно было соединять под именем единого, „дорийского“ диалекта. Благодаря спартанскому завоеванию в VIII веке, если не раньше, лаконское наречие распространилось и в Мессении, тогда как арголидские колонии на островах и полуостровах вдоль карийского берега усвоили диалект своей метрополии. Напротив, язык обширного Крита продолжал своеобразно развиваться, хотя все еще, конечно, опираясь на диалекты южного и восточно-

го Пелопоннеса. Совершенно одичал греческий язык в изолированной Памфилии, обитатели которой тоже, по всей вероятности, пришли из Арголиды и Лаконии. Своеобразный язык выработала и бедная гаванями Элида на западном берегу Пелопоннеса, так что мы иногда только с трудом можем понять ее письменные памятники; некоторые особенности этого диалекта, как, например, ротацизм, перешли и в лаконское наречие.

От этих пелопоннесских наречий резко отделяются диалекты, господствовавшие в Аттике, на Эвбее, на Северных и Средних Кикладах и в Ионии. Вся эта область или, по крайней мере бóльшая часть ее, была занята одноплеменным населением, которое, как мы видели, пришло из Аттики. Отличительная черта этой группы языков, сравнительно с остальными греческими наречиями, состоит в замене долгого *a* долгим *e*. Так как эта особенность сильнее всего развита в Ионии, то надо думать, что она здесь впервые возникла и уже отсюда была перенесена на Киклады и в Аттику. Таким образом, и эти диалекты должны были отделиться от пелопоннесских наречий отчасти уже после заселения Малой Азии.

Киферон и Парнет, которые с севера ограничивали Аттику и говорившую по-арголидски Мегару, составляли резкую диалектическую границу. Беотия имеет свое собственное наречие, которое, сообразно географическому положению этой страны, занимает среднее место между арголидским и фессалийским, а в некоторых отношениях примыкает и к аттическому, но ни с одним из этих наречий не может быть соединено в одну группу. Даже население Лесбоса и противолежащего эолийского берега, которое, по преданию, а может быть, и действительно, пришло из Беотии, развило свой диалект настолько самостоятельно, что уклонений от беотийского в нем оказывается больше, чем сходных с ним черт. Так же изолировано наречие Фессалии, окруженной со всех сторон горными хребтами. Наконец, македонский язык удержал большое количество старинных форм, а многое заимствовал также у фракийцев и иллирийцев, у которых македоняне отняли бóльшую часть своей страны; возможно,

что самая резкая особенность македонского наречия — замена придыхательных согласных мягкими — объясняется именно влиянием этих языков.

Древнейшие диалекты горных областей северо-западной Греции нам очень малоизвестны. Мы знаем, что язык эвританов, обитавших в Средней Этолии, был почти непонятен для афинянина V века; в прибрежных областях оживленные сношения действовали на язык смягчающим образом, как показывают локрийские надписи, относящиеся к этому же или несколько более раннему времени. Культурными центрами всей этой страны были Коринф и его колонии на эпиро-акарнанском побережье; сообразно с этим, коринфское наречие так сильно повлияло на диалекты областей, лежащих между Фокидой и Эпиром, что, судя по уцелевшим надписям IV и позднейших веков, эти, так называемые „северно-дорийские“, диалекты представляют не что иное, как несколько видоизмененный арголидский. Такое же влияние и, может быть, еще в большей степени, имел Коринф по видимому, и на соседний южный берег своего залива — на Ахею, так как и здесь в историческое время господствовало наречие, очень мало разнившееся от арголидского.

Но как ни глубоки эти различия в характере и языке отдельных племен, как ни велико влияние, которое имели эти различия на весь ход греческой истории, — они ничтожны в сравнении с чертами, общими всей греческой нации и отличающими ее от всех других народов. Геродот с полным правом мог сказать, что греки составляют единокровный и единойзычный народ, что у них общие храмы и жертвоприношения и одинаковые нравы. И, несмотря на всю политическую разнь, греки очень рано сознали свое единство.

ГЛАВА II

Культура древнейшей Греции

В то время, когда началось разделение племен, наши индогерманские предки представляли полубродячий пастушеский народ¹ Их богатство состояло главным образом из рогатого скота, коз и овец; остальное имущество они везли с собой на четырехколесных повозках, запряженных волами, как мы это видим еще в историческое время у скифов и германцев. Была ли уже приручена лошадь, мы не знаем; во всяком случае она еще не употреблялась для верховой езды. К этим древнейшим домашним животным присоединилась позже свинья, прирученная, по-видимому, уже после того, как племена арийской группы отделились от своих индоевропейских родичей.

Лишь только индогерманцы перешли на лесистые пространства Средней Европы, где было меньше корма для стад, чем в обширных степях Востока, они должны были, не покидая скотоводства, обратиться и к земледелию. Названия плуга и пашни, слова „сеять“, „косить“, „молоть“ и т.п., — общи всем языкам индоевропейской группы. Возделывали пшеницу, овес, просо, лен, может быть, также горох, бобы и лук. Но все-таки земледелие носило чрезвычайно примитивный характер и рядом со скотоводством играло лишь второстепенную роль. Даже когда переселения кончились и племена заняли свои последние места, прошло еще много времени, прежде чем старые кочевые привычки совершенно исчезли. Еще в эпоху Цезаря земледелие считалось у кельтов и германцев занятием, недостойным свободного человека; да и вообще в это время наши предки едва только начали знакомиться с оседлостью и частной земельной собственностью. Что и греки некогда стояли на этой ступени развития, с удивительной проницательностью заявил уже Фукидид. „Страна, именуемая ныне Элладю, — говорит он, — заселена постоянными жителями лишь с недавнего времени, так

¹ Schrandner O. *Sprachvergleichung und Urgeschichte*. 2 Aufl. Iena, 1890.

как раньше происходили в ней переселения, и каждый народ легко покидал свою землю, будучи тесним другими обитателями, всякий раз в большем числе. Дело в том, что при отсутствии торговли и безопасных взаимных сношений на суше и на море каждый возделывал свои поля лишь настолько, чтобы пропитать себя, никто не имел средств в избытке, не засаживал деревьев, потому что не знал, когда нападет на него другой и по незащитности жилищ отнимет у него имущество; к тому же каждый рассчитывал, что везде добудет себе дневное пропитание¹

Свои орудия и оружие индогерманцы изготовляли исключительно из дерева или камня; единственный известный им металл — медь — употреблялся, по-видимому, только для украшений. С гончарным искусством они уже были знакомы, но гончарного станка не знали. Одеждой служили им, вероятно, звериные шкуры, которыми и позже нередко пользовались для прикрытия тела; но уже очень рано люди научились выделывать нитки из шерсти овец или волокон льна и из этих ниток изготовлять полотна и ткани. Эта новая одежда состояла из широкого, падавшего складками плаща, сшитого по образцу звериной шкуры. Еще во времена Тацита он составлял единственную одежду германцев; под названием „платья“ вообще этот плащ в течение всей древности оставался главной частью греческой одежды, а тога италиков также представляла не что иное, как это старое индогерманское одеяние. Древнейшим жилищем была, вероятно, повозка; при более продолжительных остановках строили из дерева и глины круглые хижины с очагом посередине, дым которого выходил в дверь. Италийские погребальные урны или храм Весты в Риме могут дать представление о такой хижине. Иногда устраивались и врытые в землю жилища, которые у фригийцев, скифов и германцев удержались до очень позднего времени.

Таково было, в отношении материальной культуры, то наследство, которое греки принесли со своей индогерман-

¹ Фукидид. История Пелопоннесской войны в восьми книгах /пер. Ф.Г.Мищенко. Т.1. М., 1887. С.36. [Фукидид. История. I. 2]

ской родины. Древнейшие археологические памятники из стран, прилегающих к Эгейскому морю, обнаруживают степень развития, во многом сходную с той, которую мы сейчас изобразили. Так, в развалинах древнейшего поселения на месте Илиона не найдено почти ни одного металлического орудия, тогда как каменные изделия встречаются во множестве. Тут же находят сосуды из грубой непромытой глины, блестящего черного или красноватого цвета, иногда украшенные геометрическим орнаментом и, большей частью, сделанные только рукою, без помощи какого-либо инструмента. Но все-таки то поколение, которому принадлежат эти памятники, сделало крупный шаг вперед сравнительно со своими индогерманскими предками: оно уже приобрело оседлость и научилось защищать свои поселения каменными стенами и возводить свои дома на каменных фундаментах.

Над остатками этого древнейшего троянского поселения лежат развалины второго города. Здесь, рядом с многочисленными каменными орудиями, оказалось множество изделий из меди, а найденные тут же формы из слюдового сланца доказывают, что металл обрабатывался на месте. Кроме того, здесь было открыто множество золотых и серебряных украшений и сосудов, в которых Шлиман видел остатки „сокровищницы Приама“

В общем культура этого „второго города“ представляет большое сходство с культурой более древних пластов; особенно глиняная утварь выделана из того же грубого материала и часто имеет ту же форму. В постройке укреплений обнаруживается уже довольно большое искусство; город окружен стеной, снабженной выступами наподобие башен, и ворота защищены чрезвычайно тщательно. Внутри находился скромный „дворец“ владыки города, состоявший из мужской комнаты с примыкающим к ней помещением для женщин. А за стенами, на равнине и на соседних холмах, еще и теперь, как во времена Гомера, возвышаются огромные могильные насыпи троянских царей — зрелище, которого не забудет никто, кому удалось переплыть „широкий Геллеспонт“

Культура, с которой мы знакомимся здесь, получила

широкое распространение. Мы находим ее остатки на Кикладских островах — в особенности на Аморге и Фере, в самой Греции — на крепостном холме в Тиринфе, под развалинами царского дворца, в Элевсине — близ Афин и в беотийском Орхомене, но главным образом — на острове Кипр. Раскопки, произведенные в этих местах, обнаружили отчасти более развитую культуру, сравнительно с троянской. Так, на Кикладах, рядом с грубыми „троянскими“ глиняными изделиями, встречаются уже сосуды из промытой глины, изготовленные на гончарном станке и украшенные цветной живописью; орнаментом служат геометрические фигуры и растения. Дальше обнаруживаются и первые начатки каменной скульптуры: мраморные сосуды со спиральным орнаментом и чрезвычайно грубые мраморные статуи обнаженной богини со скрещенными на груди руками, без сомнения, местные подражания металлическим сосудам и идолам, завезенным с Востока.

Но было бы ошибочно заключать из этих наблюдений об этнографическом единстве народов, живших на протяжении от Кипра до Трои. Культурное родство и этнографическая близость — две совершенно различные вещи; они могут совпадать, но отнюдь не в силу необходимости. Каждый народ в течение своей исторической жизни проходит ряд культурных стадий, и двигательной силой этого развития бывает обыкновенно влияние соседей. При этом высота культуры у различных племен тем легче уравнивается, чем первобытнее культурная стадия, в которой они находятся. Так, например, позже, в начале исторического периода, мы находим у греков, лидийцев, карийцев и ликийцев в общем совершенно одинаковые внешние формы общежития. Нет никаких оснований предполагать, что в доисторическое время дело обстояло иначе, раз уже начали развиваться сношения по Эгейскому морю. Итак, если народ, населявший Троаду в каменный и медный период, не принадлежал к греческому племени, — в чем, кажется, нельзя сомневаться, — то отсюда нельзя делать никакого вывода о национальности обитателей западного побережья Эгейского моря, стоявших на таком же культурном уровне, как троянцы. Напротив, ввиду

широкого распространения этой культуры на греческом полуострове едва ли можно допустить, что ее носителями были не греки. Есть веские основания думать, что греки перешли в Малую Азию именно в период этой „троянской“ культуры. В самом деле, сказание о войне из-за Елены могло локализоваться в Илионе только в такое время, когда там существовал крупный культурный центр, а таким центром был именно „второй город“, тогда как все позднейшие поселения на этом месте до эллинистической эпохи имели ничтожное значение. Далее, эту борьбу можно было локализовать в Трое лишь после того, как греки вступили в тесные сношения с областями, лежащими у Геллеспонта, а это едва ли могло случиться до заселения Малой Азии. В таком случае остатки древнейшей культуры на Кикладах, которые мы выше описали, должны быть, по крайней мере отчасти, греческого происхождения, потому что культура распространялась вдоль Средиземного моря с востока на запад и, следовательно, греки, заселяя острова и Малую Азию, ни в каком случае не могли принести с собой более высокую культуру, чем та, которую они нашли в этих местах.

Как бы то ни было, несомненно, что эгейско-кипрская культура бронзового периода находилась уже под сильным влиянием Вавилона и Египта. Отсюда были заимствованы спиральный орнамент и изображения обнаженной богини, отсюда ввезены были изделия из слоновой кости, найденные во „втором городе“ на Гиссарлыке, или по крайней мере материал, из которого они были изготовлены, наконец, от египтян греки научились, может быть, и сооружению каменных построек.

Вначале посредницей при этих сношениях была Малая Азия, которая, как огромный мост, соединяет Евфрат с Эгейским морем. В древнейшую эпоху существует только сухопутная торговля; товары переходят из рук в руки, от племени к племени, и как медленно ни совершается такого рода сообщение, оно разносит успехи цивилизации во все углы материка. Этим и объясняется то обстоятельство, что греческие колонии на западном берегу Малой Азии развились скорее, чем сама метрополия: здесь, на ионийском прибре-

жье, лежат долины Меандра и Герма, естественные пути в глубь малоазиатского полуострова и дальше — к культурным центрам Востока.

Напротив, море, как средство сообщения, долго играло второстепенную роль. Малые размеры и плохая конструкция древних судов принуждали мореплавателей часто приставать к берегу; поэтому они всегда держались как можно ближе к берегу и только в совершенно тихую погоду и в лучшее время года решались выходить в открытое море. Кроме того, они ежеминутно должны были быть наготове защищать свою жизнь против враждебных береговых жителей и морских разбойников. Таким образом, правильное морское сообщение было возможно в древности только между соседними городами; далекое путешествие предпринимал только тот, кто жаждал добычи или приключений. Даже после того, как Кипр и Памфилия были заселены греками, сношения этих колоний с их метрополией еще долгое время были очень ограничены. Эти крайние форпосты греческого мира ведут самостоятельное существование. Кипр в области искусства идет своим собственным путем, сохраняет свое древнее наречие, в противоположность всем остальным областям Греции отказывается усвоить фонетическое письмо и не принимает никакого участия в том политическом и социальном движении, которое с VIII века охватило греческий мир. И Памфилия в этом отношении немногим разнилась от Кипра.

Только финикийцы или, как они сами называли себя на своем языке, сидонцы установили прямое сообщение между Грецией и дальним Востоком. Они часто упоминаются в позднейших частях гомеровских эпосов; они являются здесь в качестве постоянных посетителей греческих гаваней, в которых остаются иногда на всю зиму. Как ловкие и не совсем честные купцы, они пользовались дурной славой у греков, но их терпели ради их товаров. В VIII и VII веках в их руках была, вероятно, большая часть торговли на Эгейском море; к этому времени относится и большинство произведений финикийской промышленности, найденных на греческой почве.

Не раньше этого времени начались и торговые сноше-

ния финикийцев с Грецией. Во всяком случае греки были, по-видимому, уже опытными мореплавателями, когда финикийцы появились на Эгейском море, потому что вся развитая морская терминология Гомера — чисто греческого происхождения или, по крайней мере, не обнаруживает никаких следов семитического влияния. Само собой разумеется, что с усовершенствованием мореплавания шло об руку постепенное заселение островов и малоазиатского побережья; следовательно, мы должны допустить, что ко времени появления финикийцев греки уже прочно основались в Малой Азии. Мало того: то обстоятельство, что имя ионийцев (яван) обратилось у восточных народов в общее название греческого народа, доказывает нам, что финикийцы вступили в постоянные сношения с греками, жившими у Эгейского моря, лишь тогда, когда Иония в экономическом отношении стояла уже во главе греческих государств¹. Даже эпос в своих древнейших частях еще ничего не знает о финикийских купцах на Эгейском море. Таким образом, правильные сношения финикийцев с Грецией начались, по-видимому, не раньше VIII столетия, хотя вполне возможно, что отдельные мореплаватели из финикийцев уже раньше доходили до берегов Греции и что финикийские изделия попадали на греческий рынок сухим путем через Малую Азию или через Кипр.

Но финикийских поселений на берегах Эгейского моря никогда не существовало. Молчание эпоса в этом отношении очень красноречиво; о финикийцах не упоминает ни троянский каталог, ни список народов, населяющих Крит (в „Одиссее“). Следовательно, в гомеровские времена на берегах Греции не было финикийских колоний и певцы ничего не знали о том, чтобы здесь когда-нибудь существовали такие поселения. Очевидно, что и позднейшие известия этого рода не могут быть основаны на каких-нибудь достоверных свидетельствах!.. Мы имеем здесь дело с мифами или, вер-

¹ Греки, без сомнения, уже гораздо раньше приходили в соприкосновение с финикийцами на Кипре; но обитатели этого острова, при своей обособленности и своеобразных нравах, должны были вначале казаться семитам особым племенем. Еще родословная потомства Ноя в Бытии не причисляет Кипра к яванам, а называет Киттима сыном Явана.

нее, с полученными комбинациями, лишенными всякого исторического основания. Особенно важную роль играл в них греческий солнечный герой Феникс („крово-красный“), который вместе со своим братом Кадмом был обращен в семита. Затем уже повсюду, где почитались эти герои, предполагали существование финикийских поселений: в Фивах, где крепость была, по преданию, построена Кадмом, на Фере, Родосе, Фасосе и других островах. Ни в одном из этих мест и вообще нигде в бассейне Эгейского моря не было найдено остатков финикийских поселений, например, некрополей, и попытки новейших ученых объяснять греческие названия мест заимствованием из финикийского языка представляют простую игру слов и не привели ни к каким положительным результатам. Вообще в древнегреческом языке было очень мало слов, заимствованных из семитических наречий.

Да и не было надобности устраивать такие поселения и вообще поддерживать прямое сообщение по морю. Раз восточная культура проложила себе путь через Малую Азию в области, окружавшие Эгейское море, она должна была, в силу своего превосходства, влиять все сильнее и сильнее. С течением времени так называемая „микенская“ культура совершенно вытеснила „троянскую“ Микены и соседний Тиринф были, действительно, одним из ее главных центров, но она распространилась и по всему восточному берегу Греции от Лаконии до Фессалии, и далее — на Крит, Родос и многие другие острова Эгейского моря до западного берега Малой Азии, а в своих крайних разветвлениях — даже до Кипра, т.е. вообще на всем пространстве, которое было населено греками в доисторическое время. Только в западных областях Балканского полуострова, которые поздно начали выходить из варварского состояния, до сих пор не найдено следов этой культуры.

От культуры каменной эпохи в это время почти уже не осталось следов. В могилах Микенского кремля еще встречаются наконечники стрел из обсидиана, но вообще оружие и орудия уже все бронзовые. Чистая медь употребляется еще только на сосуды; железо встречается только в позднейших пластах этой эпохи, да и то лишь в небольшом количестве.

Большая же часть украшений и утвари — из драгоценного металла; даже платья украшаются нашивками из золотых пластинок, и лица знатных покойников обыкновенно покрыты золотыми масками. Большие успехи сделала и керамика: материалом служит отлично промытая бледно-желтая глина, гончарный станок находится уже во всеобщем употреблении, и совершенно исчезли причудливые формы троянских сосудов. Зато вазы покрываются теперь живописью, и впервые появляется та блестящая лаковая краска, которая с этого времени остается характерным признаком греческих глиняных изделий.

Каменные постройки свидетельствуют уже о большом искусстве. Колоссальные стены, сложенные из огромных плит, окружают кремль; внутри возвышается обширный дворец со множеством комнат и с дворами, которые окружены колоннами. Для погребения умерших царей сооружаются великолепные склепы, иногда огромных размеров, как, например, знаменитая „Сокровищница Атрея“ близ Микен, самый замечательный архитектурный памятник всей этой эпохи. Об успехах декоративной скульптуры свидетельствует львиная группа, которая до сих пор возвышается при входе в Микенский кремль. Стены дворцов и сводчатые потолки склепов украшаются каменными плитами, покрытыми рельефными изображениями, но изредка появляется уже и стенная живопись, которая отчасти берет сюжеты даже из человеческой жизни.

Нет сомнения, что эта культура развилась из троянской или островной культуры. Так, Тиринфский дворец несравненно обширнее и роскошнее Троянского, но общий план обоих — один и тот же. В микенском орнаменте все еще господствуют спираль и розетка, которые мы встречаем уже в Трое, и формы растений, как на островах; к этим видам орнамента присоединяются впервые полипы и другие морские животные. Керамика Кикладских островов подготовила гончарное искусство Микен, и переход от первой ко второму совершался постепенно; например, в Элевсине в одной и той же могиле были найдены рядом микенские и троянские вазы.

С другой стороны, как уже было упомянуто, микенская культура находится под сильным влиянием Востока. В культурных центрах этого периода было найдено множество предметов, несомненно, восточного происхождения: изделия из плавикового шпата, из египетского фарфора, из слоновой кости, египетские скарабеи; в одной из микенских могил нашли даже страусовое яйцо. Металлические вещи также частью ввезены с Востока, частью, по крайней мере, изготовлены по восточным образцам; это доказывается как совершенством техники, так и характером находящихся на них изображений, между которыми главное место занимают листья лотоса, пальмы, папируса и восточные животные, как газель и лев. Глиняные сосуды микенского стиля были недавно найдены в Египте, в пластах, относящихся, по видимому, ко времени от конца XVIII до начала XX династии, т.е. приблизительно от середины XIV до середины XII столетия. Следовательно, и микенская керамика находится в зависимости от восточных образцов, ибо невероятно, чтобы уже в столь раннее время из полуварварской Греции ввозились вазы в Египет. Где именно выработался этот микенский стиль, до сих пор неизвестно. Есть основания думать, что его родиной была северная Сирия, но определенное решение этого вопроса сделается возможным только тогда, когда будут исследованы в археологическом отношении области Передней Азии.

Культура, с которою мы знакомимся по гомеровским песням, находится в ближайшем родстве с микенской. Дворец Тиринфа до мельчайших подробностей похож на царские дворцы, изображенные в эпосе. В одной из микенских могил была найдена, можно сказать, модель золотого кубка Нестора, описанного в „Илиаде“ Мозаику из разноцветных металлов, какую мы видим на микенских клинках, знает и Гомер, тогда как позже эта отрасль искусства была оставлена. Микенские цари, совершенно так же, как гомеровские герои, сражались на боевых колесницах. Наконец, важнейшими городами Греции являются у Гомера как раз главные центры микенской культуры: Спарта, „богатые золотом“ Микены, „минийский“ Орхомен, — и это тем замечательнее,

что в историческое время Микены и Орхомен имели ничтожное значение.

Правда, начало и, вероятно, даже расцвет микенского культурного периода предшествовали возникновению наших эпосов. Каменные наконечники стрел, которые изредка еще встречаются в Микенах, у Гомера уже не упоминаются, зато эпос изображает уже переход от бронзового века к железному, тогда как в Микенах, как мы видели, железо появляется только в верхних слоях. Однако и у Гомера железо чаще упоминается только в „Одиссее“ и в позднейших песнях „Илиады“, в древнейших же песнях „Илиады“ о нем говорится сравнительно редко и, кажется, только в таких местах, которые не принадлежат к первоначальной редакции. Во всяком случае бронза или медь встречаются у Гомера в эпитетах и в эпических формулах несчетное число раз, железо — почти никогда: верный признак, что в эпоху выработки эпического стиля греки еще не знали употребления этого металла. Итак, в этом отношении они переживали тогда ранний период микенской культуры, тогда как древнейшие песни „Илиады“ изображают стадию развития, соответствующую второй половине того же культурного периода.

Гомеровские герои носят полное металлическое вооружение: шлем, панцирь, поножи и щит. Притом, это вооружение было уже усвоено азиатскими греками в то время, когда складывался эпический стиль, потому что уже в древнейших песнях „Илиады“ идет речь о „закованных в латы“ и „прекрасно-поножных“ ахейцах. Было ли оно изобретено самими греками или одним из народов западной части Малой Азии, например карийцами, — мы не знаем; во всяком случае „всеоружие“ составляет характеристическую особенность культурных народов, живших в бассейне Эгейского моря, и ему они главным образом обязаны своим военным превосходством над народами Востока.

В европейскую Грецию металлическое вооружение проникло довольно поздно. В гомеровскую эпоху локрийцы еще не употребляли его, а этолийцы сражались в легком вооружении даже в V веке. В Арголиде холщовый панцирь был, по-видимому, во всеобщем употреблении еще в VII и,

может быть, даже в начале VI века; остатки такого панциря были найдены в одной из могил Микенского кремля, между тем как металлическое оборонительное оружие совершенно отсутствует в могилах микенского периода. Вполне возможно, конечно, что причину этого явления надо искать в погребальных обрядах и в обычае, по которому отец еще при жизни передавал свое оружие сыну. Как бы то ни было, но на некоторых вазах последнего периода микенской культуры воины изображены уже в полном вооружении гомеровских героев, и на золотых печатях, найденных в могилах Микенского кремля, ясно можно различить шлемы и покрытые металлическими пластинками щиты. Даже если мы признаем, что эти предметы были ввезены извне или составляют подражание чужим образцам, — во всяком случае они свидетельствуют о том, что микенская культура дожила до того времени, когда малоазиатские греки уже усвоили металлическое вооружение. Вообще не следует забывать, что азиатская Греция развилась быстрее европейской и что, следовательно, в гомеровских песнях, имеющих дело главным образом с Ионией, изображается более высокая стадия культурного развития, чем та, которую в это самое время переживала Аргонида.

Во всяком случае несомненно, что микенская культура господствовала в Греции до VIII столетия. Так, дворцовый портик микенской эпохи послужил образцом для перистиля храма, а капители колонн „Сокровищницы Атрея“ и Львиных ворот находятся в тесном родстве с древнейшими дорическими капителями; между тем каменные храмы начали строить только с VII или, самое раннее, с конца VIII столетия. В живописи на вазах за микенским стилем следовал, с одной стороны, стиль дипилона, с другой — протокоринфский стиль, и как тот, так и другой процветали в VII веке. Например, обломки ваз дипилонского стиля были найдены в развалинах Тиринфского дворца вперемешку с обломками микенских vaz. Львиная группа у микенских ворот по стилю и расположению частей чрезвычайно сходна с такими же скульптурными произведениями на фригийских могилах, относящихся приблизительно к VIII веку. Такое же поразитель-

тельное сходство по форме и стилю обнаруживается между геммами микенского периода — так называемыми „островными камнями“, и древнейшими монетами, которые начали чеканить около 700 г. Высеченные в скалах могилы нижнего микенского города и Навплии, сводчатая могила в Мениде (Ахарнах) близ Афин и другие могилы конца микенского периода сохранили нам предметы из плавикового шпата, обнаруживающие совершенно такую же технику, какая господствовала в Египте при XXII и XXIII династиях, т.е. приблизительно от середины X до середины VIII столетия. С другой стороны, *terminus ante quem* (самая ранняя граница во времени) для микенского периода определяется тем обстоятельством, что микенских ваз не нашли ни в Олимпии, ни в греческих некрополях Сицилии и Италии.

Отсюда следует, далее, что носителями микенской культуры на запад от Эгейского моря были греки, потому что острова и побережье Малой Азии были заселены греками, как мы уже видели, не позже последних веков второго тысячелетия, и эта колонизация исходила главным образом именно из Арголиды. Но из этого, конечно, нельзя заключать, что повсюду, где вне греческого полуострова встречаются следы этой культуры, мы имеем дело с греками. Особенно народы западной части Малой Азии в значительной степени усвоили микенскую культуру; об изделиях микенского стиля, найденных в Египте, мы уже говорили, и влияние микенской культуры простиралось до самой Сицилии. То, что выше было сказано о троянской культуре, применимо и к микенской.

Но микенские памятники немые; они знакомят нас только с внешней стороной древнегреческой цивилизации. Сущность последней, т.е. экономический и политический строй эпохи и умственную жизнь народа, мы узнаем только из эпоса. И хотя он рисует нам быт малоазиатских греков — главным образом Ионии, — притом в IX и VIII столетиях, но при близком родстве гомеровской и микенской культур очень многое из того, что мы узнаем о первой, можно применить и ко второй.

В экономической жизни народа первое место все еще

занимает скотоводство, как некогда у индогерманцев. Стада составляют главное богатство народа, мясо остается если не преобладающим, то любимым предметом пищи. Неприятельские нападения имеют целью прежде всего похищение скота, и для защиты своих стад гомеровский грек охотно рискует жизнью. Вол и овца служат единицами ценности. Так, в „Илиаде“ медный треножник оценивается в двенадцать быков, металлическое вооружение — в девять, рабыня, опытная в женских работах, — в четыре.

Но земледелие приобретает постепенно все большее и большее значение. Обычной пищей является уже хлеб, притом главным образом ячменный, — „сила мужей“, как называет его Гомер. Обширные размеры принимает и плодоводство. Вино составляет обычный напиток и употребляется при всех жертвоприношениях, — значит, оно уже очень давно известно. Но есть указание на то, что некогда единственным напитком греков был мед. Масло упоминается в „Илиаде“ сравнительно редко и преимущественно в поздних местах, оливковое дерево — только однажды, в виде сравнения. Напротив, в „Одиссее“ маслина упоминается часто, а оливковое масло составляет такой общеупотребительный продукт, что необходимо признать существование в VIII веке обширной культуры маслин, по крайней мере в азиатской Греции. Впрочем, пресс для выжимки оливок был найден уже в развалинах упомянутого выше доисторического поселения на Фере (Тире), а в развалинах Тиринфского дворца и в одной микенской могиле, высеченной в скале, оказались косточки маслин. Но у Гомера оливковое масло употребляется только как мазь и еще не идет в пищу. То, что плодовые деревья не упоминаются в „Илиаде“, можно приписать случайности; в „Одиссее“ плодоводство практикуется уже в довольно широких размерах. В садах Алкиноя растут яблоки, груши, гранаты, смоква, а для престарелого отца Одиссея, Лаэрта, уход за его фруктовым садом составляет последнюю утеху одинокой старости.

Но обширное плодоводство немислимо при отсутствии земельной собственности; и в гомеровскую эпоху она, действительно, уже существует. Воодушевляя свои войска пе-

ред битвой, Гектор указывает каждому на его надел, которому грозит опасность со стороны врагов; очевидно, поэт представлял себе троянское войско состоящим из свободных собственников. Приступая к основанию города феакийцев, Навсикой прежде всего отводит каждому поселенцу участок земли. Наконец, в гомеровском обществе существует уже класс безземельных батраков, которые принуждены служить у землевладельцев за плату; их участь кажется поэту величайшим из всех человеческих бедствий.

Этому строю должна была и в Греции предшествовать эпоха, когда вся земля составляла общинную собственность или была разделена между родами. Некоторые следы этого порядка существовали еще долго в историческое время. Даже в основанной около 580 г. колонии Липаре земля первое время находилась в общинном владении; позже главный остров, Липара, был разделен на наделные участки, а остальные острова обрабатывались сообща, наконец и они были подвергнуты разверстке, но с установлением передела через каждые двадцать лет. Даже там, где участки перешли уже в постоянную собственность своих владельцев, наделы нередко еще долго оставались неотчуждаемыми, как, например, в Спарте или в основанной около конца VII века коринфской колонии Левкаде. Остатком той же древней формы землевладения является и греческое название надела — „жребий“ (*клерос*). Впрочем, лес и луг еще долго оставались в общинном владении; последним пережитком общинной собственности были те домены, которые мы потом находим во владении греческих государств и общин, как например демов Аттики.

Сравнительно с сельским хозяйством промышленность играла еще ничтожную роль. Почти все, что нужно было для обихода, изготовлялось дома, — прежде всего одежда, выделка которой составляла главное занятие хозяйки и ее дочерей, а в богатых семьях — и служанок. Поэтому главное требование, которое грек того времени предъявлял к своей будущей жене, состояло в том, чтобы она была искусной пряхой. Точно так же крестьянин сам изготовлял себе плуг и телегу и сам строил свой дом. Даже царь, как гомеровский

Одиссей, был хорошо знаком с плотничьим искусством.

Но не все можно было изготовить таким образом. Особенно металлические работы требовали специальных знаний и инструментов, которыми не все могли обладать; кузнецы и были, вероятно, первыми профессиональными ремесленниками. Они были так необходимы для гомеровского общества, что даже царства богов не могли представить себе без кузнеца, и любопытно, что бог огня, Гефест, является единственным ремесленником Олимпа. Кузнец был вместе с тем и золотых дел мастером; его мастерская была любимым местом собрания деревенских жителей, которые в зимние вечера сходились сюда погреться у очага и обсудить события дня.

Гончарное искусство, при том высоком развитии, какого оно достигло уже в микенский период, также должно было принять профессиональный характер. Далее, очевидно, что дворцы, какие мы находим в Микенах и Тиринфе, или гробницы, вроде „Сокровищницы Атрея“, могли быть воздвигнуты только технически образованными ремесленниками. У Гомера разделение труда стоит в общем на том же уровне; он также упоминает о гончарах, о каменщиках и плотниках и, кроме того, кожевниках, которые занимались главным образом изготовлением щитов. О других ремесленниках в нашем смысле эпос не упоминает. Но Гомер причисляет к ремесленникам и врачей, прорицателей и глашатаев, потому что они также служили своим искусством общине и получали вознаграждение за свои услуги.

При таком строе общества не могло быть и речи об образовании купеческого сословия; немногие предметы, которые не изготовлялись хозяйственным образом, приобретались непосредственно от производителя. Правда, потребность в мере и весе уже пробудилась, но торговля еще не пошла дальше простого обмена. Поэтому крупные центры еще не могли образоваться; население было рассеяно по открытым деревням, как мы это еще в историческое время видим в Этолии, а в случае неприятельских нападений искало защиты в горах или за валом кремля. Но прокладывать дороги начали уже в этом периоде. В эпосе часто упоминается о

проезжих дорогах; и если поэт заставляет Телемака проехать на колеснице из Пилоса в Спарту, то это, конечно, отнюдь не доказывает, что уже в то время существовала дорога через Тайгет, но дает право думать, что в других частях Греции и в Малой Азии на повозках можно было совершать далекие путешествия. Еще теперь на горах Арголиды видны остатки целой системы дорог, соединявших святилище Геры с Микенами, Клеонами, Тинеей и Коринфом. Фундамент состоит из многоугольных плит, на известных расстояниях устроены приспособления для протока воды, и следы колеи доказывают, что эти дороги были предназначены для езды на колесах. Правда, мы не в состоянии решить, были ли они проложены уже в эпоху расцвета Микен.

Несмотря на простоту экономических отношений, имущественное неравенство уже сильно развито. Рядом с сельским рабочим, который получает поденную плату, и мелким собственником стоит собственник-богач, владелец многих сотен скота и обширных поместий. Между тем, в то время, когда промышленность и торговля были еще в зачаточном состоянии и сельскохозяйственный труд составлял почти единственный источник пропитания, бедняк не имел других средств достигнуть обеспеченности, а тем более богатства, кроме войн или морского разбоя; но и здесь львиная доля добычи доставалась тем, кто становился во главе таких предприятий, а это был, обыкновенно, знатный человек. Именно эти условия и заставили такую большую часть греческой молодежи уже в догомеровскую эпоху уйти за море — на острова и в Малую Азию; но по мере того, как страна заселялась, на новой родине повторялось то же явление. А богатство повсюду и во все времена доставляет почет и могущество; мало-помалу народ привык относиться к знатым родам с уважением, за которое они по заслугам платили толпе презрением. Аристократия приняла характер касты, члены которой вступали в брак только между собой и которая возводила свою родословную до богов. Изобретение металлического вооружения и боевой колесницы должно было еще усилить перевес этого класса, потому что теперь участь битвы решали латники, а только знать была в состоянии

приобретать дорого стоившее металлическое вооружение.

Старейшина самой могущественной из этих знатных фамилий стоял во главе государства со званием царя (*баси-лея*). По воззрениям гомеровской эпохи, он получает свою власть от Зевса; другими словами, царское достоинство уже с незапамятных времен было наследственным в правящих родах, и происхождение его из народного избрания уже было забыто. Городские стены, дворцы и сводчатые могилы Микен, Тиринфа, Спарты и Орхомена доказывают, что и там господствовал политический строй, совершенно аналогичный тому, который изображен в эпосе. Царь был вождем на войне и верховным судьей во время мира, а также посредником между государством и богами. За это ему предоставлен в собственность обширный домен (*теменос*), подданные приносят ему богатые подарки, чтобы приобрести его расположение, а на войне ему принадлежит лучшая часть добычи.

В делах правления царю помогал „совет старейшин“, который первоначально состоял, вероятно, из глав всех отдельных родов государства, но уже в гомеровскую эпоху заключал в себе только представителей знати. Их главной обязанностью было помогать царю в судопроизводстве. Все важные вопросы решались собранием мужчин, способных носить оружие; но по мере того, как могущество аристократии возрастало, обращение к вечу становилось пустой формальностью и за народом оставалось только право соглашаться на предложения царя и знатных. Что ждало простого человека, который осмеливался противоречить, показывает нам поэт на примере Терсита: палка в руке знатного заставляла тотчас умолкнуть всякое возражение, и народ относился к этому совершенно безучастно или даже смеялся над побитым.

Впрочем, функции государства были в эту эпоху еще весьма ограничены. На суд царя восходили только споры о праве собственности; расправа по уголовным преступлениям была предоставлена потерпевшим и их сородичам. От кровной мести можно было откупиться уплатою соответственной виры; но если такая сделка не состоялась, то убийце не оставалось ничего другого, как уйти в изгнание, — разве только

у него были могущественные родственники и друзья, у которых он мог найти защиту. Человек, не принадлежавший к общине, был совершенно бесправен, и каждый мог ограбить и убить его. Но кто садился у очага с просьбой о защите, тот был неприкосновенен для хозяина дома; завязанные таким образом отношения сохранялись всю жизнь и переходили по наследству к детям и внукам. Однако защита, которую домохозяин мог оказать своему гостю за пределами своего жилища, была все-таки ненадежна; поэтому жизнь на чужбине была полна унижений и опасностей. Неудивительно, что изгнание казалось грекам того времени величайшим бедствием.

Так как каждый был безопасен только в своем государстве, то набеги на соседние общины или разбой считались очень почтенным источником наживы. Ограбленные старались, конечно, отомстить, и, таким образом, весь древнейший период греческой истории наполнен беспрерывными войнами. Это было действительно, как говорит поэт, железное время, и оно взрастило воинственное поколение. Каждый должен был ежеминутно быть наготове с оружием в руках отстаивать свою жизнь и имущество; меч был неразлучным спутником мужчины, и никто не выходил из дому, не захватив копья. Народ охотнее всего слушал рассказы о доблестных битвах и смелых морских походах, которые и составляют, наряду со сказаниями о богах, главное содержание эпоса.

ГЛАВА III

Миф и религия

Образование мифов обуславливается стремлением человеческого духа уяснить себе связь и причины окружающих нас предметов и наблюдаемых нами явлений. Так как в первобытную эпоху средства к удовлетворению этой потребности очень ограничены, то большая часть „рассказов“ (*мифос*), которые пускаются в обращение с целью объяснить то или другое явление, оказываются лишенными всякой реальной подкладки; таким образом, слово „миф“ получило в классический период греческой цивилизации то значение, которое оно и до сих пор сохраняет во всех европейских языках.

Мифы, или, как теперь обыкновенно говорят, когда речь идет о более близких к нам эпохах, легенды, — возникают во все времена и будут возникать до тех пор, пока мы не будем в состоянии объяснять все явления научным образом или пока и массы не перестанут требовать ответа на те вопросы, которых мы при наших средствах не можем решить. Но в периоды высокого умственного развития мифическое творчество бывает очень ограничено. Тот, кто знает истинную причину видимого движения солнца вокруг земли, уже не будет рассказывать о Гелиосе, который каждое утро на востоке всходит на свою огненную колесницу, поднимается по крутой небесной дороге и вечером, спустившись к западу, уходит на покой. Кто убежден в строгой закономерности естественных явлений, тот не станет сочинять рассказов о чудесах и не будет верить им, если услышит их от другого. Миф процветает только в эпохи невежества, как, например, в древности перед возникновением наук и в Средние века перед их возрождением, т.е. в те самые времена, когда и религиозное чувство бывает наиболее сильно. Поэтому несправедливо говорить о „периоде мифического творчества“ как об одной из стадий в истории человеческого мышления; эпохи мифического творчества суть не что иное, как эпохи варварства, и если бы мир когда-нибудь снова погрузился в

мрак невежества, то снова наступила бы такая эпоха.

К образованию мифа может подать повод всякий предмет или явление, причина которого неясна с первого взгляда: явление природы, как и человеческое учреждение, непонятный обычай или даже простое однозвучие двух слов. Так как по-гречески *лаос* значит народ, а *лас* — камень, то предполагали, что первые люди были созданы из камней, которые Девкалион и Пирра после потопа бросали за спину. Повсюду в греческом мире, где только было два одноименных города, существовал и миф, по которому один из них был колонией другого. И почти о каждом городе, основанном в доисторическое время, существовало особое сказание, которое сводилось к тому, что название города персонифицировалось в лице героя-эпонима, основавшего город или, по крайней мере, принимавшего участие в его основании. Таким же путем были созданы мифические родоначальники народов, фил и родов; так, например, Гесиод рассказывает, что царь Геллен имел трех сыновей: Дора, Ксуфа и Эола, а Ксуф, в свою очередь, двоих: Иона и Ахея (см. выше, с.93). На том основании, что лавр (*дафна*) был посвящен Аполлону и сосна (*питис*) — Пану, придумали мифы о любви этих богов к нимфам Дафне и Питис, которые, спасаясь от их преследований, обратились в одноименные деревья.

Гораздо важнее для истории умственного развития те мифы, которые имеют целью объяснение естественных явлений. Из последних ни одно не затрагивает нас так близко, как смерть. Каким образом жизнь, сейчас еще столь деятельная и могучая, внезапно прекращается? Очевидно, что нечто, присущее живому телу, отсутствует в мертвом. Между тем никто не видел, как удаляется это „нечто“ Значит, то, что вызывает жизнь и что покидает нас при смерти, есть нечто бесконечно тонкое и при обычных условиях недоступное для наших чувств.

Миф заимствует свое объяснение, по-видимому, из другого явления. Во сне, а иногда и наяву — при сильном нервном возбуждении, мы видим образы отсутствующих или даже умерших людей; при этом мертвый представляется нам совершенно в таком же виде, какой он имел при жизни. Что

мы имеем здесь дело с субъективным впечатлением, с созданием нашей фантазии, об этом первобытный человек думает так же мало, как большая часть образованных людей нашего времени — о разнице между явлениями и сущностью вещей. Для него сновидение — объективная действительность. Следовательно, в нашем теле существует его незримое подобие, бесплотное, как дуновение. Это подобие, эта душа, как мы говорим, может на время оставить тело — тогда наступают обморок и летаргия; когда же оно покидает тело навсегда, то наступает смерть.

Но тот, кто приписывает душу человеку, должен, оставаясь последовательным, признавать ее и в животном, потому что переход от жизни к смерти сопровождается у животного и у человека одинаковыми явлениями. И Гомер, действительно, рассказывает о смерти животных в таких же выражениях, как и о смерти людей. Далее, самое поверхностное наблюдение должно было показать, что духовная жизнь высших животных чрезвычайно сходна с нашей: наблюдение, которое, как известно, у самых разнородных наций — между прочим, уже в очень раннюю эпоху и у греков — привело к созданию животного эпоса. Точно так же засыхает и умирает и дерево, когда его срубят; значит, и в нем должна быть душа. Таким образом, явилось представление о нимфах деревьев, дриадах, которые рождаются и растут вместе с деревом и одновременно с ним должны умереть. Но на этом не остановились. Для первобытного человека еще не существовало той строгой границы между органическим и неорганическим миром, которую научило нас проводить современное естествоведение. Куда бы он ни взглянул, он повсюду видел изменчивость и движение: в журчащем ключе, в бурном море, в течении небесных светил и в блеске молнии. А где есть движение, там должна быть и причина, вызывающая его; и так как понятие о механически действующих силах природы было совершенно чуждо первобытной эпохе, то это движение объясняли так же, как движение живых существ, т.е. приписывали его особому духу, который живет в данном предмете. Еще шаг, и душу начали находить даже в неподвижных телах, например в камне, особенно если он был не-

обычного цвета и странной формации и сверкал на солнце. Мало того: если при погребении вместе с трупом сжигали на костре платье и другие предметы, то первоначально цель этого обычая могла состоять только в том, чтобы дать возможность покойнику пользоваться этими вещами в загробной жизни; следовательно, и последним приписывали душу, которая переживает разрушение самой вещи, как человеческая душа переживает разложение тела. Поэтому, если Гомер говорит о стрелах и копьях, которые жаждут насытиться человеческой кровью, то мы не должны видеть в этих словах простую поэтическую персонификацию.

Так рядом с реальным миром возник мир идеальный, который представляли себе господствующим над первым, подобно тому, как душа управляет телом. Душам, живущим в телах природы, придавали, конечно, все черты человеческой души, — да и как иначе можно было представить себе душу? Поэтому одушевленные тела должны были, как и люди, принадлежать к какому-нибудь полу; например, небо, которое посредством дождя оплодотворяет почву и посылает на землю разрушительную молнию, представляли себе в виде мужчины, всерождающую землю — в виде женщины. В языке до сих пор сохранились следы этого представления: оно обусловило род наших имен существительных. Отсюда естественно было заключить, что эти существа находятся в родственных отношениях между собой. Солнце и месяц считались братом и сестрою, или мужем и женою, небо — их отцом. Сообразно с этими представлениями, все астрономические или физические явления должны были обратиться в физиологические или психологические процессы. Так, гроза казалась битвою между светлыми духами неба и силами тьмы. Но особенно побуждало к созданию таких мифов стремление объяснить движение солнца. Когда светило дня показывается на горизонте, тогда рождается Гелиос; его матерью является или ночь, или утренняя заря, или, как верили малоазиатские греки, — море. Но с восходом солнца ночь исчезает: сын убивает мать. Это представление лежит в основе некоторых знаменитых греческих сказаний, главным образом легенды о матереубийстве Ореста. Первобытное

общество не видело в этом ничего предосудительного¹, но потомство постаралось смягчить гнусность таких сказаний, сделав героя или орудием искупления за другое убийство, или безумным, или преступником против воли.

Солнце на своем пути разгоняет туманы; на языке мифа это значит, что солнечный герой одерживает блестящие победы над всякого рода чудовищами или над враждебными ему великанами; отсюда подвиги Геракла, Мелеагра, Белле-рофонта. Но как солнце вечером исчезает во мраке, так и солнечным героям часто суждена лишь короткая жизнь; такова судьба Бальдура и Зигфрида на севере и Ахилла у греков.

Но разве солнце действительно умирает вечером? Не то же ли солнце светит нам снова каждое утро? Это представление также нашло себе выражение в мифе. Тот, кто живет на восточном берегу моря, видит заходящее солнце отраженным в воде. Отсюда возникло сказание о золотом челне, в котором Гелиос ночью возвращается через океан в страну восхода, чтобы утром снова начать свой дневной путь. По другой версии того же сказания, Ясон — спаситель — похищает у дракона тьмы охраняемое им „золотое руно“ и увозит последнее на своем солнечном корабле „Арго“ в Грецию. То же самое представление лежит в основе мифа о странствованиях Одиссея: он также сходит в подземное царство, и волшебный корабль феакийцев увозит его во время сна на родину, где он своими стрелами, не дающими промаха, убивает женихов, которые во время его отсутствия преследовали его жену.

Но что заставляет солнце ежедневно, не зная покоя, совершать свой путь по небу? Очевидно, какая-то принудительная сила; Гелиос несвободен, он служит какому-то господину. И эта черта характерна для солнечных героев; как Зигфрид служит королю Гунтеру, так служат Геракл Эврисфею, Ясон — Пелию, Ахилл — Агамемнону, Персей — По-

¹ Так, например, Тимей рассказывает, что жители Сардинии имели обычное убивать своих престарелых родителей; этот обычай встречается и у других варварских народов.

лидекту; в сказании об Одиссее также сохранились следы этих служебных отношений.

Здесь не место хотя бы вкратце излагать разнообразные до бесконечности космогонические мифы греков, тем более что их первоначальный смысл лишь в немногих случаях может быть установлен с уверенностью. Дело в том, что духи, которыми народная фантазия населяла все тела природы, все более отделялись от своей материальной основы, и в конце концов народ утратил всякое представление о связи между естественными явлениями и созданными для их объяснения мифами. Уже творцы эпоса не понимали истинного смысла мифов. Естественно, что в древние сказания проникло множество чуждых черт, а из старых мифических образов выделились новые лица. Гелиос, например, имеет у Гомера эпитет „сияющий“; в позднейшем мифе Фаэтон является уже самостоятельной личностью и называется сыном Гелиоса. Аякс изображается в „Илиаде“ с широким щитом, который он носит, по обычаю того времени, на ремне через плечо; позже у него оказывается уже сын Эврисак и отец Теламон. По таким же соображениям Телемах (сражающийся издали) становится сыном стрелка из лука, Одиссея.

Но вернемся к той эпохе, когда смысл мифов еще был ясен. Человек ежеминутно во всех своих радостях и страданиях чувствует свою зависимость от сил природы, а между тем он безоружен против них. Надо было придумать средство приобретать расположение духов, которые заведуют этими силами. А так как духов неба, созвездий, земли, моря и т.д. представляли себе наподобие нашего собственного духа, то их расположение естественно старались приобрести при помощи тех же средств, которыми добиваются милости могущественных людей, т.е. при помощи подарков и просьб или, как мы выражаемся, говоря о сверхъестественных существах, при помощи жертвоприношений и молитв. Так мифические образы сделались предметом религиозного поклонения.

Этот шаг сделали уже наши индогерманские предки. Дьяус индусов соответствует италийскому Юпитеру (Диовис), германскому Тиу или Дзиу и греческому Зевсу; это, как

показывает имя, „сияющий бог неба“ (от корня *div* „сиять“). Индусский Варуна тождествен с *Ураном* греков, эллинская Диона — с Юноной италиков. Но именно малочисленность таких подобий доказывает, что греки выработали свои религиозные представления преимущественно уже после отделения от остальных индогерманских народов.

Известное влияние на этот процесс должны были иметь религиозные верования тех народов, с которыми греки пришли в соприкосновение на своих новых местах. Правда, верования доэллинических обитателей Балканского полуострова едва ли оставили глубокие следы в греческой религии, потому что культурный уровень этого народа был, по всем данным, очень низок. Так называемые „пеласгические“ божества, как например Зевс и Диона Додонские, — несомненно, индогерманского происхождения и принадлежат, следовательно, самим грекам.

Иначе обстоит дело на островах и на берегах Малой Азии. Здесь греки встретили население, которое стояло уже довольно высоко в культурном отношении и которое было, вследствие этого, слишком многочисленно, чтобы его можно было истребить так же бесследно, как раньше были истреблены обитатели греческого полуострова. Завоеватели, конечно, и на новые места перенесли своих родных богов и посвятили им те храмы, которые раньше принадлежали богам покоренной страны; но именно поэтому неизбежно должны были уцелеть некоторые из форм культа, который раньше господствовал в этих святилищах. Так, например, служение Артемиде в Эфесе во многих отношениях сохранило характер культа той азиатской богини, которую там заменила Артемиды. Это обстоятельство должно было, в свою очередь, сильно влиять на религиозные представления и связанные с ними мифы, тем более что греки заселили в Азии только узкую береговую полосу и находились в непрерывных сношениях с обитателями внутренней части страны. А малоазиатские колонии влияли уже на греческое население островов и Балканского полуострова.

Напротив, семитическое влияние было — если оставить в стороне Кипр — очень незначительно. Финикийцы вообще

не основали ни одной колонии на берегах Эгейского моря, а финикийские купцы думали только о сбыте своих товаров и ничуть не заботились о распространении своей религии. Если в эпоху микенской культуры население областей, окружающих Эгейское море, охотно покупало финикийских и вавилонских идолов, то лишь потому, что видело в них особые сверхъестественные силы; это так же мало могло содействовать распространению семитических верований, как способствовало бы успехам христианства, если бы негр стал поклоняться, как идолу, изготовленной в Европе иконе. Несомненно, что художественные произведения, ввезенные с Востока, имели известное влияние на мифическое творчество; но между мифом и верованием большая разница.

Лучшее доказательство справедливости сказанного представляют имена богов. Имя есть первая индивидуальная черта, выделяющая каждое божество из среды его собратий; поэтому всюду, где один народ заимствует у другого религиозные представления, он заимствует вместе с ними и имена богов. Так перешли в италийскую религию Аполлон, Асклепий, Геракл, Кастор, таким же образом египетская Изиды, малоазиатская „великая мать“ Кибела и целый ряд других восточных божеств почитались в Греции в классическую и александрийскую эпоху под своими исконными именами. Но у Гомера и Гесиода нет ни одного имени бога, которое можно было бы хотя с некоторой вероятностью признать семитическим. Следовательно, в древнейший период Восток влиял на греческую религию исключительно внешним образом; это влияние могло видоизменить некоторые формы культа и вызвать образование некоторых мифов, но в своих главных чертах греческая религия является продуктом индогерманского, а потом греческого духа.

Индус называл своих богов (*деवास*) — „сияющими“; от того же корня произошли и латинское *дивус* (*divus*) и греческое (*диос*), и, может быть, такое же значение имеет слово *теос*. Следовательно, боги для индогерманцев — прежде всего духи неба. Но самый могущественный между ними, по греческим верованиям, тот, который управляет громом и молнией; греки называли его Зевсом, отцом богов и людей.

Второе место занимал Аполлон. Его эпитеты в культе и эпосе доказывают, что и он был божеством света, потому что эти эпитеты, которые уже в гомеровское время сделались постоянными, принадлежат вообще к древнейшим памятникам греческой религии, какие мы имеем. Аполлон называется „лучезарным“, „издали попадающим в цель“, „с золотым мечом“ или „с серебряным луком“, „рожденным от света“ Его стрелы поражают людей внезапной смертью, и отсюда древние производили его имя; но, с другой стороны, он посылает и исцеление от болезней. В избранных им местах он возвещает людям „непоколебимые решения Зевса“ и больше всех других богов покровительствует мусическим искусствам. Как бога врачебной науки, Аполлона почитали под именем Пеона или, как позже обыкновенно говорили, Асклепия; с течением времени последний обратился в особого бога, которого естественно представляли себе сыном Аполлона. Но его культ лишь постепенно достиг всеобщего признания.

К богу солнца, Гелиосу, грек обращался с молитвой во время восхода и заката солнца; имя этого бога призывалось и при торжественных клятвах, потому что ничто не может скрыться от его взора. Но культ Гелиоса в собственном смысле слова существовал лишь в немногих местах — на Родосе и на мысе Тенар, южной оконечности Балканского полуострова, и это объясняется тем обстоятельством, что при прозрачности своего имени Гелиос сохранил слишком много черт древнего космогонического божества, чтобы его культ мог удовлетворять религиозной потребности более развитой эпохи. Тем шире распространялся его культ под другими именами. Сам Аполлон есть, вероятно, не что иное, как солнечный бог, и, несомненно, солнечным богом является Геракл. Это доказывается как именем его отца — Электрион, так и мифами о его борьбе со всякого рода чудовищами, о его службе, сходении в подземное царство и, наконец, самосожжении на Эте. Исходным местом его культа была Беотия, в главном городе которой, Фивах, он, по преданию, родился и где его всегда почитали с особенным усердием. Отсюда его культ распространился по соседним

областям в то время, когда Малая Азия уже была заселена, а колонизация Запада еще не началась. Общенациональным божеством ему никогда не удалось сделаться.

О Гермесе мы можем сказать с уверенностью только то, что и он был богом света, потому что он носит золотые сандалии и его атрибутом является золотой жезл, Майя („мать“) родила его от Зевса на снежных высотах Киллене, самой высокой горы Северного Пелопоннеса; и его, действительно, усердно почитали на его родине, в Аркадии. Но и вообще его культ был очень распространен, особенно в Афинах, где на улицах и площадях стояло множество статуй этого бога в известной архаической форме. Подобно Аполлону, с которым у него есть и другие сходные черты, он был покровителем стад, и так как последние составляли в первобытное время главное имущество греков, то он считался подателем всякого богатства и, как таковой, сделался позже покровителем купцов. К божествам света принадлежали, далее, близнецы, сыновья Зевса (Диоскуры), которые почитались в различных частях Греции под именами Кастора и Полидевка, Амфиона и Зета, или даже просто „государей“ или „великих богов“. Они помогали во всех опасностях, особенно мореплавателям во время бури.

Молния, атрибут Зевса, также получила в мифологии, а позже и в области культа, самостоятельное значение и была воплощена в особом божестве, под именем Гефеста. Последний считался, конечно, сыном владыки неба, который, по преданию, в минуту гнева сбросил его на землю. Однако это первоначальное значение Гефеста с течением времени отступило на задний план; уже для Гомера Гефест — только бог земного огня и главным образом небесный кузнец, покровитель и первообраз всех человеческих кузнецов. Поэтому его особенно почитали в промышленной Аттике. Другим центром его культа был остров Лемнос, где на вершине Мохисла пробивался подземный огонь. Когда позже были открыты вулканические Липарские острова, они стали считаться одним из любимых местопребываний Гефеста, и последний был признан покровителем колоний, которые были основаны на этих островах около начала VI столетия.

Но духов света можно было представлять себе и в образе женщин. Рядом с Зевсом стоит его супруга Диона или, как ее называли в большей части Греции, Гера, богиня „с золотым треном“ и с „золотыми сандалиями“, возвышенная царица неба. Другие божества этого рода — „золотая“ Афродита и Артемида „с золотым веретеном“, „с золотым треном“ или, как правительница своей небесной колесницы — месяца, „с золотыми вожжами“ Сюда принадлежат также Афеня (Афина), названная так по имени Афин, главного центра ее почитания, и целый ряд богинь, имевших только местное и во всяком случае второстепенное значение в греческой религии, как Геката, Ариадна, Пасифая, критская Бритомартис, Елена и сама Селена. Сущность всех этих божеств — первоначально одна и та же; это богини луны и, как таковые, — покровительницы женской половой жизни, которую ввиду регул ставили в зависимость от луны. С течением времени представления об их сущности и компетенции дробились и специализировались. Так, в образе Афродиты на первый план выступила чувственная сторона отношений между обоими полами, чему немало способствовало влияние малоазиатских, а позже и семитических религиозных представлений; как известно, одним из главных средоточий ее культа был Кипр, так что у Гомера она прямо называется „киприянкой“ Напротив, Артемиду и Афины представляли себе богинями-девственницами. Первая носит, как брат ее, Аполлон, лук со смертоносными стрелами; позже она становится богиней охоты и покровительницей диких зверей, и эта сторона ее характера с течением времени выдвигается все сильнее. Афина является защитницей городов, богиней войны, а также мастерицей во всех женских рукоделиях. Она, может быть, больше всех других божеств света утратила свое первоначальное космогоническое значение.

Своеобразное положение между этими богинями занимает Гестия, как показывает ее имя, — олицетворение домашнего очага; культ ее возник, вероятно, еще в доэллиническое время, потому что мы встречаем ее и у италиков под именем Весты. Но как раз ввиду прозрачности своего имени она никогда не приобрела в греческой мифологии опреде-

ленного индивидуального облика, почему ее культ и играл только второстепенную роль.

В то время, как боги света осеняют своими лучами всю землю, деятельность водных богов ограничена пределами их стихии. Поэтому культ речных богов, пользовавшийся, конечно, выдающимся значением во всех греческих областях, носил чисто местный характер, т.е. каждый из них почитался только в той долине, которую он оплодотворял, а иногда и опустошал своими водами. Еще уже был, разумеется, круг поклонения нимфам источников. Святилища бога моря, Посейдона, также находились только на берегу моря или озер, как, например, в Онхесте у Копайдского озера в Беотии или близ горных озер Аркадии. Жертвоприношения в его честь совершались преимущественно на мысах, каковы Тенар на юге Пелопоннеса, Микале в Ионии, южная оконечность Аттики — Суний, затем на небольших островах, как Калаурея у берегов Арголиды. На Коринфском перешейке, где оба моря, омывающие Грецию, разделены лишь немногими километрами, также существовал знаменитый храм Посейдона.

Богиню земли, Гею, постигла такая же участь, как Гелиоса и Гестию; вследствие прозрачности имени ее культ также имел ничтожное значение, по крайней мере в историческое время. Ее место заняла „мать-земля“ Деметра, которая с течением времени все более принимала характер богини земледелия и поэтому почиталась главным образом на плодородных равнинах, как, например, на Рарийской равнине близ Элевсина в Аттике и в хлебодородной Сицилии. Поэтому в эпосе эта богиня упоминается сравнительно редко, так как в гомеровскую эпоху преобладающим занятием было еще скотоводство. Как олицетворение земли, принимающей в свои недра умерших, Деметра была первоначально и богиней смерти. С течением времени эта сторона ее сущности воплотилась в особое божество, которое слилось с богиней луны Ферсефассой или Персефоной; последнюю представляли себе уже, конечно, дочерью Деметры и поэтому называли обыкновенно эвфемистически „девой“

Первоначально и Дионис был богом земли, но так же, как и у Деметры, это свойство Диониса все более отступало

на задний план. Со времени Гесиода и Архилоха он является почти исключительно в роли бога вина, тогда как гомеровскому эпосу это представление совершенно чуждо. На выработку его характера в мифе и культе имели большое влияние фракийские религиозные обряды, с тех пор как северный берег Эгейского моря был колонизирован греками; однако и представление о первоначальной сущности этого бога не было утрачено: оно продолжало жить в мистериях, к которым мы еще вернемся.

Но и боги света связаны с землею; так, солнце каждый вечер сходит в подземное царство и проводит в нем столько же времени, сколько здесь, на небе. Поэтому рядом с небесным Зевсом стоит земной, или Аид, как его обыкновенно называли, владыка подземного царства и, как таковой, — супруг Персефоны. Гермес, отводящий души умерших в подземное царство, также считается земным богом. Такая же двойственность характера замечается и в других божествах света. Мы стоим здесь на пороге, ведущем в область религиозной мистики, и не должны переступить его.

Когда позже греческое мышление возвысилось до образования отвлеченных представлений и когда начали изобретать слова для выражения таких понятий, то в первое время было еще трудно удерживать в уме их отвлеченный смысл. Поэтому греки представляли себе эти понятия в виде реальных существ, как это встречается иногда и на гораздо более высоких ступенях развития; достаточно вспомнить спор между номинализмом и реализмом. Но так как подобные абстракции не познаются чувственным образом, то они должны были принадлежать к миру духов; естественно, что, подобно всем остальным духам, их представляли себе в человеческом образе. Поэтому им приписывали и половые отличия: например, войну изображали в виде мужчины, справедливость (*Ника*) — в виде женщины. Так явились бог войны Арес (также и под другими именами: Фоб и т.д.), богиня победы Нике, бог любви Эрот, богини судьбы Ананке, Немесида, Тиха, три Мойры и множество других подобных божеств. В конце концов этот процесс привел к тому, что каждое несча-

стве, постигавшее человека, — хотя бы это был не более как треснувший горшок — приписывалось особому духу.

Само собой понятно, что эти верования принадлежат сравнительно поздней стадии религиозного развития, и подобные божества, действительно, только в редких случаях получали правильный культ. Исключение составляет один Арес, но есть основания думать, что он был первоначально космогоническим божеством и только с течением времени превратился в бога войны. Остальные еще у Гомера упоминаются очень редко и играют незначительную роль.

Наряду с этими богами стоит множество второстепенных божеств: духи полей и лесов, как, например, „негодная порода беспутных сатиров“ или лукавые куреты и керкопы, — духи гор, как дикие кентавры, — крошечные духи земли, каковы дактили, карлики греков, — духи моря, как седовласый Нерей и его дочери, nereиды. Вера в этих духов восходит до глубокой древности, но для развития греческой религии они имели ничтожное значение и лишь изредка достигали публичного культа. Каждому человеку в отдельности предоставлялось умиловить их жертвами и молитвой.

Но в народных верованиях греков удержались до позднего времени остатки еще более древних религиозных представлений. В храме Эрехтея в афинском Акрополе жила священная змея, которая каждый месяц получала медовую лепешку, хоть змеи таких вещей не едят. Змею держали и в храме Асклепия в Эпидавре, как и во всех других храмах этого бога. Остаток животного культа следует видеть и в том, что каждому богу было посвящено известное животное: Зевсу — орел, Гере — корова, Аполлону — волк, Афине — сова, Афродите — голубь. Сюда относятся и столь обычные в греческой мифологии превращения богов в животных.

Повсюду в Греции существовали священные деревья; путники молились перед ними и украшали их лентами и другими жертвенными дарами. Особенно знаменит был священный платан близ Гортины на Крите, под которым Зевс сочателся с Европой, под священной пальмой на Делосе Лето родила Аполлона, а на Самосе, у реки Имбра, показывали иву, под которой родилась Гера. Местопребыванием

Додонского Зевса считали ствол одного старого дуба; Аполлон и Афина садятся в „Илиаде“, „подобно коршунам“, на ветви священного дуба, который стоял перед воротами Трои. Вообще, священные рощи были любимым местопребыванием богов; здесь главным образом служили им в ту эпоху, когда еще не существовало храмов. И как каждому богу было посвящено известное животное, так каждый из них имел и свое дерево: Зевс — дуб, Аполлон — лавр, Афина — оливковое дерево, Афродита — мирт, Дионис — хмель.

Даже священным камням воздавали почести еще в позднее время; народ поклонялся им как фетишам и смазывал их маслом, а образованные люди почитали их как символы божества. Когда позже богов стали изображать в виде людей и животных, то и эти истуканы часто становились предметом поклонения; в известные праздники их купали и одевали в новые драгоценные одежды.

К этим остаткам древних религиозных представлений принадлежит и культ мертвых, который сохранился у греков и в историческую эпоху. Мы видели, как образовалась вера в душу, живущую в нашем теле и продолжающую жить после его разрушения. Сновидения доказывали, по-видимому, что и души умерших продолжают принимать участие в судьбе живых; очевидно, что это участие носит тот же характер, который оно имело в то время, когда душа еще жила на земле, заключенная в видимое тело. Следовательно, дух мертвого будет по-прежнему питать вражду к своим врагам, и эта вражда будет тем опаснее, что при обычных условиях дух незрим.

Итак, надо было найти средство защитить себя от мести таких привидений. Нам часто удается склонять к миру наших живых врагов; нельзя ли сделать того же с духами мертвых? Если мы будем давать им такие подарки, которые доставляли им удовольствие при жизни, не вероятно ли, что они смиряют свой гнев и откажутся от мести? В таком случае (это соображение принадлежит уже более высокой стадии религиозного развития) не имеют ли духи наших родственников и друзей еще больше прав на подобные приношения?

Пренебрежение к ним может раздражить их и навлечь на нас их вражду.

Эти соображения легли в основу культа мертвых. Но в историческое время он ограничивался в Греции преимущественно почитанием предков; от культа умерших врагов оставались лишь незначительные следы. В награду за почести, оказываемые мертвым, от них ожидали помощи и защиты; еще у Эсхила Электра молится духу своего покойного отца, точно богу. С другой стороны, тот, кто пренебрегает этой обязанностью, навлекает на себя месть мертвых или, по позднейшему представлению, кару мстящих за них богов.

Очевидно, что душа будет иметь после смерти такие же потребности, как и при жизни, потому что, покидая тело, она не изменяется. Итак, ей нужно прежде всего жилище, в котором она могла бы найти покой, т.е. могила. Поэтому мысль остаться непогребенным, „сделаться добычей собак и хищных птиц“, была для грека так же невыносима, как для средневекового христианина — мысль о муках ада. Затем это жилище надо снабдить всем, что было мило и дорого мертвому на земле: одеждами и оружием, которые он носил при жизни, утварью, которою он пользовался здесь¹ Известно, к каким чудовищным обычаям ведет это представление, обычаям, господствовавшим в первобытное время, а у варварских народов господствующим и теперь; известно, что и у индогерманцев жена следовала за мужем в могилу и что при погребении приносили в жертву рабов, чтобы они служили душе господина в загробном мире. Следы этого обычая сохраняются еще в мифах и обрядах гомеровской эпохи. Так, Эвадна бросается на костер, на котором горит труп ее мужа Капанея. Но в гомеровское время этот обычай уже был оставлен. Однако при погребении своего друга Патрокла Ахилл убивает двенадцать троянских пленников и, кроме того, четыре лошади, двух собак и множество быков и овец, и все это сжигает на костре вместе с трупом.

¹ Где трупы сжигаются, как в Ионии в гомеровское время, там эти предметы сжигаются на костре вместе с покойником, и их пепел кладется в могилу.

Смягченной формой этих древних человеческих жертвоприношений являются кровавые битвы в честь мертвых, устраивавшиеся при погребении. В Италии из этого обычая развились, как известно, гладиаторские игры, в Греции же он рано вышел из употребления. Его заменили гимнастические состязания, без которых в гомеровское время не обходилось ни одно большое погребение; впрочем, на похоронах Патрокла сражаются еще и острым оружием.

Труп хоронили первоначально не сжигая; в эпоху микенской культуры и в период диллона этот обычай был господствующим в европейской Греции. При этом труп бальзамировали или клали в мед, чтобы предохранить от разложения. Отсюда, может быть, произошел упоминаемый у Гомера обычай ставить на костер кувшины с жиром и медом. Дело в том, что в азиатской Греции, по крайней мере в Ионии, в гомеровскую эпоху перешли уже к сжиганию трупов, которое в эпосе является единственным способом погребения. Позже в Греции практиковались без различия оба способа.

Но душа умершего нуждается не только в жилье: ей нужна также и пища; доставление последней и было первоначальной целью культа мертвых. Поэтому между жертвами, которые приносили покойному, главное место занимали съестные припасы; на могиле убивали животное, кровь выливали на землю, а мясо зарывали. Еще в „Одиссее“ рассказывается о том, как мертвый пьет кровь жертвенных животных и как благодаря этому к нему снова на короткое время возвращается сознание. Когда позже это грубое верование, по которому покойник нуждается в пище, уступило место более чистому представлению, жертвоприношения в честь мертвых все-таки сохранились, приняв символический характер. Они составляли священный долг для живых, и так как культ мертвых был тесно связан с могилой, то последняя была для грека святыней в гораздо более высоком смысле, чем для нас могилы наших родных и друзей. Грек сражался столько же за могилы предков, сколько за свое имущество и храмы богов; и это чувство долго продолжало жить еще и в классический период.

При таком веровании особенное значение должны были иметь могилы царей. Как царь при жизни защищал свое государство от неприятельских нападений, так и его дух после смерти тела охраняет страну от бедствий; притом очевидно, что дух государя несравненно могущественнее, чем дух простого гражданина. Итак, для всей общины очень важно сохранить расположение столь могущественного союзника. Поэтому в погребении царя принимает участие, как мы видим в „Илиаде“, весь народ; все приносят жертвенные дары и все носят землю для могильного холма. Так возникли те колоссальные могилы царей, которые мы находим в Микенах и Малой Азии. С падением монархии этот обряд должен был, конечно, выйти из употребления; но и тогда удержался обычай оказывать основателям новых городов божеские или, как позже говорили, героические почести, а обычай хоронить заслуженных граждан на счет государства был остатком тех же древних верований.

Правда, те грубые представления, которые легли в основу культа мертвых, были отчасти очень рано оставлены. По понятиям гомеровского времени, душа после погребения попадает в мрачное жилище Аида, которое помещали на самой отдаленной западной оконечности земли; отсюда она более никогда не возвращается. Сообразно с этим, мы не находим у Гомера никаких следов верования в воздействие мертвых на мир живых; души почивших — бессильные тени; в гомеровском мировоззрении нет места для веры в привидения. Возможно, что это представление стоит в связи с обычаем сжигать трупы, который первоначально имел, вероятно, целью посредством быстрого разрушения тела сделать невозможным возвращение души. Может быть, также упадку культа мертвых у ионийцев способствовало то обстоятельство, что они покинули родину, где находились могилы предков. Но в самой Греции культ мертвых удержался и оказал сильное влияние на выработку религиозных представлений.

Вообще дробление нации, обусловленное характером поверхности страны, должно было глубоко влиять на развитие верований. Хотя отец Зевс повсюду считался верховным

богом, но в каждой местности выдвигалось, наряду с ним, свое, местное божество: в Аргосе и Самосе — Гера, в Брауроне, Эретрии, Фере и Эфесе — Артемида, в Коринфе и на острове Кипр — Афродита, в Элевсине — Деметра, в Мегаре и Милете — Аполлон, в Фивах — Геракл. Притом, каждое божество имело множество прозваний, и последние сплошь и рядом должны были вытеснять в местных культах настоящее имя бога. Так, например, в Селинунте в V веке бог войны назывался официально Фоб („приносящий страх“), богиня земли — Малофор („дающая плоды“), богиня смерти — Пасикратия („всепокоряющая“). Пока смысл этих прозваний оставался понятным, как в настоящем случае, до тех пор не могло возникнуть сомнений в их тождестве с общеупотребительными именами богов. Но очень часто имя бога, употреблявшееся в культе, исчезало из разговорного языка. Например, уже современники Гомера так же мало понимали буквальный смысл имени Геры, как и мы; вследствие этого они считали ее особым божеством наряду с Дионой, тогда как первоначально обе составляли одно и то же лицо. Мы видели, что таким же образом из Дионы-Геры выделились Афродита и Артемида, из Аполлона — Асклепий, из Гелиоса — Геракл, из Деметры — Персефона. Ясно, что каждое из этих новых имен должно было первоначально возникнуть в одной какой-нибудь местности и отсюда распространиться по всем областям, населенным греками. При этом могло случаться, что божество называли не тем именем, которое оно носило в культе, а по имени местности, в которой оно особенно почиталось и которая поэтому считалась его любимым местопребыванием. Так, Афродита, как известно, часто называется у Гомера просто Кипридой или Кифереей. Точно так же покровительницу Афин сами афиняне называли просто „богиней“, а все остальные греки — „афинянкой“. Так как Афины представляли один из древнейших центров греческой культуры, то покровительниц других городов стали отождествлять с афинской богиней; являются Афина Итонская, Алалкоменейская и т.д. Таким образом, Афина сделалась национальной богиней, подобно тому как аргосская Гера почти во всей Греции вытеснила из культа древнюю Диону.

Но для того, чтобы культ получил широкое распространение, нужны благоприятные условия. Поэтому культ большей части местных богов Греции не вышел за пределы того города или округа, в котором он первоначально возник. Между тем понятие божества совершенно субъективно; бог лишь в том случае бог, если кто-нибудь ему поклоняется¹. Даже Геракл и Асклепий для Гомера не боги, потому что в его время им не служили в большей части ионийских городов; в его глазах они такие же люди, как все остальные герои „Илиады“. Если Геракл — сын Зевса, то ведь такого же происхождения и Сарпедон. Так были разжалованы в смертные те самые существа, которые в другой части Греции считались богами. Но они все-таки не обыкновенные люди, подобные нам; они — сыновья, внуки или правнуки богов, их силы далеко превосходят силы людей, „которые теперь находятся в живых“, они не страшатся вступать в борьбу даже с богами. Итак, они стоят на середине между богами и людьми; они — полубоги² или, как это выражали одним словом, которое, впрочем, первоначально имело гораздо более широкий смысл, — герои. Эти герои жили, конечно, в глубокой древности; так возникла та теория о периодах мировой жизни и о постепенном вырождении человечества, которую мы находим у Гесиода.

В религиозных вопросах также, в конце концов, одерживает верх большинство. Грек, видя, что его местное божество за пределами его родины не почитается более нигде, или только в немногих соседних областях, должен был, наконец, спросить себя, имеет ли в самом деле такое существо право считаться богом; а в этом вопросе заключался и ответ на него, ибо кто сомневается, тот уже перестал верить. Таким образом, многие из местных богов были низведены на степень героев даже там, где возник их культ; из бессмертных они обратились в смертных, а места, где им воздавали

¹ Я говорю здесь, конечно, только о богах политеистической народной религии.

² У Гомера само понятие уже встречается, но, за исключением одного позднейшего места „Илиады“ (XII. 23), еще нет термина для его выражения. (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М., 1896. С.188).

почести, стали считаться местом их погребения. Вследствие этого культ героев должен был приблизиться к культу мертвых. Граница между обоготворенными предками и богами, низведенными на степень людей, исчезла, и очень возможно, что среди бесчисленных героев, которых почитали в различных частях греческого мира, было немало некогда действительно существовавших людей. Во всяком случае для того, чтобы память о выдающихся людях могла в первобытное время пережить несколько поколений, нужны особенно благоприятные условия. У дикаря короткая память; длинная вереница его предков и владык его государства скоро сливается в ней в одну неопределенную массу. И вот, на место действительного родоначальника племени или основателя города становятся фантастические герои-эпонимы, в которых олицетворяется имя рода, племени или города и которым воздаются почести, принадлежавшие раньше всем предкам вообще.

Когда позже, под влиянием оживленных сношений и успехов цивилизации, число божеств, в которых верил грек, сильно возросло, тогда естественно должна была явиться потребность внести какой-нибудь порядок в эту путаницу. При господствующем антропоморфическом взгляде на богов их взаимные отношения также должны были представляться подобными тем, которые существуют в человеческом обществе. По образцу человеческого государства, отличительными чертами царства богов являются монархический образ правления и родовой строй. Во главе его стоит самый могущественный из богов, владыка неба и молнии — Зевс; остальные божества неба являются его сыновьями и дочерьми, за исключением, конечно, царицы неба, Геры, которая, по представлениям того времени, когда складывалась эта система, в качестве супруги Зевса не могла быть его дочерью; поэтому ее сделали, по крайней мере, его сестрой. Речных богов также можно было представлять себе сыновьями Зевса, так как реки питаются дождями; по другому верованию они являются сыновьями морских божеств — Тетиды и Океана. Напротив, с божествами земли и моря Зевс связан, очевидно, менее тесным родством; поэтому Аид и Посейдон

считаются его братьями, Деметра — его сестрою. Таким же образом и остальные божества связываются с главными богами и друг с другом при помощи родственных отношений.

Но и сам Зевс должен был иметь отца и мать. Итак, кто же были его родители? Гомер и Гесиод отвечают: Кронос и Рея. Из них Кронос есть, вероятно, не кто иной, как сам Зевс, эпитет которого у Гомера — *Хронион*; так как подлинный смысл этого слова был рано утрачен, то его стали принимать за имя отца. Рея — богиня доэллинических обитателей Крита, стоящая в тесном родстве с малоазиатской „великой матерью“ Кибелой. Именно на Крите и возник миф о происхождении Зевса, почему и само действие мифа было локализовано на этом острове.

Запросы народной религии были удовлетворены этой системой, но теоретическое богословие не могло остановиться на ней. Возникал вопрос о том, кто были родители Кроноса и Реи; чтобы ответить на этот вопрос, Кроноса и Рею вторично ввели в генеалогию под другими именами. Их отцом оказывается Уран, бог неба, т.е. снова тот же Кронос-Зевс, их матерью — Гея, богиня земли, т.е. та же Рея. Наконец, чтобы добраться до какого-нибудь начала, — Урана, на основании древних мифологических представлений, признали сыном его собственной супруги Геи, которая, в свою очередь, вышла из Хаоса. Нескромный вопрос о происхождении самого Хаоса, вопрос, которым позже ребенок Эпикур приводил в смущение своих учителей, тогда еще не возникал.

Так завершается эта система в Гесиодовой „Теогонии“ По другой версии, которую мы встречаем уже в „Илиаде“, родоначальниками богов были Океан и его супруга Тефия. Это верование было позже воспринято и развито орфиками и легло в основу древнейшей философской системы греков.

Таковы были теогонические представления греков около начала VII столетия. Понятия о сущности божества были еще, конечно, очень грубы, соответственно культурному уровню того времени; человек всегда и везде создавал себе богов по собственному образу и подобию. Так как понятие о нематериальном духе было еще совершенно чуждо этой эпо-

хе¹, то богов представляли себе или в виде людей, или в виде полуплюдей, полуживотных; таковы, например, аркадская Деметра с головой лошади, гомеровская Гера „с лицом коро-вы“, козлоногий Пан. Такие изображения богов мы встречаем на древнейших греческих геммах, так называемых „островных камнях“, а некоторые из них, как, например, фигура кентавра, удержались даже в искусстве классического периода. На этих представлениях отразилось, с одной стороны, влияние древнего культа животных, с другой, влияние восточных образцов.

Но сходство между богами и людьми не ограничивается внешностью; те и другие одинаково мыслят и чувствуют, одарены одинаковыми недостатками и страстями. Жизнь божественной семьи на Олимпе составляет точную копию жизни человеческой семьи, вплоть до супружеских ссор между Зевсом и Герой, играющих такую важную роль в „Илиаде“ Только знаниями и могуществом боги далеко превосходят людей, да еще тем, что не подвержены ни старости, ни смерти.

Сообразно с этим, грек гомеровского времени представляет себе отношения между богом и человеком по образцу тех отношений, которые существуют между царем и его народом. Как царю оказывают знаки почтения и приносят подарки, так бог требует молитв и жертв; в награду как царь, так и бог обязаны защищать своих подданных и поклонников. Гектор — любимец Зевса в силу не своих нравственных свойств, которые до сих пор делают его для нас самым привлекательным из всех героев троянского цикла, а многочисленных жертв, которые он приносил Зевсу. Но вместе с тем начинают обнаруживаться следы и более высокого представления о божестве. Добрый царь защищает правых и карает виновных; того же грек ждет и от своих богов. Что это ожидание не всегда оправдывается, с антропоморфической точки зрения вполне понятно. И так как боги уделяют людям

¹ „Душа“ у Гомера — нечто вполне материальное, ср. например, Илиада. XXIII. 100—101: „Душа, точно дым, опустилась под землю с шестом тихим“ (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М., 1896. С.375).

счастье и несчастье по своему произволу, то очевидно, что человек, которого беспрестанно преследует несчастье, ненавистен богам; с таким человеком не следует быть в общении.

Мысль о загробном возмездии за наши поступки была в общем еще чужда той эпохе, когда складывался эпос. В царстве теней добрых и злых одинаково ждет вечный мрак, в который не проникает луч Гелиоса; лучше здесь, на земле, быть поденщиком, чем там, внизу, — царем мертвых. Но если сам преступник остается безнаказанным, то за него несет кару его потомство. Эта мысль с логической последовательностью вытекала из солидарности членов рода, лежавшей в основе всех правовых отношений общества, и представляла, конечно, могущественный стимул к богоугодной жизни.

Так как расположение богов приобретает главным образом при помощи жертвоприношений, то соблюдение обязанностей, налагаемых культом, имело в глазах греков гомеровского времени огромное значение. При этом исходили, естественно, из того представления, что то самое, чем наслаждаются люди, должно доставлять удовольствие и богам. И вот устраиваются жертвенные пиршества: режут быков и овец, приносят поджаренные ячменные зерна, совершают возлияния, — и все с той целью, чтобы боги вкушали от этих яств. Очевидно, что и человеческие жертвоприношения, от которых осталось так много следов в мифологии и в обрядах культа и которые изредка повторялись еще долго даже в историческом периоде, составляют остаток той эпохи, когда наши индогерманские предки еще предавались каннибализму. Позже, когда перестали употреблять в пищу человеческое мясо, эти жертвоприношения получили характер испительных жертв.

В „Илиаде“ рассказывается, как ахейцы, желая умоливать Аполлона, целый день пели в его честь „прекрасный пеан“, а Аполлон „слушал и радовался в своем сердце“ Вот почему пение, а позже и танцы, и гимнастические состязания сделались составными частями культа. Далее, божество, как и люди, находит удовольствие в драгоценностях; поэтому в торжественных случаях приносили, как жертвенный

дар, драгоценные вещи. Уже „Илиада“ знает обычай посвящать богам лучшую часть военной добычи. Таким образом святилища наполнялись произведениями искусства и сокровищами всякого рода.

Грек гомеровского времени не представляет себе своих богов ни всеведущими, ни вездесущими, хотя их чувства и гораздо совершеннее человеческих. Поэтому жертву надо приносить в такое время и в таком месте, чтобы божество было в состоянии принять ее. Когда Зевс находится в Эфиопии или Аполлон в Гиперборейской стране, тогда бесполезно приносить им жертвы в Элладе. Это представление привело позже к изобретению календаря. Морским богам приносят жертвы на берегу моря, речным — на берегах рек, в которых они обитают, причем жертва, по крайней мере по древнейшему ритуалу, опускается в воду. Жертвы, приносимые богам подземного мира, закапывают в землю, как и при культе мертвых. Тот, кто призывает этих богов, становится на колени и ударяет руками по земле. Богам света молятся под открытым небом, обратив лицо кверху и подняв руки. Но как доставлять этим богам свои жертвы? Здесь посредником является огонь; дым от сжигаемой жертвы поднимается к небу, и, наслаждаясь запахом горящего жира, божество как бы вкушает саму жертву. Конечно, это представление носит грубый, чувственный характер, но такой же характер носят в большей или меньшей степени все религиозные верования первобытных, да и не одних первобытных народов.

Богу можно приносить жертвы повсюду, куда простирается его власть; но человек не может быть уверен, что божество услышит его молитву и примет его жертву. Гораздо безопаснее приносить жертвы там, где божество охотнее всего живет: богам света — под старыми деревьями или на вершинах гор и холмов, морским богам — на мысах и небольших островах, подземным богам — в пещерах, идущих в глубь земли. Такие места и становятся центрами культа; ими перестают пользоваться для житейских целей и, отмежевав вокруг известный участок земли, посвящают его исключительно служению богу. Так как жертвоприношения совершаются всегда на одном и том же месте, то пепел с те-

чением времени образует возвышение, на котором с этого времени и совершают жертвоприношения; позже, на более высокой ступени культурного развития, оно заменяется каменной надстройкой.

Таковы были греческие святилища еще в эпоху расцвета эпической поэзии. Только тогда, когда усилились сношения с Востоком, начали строить богам настоящие жилища, „храмы“; притом, последние были необходимы для хранения драгоценностей, которые беспрестанно накапливались в священных местах. Уже около того времени, когда складывалась „Илиада“, в греческих городах начинают возникать храмы, но своей высшей точки эта строительная деятельность достигла уже в более позднее время.

Каждый грек мог сноситься со своим богом непосредственно; но так как формы культа становились с течением времени все более сложными и запутанными, то молящемуся постоянно грозила опасность неисполнением какой-нибудь формальности оскорбить божество и тем лишить жертву ее значения. Естественно, что простой человек обращался при жертвоприношении за советом к таким лицам, которых он считал компетентными в этом деле. А всякий, кто был посвящен во все тайны культа, передавал свои знания сыну. Таким образом, с течением времени возникло наследственное жречество, причем каждая жреческая фамилия посвятила себя культу одного какого-нибудь божества и была утверждена в этом звании государством; за свои труды жрец получал определенную часть жертвенного животного. Женским божествам служили, хотя и не всегда, жрицы. До образования настоящего жреческого сословия, какие мы видим на Востоке, греков не допустил их здравый смысл. Культ греков никогда не извратился до такой степени, чтобы обязанности жреца поглощали все силы человека; поэтому наряду с наследственными жрецами появляются избранные народом, и чем дальше, тем число последних становится значительнее. Кроме того, жреческие обязанности были всегда связаны с царским достоинством.

За жрецом следует прорицатель. Люди искони верили, что божество открывает человеку свою волю в знамениях: в

полете птиц, в шелесте листьев на священных деревьях, в молнии, грома и т.д. Но не всякий способен понимать эти знамения; для этого нужны особые знания, которые составляют дар богов и переходят от отца к сыну, как все знания и искусства в эту эпоху. Так как к прорицателю обращались во всех важных случаях и беспрекословно подчинялись его решению, то он должен был приобрести большое влияние в государстве. Правда, уже в гомеровское время слышны скептические голоса, как, например, знаменитые слова Гектора, что борьба за отечество есть лучшее из предзнаменований. Но таких скептиков было пока немного, и поэт ясно показывает, что не разделяет этой точки зрения. Однако Гомер еще ничего не знает о гадании по внутренностям животных, а оракулы упоминаются только в немногих позднейших местах. Своего расцвета искусство прорицания достигло уже после завершения эпоса, в VII и VI столетиях, когда религиозное чувство греков приобрело наибольшее напряжение.

ГЛАВА IV

Народный эпос

Миф и религия до VII века почти исключительно занимали мысль греческого народа, поскольку она не была поглощена борьбой за существование; из них преимущественно и черпает свое содержание поэзия. С другой стороны, и поэзия имела глубокое влияние на развитие не только мифов, но и религиозных представлений; лишь эпос выработал те индивидуальные черты каждого бога в отдельности, с которыми он сохранился в сознании следующих поколений. Народная религия греков не знала священных книг. Но их до известной степени заменяли эпопеи.

Начало греческой поэзии, несомненно, относится к эпохе до разделения племен, потому что эстетические потребности, которым обязаны своим возникновением поэзия и родственные ей искусства — музыка и оркестрика, в такой же степени присущи человеческому духу, как стремление познать причину окружающих нас явлений; поэтому мы находим песнь и танцы у всех народов, которые вышли из глубочайшего варварства. Итак, при той степени культурного развития, которой индогерманское племя достигло уже перед своим разделением на отдельные ветви, мы должны предположить у него знакомство с этими искусствами, хотя бы и в самой грубой их форме. Вместе с языком видоизменялась, конечно, и поэзия, как у немцев за староверхне-немецкой поэзией следовала средневерхненемецкая, а за последней нововерхненемецкая, или как в романских странах латинскую поэзию сменила простонародная. При полном отсутствии письменности песни, форма которых устарела, должны были в короткое время бесследно исчезать, как это случилось и со староверхненемецким героическим эпосом.

Мы уже видели, как рано поэзия стала служить культу. И естественно было, чтобы песни, которые пелись для удовольствия какого-нибудь бога, имели своим содержанием прежде всего прославление его подвигов. О таких гимнах упоминается у Гомера и Гесиода. Но со времени Архилоха и

Терпандра эти произведения народной религиозной поэзии все более и более вытеснялись из культа искусственной религиозной поэзией и, наконец, почти совершенно исчезли. Дошедшие до нас так называемые „гомеровские гимны“ служили совершенно иной цели: это — прелюдии, которыми рапсоды начинали пение больших отрывков эпических произведений; в них прославлялось то божество, которому было посвящено данное празднество. Таким образом, эти гимны уже всецело находятся под влиянием эпической техники; впрочем, даже древнейшие из них относятся к тому времени, когда эпическая поэзия уже клонилась к упадку.

Из гимна в честь божества развилась затем героическая песнь, вследствие низведения многих местных божеств на степень героев. Борьба, которая первоначально велась на небе, теперь перенесена была на землю; при этом историческая правда легко могла слиться с мифом, как в „Песне о Нибелунгах“ рядом с валькирией Брунгильдой и героем солнечного цикла Зигфридом стоят король гуннов Аттила и остгот Теодорих. Из отдельных героических сказаний с течением времени составлялись более значительные циклы. Желание возбудить интерес в слушателе новизной сюжета побуждало затем поэтов вводить все новых героев в излюбленные сказания. Так, из героев нашей „Илиады“ Нестор и его сыновья, троянец Эней, ликийцы Сарпедон и Главк и много второстепенных действующих лиц совершенно чужды древнейшей редакции поэмы; Одиссей и Диомед также, по крайней мере первоначально, не принадлежат к троянскому циклу сказаний. Позднее, как известно, введен был в сказание о битвах под Троей еще целый ряд других героических личностей, как амазонка Пенфесилия, Мемнон, Телеф, Неоптолем и многие другие. Таким же образом составлялись и остальные циклы сказаний — о походе аргонавтов, калидонской охоте, походе „семи против Фив“ и др.

Зачатки греческой героической песни должны быть отнесены к эпохе, далеко предшествовавшей возникновению даже самых древних частей дошедших до нас эпических произведений, потому что уже автор первой книги „Илиады“ предполагает в своих слушателях подробное знакомство со

сказанием о Троянской войне и рассчитывает на то, что Ахилл, Атриды, Одиссей, Аякс, Гектор уже знакомы им¹ Эпическая техника уже достигла высокого совершенства; многие выражения и эпитеты сделались постоянными, вырабатался художественный эпический стих, гекзаметр, которым пользуются с большим умением. Без сомнения, древнейшей формой этого рода поэзии была отдельная песнь, в которой подвиг героя прославлялся таким же образом, как гимн воспевал деяния какого-нибудь бога. Гомеровский „Рассказ о Долоне“ или, еще лучше, Гесиодов „Щит Геракла“ могут дать нам понятие об этом роде эпической поэзии, хотя оба эти произведения относятся уже к довольно позднему времени. Мало-помалу стали воспевать в более длинных поэмах целый ряд находящихся между собой в связи деяний одного героя, постепенно переходя все к более сложным подвигам.

Но уже в классический период древности не существовал ни один из этих зачатков греческой героической песни; „Илиада“ затмила все подобные былины и этим способствовала их забвению. Таким образом, это эпическое произведение стоит во главе греческой, да и вообще европейской литературы. Но „Илиада“ также не представляет собою произведения одного только поэта или даже одного лишь века. Древнее, сравнительно не очень большое ядро, постепенно окружалось позднейшими наслоениями, причем в эпос вставлялись и такие сказания, которые первоначально были чужды „Илиаде“

Указанное древнейшее ядро „Илиады“ начинается повествованием о споре царей в греческом лагере под Троей. Агамемнон отнимает у Ахилла его возлюбленную, Брисеиду, после чего последний удаляется от участия в войне и молит Зевса о даровании победы троянцам. Зевс внимает его мольбе; происходит сражение, и ахейцы оттесняются с большим уроном к своему лагерю, где неприятели окружают их. Когда опасность достигает высшей степени, в сражении принимает участие друг Ахилла Патрокл, который падает

¹ Совершенно иначе вводятся в рассказ Калхас и Нестор: поэт считает нужным предварительно познакомить своих слушателей с ними.

здесь от руки Гектора. Теперь, наконец, Ахилл забывает свой гнев, бросается в битву и убивает Гектора „у кораблей, в давке ужасной вокруг мертвого тела Патрокла“

До нас дошло от этой поэмы лишь очень немного, вероятно, только вступление, ссора царей, т.е. первая половина первой книги нашей „Илиады“ Все остальное заменено песнями позднейшего происхождения или, во всяком случае, загромождено ими до неузнаваемости. Ближайший толчок к этому дан был стремлением увеличить и превзойти эффект первоначальной поэмы. Так, молитва Ахилла к Зевсу заменена была мольбой Фетиды, — отрывок, высокое поэтическое достоинство которого заставляет нас забыть о недостаточной роли, какую играет Ахилл, когда он, точно ребенок, призывает мать на помощь. Такие же побуждения заставили заменить простую осаду греческого лагеря битвой на стенах и у кораблей. Далее, поражение ахейцев, хотя бы оно предопределено было Зевсом только ради Ахилла, служило камнем преткновения для патриотического чувства поэтов. В самом факте, конечно, ничего нельзя было изменить: постарались, по крайней мере, ослабить впечатление поражения тем, что приписали ахейцам множество героических подвигов. Этому стремлению обязаны своим возникновением VIII и XI книги нашей „Илиады“; и так как обе они вошли в состав эпоса, то ахейцы теперь подвергаются поражению дважды, вместо одного раза, как было первоначально. Вступление Патрокла в битву также казалось недостаточно мотивированным в первоначальной поэме. Поэтому дело представили так, будто Агамемнон пытается умиловить разгневанного героя обещанием возратить ему Брисеиду и предложением богатых подарков; Ахилл, связанный торжественной клятвой, не может сам оказать содействия, но, по крайней мере, посылает на помощь ахейцам Патрокла. В нашей „Илиаде“ эта связь уничтожена вставкой битвы на стенах и на кораблях, к которой непосредственно примыкает вступление в битву Патрокла. Поэтому посольство, отправленное Агамемноном к Ахиллу, должно было предшествовать этим битвам и, следовательно, осталось без результата. Истинный мотив посылки Ахиллом Патрокла, конечно, мифологиче-

ский, как мифологически обосновано и предание, по которому Патрокл носит оружие Ахилла вместо своего. Переход этого оружия в руки Гектора дает поэту случай придумать рассказ о том, как Гефест взамен погибшего вооружения выковал для Ахилла новое. И здесь опять лежит в основании мифологический мотив. По народному преданию, Ахилл, как и другие солнечные герои, например, Зигфрид, мог быть ранен только в одно место; наша „Илиада“ с тонким тактом опускает эту черту и заменяет кожу, которую Фетида сделала непроницаемой в огненной бане, непроницаемым золотым вооружением, которое по просьбе Фетиды выковал бог огня.

С внесением этого эпизода стало невозможным вступление Ахилла в битву тотчас после смерти Патрокла, и осталось время для формального примирения с Агамемноном, как оно изображено в XIX книге — одним из наиболее слабых и бесцветных отрывков всего эпоса. Возвращение Ахилла на поле брани украшено участием богов в битве; последнее в своей теперешней форме также представляет отрывок новейшего происхождения, обработанный, впрочем, по древним мифологическим мотивам. Место смерти Гектора, которое первоначально, как мы видели, находилось около кораблей, теперь переносится к Скейским воротам, где гордость Трои погибает на глазах отца и матери. Сделать и жену свидетельницей сражения не решился даже этот гонящийся за эффектами поэт; она приходит, когда уже все кончено. Наконец, к концу всей поэмы, в сравнительно позднее время, были прибавлены рассказы о торжественном погребении Патрокла и о возвращении трупа Гектора, между тем как по первоначальной редакции убитые герои делались добычей собак и птиц.

Однако, наряду с этими органическими прибавлениями, в нашу „Илиаду“ вошли и такие отрывки, которые первоначально не имели ничего общего с песнью о гневе Ахилла. Сюда относятся прежде всего две отдельные песни: песнь о Долоне (X книга) и песнь о смерти Патрокла (XVI книга). О „Долонии“ еще александрийские ученые знали, что первоначально она составляла самостоятельную поэму. Хотя она и

предполагает такое положение дел, какое образовалось после поражения ахейцев, однако на своем теперешнем месте, после неудачного посольства к Ахиллу, она совсем некстати, а в каком-нибудь другом месте дошедшего до нас эпоса — и того менее. Напротив, она была бы очень уместна в первоначальной „Илиаде“, где, как мы видели, „Патроклия“ предшествовало продолжительное заключение ахейцев в их лагере. Но „Долония“ не так стара; напротив, все согласны, что это одна из новейших частей „Илиады“, может быть, новейшая из всех, если не считать коротких эпизодов. Точно так же и „Патроклия“ в ее теперешней форме чужда нашей „Илиаде“; в самом деле, во вступлении к ней повторяется рассказ о споре между Ахиллом и Агамемноном, т.е. в слушателе не предполагается знакомства именно с тем событием, вокруг которого сосредоточена вся „Илиада“ Смерть Патрокла, несомненно, должна была быть описана и в первоначальной „Илиаде“; но и в этом случае безыскусственный рассказ вытеснен был более ярким. Позднейшую прибавку к нашей „Патроклии“ составляет рассказ о борьбе из-за трупа героя в XVII книге.

Если эти отрывки имеют связь с нашей, или хотя бы с похожей на дошедшую до нас „Илиадой“, то, напротив, содержание книг II—VII находится в полном противоречии с планом песни о гнев Ахилла. Решение Зевса — ради Ахилла доставить победу троянцам — совершенно забыто; несмотря на то, что Ахилл держится в стороне, ахейцы сражаются с блестящим успехом, и героем этого дня является Диомед. С другой стороны, кроме некоторых новейших отрывков или вставленных мест, нигде нет указания на рассказанные здесь события, хотя поводов к этому можно было найти немало. А между тем эти книги — не продукт позднейшего творчества, а принадлежат к наиболее ценным в художественном отношении частям эпоса. Таким образом, необходимо прийти к заключению, что мы имеем здесь дело с песнями, которые были сочинены без всякого отношения к песне о гнев Ахилла и вставлены в нее впоследствии, когда уже остальная „Илиада“ приняла в общем свой теперешний вид.

Ядром этой вставки служит замкнутый цикл (II—VI книги), отрывок эпической поэмы, изображавшей падение Илиона. Агамемнон, безуспешно осаждавший город в течение десяти лет, теряет надежду на успех своего предприятия и призывает войско к возвращению. Одиссей убеждает ахейцев остаться, и составляется план решительного нападения на Троию. Когда войска сходятся, троянцы предлагают посредством поединка между Менелаем и Парисом решить, кому должна принадлежать Елена. Их предложение принимается, и Менелай побеждает. Теперь боги обсуждают участь города; Зевс хотел бы его спасти, но Гера и Афина настаивают на гибели Трои. Наконец, Зевс уступает, и троянцы, по наущению Афины, нарушают договор; они изменнически ранят Менелая и не выдают Елену. Начинается сражение, в котором на ахейской стороне передовым бойцом выступает Диомед. Троянцы в большой опасности; тщетно знатные женщины города обращают свои молитвы к Афине. Гектор, пришедший в город, чтобы устроить это молебствие как последнее средство спасения, прощается со своей женой Андромахой. Этим кончается дошедший до нас отрывок.

Этот эпизод вдвигается в поэму о гневе Ахилла совершенно внешним образом. За рассказом о том, как Зевс, чтобы исполнить данное Фетиде обещание, побудил Агамемнона обманчивым сном к нападению на Троию, непосредственно следует сцена военного совета, на котором царь призывает свою армию к возвращению на родину, — пробел настолько глубокий, что он бросается в глаза даже невнимательному читателю. Так же неожиданно в другом месте вставки внезапно прекращается победоносная деятельность Диомеда; ахейцы, включая и самого Диомеда, вдруг начинают бояться Гектора, и лишь один Аякс решается на борьбу с ним, которая затем описывается совершенно по образцу поединка между Менелаем и Парисом. Поединок не приводит ни к какому результату, так как он прерывается наступлением ночи. Затем следует перемирие для погребения павших — отрывок очень позднего происхождения — и, наконец, первое поражение ахейцев, которое относится уже к числу эпизодов, вставленных в сказание об Ахилле.

Конечно, и эта часть „Илиады“ включает в себе множество более поздних вставок. Они имеют целью, преимущественно, познакомить слушателя с героями ахейского войска. Такова „Гейхоскопия“, в которой Елена показывает своему тестю Приаму некоторых из неприятельских военачальников; далее смотр, сделанный войскам Агамемноном, и особенно „Список кораблей“, к которому позже был прибавлен еще „Список троянцев“ Кроме того, здесь, как и повсюду в „Илиаде“, есть много поправок, которые, к сожалению, вытеснили не один старый отрывок. Дело в том, что поэт, вставивший отрывок из поэмы о падении Илиона в песнь о гневе Ахилла, должен был, разумеется, позаботиться о том, чтобы уничтожить все противоречия между вставкой и „Ахиллеидой“ И в отдельных местах это отлично удалось ему; но он не мог, конечно, устранить противоречия во всем плане обеих поэм.

Другое великое произведение народного эпоса, сохранившееся до нашего времени, „Одиссея“¹, в общем моложе „Илиады“, т.е. относится к эпохе, когда эпическая техника достигла уже большого развития. По этой причине уже ядро „Одиссеи“ имеет гораздо больший объем, чем древнейшая „Илиада“, и менее затронута позднейшими переделками. Ядро это обнимало собою скитания Одиссея и умерщвление женихов. Как известно, в нашей теперешней „Одиссее“ сам герой рассказывает у феакийцев о своих приключениях. Это указывает уже на высокую степень поэтического творчества; и действительно, можно доказать, что эта форма ни в каком случае не была первоначальною, потому что часть рассказа совершенно механически переделана с третьего лица на первое, т.е. поэт некогда сам рассказывал то, что теперь вложено в уста Одиссея. Что при этом рассказ все больше украшался, что постоянно придумывались новые приключения, — это совершенно в характере развития всякой эпической

¹ Основными работами являются труд А.Кирхгофа (*Kirchhoff A. Die homerische Odyssee* 2. Auf. Berlin, 1879), дополненный и исправленный в некоторых пунктах У.Виламовицем-Мёллендорфом (*Homerische Untersuchungen*. Berlin, 1884). Я придерживался результатов этих исследований, поскольку считаю их доказанными.

народной поэзии. Так, например, эпизод о Калипсо является позднейшей прибавкой, имеющей целью довести продолжительность скитаний Одиссея до десяти лет. Первоначально герой лишь раз терпел кораблекрушение и тотчас попадал к феакийцам на Схерию. В особенности „Некия“, которая в своей основе, эпизоде о Тиресии, принадлежит далекой древности, так как сошествие в подземное царство составляет самую главную составную часть всего мифа об Одиссее, — украшена очень обширными приставками, сделанными отчасти уже в довольно позднее время¹ Умерщвлению женихов предшествовала в древнейшей поэме встреча Одиссея с Пенелопой; последняя устраивает по приказанию мужа состязание в стрельбе луком Одиссея и обещает победителю свою руку; но никто не в состоянии натянуть лук, кроме самого Одиссея, который и направляет свои выстрелы в женихов.

К этому ядру „Одиссеи“ впоследствии, как и в „Илиаде“, примкнули многочисленные прибавки, материал для которых давали отчасти другие обработки легенды об Одиссее. Мы уже видели, как разукрашен был рассказ о странствованиях. Пребывание у феакийцев дало повод к подробному описанию устроенных там в честь героя празднеств. Поведение женихов на Итаке описывается чрезвычайно обстоятельно, и поэты находят удовольствие в том, чтобы до отращения подробно нарисовать роль нищего, которую Одиссей принужден играть в собственном доме. Сцена встречи с Пенелопой переносится, ради усиления эффекта, к концу поэмы и помещается после умерщвления женихов. Но главное — в образе Одиссеева сына Телемаха в эпос вводится новое выдающееся действующее лицо. Правда, рядом с Одиссеем ему нет места для какого-нибудь решительного вмешательства в действие; его подвиги ограничиваются лишь совершенно бесцельною поездкой в Пилос и Спарту, где он пользуется гостеприимством Нестора и Менелая; кроме того, он, конечно, содействует отцу при умерщвлении женихов. Наконец, уже в довольно позднее время, для уст-

¹ „Некия“ — XI песня „Одиссеи“ (Ред. 2008).

ранения возможных сомнений со стороны слушателей, один рапсод прибавил к „Одиссее“ эпилог, в котором изображается свидание Одиссея с его престарелым отцом Лаэртом и примирение героя с родственниками убитых женихов.

К „Илиаде“ и „Одиссее“ примыкал еще целый ряд других эпоей, которые впоследствии объединялись под именем „эпического цикла“ „Кипрские сказания“ описывали события, предшествовавшие Троянской войне, до того момента, с которого начинается наша „Илиада“; „Эфиопида“ и примыкающее к ней „Разрушение Илиона“ составляли продолжение „Илиады“ до взятия Трои. То же содержание имела и так называемая „Малая Илиада“ „Возвращения“ рассказывали о возвращении героев из-под Трои, а „Телегония“ повествовала о конечной судьбе Одиссея.

Никакой другой цикл сказаний не вызвал такой обширной эпической литературы. Песни о путешествии аргонавтов, бывшие уже у всех на устах в то время, когда складывалась „Одиссея“, рано были забыты. Той же участи подверглись и песни, прославлявшие подвиги Геракла; они были вытеснены искусственным эпосом, который особенно охотно обращался к этому сюжету. Дольше удержались эпические произведения фиванского цикла сказаний, повествовавшие об Эдипе и его трагической судьбе, о походе „семи против Фив“ и о покорении города, которое, наконец, удалось сыновьям этих героев. Если эти поэмы и не могли соперничать с „Илиадой“ и „Одиссеей“, то они во всяком случае имели глубокое влияние на развитие пластических искусств и драматической поэзии.

Вся эта масса поэм распространялась анонимно, без имен авторов. Да и могло ли быть иначе в эпоху, когда еще не существовало письменной литературы? Эти песни пелись певцами под аккомпанемент арф: в зале, во время торжественного пиршества, — для князей, и под открытым небом, на рынке, — для народа. Часто певцом был сам поэт, как например, Фемий или Демодок у Гомера; а если он им и не был, разве кто-нибудь спрашивал об этом? Даже на высоте своего культурного развития греки очень мало уважали литературную собственность; что же могло помешать певцу в

то отдаленное время присвоить себе и публично петь песнь, имевшую успех? Жажда публики слышать каждый раз что-нибудь новое еще способствовала тому, что песни лишь редко оставались без изменения более или менее продолжительное время, по крайней мере до тех пор, пока еще бил ключом живой родник эпического творчества.

Когда впоследствии проснулось желание узнать, кто был автором упомянутых эпоей, то ответом на этот вопрос затруднялись так же мало, как и ответом на вопрос об основателе какого-нибудь города или об авторе древних законов. Поэмы троянского и фиванского цикла сказаний сочинил Гомер, герой-эпоним фамилии певцов Гомеридов, родиной которых был остров Хиос, откуда они, впрочем, рассеялись по другим ионийским городам, благодаря чему и последние считали себя родиной Гомера. Весьма вероятно, что эта фамилия играла особенно выдающуюся роль в развитии эпической героической песни и что „Илиада“ и „Одиссея“ обязаны ей своим возникновением и дальнейшею обработкой. В этом смысле и мы можем сказать, что обе великие эпоеи — и не только их ядро — принадлежат Гомеру.

С пробуждением науки, в V веке, стали возникать сомнения, действительно ли Гомер был автором всей массы эпоей, которые циркулировали под его именем и которые были так различны по форме и содержанию. Геродот старается доказать, что „Кипрские сказания“ не могли быть сочинены Гомером, и выражает сомнение в подлинности „Эпигонов“. В течение IV столетия этот взгляд стал всеобщим; отныне только „Илиада“ и „Одиссея“ считались произведениями Гомера, — для всех остальных эпических стихотворений его авторство отрицалось. Чтобы заполнить освободившееся место, найдены были другие имена: какой-то Стасин был будто бы автором „Кипрских сказаний“, Арктин сочинил „Эфиопиду“, Лесх — „Малую Илиаду“ и т.д. Характерно, что все эти поэты были лишь теперь открыты, между тем как Геродот по крайней мере о Стасине еще ничего не знает.

Во всяком случае не подлежит сомнению, что героический эпос получил свое развитие в Малой Азии. Возможно,

что о похищении Елены, о гневе Ахилла, о странствованиях Одиссея пели еще на родине, до переселения; но группировка всех этих мифов вокруг войны с Троей могла произойти лишь на азиатской почве. В этом выражается воспоминание о продолжительной борьбе, которую пришлось вести греческим поселенцам с коренными жителями страны из-за обладания берегом¹ К тому же поэты отлично знакомы с Троедой. Они знают множество местных имен; они изображают Скамандр и орошаемую им равнину совершенно такими, какими мы видим их еще в настоящее время; они не забывают даже обратить внимание на многочисленные курганы, которые так характерны для этой местности. Картина прибрежья Геллеспонта, как оно изображено во введении к XIII песне, могла быть нарисована только очевидцем или по рассказу такового. А что в том месте, которое в продолжение всей древности было известно под именем Илиона, в доисторическое время действительно существовал выдающийся культурный центр, — это, как известно, неопровержимо доказано раскопками последних лет.

Далее, язык эпоса не оставляет ни малейшего сомнения в том, что последний в дошедшем до нас виде возник в Ионии, что, кроме того, подтверждается некоторыми намеками местного характера. Это не исключает возможности, что в сочинении позднейших частей „Одиссеи“ и эпоей цикла принимали участие также поэты из других областей Греции, — как, с другой стороны, сказания, составляющие содержание „Илиады“, может быть, отчасти были занесены к ионийцам с соседнего Лесбоса, который лежит так близко к Трое.

Точное определение времени возникновения эпоей так же мало возможно, как и вообще подобные определения в области древнейшей греческой истории; доисторическая эпоха допускает лишь относительную хронологию. „Илиада“ в общем древнее „Одиссеи“, которая заимствовала у нее множество формул и целых стихов, да и вообще в целом отражает более высокую степень культурного развития. Эпи-

¹ Борьба велась, конечно, не исключительно и даже не главным образом из-за обладания Троей; напротив, завоевание этой области удалось, по-видимому, лишь в VIII и VII веках. Ср. ниже, гл. VI.

ческий цикл троянских сказаний также, как мы видели, уже предполагает существование нашей „Илиады“ Поэты VII века, например, Архилох и Тиртей, были уже знакомы, по крайней мере, с большою частью „Илиады“ и „Одиссеи“; следовательно, ядро обеих эпопей должно было возникнуть никак не позже VIII века. Но возможно, что оно восходит и к более раннему времени, и даже вероятно, что древнейшие песни „Илиады“ принадлежат еще IX веку. С другой стороны, конец „Одиссеи“ указывает уже на существование правильных торговых сношений с Сицилией, которые могли развиться лишь с началом греческой колонизации острова; следовательно, это произведение едва ли было закончено ранее VII века. А отдельные отрывки, как, например, орфийская интерполяция в „Некии“, относятся, может быть, еще к более позднему времени. В VII столетии — во всяком случае, не позже конца его — был сочинен и „Список кораблей“ в „Илиаде“, потому что между фокейскими городами он упоминает „священную Крису“, которая была разрушена около 590 г. Когда были впервые записаны эпические песни, мы не знаем; но так как до IV века они сохранялись главным образом путем устной передачи, то они не могли избежать многочисленных мелких изменений, которые затем попали отчасти и в писанные экземпляры. Только александрийские филологи восстановили текст в том виде, как мы в общем читаем его еще теперь.

ГЛАВА V

Традиционная история греческой древности

Певцы эпоса, как и их слушатели, не имели еще никакого представления о том, какая пропасть отделяет историю от мифа. Троянская война, поход „семи против Фив“, странствования Одиссея и Менелая представлялись им исторической действительностью, и они так же твердо верили, что Ахилл, Диомед, Агамемнон и все прочие герои некогда действительно жили, как швейцарский народ до недавнего времени верил в своего Телля или Винкельрида. Вообще до IV века едва ли кто-нибудь в Греции решался отнестись скептически к этим преданиям. Даже такой критический ум, как Фукидид, еще совершенно находится под влиянием эпического предания — до того, что он производит статистическое исследование относительно величины армии Агамемнона и старается выяснить вопрос, каким образом могли быть прокормлены подобные массы в продолжение десятилетней осады Трои.

Но изображаемый в эпосе мир принадлежал неизмеримо далекому прошлому. Люди были в то время гораздо сильнее, чем „живущие теперь“; боги еще спускались на землю и не гнушались рождать сыновей от смертных женщин. Настоящее и то, что знали из устных преданий о недалеком прошлом, теряло всякий интерес в сравнении с этой великой стариной; и если эпос иногда обращался к историческим воспоминаниям, он переносил события в героическое время и тесно сливал их с мифом. Каким образом настоящее развилось из героической эпохи, — этим вопросом поэты и их современники еще не задавались.

Наступило, однако, время, когда этот вопрос был поставлен. Теперь захотели узнать, почему Греция в историческое время была так мало похожа на ту, какой она изображена у Гомера, — почему, например, Гомеру еще неизвестна Фессалия, почему он населяет Арголиду ахейцами, а не дорийцами, почему у него в Аргосе и Спарте царствуют по-

томки Пелопса, а не Геракла. В этих вопросах сказывается первое пробуждение исторического интереса.

Но в вопросе заключался уже и ответ. Ясно было, что после Троянской войны большая часть греческих племен покинула свои старые места и что Эллада со времени этой войны стала ареной настоящего переселения народов. Однако на одном этом факте не могли успокоиться. Хотели знать также и причину переселений, и ближайшие обстоятельства, сопровождавшие их. Народу, одаренному такой живой образительностью, нетрудно было ответить на это.

Уже бесцветность всех подобных рассказов достаточно доказывает, что мы имеем здесь дело с простым умозаключением, а не с истинным народным сказанием. Например, о переселении фессалийцев в долину Пенея передают лишь голый факт: его было достаточно, чтобы объяснить, почему „пеласгический Аргос“ Гомера назывался в историческое время Фессалией. Переселенцы должны были, конечно, иметь предводителя, и во главе их поставили Фессала, эпониима племени: одной этой черты достаточно, чтобы весь рассказ признать позднейшей выдумкой. Далее, откуда-нибудь да должны же были прийти фессалийцы; так как Гомер знает племена, живущие к югу от Фермопил, уже на тех местах, которые они занимали в историческое время, а из Фракии и Иллирии невозможно было выводить греческое племя, то родину победителей оставалось искать только в Эпире. Это было тем естественнее, что название Фессалии действительно принадлежало сначала только Фессалиотиде, области, примыкавшей к Фарсалу и Киерии и граничившей с Эпиром, и лишь отсюда распространилось на остальные части страны (см. ниже, гл. IX).

Еще характернее, пожалуй, рассказ о переселении беотийцев. По Гомеру, в Фивах жили кадмейцы, в Орхомене — минийцы; отсюда следовало, что беотийцы, как и фессалийцы, переселились сюда лишь после Троянской войны. Между тем в Беотии сплошь и рядом встречаются фессалийские местные имена и богослужебные обряды; поэтому не было ничего проще, как сделать родиной беотийцев Фессалию, чем заодно решался и вопрос о том, что случилось с коренным

населением Фессалии после вторжения фессалийцев. Правда, другие видели это коренное население в крепостных крестьянах (пенестах) фессалийских дворян; но оба эти взгляда легко можно было примирить — стоило только допустить, что одна часть прежних жителей страны была порабощена, а другая часть выселилась. Между тем уже Гомер знает беотийцев на тех местах, которые они занимали в историческое время. Это в свою очередь заставило предположить, что часть народа еще до Троянской войны переселилась в Беотию; некоторые же думали, наоборот, что беотийцы после Троянской войны были изгнаны пеласгами и фракийцами из Беотии и вернулись туда через несколько поколений. Из этого примера мы ясно видим, в какой зависимости от эпоса находятся все подобные комбинации.

Такой же характер носит рассказ о переселении элейцев. Элида — древнее областное название; следовательно, вне Элиды никогда не могло быть элейцев. Но Гомер называет жителями этой страны элейцев, и на этом основании рассказывали, что элейцы пришли в Пелопоннес лишь после Троянской войны из Этолии, где Оксила, мифического родоначальника элейской династии, также почитали как героя. По другой версии, наоборот, Этолия была заселена выходцами из Элиды; из комбинации этих двух преданий и явилось потом предположение, что элейцы сначала переселились в Этолию, а спустя десять поколений вернулись на старое место. В действительности же гомеровские элейцы были не что иное, как жители Эпея в Трифилии, имя которых было перенесено на население окрестной области, подобно названию соседних пилосцев — что объясняется скудостью сведений, которыми обладали ионийские рапсоды об этих западных частях Пелопоннеса.

Далее, так как Гомер не знает в Пелопоннесе дорийцев, то, очевидно, население, жившее в Арголиде и Лаконии в историческое время, должно было прийти туда лишь после Троянской войны; оставалось только решить, откуда. Это было нетрудно, так как в Средней Греции между Этой и Парнасом была небольшая горная область, жители которой назывались дорийцами, подобно греческим колонистам на

карийском побережье. В этом факте нет ничего странного, потому что, когда один и тот же язык господствует на обширном пространстве, одинаковые местные имена по необходимости должны повторяться, в чем можно убедиться из любого топографического словаря. Подобные омонимии, однако, не доказывают, что между жителями таких местностей существует особенно близкое родство; но они играли выдающуюся роль при возникновении греческих племенных преданий.

Итак, указанным путем определили родину дорийцев. Далее, нужно было еще найти причину, побудившую их так далеко искать новых мест для поселения. В тесной связи с этим стоял вопрос, каким образом потомки Геракла достигли господства над Аргосом, Спартой и Мессеной. Ответ на эти вопросы дает миф о возвращении Гераклидов. Предание рассказывает, что Геракл принадлежал к аргосской правящей династии, но был лишен своих прав на престол и умер в изгнании; его сыновья или, как думали позднее по хронологическим причинам, его правнуки с помощью дорийцев осуществили как эти права, так и притязания, которые предъявлял Геракл на владение Лаконией и Мессенией; возвращенные области были разделены между тремя братьями — Теменом, Кресфонтом и Аристодемом, или обоими близнецами последнего — Проклом и Эврисфеном. Это был миф, которым можно было удобно пользоваться для политических целей. Аргос на этом законном основании мог претендовать на гегемонию над всей Арголидой, Спарта — оправдывать подчинение своей власти небольших лаконских городов и Мессении. А это должно было повести к тому, что сказание, раз возникнув, быстро распространилось и вскоре получило официальное признание.

Но уже одно упоминание Мессении показывает нам, что мы имеем дело с мифом сравнительно позднего происхождения, так как притязания на эту область, как на наследие Гераклидов, могли быть заявлены лишь после завоевания ее спартанцами около конца VIII или начала VII века. Кроме того, в сказании о переселении дорийцев ничего не говорится о родоначальниках спартанских династий, Агисе и Эври-

понте, — верный признак того, что они лишь искусственно связаны с именем Геракла. Далее, Темен, которого аргосские цари считали своим родоначальником, был, по аркадскому, но несомненно перешедшему из Аргоса мифу, сыном Пеласга, или Тегея, или арголидского героя Форонея; рассказывали также, что Темен воспитал местную богиню Арголиды Геру. Следовательно, он является древнеаргосским героем, который первоначально не имел ничего общего с Гераклом. На о. Косе точно так же ничего не было известно о переселении дорийцев в то время, когда определяли генеалогию правившей там династии, потому что ее вели не от Темена, а прямо от Геракла через его сына Фессала. Да и вообще, как мы видели, Геракл — вовсе не дорийское, а беотийское божество, культ которого лишь после колонизации Малой Азии распространился в соседних с Беотией областях (см. выше, с.126). Следовательно, миф о возвращении Гераклидов мог возникнуть лишь значительно позже того времени, когда, по преданию, дорийцы пришли в Пелопоннес, а между тем он стоит в неразрывной связи с этим событием. Впервые этот миф упоминается у Тиртея, под конец VII века, и в приписываемом Гесиоду эпосе „Эгимий“, который был написан приблизительно около того же времени или еще несколько позднее. Это было время, когда гомеровские эпопеи сделались популярными также и в европейской Греции; Тиртей, как и Гесиод, находится всецело под их влиянием. Вообще очевидно, что рассказ о переселении дорийцев из Средней Греции в Пелопоннес мог возникнуть лишь после того, как название дорийцев было перенесено из малоазиатских колоний на западное побережье Эгейского моря, что произошло только в послегомеровскую эпоху (выше, с.92). Точно так же и сказание о переселении фессалийцев могло возникнуть лишь после того, как жители бассейна Пенея сознали свое племенное единство и стали называть себя общим именем фессалийцев. Это произошло, вероятно, в VIII или VII веке, так как Гомер, как мы уже сказали, еще не знает имени фессалийцев, а в позднейшем отрывке „Илиады“, „Списке кораблей“, упоминается герой-эпоним этого народа. Зависимость всех этих сказаний о переселениях от эпоса

видна, наконец, также из того, что они касаются только тех областей, которые, по Гомеру, были населены другими народностями, чем в историческое время; аркадцы и афиняне, которые уже у Гомера являются на своих позднейших местах, считали себя исконными жителями своих областей. Итак, Гомер создал для греков не только, как говорит Геродот, их богов, но и их первобытную историю. Но для нас совершенно очевидно, что сказания, сложившиеся лишь в VIII или VII веке, не имеют ровно никакого значения для характеристики положения, в котором находилась Греция в эпоху, предшествовавшую заселению Малой Азии.

После всего сказанного вопрос о внутренней достоверности этих преданий является собственно излишним, потому что даже самый правдоподобный миф — далеко еще не история. А здесь нам приходится принимать на веру самые невероятные рассказы. Дорида у горы Эты представляет суровую горную долину, площадью не более 200 кв. км, население которой не могло превышать нескольких тысяч, так как земледелие и скотоводство были единственными источниками пропитания. Еще во время Гомера восточные локрийцы сражались в легком вооружении, что делало их совершенно неспособными к рукопашной с гоплитами; дорийцы, жившие по соседству с этими локрийцами в глубине страны, не могли быть более культурны за несколько веков до этого. И несколько сот или даже тысяч так плохо вооруженных воинов покорили древние культурные области Пелопоннеса, с их многочисленными неприступными крепостями и отличным вооружением их населения? Одна мысль об этом была бы нелепа. Так же мало понятно для нас, почему дорийцы направились как раз в Арголиду и Лаконию, а тем более в Мессению, которые лежали так далеко от их родины. Правда, миф дает удовлетворительный ответ на этот вопрос; но кто Геракла и его сыновей и правнуков не считает историческими личностями, тот должен иначе мотивировать поход дорийцев.

Да и вообще нет никаких доказательств в пользу того, что на греческом полуострове произошло переселение народностей. Микенская культура вовсе не была уничтожена

внезапно вторжением нецивилизованных племен, как думали раньше, но перешла путем постепенной эволюции в культуру классического времени. Ведь и Аттика, где миф не знает никаких переселений, тоже имела свой микенский период культуры. Так называемые дорийские учреждения распространялись только на Крит и Лаконию, и в последней области возникли не раньше спартанского завоевания VIII века (ниже, глава IX); следовательно, они не имеют ничего общего с переселением дорийцев. Точно так же и крепостное положение фессалийских крестьян легко могло быть результатом экономического развития, как колонат в императорский период римской истории или крепостное право в Германии, начиная с конца Средних веков. Разделение греческих наречий, как мы видели (выше, с.95), совершилось также главным образом лишь после колонизации Малой Азии и, значит, ни в каком случае не может быть приведено в связь с теми переселениями, которые произошли внутри греческого полуострова раньше этого времени. И во всяком случае, поселившись в Пелопоннесе, дорийцы должны были бы перенять язык коренного населения, которое значительно превосходило их и численностью, и развитием, как это, несомненно, случилось с фессалийцами после их переселения в бассейн Пеня. Что касается „религии дорийского племени“, то она существует только в воображении новейших исследователей; даже „дорийский племенной бог“ Геракл — и тот беотийского происхождения (выше, с.126). Да, наконец, и вообще очень сомнительно, чтобы аргиевляне и лакедемоняне находились в более близком родстве между собой, чем с другими греческими племенами; по крайней мере, существование так называемых дорийских фил можно доказать до сих пор только в Арголиде и в арголидских колониях. Но даже если бы между обоими соседними народами и существовало более тесное родство, то из этого еще ни в каком случае не следовало бы, что арголидско-лаконский народ переселился в Пелопоннес в ту эпоху, когда восточная часть полуострова уже достигла сравнительно высокой степени культуры. Во всяком случае несомненно, что греческое население Пелопоннеса пришло с севера, следовательно, пре-

жде всего из Средней Греции; и весьма вероятно, что даже после того, как Пелопоннес был заселен греками, в Греции еще происходили перемещения племен. Но они относятся к такой ранней эпохе, что не оставили никаких заметных следов даже в мифе. Если даже в памяти малоазиатских греков уцелел лишь голый факт их переселения, то как могло сохраниться предание о народных передвижениях, далеко предшествовавших этой колонизации? Попытка установить направление этих передвижений, а тем более выяснить ближайшие обстоятельства, которые сопровождали их, была бы лишь потерей времени.

Таким образом, то, что со времени Геродота считалось первобытной историей греков, оказывается вымыслом. Но вопрос, послуживший поводом к возникновению сказаний о переселениях, — вопрос, почему эпос дает другую картину размещения греческих народов, чем историческая эпоха, — существует еще и для нас. Ответ на него в настоящее время будет, конечно, другой, чем две с половиной тысячи лет назад.

Эпос определяет войско Агамемнона и вообще всех греков, сражавшихся под Троей, названием аргосцев, ахейцев или данайцев; эти имена уже в древнейших частях „Илиады“ употребляются как синонимы. Затем, мы знаем, что не только в гомеровское время, но еще несколькими веками раньше, до колонизации Крита и Малой Азии, Аргонида была населена тем же самым народом, который мы находим там еще в историческую эпоху (выше, с.91). По существу не было бы, конечно, ничего невозможного в том, чтобы этот народ, у которого впоследствии не было общего племенного имени, назывался в доисторическую эпоху ахейцами или данайцами, хотя трудно понять, каким образом могло утратиться это племенное имя. Однако данайского народа никогда не было на свете. Данай — древнеаргосский областной герой, который, по преданию, превратил безводный Аргос в хорошо орошаемую страну; его дочери Данаиды — родниковые нимфы; с Данаем тесно связана и Даная, мать солнечного героя Персея и, следовательно, тоже богиня. Итак, данайцы — „люди Даная“; они относятся к области мифа, как и он сам, и

были перенесены с неба на землю, подобно кадмейцам и мийцам, о которых еще будет речь ниже. Что же касается ахейцев, то их имя в историческую эпоху, как известно, принадлежало жителям северного побережья Пелопоннеса и южной части Фессалии, и едва ли оно в доисторическое время распространялось за пределы этих областей. По древнейшему преданию, и Агамемнон оказывается фессалийским государем, каким Ахилл остался в предании навсегда. Но в то время, когда в Ионии складывался эпос, пелопоннесский Аргос занимал первое место между всеми другими частями греческого полуострова: естественно, что поэты невольно должны были перенести резиденцию могущественного повелителя народов из Фессалии в Пелопоннес. За ним должны были, конечно, последовать и его ахейцы.

Так как имя ахейцев у Гомера обнимает все подвластные Агамемнону греческие племена, то оно уже, конечно, не могло служить для обозначения жителей какой-нибудь отдельной области. Поэтому в эпосе северное побережье Пелопоннеса не носит названия Ахеи: эта область называется просто „прибрежной страной“, Эгиалос. Отсюда возникло сказание, — если подобные комбинации еще могут быть названы сказаниями, — будто ахейцы, изгнанные дорийцами из Лаконии, направились в Эгиалос и назвали страну своим именем. Раньше там будто бы жили ионийцы; поводом к этому предположению послужило, как мы выше указали (с.89), существование святилища геликонского Посейдона на мысе Микале.

Затем, Гомер упоминает на греческом полуострове и прилежащих островах несколько народов, которых там вовсе не было в историческую эпоху. Таковы, например, абанты, которые в „Списке кораблей“ являются жителями Эвбеи, между тем как в остальной „Илиаде“ их местожительство нигде не указывается. Возможно, что мы здесь действительно имеем перед собой древнее племенное имя эвбейцев, забытое впоследствии; но также возможно и даже более вероятно, что первоначально абанты вообще не имели ничего общего с Эвбеей и что это были жители Аб в Фокиде, имя которых затем вследствие какой-нибудь комбинации было

перенесено на соседний остров. Кавконы, по „Телемахии“, должны были жить в Западном Пелопоннесе, недалеко от Пилоса, тогда как „Илиада“ называет их союзниками троянцев; и действительно, по преданию, еще в историческую эпоху на пафлагонском побережье жили кавконы. Очевидно, следовательно, что это имя было перенесено из Малой Азии в Пелопоннес, чему, вероятно, способствовало название реки Кавкон близ Димы в Ахее. Довольно поздний отрывок „Илиады“ повествует о войне куретов с жителями Калидона в Этолии. Между тем у Гесиода куреты являются божественными существами, родственными нимфам и сатирам. Благодетельными демонами рисует их также критское сказание; они научили будто бы человека всевозможным полезным искусствам, а также воспитали ребенка-Зевса. Таким образом, они принадлежат к области мифа, а не истории. Их поместили в Этолии, вероятно, только потому, что там была гора Курион, и рассказывали, конечно, что они пришли с Крита. А так как у подошвы Куриона, на этолийском берегу, находился город Халкида, то их перенесли затем также и в эвбейскую Халкиду.

И немало других фантастических народов было еще в догомеровскую эпоху перенесено с неба на землю. Таковы, например, данайцы, о которых уже была речь; далее, лапифы, которые, по преданию, жили в северной части Фессалии, у подошвы Олимпа и Оссы; их близкие отношения к кентаврам не оставляют никакого сомнения в том, что, как и последние, они принадлежат мифологии. В тесном родстве с ними находятся флегийцы. „Илиада“ изображает Ареса сражающимся в их рядах, но не определяет их местожительства, позднейшие источники помещают их в Фессалии или в долине Кефиса, в Беотии. К этому племени принадлежали Коронида, мать Асклепия, затем Иксион, пытавшийся совершить насилие над Герой. Наконец, флегийцы, по преданию, сожгли Дельфийский храм, и в наказание за это были уничтожены Аполлоном при помощи молнии и землетрясения. К этому же циклу принадлежат и минийцы. Они составляют экипаж солнечного корабля „Арго“, отправляющегося в далекую солнечную страну Востока, чтобы привезти оттуда

„золотое руно“; дочь их племенного героя Миния — Персефона, и, значит, не нужно никаких других доказательств в пользу того, что он сам — бог, а его люди — фантастический народ. Когда позже исходным пунктом экспедиции аргонавтов стали считать Пагаситский залив, минийцы также превратились в фессалийский народ; отсюда они, подобно родственным им флегийцам, были перенесены в Беотию, где Орхомен называется у Гомера „минийским“. А так как „Илиада“ упоминает о реке Миние в позднейшей Трифилии, то минийцы были перенесены и туда.

Гораздо более выдающуюся роль, чем только что упомянутые народы, в исторической традиции греков играют пеласги. Это имя в продолжение всей древности принадлежало населению западной части обширной Фессалийской равнины, „пеласгического Аргоса“ Гомера, пеласгиотиды исторического периода. „Илиада“ рассказывает об искусных копейщиках пеласгах, живущих далеко от Трои, в „тучной Ларисе“, подразумевая под этим названием, вероятно, главный город Фессалии. Фессалиец Ахилл перед выступлением в бой своего друга Патрокла обращается с молитвой к пеласгическому Зевсу Додонскому. Но „Илиада“ еще не знает пеласгов — жителей Додоны; напротив, „Список кораблей“ причисляет этот священный город к области энианцев и перребов, и лишь у Гесиода основателями храма являются пеласги. Кроме ларисских, Гомер упоминает еще только о пеласгах, живших на Крите.

Позднейшие авторы были другого мнения: где только в бассейне Эгейского моря встречается имя Лариса, там некогда должны были жить пеласги — в пелопоннесском Аргосе, в малоазиатской Эолиде, на Лесбосе, у Каистра вблизи Эфеса. Возможно, что уже „Одиссея“ на этом основании переносит пеласгов на Крит, так как и там около Гиерапитны была Ларисская равнина и Гортина в древности называлась Ларисой. Из Аргоса пеласги позже были перенесены в мифы соседней Аркадии, племенной героиней которой, Ликаон, уже у Гесиода называется сыном Пеласга.

По преданию, пеласги жили некогда и в Аттике. Дело в том, что стена, защищавшая доступ к Афинской крепости,

называлась Пеларгикон; а так как никто не умел объяснить смысл этого слова, то решили, что оно испорчено из Пеласгикон и что крепость была построена пеласгами. Последние позже будто бы были изгнаны афинянами и переселились на Лемнос. Почему именно туда, мы не знаем, как не знаем и того, почему эти лемносские пеласги называются также тирренцами; у Гомера Лемнос населен синтийцами, т.е. фракийским племенем. Остатки древнейшего населения острова, которое было изгнано отсюда афинянами около 500 г., жили еще сто лет спустя на Афонском полуострове и около Плакии и Скилака на берегу Пропонтиды; они сохранили свой древний язык, непохожий на греческий.

Благодаря этим и другим подобным сказаниям, впоследствии, приблизительно в VI веке, сложилось представление, что эллинам вообще предшествовало в Греции пеласгическое население. Но так как некоторые греческие племена, как, например, аркадцы и афиняне, считали себя исконными жителями страны, то не оставалось ничего другого, как признать пеласгов предками позднейших эллинов, так что весь переворот сводился к замене одного имени другим. Это противоречило, правда, указаниям Гомера, который помещает пеласгов в числе союзников Трои и, следовательно, считает их, очевидно, не принадлежащими к греческому племени; но при тех средствах, которыми располагали древние генеалоги и историки, они никогда не могли разобраться в этом противоречии.

Впрочем, даже если бы действительно некогда существовал пеласгический народ на такой обширной территории, как об этом повествует сказание, то греки доисторической эпохи не стали бы считать этот народ единой нацией, так как они лишь в VIII в. пришли к сознанию своего собственного национального единства; следовательно, они называли бы отдельные пеласгические племена различными именами. Уже из этого следует, что мы имеем здесь дело не с действительным историческим преданием, не говоря уже о том, что от эпохи, предшествовавшей колонизации Малой Азии, вообще не сохранилось никаких исторических преданий. Таким образом, и в этом случае дело идет лишь о простых

комбинациях, притом таких, которые предполагают уже существование даже позднейших песен нашей „Илиады“ и „Одиссеи“ и, следовательно, не могут быть старше VII или VI столетия. Историческим путем можно доказать существование пеласгов только в Фессалии. Но Пеласгиотида равнозначаща с Пеласгией, как Фессалиотида с Фессалией или Элимиотида с Элимией. А пеласгиоты исторической эпохи принадлежали к греческому племени, и мы не имеем ни малейшего основания думать, что в доисторический период было иначе. В самом деле, именно Фессалийская равнина и была, по всей вероятности, тем местом, где греки впервые прочно основались (выше, с.77).

Подобное же место, как пеласги, занимают в нашем предании лелеги. Гомер упоминает о них как о жителях Педаса в Южной Троаде, и еще Алкей называет находящийся здесь Антандр лелегийским городом. Позднейшие авторы считали лелегов исконными жителями Карики, где также существовал город Педас, в этой стране они, по преданию, еще в эллинистическую эпоху составляли класс крепостных, подобно илотам в Спарте. Древние крепости и гробницы, о происхождении которых ничего не знали, приписывались здесь лелегам, подобно тому, как мы теперь говорим о „пеласгических“ стенах. Думали также, что некогда все побережье Ионии и прилежащие острова были населены этим народом. Отсюда нетрудно было путем аналогии сделать вывод, что и в европейской Греции эллинскому населению предшествовало лелегийское. Основание для этого давал целый ряд местных имен — как Фиск и Ларимна в Локриде, Абы в Фокиде, Педас в Мессении, — которые встречаются в Карики в той же или подобной форме. Один из двух мегарских акрополей назывался Кариией; культ Зевса Кариийского существовал во многих частях Греции. Во всех этих пунктах будто бы жили некогда лелеги, или карийцы. И действительно, как мы видели, есть некоторое основание предполагать, что южная часть греческого полуострова в доэллинистическую эпоху была занята народом карийского происхождения; однако мы должны остерегаться принимать такие поздние комбинации за историческое предание, так как Гомер

еще совсем не знает этих мифов, и только Гесиод упоминает о Локре как о царе лелегов.

Точно так же Гомер не знает и фракийцев вне тех мест, где они жили в историческую эпоху, т.е. вне северного побережья Эгейского моря. По позднейшему сказанию, они жили в фокидском городе Давлии и в Беотии у Геликона. Ближайший повод к этому представлению подал, по-видимому, род Фракидов, который занимал выдающееся положение в Дельфах и был, вероятно, распространен также в других фокидских городах; затем, имя давлийского царя Тереея, по звуку напоминавшее фракийский язык; наконец, то обстоятельство, что как вблизи Геликона, так и вблизи Олимпа, во фракийской Пиерии, существовали храмы в честь муз. С их культом уже в сравнительно раннюю эпоху были связаны тайные мистические учения, как доказывают сказания об Орфее и Мусее. Поэтому Эвмолпа, мифического основателя элевсинских таинств, считали фракийцем; даже если бы он не был ясно назван сыном Мусея, уже одно его имя показывает, что он находится в связи с культом муз. Это достаточно характеризует значение всего сказания для истории.

Рассказывали также о переселениях в Грецию с Востока. В основе этих сказаний лежат отчасти мифы солнечного цикла, которые давали повод к развитию подобных сказаний у самых разнообразных народов; затем, в этих рассказах отразилось сознание, что начатки высшей культуры перешли к грекам с Востока. В том виде, как эти мифы дошли до нас, это без исключения продукт позднего творчества, так как они предполагают уже существование довольно тесных сношений между Грецией и древними культурными народами Азии и Египта; поэтому у Гомера еще нет и намек на эти мифы.

Так, рассказывали, что Пелопс пришел из Лидии или Фригии на полуостров, который с тех пор называется по его имени. Его можно было бы принять за героя-эпонима Пелопоннеса; но Пелопией назывались также дочь Пели, или Ниобы, и мать Кикна, сына Арея. Мать Пелопса — Эврианасса, дочь Дионы; его дед со стороны отца — Ксанф („сияющий“), двое его сыновей назывались Хрисиппом и

Алкафоем. Эти имена не оставляют никакого сомнения в том, что Пелопс первоначально был солнечным героем; этим и объясняется миф о его состязании с Эномаем из-за обладания Гипподамией. Поэтому название Пелопоннес, неизвестное еще и Гомеру, означает „остров солнечного бога“; как известно, на крайней южной оконечности полуострова — мысе Тенар — стоял знаменитый храм, посвященный Гелиосу. Таким образом, первоначально Пелопс по существу тождествен с Гераклом, который в значительной степени вытеснил его из мифа и культа; и в самом деле, генеалогия пелопоннесских династий в древнейшее время примыкает к Пелопсу, в позднейшее — к Гераклу. Впрочем, первое место, по крайней мере в Олимпии, всегда занимал Пелопс.

Миф о переселении Даная из Египта стоит в связи со сказанием о странствованиях Ио, которое в том виде, в каком оно дошло до нас, могло сложиться лишь после того, как грекам был открыт доступ в Египет, т.е. не ранее конца VII века. Еще гораздо позднее, в IV или III столетии, сложился миф о египетском происхождении древнеаттического областного героя Кекропса, культ которого, впрочем, никогда не был всеобщим.

Мы уже видели (выше, с.106), как превратились в финикийцев Феникс и брат его Кадм. Дочь или, по позднейшему мифу, сестра Феникса Европа, была будто бы уведена Зевсом из Финикии на остров Крит, где она родила Миноса. Уже отсюда ясно, что Минос не имел ничего общего с финикийцами; напротив, он чисто греческий бог — точно так же, как Феникс, Кадм, Европа, его жена Пасифая, „всем светящая“, его дочери Федра, „сияющая“, и Ариадна, жена Диониса. Впоследствии и Минос был низведен на степень героя; уже у Гомера он является царем Кносса, а позднее критяне приписывали ему свои законы. Между тем местное имя Миния часто встречается на островах и побережьях Эгейского моря: кроме самого Крита, также на Аморге, Сифне, на побережье Мегариды. Из этого заключили, что Минос владел всеми этими местами и, следовательно, был сильным морским царем, царство которого обнимало собою Киклады и вообще весь бассейн Эгейского моря. Но в Сицилии также

был город Миноя, основанный выходцами из мегарской колонии Селинунт и, без сомнения, названный по имени небольшого острова Миной вблизи нисейской Мегары. Поэтому сложилось сказание, будто Минос переселился в Сицилию и там погиб. Так как Селинунт основан около 650 г., то этот миф не мог возникнуть ранее VI века.

Все эти сказания около начала V века приведены были в систему и связаны, с одной стороны, с мифами, образующими содержание эпоса, с другой стороны — с древнейшими историческими преданиями. Хронологической основой при этом служили генеалогии героев, представленные отчасти уже Гомером, но полнее Гесиодом. Вначале Греция была будто бы населена пеласгами, затем переселились с Востока Данай, Пелопс, Кадм и другие. После этого следует поход аргонавтов, поход „семи против Фив“, Троянская война и другие подобные предприятия, о которых повествовал эпос. Потом настал век великих переселений: прежде всего вторжение фессалийцев в равнину Пенея и вызванное этим беотийское переселение, затем переселение дорийцев и союзных с ними элеев в Пелопоннес, наконец, колонизация островов и западного побережья Малой Азии.

Так было достигнуто мнимое подобие прагматизма в истории первобытной Греции; и если по отдельным вопросам уже в древности не было недостатка в сомнениях, то в общем греки смотрели на эту систему как на историческую истину. Мало того, в главных чертах ее и теперь еще преподают как истину. Вот почему традиционную историю греческой древности нельзя было обойти и здесь.

ГЛАВА VI

Распространение греков вдоль берегов Средиземного моря

Арена первобытной истории греков ограничивалась главным образом странами, расположенными вокруг Эгейского моря. Но уже в то время, когда складывались великие эпосы, географический горизонт стал постепенно расширяться. В одной из позднейших песен „Илиады“ упоминаются египетские Фивы; песни о странствованиях Одиссея упоминают о киммерийцах, исконных обитателях северного побережья Черного моря, и о светлых летних ночах на севере, о которых греки могли узнать только на этом берегу; „Телемахия“ знает, наряду с Египтом, и Ливию, а позднейшие песни „Одиссеи“ обнаруживают знакомство с сикелами и страной Сиканией. Ни одно предание не сохранило имен смельчаков, впервые решившихся выйти в открытое море, которое фантазия населила всевозможными чудовищами и сказочными существами и которое на самом деле таило в себе немало ужасов и опасностей; но их подвиги продолжали жить в песнях о походе аргонавтов и о возвращении героев из-под Трои.

За открытием новых земель вскоре последовала колонизация. Некогда, в седую старину, недостаток земли заставил греков уйти на острова Эгейского моря и на западное побережье Малой Азии; теперь эти области были заняты, и кому на родине становилось слишком тесно, тот принужден был переселяться в более отдаленные края. При этом в первое время торговые интересы еще вовсе не принимались во внимание уже по той причине, что в Греции еще не существовало промышленности, которая работала бы для вывоза. Искли плодородных стран; а были ли вблизи хорошие гавани, это имело второстепенное значение. Поэтому первым делом поселенцев было — поделить между собой землю; еще в начале V века сиракузские старожилы называли себя надельниками. В этом заключается основное различие между гре-

ческой и финикийской колонизацией: каждое финикийское поселение было прежде всего торговой факторией, которая при благоприятных условиях могла развиться в земледельческую колонию; греческие поселения были с самого начала земледельческими колониями, из которых, правда, многие с течением времени стали крупными торговыми пунктами.

Древнейшая колонизация этого периода все еще напоминала беспорядочное движение тех переселенцев, которые некогда хлынули на острова и берега Малой Азии; таковы, например, поселения ахейцев и локрийцев на юге Италии. Но по мере того, как греки направлялись все в более и более отдаленные страны, колонизация должна была принять другой характер. В самом деле, плавание по лишенному островов западному морю, и в особенности путь в Ливию и по бурному Черному морю, требовали опытности в морском деле, которою не обладали жители земледельческих прибрежных областей греческого полуострова, — а они-то и основывали до сих пор поселения за морем. Поэтому Аттика, Беотия, Арголида перестали теперь принимать прямое участие в колонизационном движении. Их место заняли города, которые или совсем еще не упоминаются у Гомера, или только мимоходом, но которые, благодаря своему выгодному положению, стали средоточиями морской торговли: Халкида и Эретрия у пролива Эврипа, который представляет наиболее удобный путь для сообщения между Грецией и Фессалией; Мегара и Коринф на Истме, где оба моря, омывающие Грецию, отделены друг от друга несколькими километрами; Родос, Лесбос и другие острова Эгейского моря; наконец, прибрежные города Ионии, особенно Милет. Это не значит, что все колонисты, вышедшие отсюда, чтобы в далеких странах найти себе новую отчизну, были в самом деле жителями этих городов. Эти города служили лишь сборными пунктами, куда стекались выходцы из окрестных областей — все те, кто не мог найти себе пропитания на родине, или кого в чужой край гнала жажда приключений или недовольство политическим строем. Однако, города, из которых исходила колонизация, брали на себя организацию

этого предприятия: они давали руководителей и поставляли корабли, и их учреждения служили образцом для колоний.

Но раз колония была основана, она обыкновенно становилась в совершенно независимые отношения к своей метрополии. Отношения были такие же, какие, по греческому закону, существовали между отцом и взрослым сыном; гражданину метрополии оказывали в колонии всевозможные почести, а колония, в свою очередь, могла рассчитывать на то, что во всех тяжелых обстоятельствах найдет помощь в метрополии. Что колония находилась в особенно оживленных сношениях с метрополией, — это разумеется само собой; и с течением времени колонии становились для метрополии самыми надежными оплотами ее торговли и самыми лучшими рынками для произведений ее промышленности.

Таким образом, воспоминание об этой связи сохранялось до позднего времени. Но ближайшие обстоятельства, которыми сопровождалось основание колоний, возникших ранее VI века, окутаны мраком сказаний. Исторических записей в это время еще совсем не было, и дошедшие до нас даты основания колоний почти все добыты посредством счета поколений или путем еще более шатких соображений. Такого рода известия могут дать нам только самые общие указания и должны быть в каждом отдельном случае сопоставляемы с прочим содержанием традиции. Одно не подлежит сомнению, — что в первую половину VII века колонизация южного побережья Фракии была в полном ходу и греки уже заселили также берега Тарентского залива.

Ни одна страна не представляла столько благоприятных условий для греческой колонизации, как берега Италии и Сицилии по ту сторону Ионического моря. Находясь на одной широте с метрополией, эти страны обладали климатом, который был совершенно сходен с греческим; только зима здесь еще несколько мягче, а лето менее тягостно, чем у Эгейского моря. Девственная почва береговых равнин и речных долин отличалась баснословным плодородием, а густой высокий лес, покрывавший горы, давал отличный материал для постройки кораблей. К тому же и поездка туда, даже при очень примитивном состоянии мореплавания, не

представляла каких-либо серьезных трудностей, так как восточная оконечность Япигии отделяется от Акрокеравнского (Керавнского) мыса в Эпире расстоянием в 75 км, и в ясную погоду с одного берега виден противоположный.

И действительно, сношения между обоими берегами развились очень рано. В Мессапии найдены были черепки ваз микенского стиля, а некрополи доэллинской эпохи в Восточной Сицилии свидетельствуют о культуре, которая отчасти стоит под влиянием микенской. Кажется даже, что еще в доисторическую эпоху происходили переселения с Балканского полуострова в Италию по Отрантской дороге. По крайней мере, есть указания на то, что некогда на западном берегу Тарентского залива жили хоны; наконец, тождество имени этого народа с именем эпирских хаонов, живших у Акрокеравнского мыса, едва ли случайно. Может быть, именно поэтому итальянцы называли эллинов греками; а греки, по преданию — эпирское племя, которое, впрочем, в историческую эпоху было забыто.

Как бы то ни было, во всяком случае в течение VIII и уже никак не позже начала VII века, эллины завладели восточным побережьем теперешней Калабрии. Новые поселенцы сами называли себя ахейцами и считали себя потомками пелопоннесских ахейцев. И действительно, их язык очень родственен с арголидским наречием, а могучий Кратис, принимающий в себя воды с северного склона Силы и несущий их в Ионическое море, получил свое имя от одной из рек, орошающих пелопоннесскую Ахею. С этого времени итальянские хоны исчезают из истории; вероятно, они слились с ахейцами в один народ.

Новая родина названа была по имени одного рано исчезнувшего туземного племени Италией, и это имя потом постепенно распространилось на весь полуостров до самых Альп. В этой обширной стране грекам открылось безграничное поле деятельности, и сознание этого выразилось в названии „Великая Греция“, которым приблизительно в VI веке начали обозначать колонии по ту сторону Ионического моря, в противоположность к тесноте, какая ощущалась в метрополии благодаря чрезмерной густоте ее населения. Если

даже это и было сильным преувеличением, то оно в известном смысле было оправдано блестящим развитием ахейских поселений. Весь берег Тарентского залива покрылся кольцом цветущих городов: на севере, у устья Брадана, Метапонтский, красноречивой эмблемой которого был ржаной колос в его гербе; затем Сирус в плодородной низменности у устья реки того же имени, казавшийся поэту Архилоху идеалом колонии; далее к югу, где Кратис впадает в море, — Сибарис, богатство и роскошь которого скоро вошли в пословицу. С Сибарисом соперничал Кротон, вблизи Лацинского мыса, на вершине которого новые поселенцы воздвигнули храм царице неба Гере, — храм, сделавшийся главной святыней италийских греков. От этого здания до сих пор сохранилась колонна, которая высоко поднимается над синими водами Ионического моря, служа маяком для кораблей. Наконец, еще южнее, у мыса Стило, находилось последнее из ахейских поселений, Кавлония.

Вскоре ахейцы проникли также в глубь страны и через узкий полуостров на побережье Тирренского моря. Здесь Сибарис основал колонии Скидр и Лаос, и далее к северу, на равнине Нижнего Силара, Посейдонию, храмы которой еще и в наше время величаво высятся над покинутой страной — великолепнейший памятник греческой архитектуры, какой сохранился до нас в западной части Ионического моря. Колония Пикс, на середине пути между Посейдонией и Лаосом, была основана, по всей вероятности, Сирусом; она лежала как раз напротив последнего у Ионического моря, и впоследствии находилась с ним в тесных сношениях. Кротон основал в верхней долине Кратиса Пандосию и на Катанзарском перешейке, где Ионическое море отделяется от Тирренского пространством в несколько миль, — Терину и Скиллетий. Теперь ахейцы владели всей страной от Брадана и Силара к югу до Теринейского и Скиллетийского заливов, на протяжении около 15 тыс. кв. км.

Примеру ахейцев последовали вскоре локрийцы, жившие напротив них у Коринфского залива. К югу от ахейских поселений, недалеко от мыса Зефирия, они основали новые Локры. Этот город также скоро достиг богатства и могуще-

ства и расширил свои владения до западного берега полуострова, где основал колонии Гиппоний и Медму.

Между тем и Восточная Греция стала обращать свои взоры на новооткрытые западные страны; прежде всех халкидцы, самый храбрый народ Эллады, как они названы в одном древнем изречении. Так как побережье Тарентского залива уже было занято, то они поплыли дальше в Сицилию, мифическую страну киклопов и лестригонов. Этих племен они, впрочем, там уже не нашли, но зато встретили народ италийского происхождения, сикелов, или, как они называли себя в западной части острова, сиканов — народ храбрый и воинственный, но лишенный национального единства и потому не сумевший отразить чуждых пришельцев. Здесь, у подошвы величественной, покрытой снегами Этны, халкидцы основали Наксос — их первое поселение и вообще первый греческий город на сицилийской почве. В благодарность богу, благополучно прошедшему их через море, Аполлону-Предводителю, поселенцы воздвигли ему алтарь, на котором позднее, когда Сицилия сделалась греческой областью, обыкновенно приносили жертвы все те, кто отправлялся на празднества в метрополию.

Из Наксоса халкидцы вскоре завладели окрестной страной. На юге они основали Катану, Леонтины, Каллиполис, Эвбею; на севере, у пролива, отделяющего Сицилию от Италии, — Занклу, называвшуюся позднее Мессеной, и напротив, на материке, — Регий. Отсюда открылось перед греками обширное Тирренское море. Правда, скалистый западный берег теперешней Калабрии и безводные Липарские острова представляли мало привлекательного; зато на небольшом острове Пифекуссе (Исихя), у берега страны опиков, они нашли такое место для колонии, лучше которого нельзя было пожелать: при чрезвычайно плодородной почве он представлял полную безопасность против неприятельских нападений. Поэтому халкидцы поселились здесь уже очень рано, может быть, еще в VIII веке. Вскоре они решились перейти и на соседний материк, где на плоском, открытом берегу Гаттанского залива, на крутой трахитовой скале заложены были Кумы, названные так по имени одной деревни на прежней

родине — Эвбее. Отсюда позднее, приблизительно около 600 г., был основан „Новгород“, Неаполь, а в непосредственном соседстве с Кумами, в Дикеархии (Пощуоли) поселились самосские беглецы (527 г.). Другой большой остров Неаполитанского залива, Капрея, также был заселен, вероятно, халкидцами, потому что еще в эпоху царей мы встречаем там греческое население.

Кумы представляют крайний пункт на западном берегу Италии, занятый халкидцами и вообще греками. С самого своего основания и до конца они стояли в стороне от прочих колоний; сплошной ряд греческих поселений в Италии кончается у Силара (выше, с.178). Подобную же позицию занимала на южном берегу Тирренского моря Гимера, основанная около 650 г. колонистами из Занклы и бывшая единственным греческим городом на северном берегу Сицилии. Этим закончилась халкидская колонизация на Западе.

Пример, поданный Халкидой, скоро вызвал подражание. Еще в VIII веке коринфяне заселили богатый остров Керкиру у эпирского берега и затем также направились в Сицилию. Так как полоса около Этны и морского пролива была уже занята халкидцами, то они пошли дальше к югу и на небольшом острове Ортигия, у лучшей гавани восточного побережья Сицилии, основали колонию Сиракузы, которой суждено было со временем сделаться метрополией греческого запада. Отсюда заложены были в глубине страны Акры и Касмены и затем, около 600 г., Камарина на обращенном к Ливии юго-западном берегу Сицилии. Но колонизаторская деятельность собственно Коринфа была направлена главным образом на северо-западную часть греческого полуострова. Здесь в течение VIII века возникла сплошная цепь коринфских и коринфо-керкирских поселений: Халкида и Моликрия в Этолии, у входа в Коринфский залив; Соллион, Анакторион и особенно Левкада в Акарнании; Амбракия в плодородной равнине по нижнему течению Аратора в Эпире; Аполлония и Эпидамн — у входа в Адриатическое море на иллирийском берегу.

Подобно Коринфу, и соседняя Мегара рано приняла участие в колонизации Сицилии. Здесь, между Сиракузами и

халкидскими Леонтинами, основана была новая Мегара, по преданию, еще в VIII столетии, во всяком случае, раньше, чем Сиракузы достигли большого значения и начали, в свою очередь, высылать колонистов в другие места. Окруженный могущественными соседями, город лишен был возможности расширяться в глубь страны, вследствие чего мегарцы, когда собственная область оказалась тесной для них, принуждены были двинуться на запад. Вблизи крайней западной оконечности острова, на берегу Ливийского моря, они основали Селинунт, приблизительно около того самого времени, когда халкидцы заложили на противоположном берегу Гимеру (около 650 г.). Новая колония, благодаря своей плодородной почве, скоро достигла значительного благосостояния и в свою очередь основала ряд поселений, в том числе Миною вблизи устья Галика (Платани), названную так по имени небольшого острова на старой греческой родине.

Из государств греческого материка еще только Спарта приняла участие в колонизации Запада. Внутренние смуты, вспыхнувшие там после покорения Мессении, заставили, по преданию, часть побежденной партии покинуть отечество. Эмигранты отплыли в Япигию и основали здесь, при единственной хорошей гавани на юго-восточном побережье Италии, колонию Тарент (около 700 г.). Спустя два столетия, незадолго до Персидских войн, спартанцы сделали еще одну попытку укрепиться на западе; ниже мы вернемся к этому предприятию.

От азиатских греков Сицилия и Италия были слишком отдалены, вследствие чего они не принимали почти никакого участия в заселении этих стран. Исключение составляет Родос, жители которого вместе с критянами около начала VII века основали в плодородной низменности у устья Гелы колонию того же имени — первый греческий город на южном берегу Сицилии. Отсюда спустя около столетия (приблизительно в 580 г.) основан был дальше к западу Акрагант на значительной возвышенности, с которой открывается чудесный вид на близлежащее море. Этим был заполнен промежуток, который оставался в ряду греческих городов между Гелой и Селинунтом. Приблизительно в то же самое

время выходцы из Родоса и Книда, под предводительством гераклида Пентафла, сделали попытку поселиться на крайней западной оконечности Сицилии, у мыса Лилибея. Но здесь эллины встретили сильный отпор со стороны элимов, исконных жителей этой части острова, и со стороны граждан соседней финикийской колонии Моти. Новые поселенцы и их селинунтские союзники потерпели поражение, сам Пентафл был убит, а остаток его людей принужден был искать убежище на пустынных Липарских островах, которые благодаря этому и были присоединены к греческим владениям.

Еще раньше открылся для греческой торговли далекий запад. По преданию, самосский моряк Колей, занесенный бурей по пути в Египет на ливийский берег, первый попал в Тартес, страну, богатую серебром, вблизи Геракловых столбов (около 600 г.). Приблизительно около этого самого времени ионийские фокейцы основали недалеко от устья Родана колонию Массалию, которая вскоре сделалась средоточием торговли в этих краях и распространила свое влияние далеко в глубь страны кельтов. Соседний берег покрылся массалийскими факториями, как Антиполис и Никея у подошвы морских Альп, Агате в лагунах теперешнего Лангедока, Эмпории в Пиренеях. Отсюда фокейцы вдоль иберийского берега проникли в Тартес, где вступили в дружественные сношения с туземцами и основали колонию Менаку: это был крайний пункт, которым завладели эллины на западе. На Кирне (Корсика) фокейцы также устроили свои колонии. Около 565 г. они основали на восточном берегу острова Алалию, и когда после падения Сард Иония принуждена была подчиниться персам (545 г.), значительная часть фокейских граждан, покинув отечество, ушла к своим единоплеменникам в Алалию, которая, таким образом, из простой торговой фактории превратилась в могущественный город.

Но эти успехи были большею частью недолговечны. Одновременно с эллинами, может быть, даже несколько раньше их, в западную часть Средиземного моря проникли и финикийцы. Северное побережье Ливии от Большого Сирта до Геракловых столбов покрылось кольцом их колоний, между которыми первое место занял со временем Карфаген,

благодаря своему чрезвычайно благоприятному положению. Вскоре они перешли и на лежащие напротив Африки острова. Они заселили Мелиту и Гавл и основали на западе Сицилии Мотию, Панорм и Солунт — вероятно, в течение VII века. Дальнейшему расширению их владений помешали греки; напротив, в Сардинии финикийцы могли беспрепятственно устраивать колонии, так как греки, хотя и собирались поселиться здесь, но никогда серьезно не приводили в исполнение этого намерения. Вдоль южного и западного берегов острова появился целый ряд финикийских колоний: Каралис, Нора, Сулхи, Фаррос и другие. Питиусские острова, по преданию, были заселены в 654—653 гг. карфагенскими колонистами. В страну серебряных рудников, Тартес, финикийцы проникли еще в VIII веке; здесь главным оплотом их сделался Гадес, расположенный на небольшом острове за Геракловыми столбами, на берегу океана.

Теперь столкновение с эллинами стало неизбежным, и, кажется, именно опасность, угрожавшая финикийцам с этой стороны, побудила их разбросанные колонии сплотиться вокруг Карфагена в одно государство, или по крайней мере значительно облегчила Карфагену дело объединения. Прежде всего нужно было вытеснить фокейцев из Корсики, где они поселились незадолго перед тем. Для этого финикийцы нашли союзников в этрусках, которые уже давно навели на греков страх своими смелыми морскими разбоями и не меньше финикийцев видели для себя опасность в том, что фокейцы поселились в таком непосредственном соседстве с их побережьем. Натиску двух народов, считавшихся в западной части Средиземного моря самыми опытными в морском деле, фокейцы не могли противостоять; хотя они в открытом морском сражении и одержали победу, даже несмотря на численный перевес неприятеля, однако их потери при этом были так велики, что они принуждены были отказаться от Алалии. Они ушли в Южную Италию и основали здесь, между Пиксом и Посейдонией, колонию Гиелу или, как ее позднее обыкновенно называли, Элею.

Теперь Массалия была изолирована и предоставлена собственным силам. Она не могла уже удержать за собой

Менаку, и Карфаген без сопротивления завладел Тартесом. Однако в пределах своих владений Массалия победоносно отражала все нападения финикийцев, и кончилось тем, что между владениями обоих городов установилась как бы демаркационная линия: к северу от мыса Артемисия (Cap de la Nao) осталось преобладающим массалийское влияние, к югу, на восточном побережье Иберии — карфагенское.

Кирих после удаления фокейцев подпал под этрусское влияние. Еще раньше, кажется, этруски завладели плодородной равниной по нижнему течению Волтурна и основали там ряд колоний, средоточием которых была Капуя. Теперь они обратили свое оружие против эллинских Кум (по преданию, в 524 г.). Но здесь победа досталась превосходившим их в военном искусстве грекам; теперь последние, в свою очередь, могли перейти в наступление, чтобы защитить дружественные латинские города от порабощения этрусками. Но Кумы не могли долго противостоять в неравной борьбе, и только благодаря помощи сиракузцев греки удержались здесь приблизительно до конца V века.

Почти одновременно с началом колонизации запада началось распространение эллинов по направлению к северу и юго-востоку. На первом плане и здесь стояли халкидцы. Напротив Эвбеи врезывается с севера в Эгейское море большой полуостров, который благодаря значительному расчленению берега и плодородию почвы особенно привлекал к себе поселенцев. Здесь возник длинный ряд греческих колоний, большая часть которых была основана выходцами из Халкиды; отсюда и позднейшее название полуострова — Халкидика. Соседняя с Халкидой Эретрия и остров Андрос также приняли участие в этой колонизации; первая основала несколько городов на полуострове Паллена, Андросу обязаны своим происхождением Стагир, Аканф и Сана в восточной части Халкидики. Как коринфяне последовали за халкидцами на запад, так они и сюда пришли за ними. На узком перешейке, соединяющем полуостров Паллена с Халкидикой, они основали колонию Потидею (около 600 г.), которая до самой Пелопоннесской войны оставалась самым значительным городом этого края. Коренные жители, фракийцы, со-

хранили свою независимость только на крутых склонах Афона.

Дальше к востоку паросцы в первой половине VII века завладели гористым островом Фасос, в то время еще покрытым густым девственным лесом. Новые поселенцы вскоре перешли на соседний материк, где они основали ряд торговых станций, как, например, Эсиму и Галепс, хотя им пришлось также вести продолжительную борьбу с воинственными фракийскими племенами. Может быть, еще раньше хиосцы основали на южном берегу Фракии Маронею; уже „Одиссея“ восхваляет превосходное вино этой местности, которое в продолжение всей древности сохраняло свою славу, а Архилох рассказывает о войне маронейцев с фасосцами из-за обладания портовым городом Стримой, которая окончилась победой Фасоса. Напротив Фасоса, на плодородной равнине между Нестом и Бистонской бухтой, жители Клазомены построили в 651 г. Абдери, но не могли устоять против нападений фракийцев. Более счастливы были жители Геоса, которые после покорения Ионии персами (542 г.) переселились сюда и заняли покинутый город; теперь Абдера в короткое время превратилась в самый значительный и цветущий город всего побережья и приняла живое участие также в духовной жизни нации.

Область, лежащая к востоку от Абдеры и Маронеи, была покрыта колониями азиатских греков. Из городов метрополии до эпохи греко-персидских войн одна только Мегара основала здесь колонии, подобно тому как из азиатских городов только Родос и Фокея принимали участие в колонизации запада.

Лесбос и Тенедос долго оставались крайними форпостами эллинского мира на северо-востоке. По-видимому, только в течение VIII века населению этих островов удалось завладеть южной частью Трояды, от покрытых лесом склонов Иды до входа в Геллеспонт; впрочем, ни одна из многочисленных колоний, основанных здесь, не достигла более или менее значительного развития. Затем лесбосцы перешли также на европейский берег Геллеспонта и построили Сест в самом узком месте пролива и Алопеконнес — на северном

берегу фракийского Херсонеса. Наконец, и Энос у устья широкого Гебра, главной реки Фракии, был заселен митиленцами. Дальнейшему распространению греков на этом побережье положили предел воинственные фракийские племена.

За лесбосцами вскоре последовали милетцы. Около 670 г. они основали напротив Сеста Абидос и приблизительно в то же самое время (по преданию, в 675 г.) — Кизик, на перешейке, соединяющем гористый полуостров Арктоннес с азиатским материком. Вокруг этих колоний возник целый ряд других милетских поселений, как, например, Проконнес на острове того же имени вблизи Кизика, Парион, Приап, Киос на южном побережье Пропонтиды, Лимны и Кардия на фракийском Херсонесе. В колонизации этих мест приняли участие и другие ионийские города. Так, фокейцы основали (651 г.) соседний с Абидосом Лампсак, сделавшийся позднее самым значительным городом на Геллеспонте, теосцы заложили на южной оконечности фракийского Херсонеса Элей, самосцы — Перинф на северном берегу Пропонтиды (около 600 г.).

Очень рано проникли милетцы и на берега Черного моря. Им принадлежит заслуга, что это море, наводившее страх на греческих мореплавателей своими негостеприимными берегами, занятыми диким варварским населением, превратилось в „гостеприимное море“ — Понт Эвксинский, с которым лишь немногие другие места могли соперничать в важности для греческой торговли. Недаром Милет основал, по преданию, в общем не менее 90 колоний на берегах Геллеспонта и Черного моря. Около 630 г. милетцы построили неподалеку от устья Галиса Синоп, который скоро превратился в самый значительный рынок этой страны и, в свою очередь, основал ряд колоний, как Котиора, Трапезунт и Керас. Но особенно устремились милетцы на плодоносные равнины северо-западного и северного побережий Черного моря, которым суждено было со временем сделаться главной житницей Греции. С половины VII века здесь возник целый ряд милетских колоний. Прежде всего основан был, по преданию, в 656 г., Истр к югу от устьев Дуная, и через несколько лет (644 г.) Ольвия при впадении Гипаниса (*Буз*) в лиман,

образуемый Борисфеном; позднее, в первой половине VI века, на восточном побережье Фракии Аполлония, Одесс и Томы; затем Тир при устье реки того же имени (Днестр) и Феодосия на Южном берегу Крыма. Но наиболее густо расположены были греческие колонии у киммерийского Босфора, который соединяет Черное море с Меотийским озером. Здесь на западном берегу возвышались Нимфей и милетская колония Пантикапея, позднейшая столица Босфорского царства; напротив, на азиатском берегу — основанная выходцами из Теоса Фанагория (ок. 540 г.). Наконец, при устье Дона был заложен Танаис — самая северная из всех греческих колоний.

Приблизительно в одно время с милетцами стали селиться на берегах Пропонтиды и мегарийцы. Около 675 г. они основали у входа во фракийский Босфор Калхедон, а спустя 17 лет на противоположном европейском берегу — Византию. Мегарскими колониями были также и Селимбрия, расположенная западнее Византии, по соседству с ней, и Астак на крайней восточной оконечности Пропонтиды, недалеко от того места, где позднее была построена Никомедия. Но на берега самого Понта мегарийцы проникли только в сравнительно позднее время. Первой их колонией здесь была Гераклея, основанная ими совместно с беотийскими колонистами около 550 г. в стране мариандинов, приблизительно в 200 км от Босфора. Отсюда были основаны Месембрия и Каллатис на восточном берегу Фракии и затем на южном конце Таврического полуострова Херсонес, вблизи теперешнего Севастополя.

Но все эти греческие города на берегу Черного моря, за немногими исключениями, оставались совершенно изолированными среди коренного варварского населения. Настоящая эллинизация страны, какой подверглись Сицилия и Нижняя Италия, здесь никогда не удалась. В значительной степени это объясняется характером берегов Черного моря, которые, исключая Крым, совершенно не расчленены, так что владения греческих поселений, лишенные всякой естественной защиты, были открыты для нападений племен, живших в глубине страны. К этому обстоятельству присоединя-

ется суровый зимний климат областей, лежащих к северу от Понта. Там, где виноград и масличное дерево не могут расти или растут только в защищенных местах — там грек чувствовал себя нехорошо, и только горькая нужда или надежда на богатую торговую прибыль могла заставить его променять свою знойную родину на такую страну. Вот почему греческие города на берегу Черного моря никогда не достигли значительного народонаселения; между ними нет ни одного, который мог бы сравниться с Сибарисом, Тарентом, Акрагантом, не говоря уже о Сиракузах. Осужденные на постоянную упорную борьбу за существование, греки здесь не имели досуга предаваться высшим интересам; замечательно, как бедны были понтийские колонии умственными силами. Их роль в истории ограничилась главным образом тем, что они снабжали метрополию хлебом, соленой рыбой и другими подобными сырыми продуктами. Только раз, когда остальная нация уже подпала под чужеземное владычество, они решающим образом вмешались в крупную политику. Они были последними борцами за свободу Греции; но и в этой борьбе ими руководил эллинизированный варвар.

Если на италийско-сицилийских и черноморских побережьях эллины могли почти беспрепятственно распространяться, то в юго-восточной части Средиземного моря древние культурные государства с их густым народонаселением оказали непреодолимое сопротивление греческой колонизации. В Сирии греки вообще и не пытались селиться, даже с Кипра им не удалось совершенно вытеснить финикийцев. А когда ассирийский царь Саргон II в конце VIII века покорил Сирию, кипрские греки сочли нужным, по крайней мере номинально, признать его верховное владычество, и эту зависимость они сохраняли также при его преемниках вплоть до Ашшурбанипала. Впоследствии, после падения Ассирийского царства, остров подпал под египетскую власть. Сын Саргона Синаххериб (704—681 гг.) дал отпор грекам, когда они попытались занять Киликийскую равнину; да и сами воинственные племена суровой Киликии и Ликии не подпускали греков к берегам, или по крайней мере препятствовали их дальнейшему распространению. Фаселис, основанный около

700 г. родосцами на западном берегу Памфилийского залива, был последней греческой колонией на юге Малой Азии.

Богатая долина Нила уже рано стала привлекать к себе греческих пиратов, тем более что политическое раздробление страны в VIII и первой половине VII в. уничтожало всякую возможность энергичной защиты против них. Выдающиеся воинские способности этих пиратов побудили, наконец, саисского царя Псамметиха I принять их на службу в качестве наемников; с их помощью он победил своих сопративителей и освободил Египет от ассирийского владычества (приблизительно 660—645 гг.). С тех пор греки сделались ядром египетского войска, и если Нильская долина была теперь закрыта для пиратства греков, зато она открылась для греческой торговли. Милетцы основали колонию у Больбитийского устья Нила, ниже Саиса; несколько позже в Навкратисе, недалеко от Канобийского устья, возник целый ряд греческих факторий, которым царь Амасис предоставил корпоративные права. Этот город вскоре стал главным торговым пунктом Египта и в VI веке занимал, в малых размерах, то же самое положение, как позднее Александрия. С течением времени греки, несомненно, сделались бы господами этой страны; но персидское завоевание отсрочило этот успех на целое столетие и на время положило предел дальнейшему распространению греческого влияния.

Путь из Греции в Египет шел обыкновенно мимо Крита на юг в направлении к побережью Ливии; это самое узкое место восточной части Средиземного моря: пространство, которое необходимо здесь пройти в открытом море, составляет не более 300 км, т.е. почти равняется средней ширине Эгейского моря. Скоро обнаружилась необходимость основать станцию в том месте, где мореплаватель впервые снова встречал твердую землю. Поэтому в 630 г. греки из Феры поселились на небольшом острове Платее, который именно в этом пункте лежит впереди ливийского берега. Спустя несколько лет они почувствовали себя достаточно сильными, чтобы перейти на соседний материк. Здесь, на недалеком расстоянии от берега, в том месте, где плоскогорье спускается к морю, был основан город Кирена. Плодородная почва и

не в малой степени также торговля туземным пряным растением сильфионом, которое очень ценилось в Греции, обеспечивали процветание новой колонии; соседние ливийские племена были покорены, и победоносно отражено нападение египетского царя Априя (570 г.). Спустя короткое время на вершине плоскогорья к западу от Кирены была основана Барка (около 550 г.) и на самом берегу — Тевхира и Эвесперид. Дальнейшему распространению на запад мешал Карфаген, на восток — Египет, и Киренаика осталась в южной части Средиземного моря единственной областью, заселенной греками.

Таким образом, в течение двух столетий греки завладели Ионическим морем, Пропонтидой и Понтом; в Египте и в Ливии, на западном побережье Италии и в стране кельтов до далекой Иберии возникли греческие колонии. Нация вышла из тех тесных рамок, в которых разыгрывалась до сих пор ее история; отныне греческое влияние становится руководящим во всей округности Средиземного моря, что, в свою очередь, отражается на всех областях греческой жизни.

ГЛАВА VII

Переворот в экономической жизни

Еще в начале VII века Эллада была по преимуществу земледельческой страной. Промышленность хотя и достигла уже довольно значительной степени развития в техническом отношении, служила еще главным образом к удовлетворению домашних или, по крайней мере, местных потребностей. Греческий рынок наводнялся произведениями восточной художественной промышленности, и морская торговля также большею частью находилась в руках финикийских купцов.

Это положение дел начало изменяться с тех пор, как по западному берегу Ионического моря, вдоль южного побережья Фракии и вокруг Пропонтиды, возник целый ряд греческих колоний. Колонисты приносили с собой множество потребностей, которых новая родина в первое время и еще долго потом не могла удовлетворять. Оружие и металлические инструменты, ткани, хорошая глиняная посуда — все это и еще многое другое приходилось получать из метрополии. Даже масло, составлявшее для греков предмет первой необходимости, нужно было ввозить извне, так как только греки стали культивировать оливковое дерево на побережьях Италии и Сицилии, и прошло, разумеется, много лет, прежде чем эти плантации могли покрывать спрос. Вскоре население варварских стран, окружавших колонии, также научилось ценить произведения греческой промышленности и греческого земледелия, и для последних открылся, таким образом, обширный рынок.

Берега Эгейского моря, правда, не принадлежат к местам, особенно щедро наделенным природой; но они представляли все условия для развития вывозной промышленности. Бесчисленные стада овец давали шерсть в изобилии, особенно в области Милета. Море было богато драгоценными пурпуровыми улитками. Во многих местах были залежи превосходной глины. Медные рудники находились на Эвбее вблизи Халкиды, которая, по преданию, этому металлу

(χαλκός) обязана своим именем, и в горах между Коринфом и Аргосом; впрочем, количество добываемого здесь металла было недостаточно для удовлетворения нужд всей Греции, и она никогда не могла обойтись без ввоза его с Кипра. Железо, напротив, добывалось в избытке, особенно в Лаконии, Беотии, Эвбее и на Кикладских островах. Разработка этих богатых рудников началась, кажется, в VIII веке; этим, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что с этих пор бронзовые орудия все более и более вытесняются оружием и инструментами из железа. А в VII веке Греция уже была в состоянии вывозить железо на Восток.

На развитие греческой промышленности особенно сильное влияние имела соседняя Лидия. Получаемые отсюда произведения промышленности уже в VI веке пользовались большой славой на островах и в европейской Греции. От своих лидийских соседей ионийцы переняли обычай носить пурпурные одеяния и богатые золотые украшения в волосах и на руках. Но и в самой Ионии уже рано научились красить в пурпурный цвет и стали подражать художественным лидийским тканям. Центром этого производства сделался Милет, узорные ткани которого в VI веке господствовали на всех рынках, вплоть до далекой Италии. Metallургия также достигла в Ионии значительного развития; именно отсюда исходили важнейшие технические успехи в этой области. Так, около начала VI века Главк из Хиоса открыл способ паять железо, а спустя короткое время самосские мастера Рек и Феодор ввели в Греции литейное искусство.

Второе средоточие греческой промышленности находилось в метрополии, на берегах Эврипа и Истма. Metallическое производство процветало в Халкиде — городе рудников, а также в Коринфе и соседних Сикионе, Аргосе, Эгине, Афинах. В области ткацкой промышленности видное место занимала Мегара; позже она приписывала себе изобретение валяния сукна. Гончарное искусство достигло особенного развития в Коринфе, который в продолжение VII и VI веков снабжал своими глиняными изделиями весь греческий запад, а также в Афинах, где существовал даже отдельный гончар-

ный квартал, Керамейк, который с течением времени сделался торговым и политическим центром города.

Правда, произведения греческой промышленности VII века были отчасти еще очень несовершенны в сравнении с восточными изделиями. Однако в предметах, предназначенных для употребления массы, это не имело большого значения. И чем более крепла греческая промышленность, чем теснее становились сношения между Грецией и Востоком, тем более должны были исчезать эти технические несовершенства. Вместе с тем, в противоположность условным формам восточной промышленности, все более обнаруживалась склонность греков к изучению природы. Благодаря этим условиям произведения финикийской индустрии постепенно исчезали с греческих рынков. Только относительно некоторых специальных товаров, как благовонные мази, стеклянные вещи и т.п. Восток по-прежнему пользовался монополией; точно так же продолжали находить сбыт в Греции восточные ткани, в особенности ковры. Но в общем эллинский мир в течение VI века освободился от зависимости, в которой он находился по отношению к восточной промышленности, и получил возможность на будущее время сам удовлетворять своим потребностям.

Об руку с укреплением промышленности шло и развитие морской торговли греков. Хотя финикийские купцы и не исчезли еще с Эгейского моря, но, по крайней мере, сношения между отдельными частями греческого мира находились теперь главным образом в руках греков, и уже в VII веке греки начали посещать даже восточные рынки. С тех пор, как Псамметих I с помощью греческих наемников сделался единовластным правителем Египта, Греция завязала оживленные торговые сношения с долиной Нила, и в Навкратисе возникла греческая колония (выше, с.189). Точно так же греки посещали и финикийские порты; греческие наемники и в Вавилонии, как в Египте, вступали в военную службу. О том, как на далеком западе, у Геракловых столбов, открылся для греческой торговли Тартес, страна серебряных рудников, была речь выше (с.182). И если эти сношения продолжались сравнительно лишь короткое время, то благодаря

Массалии и основанным ею колониям греки все же удержали в своих руках сношения со страной кельтов и северо-восточной Испанией. В Лациуме и Этрурии финикийцы долго соперничали с греками, но под конец VI века должны были уступить им поле деятельности. Наконец, Адриатическое и Черное моря с обширными областями, которые прилегают к ним, сделались, начиная с VII века, исключительным достоянием греческой торговли.

Несмотря на все эти успехи, морское дело развивалось лишь очень медленно. Полузакрытые пятидесятивесельные суда, упоминаемые еще в „Илиаде“, оставались во всеобщем употреблении до Персидских войн; ограничились только тем, что переднюю часть их снабдили медной шпорой, благодаря чему в морской битве кораблем можно было пользоваться как оружием. Такого рода корабли впервые появляются на так называемых вазах дипилона при переходе из VIII в VII век, т.е. в то время, когда греки стали совершать правильные рейсы в Ионическое и Черное моря. Хотя уже в гомеровском „Списке кораблей“ упоминаются и большие корабли, о 120 веслах, но в эту эпоху ими редко пользовались. Из других усовершенствований в области кораблестроения нужно упомянуть еще разве об изобретении якоря, которое относится, вероятно, к VII веку. Таким образом, греческие моряки по-прежнему выходили в море только в самое лучшее время года и при совершенно тихой погоде, да и тогда держались как можно ближе к берегу. По словам автора „Трудов и Дней“ (VII век), плавание по морю возможно, собственно, только поздним летом, приблизительно с середины или конца августа, как только на Эгейском море прекращаются северные ветры, до первых осенних дождей. Правда, можно еще пуститься в море весной, лишь только зазеленеют верхушки деревьев; но путешествие об эту пору поэт считает безумным риском, от которого он настойчиво предостерегает. В течение следующего века греки сделались несколько предприимчивее; но и теперь еще мореплавание прекращалось на всю зиму, и в это время колонии оставались совершенно отрезанными от метрополии.

Тем сильнее было стремление к тому, чтобы по возмож-

ности устранить препятствия для морских сношений. Коринфяне в VI веке прорыли перешеек, соединяющий полуостров Левкаду с материком, благодаря чему значительно сократился путь к Амбракийскому заливу, в Керкиру и вообще на запад. Периандр, по преданию, намеревался даже прорыть канал через Коринфский перешеек, но при технических средствах того времени это предприятие оказалось, конечно, невыполнимым. Поэтому удовлетворялись постройкой деревянного волока, по которому суда перетаскивались из одного моря в другое. Позже Ксеркс велел прорыть перешеек Афонского полуострова вблизи Аканфа; но это сооружение должно было служить только военным целям и после изгнания персов из Европы пришло в упадок.

По мере развития морских сношений сухопутная торговля, при географических свойствах греческой страны, должна была отступать на задний план. В самом деле, на всем греческом полуострове, исключая Аркадию и области вокруг Пинда, нет ни одного пункта, который отстоял бы от морского берега больше чем на расстояние дневного перехода, а колонии почти все лежали у самого моря или, по крайней мере, очень близко к нему. Поэтому искусство постройки дорог у греков недалеко ушло от той степени развития, какой оно достигло уже в микено-гомеровское время. Через горные ущелья обыкновенно вели узкие тропинки, а где и были устроены проезжие дороги, они служили не столько потребностям торговли, сколько той цели, чтобы сделать удобным сообщение между большими городами и выдающимися святынями. Такой характер носили священные дороги из Афин в Элевсин и из Элиды в Олимпию, а также широкая дорога для процессии из Афин через Фивы в Дельфы. Только немногие области, как Аттика, Арголида, Лакония, обладали развитой сетью дорог. При этом обыкновенно в скалистой почве высекались колеи для колес, а в определенных местах — двойные колеи для разъезда. Сухопутные путешествия грек совершал обыкновенно пешком или брал с собой выючное животное; даже важные известия еще в V веке обыкновенно отправлялись через курьеров, которые, впрочем, действительно делали чудеса. Так, скороход Фи-

диппид, по преданию, принес в два дня из Афин в Спарту известие о высадке мидян при Марафоне; а о платейце Эвхиде рассказывают, что он в один день прошел путь в 70 км, из Платей в Дельфы и обратно — подвиг, за который он, правда, поплатился жизнью.

Греческая торговля сосредоточилась, конечно, в тех же самых местах, с которыми мы уже познакомились как с центрами промышленной деятельности. На первом плане и здесь стоит Иония, и в особенности западное побережье Малой Азии. Из двенадцати городов, имевших в Навкратисе свои фактории, половина принадлежала Ионии: Милет, Самос, Хиос, Теос, Фокея, Клазомены. Остальные были: эолийская Митилена и Галикарнас, Книд, Родос, Фаселис — из малоазиатской Дориды, и из европейской Греции — одна только Эгина. Из Пропонтиды и Черного моря большая часть товаров также шла в Ионию, метрополию почти всех тамошних колоний. Милет поддерживал, кроме того, очень оживленные торговые сношения с Италией, особенно с Сибарисом, тогда как Фокея и Самос сделались центрами сношения с далеким западом, Тартесом и страной кельтов. Наконец, благодаря своему положению ионийские города держали в своих руках торговлю между Эгейским морем и центральной частью Малой Азии.

В восточной части Эгейского моря небольшой остров Эгина первый приобрел важное значение в морской торговле. По преданию, здесь было изобретено кораблестроение; во всяком случае жители Эгины принадлежали к наиболее опытным греческим морякам. Соответственно своему положению, Эгина была посредницей главным образом в сношениях греческого полуострова с Востоком; она была единственным государством метрополии, имеющим в Навкратисе колонию. В связи с этим стоит то обстоятельство, что Эгина, собственно говоря, не принимала никакого участия в колонизации; страны, с которыми она вела торговлю, или были уже заселены греками, или принадлежали великим восточным державам, которые не позволили бы устроить на их земле греческую колонию. Поэтому уже в VII веке у Эгины явились опасные соперники в лице колониальных госу-

дарств Халкиды и Коринфа. Отсюда исходила колонизация запада, и поэтому здесь сосредоточивалась торговля с побережьями Ионического, Адриатического и Тирренского морей, для которой Коринф и помимо того представлял естественный рынок. В этих сношениях принимала деятельное участие также соседняя с Халкидой Эретрия. Напротив, Афины сравнительно поздно вступили в число значительных торговых центров; развитие торговли наступило здесь главным образом лишь как следствие политического положения, которое государство заняло в эпоху Писистратидов.

Эти центры промышленности и торговли, где представлялось столько случаев найти заработок, должны были сильно привлекать к себе население областей. Вокруг древних кремлей возникали промышленные предместья, и приходилось расширять кольцо, образуемое городскими стенами¹. То, что некогда было городом, становилось теперь Акрополем; если Афинская крепость еще в классическую эпоху называется „городом“ (*полисом*), то это лишь остаток старины. Древние центры греческой культуры, расположенные в глубине страны, как, например, Микены „с широкими улицами“ или „минийский“ Орхомен, отошли теперь на задний план сравнительно с приморскими промышленными городами, и если Спарта и Фивы сохранили свое значение, то только благодаря тому, что они сумели своевременно распространить свою власть на более широкую территорию. Самым большим городом, по крайней мере в азиатской Греции, но, вероятно, и во всем греческом мире, оставался до Персидских войн Милет, между тем как в метрополии первое место занимал Коринф, а среди западных колоний — Сибарис, богатство и роскошь которого вошли в пословицу. Мы не должны, однако, к городам этой эпохи прикладывать масштаб позднейших периодов, хотя бы даже V века. В самом деле, как ни были велики успехи, которых достигла Греция с гомеровской эпохи, все-таки ее торговля и промышленность,

¹ Совершенно аналогичное явление представляет развитие итальянских городов, начиная приблизительно с X до XI века, т.е. в эпоху, которая вообще во многих отношениях напоминает изображаемый здесь период.

рассматриваемые безотносительно, и теперь еще находились в младенческом состоянии, и экономические условия еще не допускали образования крупного городского населения. Например, Коринф при Периандре насчитывал, вероятно, не более 20—25 тыс. жителей, а население Афин еще в конце господства Писистратидов едва ли превышало эту цифру.

Под влиянием развития сношений теперь, вместо всеобщих войн, начали устанавливаться мирные отношения. Разбойнические набеги на владения соседей становились все реже, и города формальными договорами гарантировали друг другу взаимную защиту своих граждан и равноправность в судебных процессах. Для охранения этих интересов, приблизительно с VI века, было учреждено нечто вроде дипломатического представительства. Это нововведение стояло в связи с освященным древностью правом гостеприимства; знатный иностранец назначался государственным „гостеприимцем“ (*проксеном*), приблизительно с функциями нашего консула, и получал за это почетные привилегии, а также материальные выгоды. На море было, конечно, труднее установить порядок, так как греческие воды, с их бесчисленными скрытыми бухтами и небольшими островами, представляли великолепные притоны для пиратов. Тем не менее усилия морских держав, особенно Коринфа, уничтожить пиратство не остались без результата, и общественное мнение перестало смотреть на морской разбой как на приличное занятие, по крайней мере поскольку он был направлен против греков. Однако и теперь еще им занимались по временам даже в интересах государства, и в обширных размерах; так, например, пиратский флот Поликрата Самосского был при Камбизе II страшилищем Эгейского моря. Но главным образом процветал морской разбой вдоль западных берегов Средиземного моря, где между греками, тирренцами и финикийцами беспрестанно шла борьба, и каждый чужой корабль считался законным призом. Лишь в эпоху Персидских войн удалось освободить от этрусских пиратов по крайней мере путь из Мессины.

Установленная система мер и весов есть необходимое условие всяких развитых торговых сношений; и такие сис-

темы действительно существовали в культурных государствах Востока уже в продолжение нескольких тысяч лет. Так, в Вавилоне единицей веса был талант, который по господствовавшей там шестидесятиричной системе делился на 60 мин, а мина состояла из 60 секелей. Эта система распространилась по всей Передней Азии и оттуда впоследствии перешла к грекам с тем изменением, что в мине считали вместо 60-ти только 50 секелей, или вернее 100 полусекелей (драхм), т.е. на место шестидесятиричного деления введено было десятичное. Таковы были системы мер, общие для всех греческих государств, за исключением колоний Нижней Италии и Сицилии, где талант вместо 60 мин делился на 120 полумин или фунтов („литров“), из которых каждая, в свою очередь, делилась на 12 унций; это было соединение греко-восточной системы, которую принесли с собой колонисты, с туземной, которую они здесь нашли. Но при политической раздробленности греческого мира вес и мера неизбежно должны были нормироваться в отдельных государствах совершенно различным образом. Впрочем, две системы получили широкое распространение. Из них одна, так называемая эгинская система, в которой единицей служил талант весом приблизительно в 37 кг, господствовала, кроме самой Эгины, почти на всем Пелопоннесе, в большей части Средней и Северной Греции и на многих островах Эгейского моря до Малой Азии. Другая система господствовала в Халкиде и Эретрии и называлась поэтому эвбейской; она была принята также Коринфом и со времени Солона — Афинами и получила широкое распространение на западе. В основе ее лежит мера длиной приблизительно в 297 мм; двойной куб этой меры (около 52 л) служил мерой вместимости для сыпучих тел, полуторный куб (39 л) — мерой жидких тел; вес одной кубической меры воды (около 26 кг) назывался талантом и служил единицей веса.

Но лучше всего экономический прогресс Эллады в VIII и VII веках характеризуется изобретением и быстрым распространением чеканки монет. Уже в гомеровское время начали пользоваться для меновой торговли, кроме скота, также металлами — золотом и серебром, а так как последние

еще довольно долго составляли редкость в Греции, то преимущественно железом и медью. Остаток этого древнего обычая сохранился в том, что Спарта до III века пользовалась исключительно железными деньгами и что в Византии еще во время Пелопоннесской войны была в ходу железная разменная монета. В Сицилии расчет на фунты меди также сохранился до позднего времени, когда уже давно перешли к чеканке серебряной монеты и расплате ею. Бывшие в обращении слитки меди и железа имели, по-видимому, форму коротких и тонких прутьев; отсюда название „вертел“, которое в позднейшее время носила греческая мелкая монета. Шесть таких „вертелов“, т.е. столько, сколько можно было обхватить рукою в один раз, назывались „горстью“ или драхмой; это название позднее, когда греки перешли к чеканке монет, было перенесено на половину или треть серебряного секеля, стоимость которого должна была поэтому соответствовать приблизительно „горсти“ меди или железа.

Эти прутья еще, конечно, не были монетами, как и те куски золота и серебра определенного веса, которые уже целые века были в обращении в культурных странах Востока, — потому что кусок металла только тогда становится монетой, когда правительство или кто-нибудь другой, кто пользуется доверием общества, гарантирует своей печатью вес и содержание чистого металла. Это случилось прежде всего около начала VII века в западной части Малой Азии, — неизвестно, в одном ли из прибрежных городов Ионии, например, Фокее или в соседней Лидии. Как бы то ни было, во всяком случае изобретение монеты было вызвано потребностями греческой торговли, которая в это время была посредницей для всех сношений Лидии с морем, и в течение столетия с небольшим оно распространилось в большей части греческого мира. Значение этого изобретения мы поймем, если теперь мысленно извлечем из обращения монету и представим себе, что всякий раз, когда нам нужно платить, мы должны прибегать к помощи весов и пробирной иглы.

Полезные металлы, железо и медь, были слишком дешевы, чтобы стоило труда и расходов чеканить из них монету. Поэтому вначале чеканили только из благородного металла,

именно в Малой Азии — из золота с большой примесью серебра, как оно получалось при промывке песка Пактола и из Лидийских рудников; эту смесь греки называли электрон. Единицей служил секель или, как греки переводили это слово, статер. Каждый город придерживался, конечно, собственного веса, и мы находим поэтому большое разнообразие в ценности монет. Но так как монеты этой эпохи сплошь и рядом еще не имеют надписей, то в большинстве случаев невозможно решить, где какие чеканились; только малоазиатское происхождение всего этого класса монет не может подлежать сомнению.

Только Крез или, может быть, Кир, став царем Лидии, начал чеканить монеты из чистого золота и, наряду с ними, также из серебра. Из этой лидийской чеканки развилась впоследствии, при Дарии, персидская государственная монета. В основу ее лег дарейк, золотая монета весом в 8,4 гр., составлявшая секель ($\frac{1}{60}$ легкой вавилонской царской мины весом в 505 гр) и приблизительно равная статеру эвбейской системы. Затем следует серебряная монета весом в $\frac{2}{3}$ золотой (5,60 гр) или $\frac{1}{90}$ вавилонской мины, так называемый „мидийский“, т.е. персидский секель, равный $\frac{1}{20}$ дарейка; таким образом, двоякая ценность персидских монет основывалась на отношении ценностей обоих металлов, как 3:40, или как $1:13\frac{1}{3}$. Как дарейк, так и секель чеканились уже при Крезе или Кире в лидийской монете; отношение $1:13\frac{1}{3}$ должно было, следовательно, существовать в Малой Азии уже до Дария, и он только перенес его к себе. Дальнейшим последствием этого обстоятельства было то, что, несмотря на некоторые колебания курса в отдельных случаях, это отношение оставалось в силе на греческом рынке все время, пока существовала двоякая персидская монета.

Новоизобретенная чеканка монет очень скоро перешла и в греческую метрополию. Но так как в европейской Греции нигде, исключая разве остров Сифнос, не добывалось золота, то в ходу была почти исключительно серебряная монета; из сплава золота с серебром здесь в то время чеканили очень редко, а из чистого золота еще вовсе не чеканили. По эту сторону Эгейского моря древнейшим местом, введшим у

себя монету, была Эгина, которая стала чеканить с начала VII века. Ее монеты были до V века в общем употреблении на всем греческом полуострове к югу от Олимпа, за исключением только Коринфа и — со времени Солона — также Афин. Те немногие остальные государства Пелопоннеса, которые чеканили монету до Пелопоннесских войн, как например, Беотия, Фокида, Аркадия, также придерживались эгинского веса, получившего распространение и на Кикладах и в некоторых городах малоазиатского побережья.

Торговые города при Эврипе, Халкида и Эретрия, также стали чеканить уже в начале VII века; они придерживались, разумеется, своей туземной, эвбейской системы. Последняя была принята также Коринфом и Афинами, когда эти города под конец VII и в начале VI века перешли к чеканке монет, к чему их побудило, очевидно, соперничество с Эгиной. Затем в течение VI века эвбейская система, благодаря халкидской и коринфской торговле, получила широкое распространение в Кирене, во фракийской Халкидике и почти повсеместно в Великой Греции и Сицилии.

Таково, в общих чертах, развитие монетного дела в Греции до конца VI века. Оно служит для нас верным отражением экономического развития греческого мира в этом периоде. В продолжение всего VII и даже первой половины следующего столетия монету чеканили главным образом только Иония и торгово-промышленные города при Эврипе и у Саронического залива; громадное большинство греческих государств еще не чувствовало потребности в собственной монете. И даже в странах, наиболее развитых экономически, натуральное хозяйство лишь очень медленно вытеснялось денежным. Так, Солон в основание своего распределения податных классов положил расценку, выраженную не в деньгах, а в количестве мер зерна, которое каждый получал со своей земли; даже накануне Персидских войн Писистратиды взимали земельную подать в Аттике натурой, а в Сицилии эта система удержалась до конца греческой независимости, и еще долго в эпоху римского владычества. Землепашцам также еще долго платили земледельческими продуктами; например, люди, которых нанимали для сбора уро-

жая, получали в Аттике во время Солона каждый шестой сноп. Количество находившегося в обращении благородного металла было вплоть до V века очень ограничено, и даже вероятно, что в то время в европейской Греции обращалось меньше золота, чем в гомеровскую и догомеровскую эпохи. Куда оно исчезло, — показывают, например, результаты раскопок Шлимана в Микенах. Именно по этой причине законодательство, начиная с эпохи Солона, и боролось с обычаем хоронить мертвых в драгоценных украшениях. Впрочем, взамен этого храмы все больше и больше наполнялись золотыми и серебряными жертвенными дарами. Дошло до того, что когда лакедемоняне около 550 г. захотели позолотить статую Аполлона в Амиклах, они во всей Элладе не могли собрать нужное количество золота и принуждены были отправить ради этого посольство к Крезу. А, по преданию, еще Гиерон I Сиракузский с трудом собрал золото для треножника и статуи Победы, которое он пожертвовал в Дельфы из добычи, доставшейся ему в победе при Гимере.

При таких условиях меновая ценность благородных металлов в этом периоде должна быть очень высока. Солон в своем жертвенном тарифе считал за овцу или меру ячменя — одну драхму; бык стоил 5 драхм; впрочем, за отборных жертвенных животных платили гораздо дороже. Поэтому штрафы и вознаграждения, которые Солон установил в своих законах, казались грекам позднейших веков низкими до смешного. Так, за обещание свободной женщины можно было откупиться 100 драхмами; та же сумма выдавалась победителю на Истмийских играх, между тем как победитель на Олимпийских играх получал 500 драхм.

Земледелие все еще занимало первое место в экономической жизни нации, притом не только в тех областях, которые, как большая часть греческого материка, не принимали никакого участия в промышленном и коммерческом движении этого времени. Даже в Афинах Солон мог еще разграничить политические права исключительно по количеству недвижимого имущества. В Самосе, одном из первых торгово-промышленных государств Греции, землевладельцы (геоморы) сохранили свое привилегированное положение до Пело-

поннесской войны; точно так же обстояли дела и в Сиракузах до Гелона.

Техническая сторона земледелия и теперь еще находилась на довольно низкой степени развития. Господствовало двухпольное хозяйство, так что поле через год оставалось под паром; в продолжение этого времени почву удобряли и трижды вспахивали, а осенью опять засевали. Очень простой плуг, еще без металлического сошника, тащили волы, реже мулы; разрыхленные глыбы земли разбивали топором, жали при помощи кривого серпа, зерно молотили на току посредством рогатого скота. Возделывали главным образом ячмень, как в гомеровскую эпоху, затем полбу; на лучшей почве, особенно в колониях, также пшеницу. Разведение оливкового дерева, еще очень малоразвитое у Гомера, в описываемый нами период получает все большее и большее распространение; в некоторых государствах, особенно в Аттике, оно даже поощрялось законодательными мерами. Обычай пользоваться оливковым маслом для приготовления пищи возник в это время. И все-таки названия солоновских классов доказывают, что даже в такой гористой и культурной стране, как Аттика, хлебопашество занимало гораздо более важное место, чем разведение более нежных растений. — Постоянный рост населения заставил устроить уступы на склонах гор, чтобы сделать последние годными для обработки; болотистое дно долин осушалось посредством водотводных каналов, которые отчасти были устроены еще в очень древнее время и приписывались мифическим личностям. С другой стороны, вследствие частых засух в этой стране уже рано обнаружилась необходимость в искусственном орошении, и уже солоновское законодательство обратило внимание на его урегулирование.

Скотоводство по-прежнему носило пастбищный характер; впрочем, при постоянном возрастании народонаселения, оно, по крайней мере в метрополии, все больше отступало на задний план сравнительно с земледелием. Поэтому потребление мяса уменьшилось; большая часть народа ела мясо только во время жертвенного обеда, вследствие чего грек называл убойный скот просто „жертвенными животными“.

Мясо заменяли рыбой, которую в большом изобилии доставляли греческие моря и озера, как, например, Копайдское озеро в Беотии. Грекам того времени, когда начал складываться эпос, эта пища внушала приблизительно такое же отвлечение, как нам, северянам — „плоды моря“ (*frutti di mare*), которые с таким удовольствием пожирает неаполитанский лаццарони; напротив, в V веке мы находим свежую рыбу как любимое яство на столах богачей, между тем как соленая рыба, привозимая с Черного моря, составляла обычную приправу к хлебу для большинства народа.

В областях, прилегающих к Эгейскому морю, которые достигли высокой степени экономического развития, уже в VII веке обрабатывалась, без сомнения, вся годная для земледелия почва. Уже в то время народонаселение здесь было так густо, что Солон был принужден запретить вывоз из Атики всех земледельческих продуктов, за исключением лишь оливкового масла. Именно этими обстоятельствами и было вызвано начавшееся в это время колонизационное движение; но колонии могли принимать лишь сравнительно небольшую часть избытка народонаселения. А так как в большинстве греческих государств господствовал закон, в силу которого наследство после смерти отца делилось поровну между сыновьями — безразлично, как земля, так и движимое имущество, то дробление земельной собственности неизбежно должно было постоянно возрастать. Если в обыкновенное время владельцы таких мелких хозяйств кое-как перебивались, то при каждом неурожае горькая нужда стучалась в дверь. А времена были уж не те, когда богатый помещик охотно делился с нуждающимся соседом своим избытком, которым он, притом, вероятно, и не мог бы воспользоваться. Теперь и сельские хозяева отправляли свои продукты на рынок; поэтому за подобные ссуды стали взимать вознаграждение. Таким образом, в экономическую жизнь греков вступил новый фактор — процент. Обеспечением служил земельный участок, на котором кредитор ставил камень с высеченным на нем закладным актом; если ценность участка была ниже долговой суммы, то должник и его семья отвечали своим телом. При этом размер процентов был высок, как

всегда бывает при первобытном экономическом строе; 18% считались в Афинах во времена Солона умеренной платой. При таких условиях заем должен был в большинстве случаев разорять крестьянина, тем более что после падения царской власти все управление и судопроизводство находились в руках знати, которая тогда, как во все времена, пользовалась своим положением для извлечения экономических выгод.

Преимущество крупных землевладельцев увеличилось еще тем, что и оптовая торговля велась почти исключительно ими. Некогда аристократия поставляла предводителей для морского грабежа, затем она руководила колонизацией запада и севера, и если прошло еще много времени, прежде чем в этих кругах побежден был предрассудок против мирного заработка, то и они, в конце концов, научились принаровляться к условиям нового времени. Ни Бакхиады в Коринфе, ни Гиппоботы в Халкиде не могли бы так долго удерживать власть в своих руках, если бы они оставались только помещиками и не сделались вместе с тем судовладельцами, а знать небольшого и бесплодного острова Эгина была, по-видимому, всецело обязана своим положением торговле. Против могущества капитала крестьянство было бессильно; предоставленное самому себе, оно неизбежно должно было погибнуть.

Так действительно и случилось в большей части Греции. На обширной Фессалийской равнине знати удалось превратить крестьян в крепостных („пенестов“), а на исходе VII века Аттика стояла на пути к таким же социальным отношениям. Всюду на крестьянских землях стояли залоговые камни; многие хозяева были изгнаны из своих дворов, другие попали в рабство или покинули страну, чтобы избежать этой участи. Что в большей части остальной Греции дела находились не в лучшем положении, это доказывают Гесиодовы „Труды и Дни“, главная цель которых — научить крестьян рациональному ведению хозяйства и этим предохранить их от нужды и долгов. Но одним этим средством, конечно, нельзя было помочь; чтобы спасти греческое крестьянство, нужны были более решительные меры — нужны были такие реформы, какие Солон провел в Аттике.

Такую печальную картину представляло социальное положение Греции в VII веке; народом начало овладевать тупое отчаяние. Уже гомеровский эпос проникнут пессимистическим духом, „потому что из всего, что живет и дышит на земле, человек подвержен наибольшим страданиям“ Еще резче это настроение выражено в мифе о пяти веках, который мы находим в „Трудах и Днях“ Золотой век, когда еще царствовал Кронос, давно прошел; время, когда жили герои, павшие под Фивами и Троей, также было далеко лучше настоящего. Потому что теперь век железный, днем и ночью — лишь работа и нужда; честного человека перестали ценить, всюду господствуют насилие, надменность и черная зависть. „Лучше бы я не жил среди таких людей, — восклицает поэт, — а умер бы раньше, или родился позднее!“ Мы видим, поэт не теряет надежды на лучшее будущее. И она не обманула его; спасение пришло по совершенно иному пути, чем ожидал поэт.

В гомеровское время, когда почти все, что нужно было для домашнего обихода, приготавливалось дома, немногочисленные ремесленники не имели большого значения. Но с техническими успехами, которых достигла промышленность с VII века, домашнее производство не могло конкурировать; лишь тот, кто всецело посвятил себя ремеслу, мог быть теперь хорошим мастером; к тому же и в области ремесла все более становилось необходимым разделение труда. Усиление спроса, вызванное особенно вывозом в колонии, должно было иметь своим последствием то, что все больше людей обращалось к занятию тем или другим ремеслом как профессией. А раз кто-нибудь изучил ремесло, он передавал свое искусство по наследству своим сыновьям. Почти все художники доклассической эпохи вышли из таких семейств ремесленников. Но число этих семейств было еще слишком недостаточно для того, чтобы могла возникнуть даже мысль о цеховой замкнутости. Да и к чему? Ведь для всех был хороший заработок; пусть же всякий, кто хочет, занимается ремеслом. Если греческая промышленность этого времени нуждалась в чем-нибудь, то только в рабочих руках, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос.

Постепенно начали привозить недостающее число рабочих из-за границы. Уже гомеровский эпос показывает нам в домах многочисленных рабынь, которые под наблюдением хозяйки занимаются приготовлением материй; тем же средством, которое здесь служило еще для удовлетворения домашних потребностей, естественно было воспользоваться и в промышленном производстве. Прядильная промышленность Милета в VI веке, без сомнения, держалась главным образом на работе невольниц, привезенных для этой цели из соседних варварских стран, многочисленное народонаселение которых представляло в этом отношении неисчерпаемый источник. Другие отрасли промышленности, как металлургия и гончарное производство, последовали примеру Милета, с той только разницей, что, соответственно бóльшей трудности работы, они пользовались не рабынями, а рабами. Острову Хиос принадлежит печальная слава первого в Греции рабовладельческого государства в собственном смысле этого слова. Из Ионии рабский труд перешел затем даже и в европейскую Грецию, особенно в Коринф; тщетно пытался Периандр (около 600 г.) законодательными мерами ограничить пользование несвободным трудом. В Афинах уже под конец VI века также было, вероятно, сравнительно немалое количество рабов.

Так Греция вступила на тот путь, который позже привел ее на край гибели. Гомеровский эпос показывает нам, каким высоким уважением пользовалось сословие „демиургов“, т.е. ремесленников, а по известному изречению Гесиода, ни один род работы не постыден, а постыдна лишь праздность. Но с тех пор как место свободного ремесленника стал занимать несвободный фабричный рабочий, общественное мнение все более и более привыкало смотреть на ремесленный труд как на недостойный свободного человека; высший класс считал себя вправе относиться с презрением к людям, которые должны были зарабатывать свое пропитание трудами своих рук. Еще хуже было то, что развитие рабского труда все более ограничивало средства к пропитанию свободного населения, заставляло неимущего гражданина работать за ничтожную плату или рисковать жизнью в качестве наемни-

ка, усиливало перевес капитала и этим способствовало увеличению имущественного неравенства. Рабство, может быть, больше, чем что-нибудь другое, содействовало наступлению тех социальных кризисов, от которых Греция в конце концов погибла.

Но это относится уже к позднему времени. Пока же это искусственное увеличение рабочих сил должно было дать могучий толчок развитию промышленности, подобно тому, как это случилось в наш век благодаря введению паровой машины. Без рабства культурное развитие Греции совершилось бы гораздо медленнее. Только применение невольничьего труда дало демиургам возможность расширять свое производство, накапливать капиталы и, таким образом, наконец сломить перевес земледельческой и торговой аристократии. Политическое возрождение нации исходило именно из греческих промышленных государств.

ГЛАВА VIII

Умственное развитие от Гомера до Персидских войн

Экономический и умственный прогресс взаимно обуславливают друг друга. Поэтому перемена в экономической жизни нации, происшедшая в период времени от VIII до VI века, должна была произвести переворот также в области греческой мысли, а этот переворот затем, в свою очередь, повлиял на экономические условия и, кроме того, дал сильный толчок политическому развитию.

Внешним образом это умственное движение выразилось прежде всего во введении фонетической письменности, которое, как мы видели, произошло приблизительно в VIII веке (выше, с.56), т.е. в то время, когда греки начали завязывать более оживленные сношения с Востоком. Греческий алфавит взят из алфавита сирийских семитов; не решено только, перешел ли он в Грецию сухим путем через Малую Азию, или при посредстве финикийской морской торговли на Эгейском море, или, наконец, не научились ли греки алфавиту в портовых городах самой Финикии. Но как на все, что они заимствовали с Востока, греки и на письменность наложили печать своего духа. Семитический алфавит имел знаки только для согласных, т.е. представлял собой собственно лишь несовершенное слоговое письмо; лишь греки сделали первый шаг к тому, чтобы выражать в письме и гласные звуки. Для изображения звуков *A, E, I, O* они воспользовались знаками четырех семитических придыхательных, отсутствующих в греческом языке; для пятой гласной *Y* пришлось изобрести новый знак, который был заимствован, по-видимому, из малоазийско-кипрского слогового письма. Знаки четырех семитических шипящих звуков также не все могли найти применение; поэтому знаком саде (*M*) или шин (*Σ*) пользовались для изображения звука *s*, заин'у придали значение сложной согласной *Z*, а самех (*Ɔ*) хотя и был принят в алфавит, но первое время не употреблялся в письме. Оба придыхательных звука *Φ* и *Χ* были переданы посредством соответственных твердых с приставкой *h*; для изображения *Θ* служил се-

митический тес, к которому также иногда приставлялось еще h.

Составленный таким образом алфавит из 23 знаков удержался на Крите и соседних Кикладских островах Мелос и Фера вплоть до V века. В остальной Греции всюду уже очень рано для изображения губных придыхательных был принят знак Φ . Отсюда развитие алфавита пошло затем двумя путями. В азиатской Греции был введен для гортанных придыхательных знак χ , самех (\mathcal{F}) снова был принят в письме в виде $\xi\tilde{i}$, и изобретен особый знак Ψ для изображения сложной согласной nc . Этот алфавит распространился также в тех частях европейской Греции, которые находились в особенно тесной связи с Малой Азией, как например, в Аттике, на ионийских Кикладах, в Аргосе, в городах на Истме; только в Аттике и на Кикладских островах не переняли знаков для сложных согласных и продолжали писать $\chi\Sigma$ и $\Phi\Sigma$. Напротив, в остальной части европейской Греции для звука $\chi\tilde{i}$ был создан знак Ξ , тогда как χ получило значение ch , а для $\psi\tilde{i}$ вовсе не было введено особого знака. Кроме того, в письме выработалось, конечно, и немало местных особенностей, большая часть которых была вызвана стремлением предотвратить смешение сходных между собой по форме букв.

В какой именно области Эллады греческий алфавит развился из семитического, этого мы до сих пор не знаем. Вероятность говорит в пользу Ионии, которая находилась в самых тесных сношениях с Востоком и именно благодаря этому шла впереди всех остальных частей греческого мира в культурном развитии. Здесь, вероятно, и было впервые предпринято расширение семитического алфавита тремя знаками Φ χ Ψ . Какова причина различного значения двух последних знаков в восточной и западной алфавитных группах, мы не можем сказать; может быть, сходство ионийского $\psi\tilde{i}$ с западногреческим $\chi\tilde{i}$ вообще только случайно.

В Ионии позднее, но все еще в очень древнюю эпоху, сделано было дальнейшее нововведение. Так как ионийское наречие уже рано перестало пользоваться звуком h, то и знак для изображения его сделался излишним; поэтому освобо-

дившуюся букву *Н* употребили для обозначения долгого *ê*. Затем, также в Ионии, из *О* была выделена *Ω*. Однако пользование этими знаками не вышло за пределы Ионии и Кикладских островов, пока, начиная с конца V века, ионийский алфавит не был принят во всем греческом мире.

Так была создана та основа, на которой зиждется все умственное развитие Греции и Европы. Правда, вначале и еще долгое время потом новое искусство было достоянием немногих лиц. В VIII веке почти еще совсем не писали, в VII — очень мало (см. выше, с.56 и след.). Лишь с VI столетия письмо входит во всеобщее употребление, а литература в нашем смысле слова образовалась не раньше эпохи Персидских войн.

Рука об руку с умственным развитием, выразившимся в принятии алфавита, шел прогресс в области нравственности. Если гомеровское общество под добродетелью (*арете*) понимало всякого рода духовные и физические преимущества, как, например, красоту в женщинах, то с VII века это слово начинает принимать значение нравственного совершенства, хотя, конечно, еще долго употребляется и в прежнем смысле. Согласно с этим, по понятиям той эпохи, добродетель (*арете*) может быть приобретена путем самосовершенствования, тогда как, по представлениям гомеровского общества, она есть свободный дар богов. Характерно также, что выше всех добродетелей теперь ставится справедливость. Рядом с нею стоит другая добродетель — умеренность (*софросине*), к которой впервые призывает Архилох.

Может быть, лучшим мерилom уровня нравственности во всякую данную эпоху служит характер господствующего в ней права войны. Теперь начинают щадить жизнь побежденного неприятеля и всегда позволяют пленникам выкупиться. После победы трупы павших неприятелей выдают родственникам и заключают перемирие на время погребения: прогресс в сфере гуманности, первые проявления которого мы находим уже в позднейших частях эпоса (выше, с.149). Громко ликовать по поводу смерти противника или оскорблять его труп в VII веке считалось неблагородным, и победитель при Платее с негодованием отвергает предложе-

ние распять труп Мардония, как поступили персы с трупом Леонида после битвы при Фермопилах.

Выше (с.198) мы уже рассказали, каким образом беспрерывные войны между соседними государствами уступили место мирным отношениям и как строго стало смотреть общественное мнение на морской разбой. Самоуправство между гражданами одного и того же государства все более и более теряет свое значение; кровная месть исчезает и заменяется государственным уголовным судом. Если по первобытным воззрениям смерть может быть искуплена денежной пеней, то чувство справедливости, которым проникнута новая эпоха, могло быть удовлетворено только смертью или пожизненным изгнанием виновника. Поэтому число преступлений против личности должно было уменьшиться, и грек мог теперь в обыденной жизни обходиться без меча, который в гомеровскую эпоху был неразлучным спутником мужчины. Впрочем, еще в VI веке доспехи служили украшением мужского отделения во дворцах знатных людей.

Женщина уже в гомеровскую эпоху занимала почетное положение как подруга мужа, но обычаем покупать невест унижал ее в правовом отношении до уровня вещи. В течение VII века этот старый обычай выходит из употребления; девушка получает теперь при выходе замуж приданое и благодаря этому освобождается от неограниченной власти мужа. Вместе с тем дочь получает право участия в оставшемся после смерти отца наследстве, хотя и в меньшей доле, чем сыновья. В умственном движении своего времени женщина также принимала большое участие. Это доказывает длинный ряд поэтесс, которых дал VI век: Саффо из Лесбоса, Миртис и Коринна из Беотии, Телезилла из Аргоса, Праксилла из Сикиона и многие другие.

Правда, наряду с этими успехами обнаруживаются и менее утешительные явления. В силу сложных социальных отношений стала развиваться проституция; уже солоново законодательство принуждено было обратить на нее внимание. С Востока перешла теперь в Грецию педерастия, относительно которой у Гомера встречается еще лишь намек; общественное мнение относилось к этому пороку так снис-

ходительно, что в некоторых местах, например, на Крите, правительство даже покровительствовало ему. Он был воспитан Ивиком и Анакреонтом. Как общество смотрело на подобные вещи, достаточно характеризуется тем, что мегарский поэт Феогида со своим призывом к добродетели обращается именно к любимому им юноше Кирну и что это стихотворение сделалось особенно популярным в греческом мире. Наблюдалось и противоположное явление — любовь пожилых женщин к красивым девушкам, хотя по понятным причинам этот вид любви достиг гораздо меньшего распространения. Как общий обычай он господствовал, кажется, только на Лесбосе, где он вдохновил Сапфо на самые пламенные из ее песен.

Вопросы нравственности занимали в VII и VI веках первое место между всеми общественными интересами. Гесиодовы „Труды и Дни“ были первым опытом кодекса нравственности; с тех пор нравственные наставления составляют одну из главных тем греческой поэзии, и даже на пиршествах, наряду с любовными и застольными песнями, пели элегии нравоучительного содержания. Песни Симонида и Пиндара в честь победителей на национальных состязаниях полны нравоучений, которые, по нашим понятиям, здесь очень мало уместны, но, очевидно, соответствовали вкусам той эпохи. А тиран Гиппарх, сын Писистрата, велел написать изречения нравственного содержания даже на мильных камнях, стоявших на больших дорогах Аттики.

Главными представителями этого направления впоследствии считали ряд выдающихся людей, живших в конце VII и начале VI века, — так называемых „семь мудрецов“: Фалеса из Милета, Солон из Афин, Бианта из Приены, Питтака из Митилены, Клеобула из Линды, Периандра из Коринфа и Хилона из Спарты; вместо последних трех называют иногда других. Большинство из них, вероятно, все, написали поэтические произведения этического содержания. Их изречения „Познай самого себя“, „Все в меру“, „Трудно быть честным человеком“ и т.п., написанные на стенах Дельфийского храма, составляли основу народной нравст-

венности греков, пока, благодаря софистическому движению V века, не возникла научная этика.

Однако до сознания, что хорошее следует делать ради него самого, греки этой эпохи, и даже семь мудрецов, еще не поднялись. Их нравственное учение покоится всецело на утилитарном принципе. Гесиод предостерегает от ложной клятвы на том основании, что потомство клятвопреступника обречено на гибель. Солон желает для себя богатства, но не хотел бы приобрести его нечестными средствами, так как рано или поздно наступает расплата за нечестный поступок. Он отказался от тирании в Афинах, чтобы, как он сам говорит, за короткое время власти не поплатиться собственной гибелью и гибелью своего рода. И подобные соображения постоянно повторяются в литературе этой эпохи.

Под влиянием этого переворота в нравственных воззрениях религиозные идеи также стали принимать более чистую форму, так как религия народа есть не что иное, как отражение его культурного состояния. У Гомера боги являются, как мы видели, в сущности лишь могущественными властителями мира, которые распределяют счастье и несчастье между смертными по своему произволу и расположению которых можно добиться только одним путем — обильными жертвоприношениями. Теперь наряду с этим взглядом возникает представление о богах как охранителях закона и мстителях за всякое преступление и укореняется вера, что добродетельная жизнь есть вместе с тем и богоугодная. Не на жертву божество обращает внимание, а на то, с какими мыслями ее приносят; в храм нужно вступать не только с чистым телом, но и с чистой душой.

Но раз возникла такая вера, нужно было прежде всего самих богов представить себе нравственно чистыми, а это было нелегко ввиду грубого антропоморфизма сохранившейся в эпосе мифологии. Ведь Гомер и Гесиод рассказали о таких поступках богов, которые покрывают стыдом и позором людей на земле, как, например, кража и прелюбодеяние, ложь и обман. Выход нашли в том, что объявили ложными те сказания, которые оскорбляют нравственное чувство, или старались истолковать их аллегорически. Это было, конечно,

жалкое средство, и под конец этого периода Ксенофан и Гераклит дошли до отрицания всей вообще эпической поэзии, как безнравственной. Такие попытки не могли, однако, иметь большого успеха именно потому, что они были слишком радикальны. Гомер по-прежнему оставался библией для греков, а боги и теперь в представлении нации оставались в общем такими же, какими изобразил их эпос. Пластическое искусство, дававшее народу телесные изображения его богов, также много способствовало укреплению антропоморфических представлений.

Но эти понятия теперь очищаются. Божеству начинают приписывать всеведение и всемогущество, хотя в массе еще долго живут прежние взгляды. Но многобожие, конечно, несовместимо с идеей всемогущества каждого бога в отдельности. Это противоречие по необходимости должно было повести к развитию религии в монотеистическом духе. Уже у Гомера Зевс сильнее всех остальных богов вместе; в послегомеровскую эпоху этот взгляд все более укореняется в религиозном сознании народа. Зевс управляет миром; остальные боги получают власть от него, и им остается, по крайней мере по понятиям образованных людей, только исполнять его приказания. Когда Аполлон прорицает, он объявляет людям „непреклонное решение Зевса“ Афина для спасения своего собственного города ничего не может сделать сама, а должна просить заступничества у Зевса. Если по прежним верованиям Зевс подчинялся власти судьбы, то теперь рок отождествляется с волею Зевса. Таким образом, дошли наконец до того, что правителя мира стали называть просто богом (*теос*) или „божеством“ (*то тейон, то даймонион*), правда, наряду с этими выражениями и в одинаковом с ними смысле, употребляют также и прежние политеистические (*Зевс, теон*), а часто оба выражения встречаются рядом, в одном и том же предложении. До истинного монотеизма сумела возвыситься лишь греческая философия.

Но если божество всемогуще, если оно притом охраняет нравственный порядок на земле, то почему же преступления так часто остаются безнаказанными, почему даже добродетельная жизнь не может предохранить от несчастья? Эти во-

просы во все времена занимали теологическую мысль. Древнее учение, что кара, которой избежал сам преступник, постигнет его потомков, не могло уже удовлетворять нравственное сознание в такое время, когда родственные узы все более и более ослабевали. Поэтому теперь переносят в будущую жизнь те наказания, которые не постигли преступника в этой жизни. Жилище Гадеса (Аида), бывшее для гомеровской эпохи лишь царством теней, где души умерших — праведных и неправедных — ведут одинаковую призрачную жизнь без радостей и без горя, — становится теперь местом расплаты. Зачатки этого представления находятся уже у самого Гомера, и характерно для греков, что, по верованиям „Илиады“, только клятвопреступники должны после смерти нести кару за свои преступления. В „Одиссее“, правда, в позднейшей вставке, описываются муки, которые переносят там, в подземном царстве, Титий, Тантал и Сизиф за то, что они здесь, на земле, провинились перед богами. Такие представления могли тем легче получить распространение, что царство мертвых уже и без того было для каждого живущего местом страха. Теперь миф постарался нарисовать картину подземного мира в деталях. Перевозчик Харон перевозит души через Ахерон; по ту сторону реки, у ворот царства теней, их принимает „медноголосый“ Кербер, собака Гадеса; он ласково встречает каждого входящего, но никого не выпускает. В стране мертвых душу терзают страхом змеи и всякого рода чудовища. Тот, кто на земле особенно тяжело согрешил, должен лежать в гниющем иле. Таким образом, последовательно пришли к представлению о суде над мертвыми; суд первоначально творит сам Гадес (Аид), царь подземного мира. По позднейшему представлению, обязанность судьбы была возложена на Миноса, в применение к тому месту Гомера, где сказано, что Минос, так же, как и остальные умершие, продолжает в царстве теней исполнять то, чем занимался при жизни. Радамант и Эак помогают ему в суде. Не следует, однако, забывать, что здесь дело идет вовсе не о религиозных догматах, а о мнениях, бывших предметом индивидуальной веры.

Во всяком случае представление о загробном возмездии

было достаточно сильно, чтобы произвести глубокое влияние на духовную жизнь нации. Если наказание было неизбежно в этой или в той жизни, то нужно было стараться искупить вину, потому что боги доступны примирению, как сказано уже в „Илиаде“ Самым простым средством к этому была жертва; но чем глубже становилось религиозное чувство, тем менее можно было довольствоваться таким чисто внешним покаянием — особенно в тех случаях, когда над преступником тяготело убийство. Поэтому к жертве присоединили еще церемонию очищения — обряд, еще совершенно чуждый Гомеру и упоминаемый впервые в поэме „Эфиопида“, написанной приблизительно около 700 г. Очищение может быть совершено всяким, кто сам чист; оно достигается окроплением кающегося кровью жертвенного животного или проточной водой.

Но и тот, кто был свободен от тяжкого греха или искупил его, не мог ждать после смерти ничего другого, кроме пребывания в виде тени среди вечной тьмы. Ввиду такой безотрадной перспективы явилась потребность в искуплении. Уже Гомер воспел Елисейские поля, где на краю земли, вдали от зимних бурь, обвеваемый тихим Зефиром, жил в вечном блаженстве белокуроый Радамант, и куда был помещен также Менелай, зять Зевса. По позднейшему сказанию, туда приходят и другие герои, как Ахилл и Диомед. Однако тем, что они попали туда, они были обязаны не своим заслугам, а милости богов; отсюда вывели заключение, что эта милость может быть оказана и другим смертным. Средство, чтобы заслужить ее, нашли в священных таинствах, мистериях. Они, конечно, стояли в связи с культом богов земли, Деметры, ее дочери и Диониса. Из многочисленных городов, где справлялись мистерии, наибольшее значение приобрел, благодаря своему политическому союзу с Афинами, Элевсин. Священнодействие, которое совершалось здесь ежегодно осенью, состояло в мистическом представлении, содержанием которого были страдания Деметры после похищения Персефоны Гадесом и возвращение дочери к богине. При этом пелись песни, которые объясняли значение церемонии и сулили зрителям блаженную жизнь после смерти. К по-

священию в эти мистерии допускался каждый, кто желал этого: туземец и иностранец, мужчина и женщина, свободный и раб. В противоположность древним культам, эта религия не признавала никаких привилегий.

Этой же потребности в искуплении обязана была своим возникновением орфическая секта, получившая в VI веке широкое распространение. Самым знаменитым представителем ее был афинянин Ономакрит, который находился в тесной дружбе с сыновьями Писистрата и позднее разделил с ними изгнание. Новая вера имела свои священные писания, автором которых был, по преданию, фракийский певец Орфей, сын музы Каллиопы и Мусея, сына Селены. В них была развита совершенно своеобразная мифология, в которой главную роль играл Загрей („мощный охотник“), сын Зевса и Персефоны, повелитель мертвых. Далее, орфики верили в переселение душ и учили, что наша душа в наказание за совершенные в прошедшей жизни преступления подвергается заточению в теле. С этой точки зрения употребление животной пищи должно было казаться каннибализмом, и кровавые жертвы были исключены из культа. Таким образом, истинная жизнь начиналась для орфиков лишь за гробом; средствами для достижения там блаженства были, наряду с нравственно чистой жизнью, строгое, доходившее подчас до аскетизма соблюдение обрядовых предписаний, но главным образом умиловивление богов при помощи религиозных таинств, доступное каждому верующему. Этим церемониям приписывали даже силу избавлять умерших от мук Тартара. Странствующие жрецы, часто весьма сомнительной нравственности, переходили из города в город и проповедовали свое учение, которое действительно имело много последователей.

Подобные же цели преследовал и современник Ономакрита, самосец Пифагор. Он также принял догмат переселения душ со всеми его последствиями, а предписанные им богослужебные обряды имели много общего с обрядами орфиков. Но он был не только религиозным реформатором, но и одним из самых образованных людей своего времени; поэтому темная орфическая мифология не могла удовлетворять

его. В основанной им школе ревностно изучали математику и астрономию, и весьма вероятно, что толчок к этому дан был самим основателем. Знаменитое учение о числах, на котором построена была система позднейших пифагорейцев, по крайней мере в своих основных чертах, принадлежало, вероятно, самому Пифагору. Но на его родине, в Ионии, это учение встретило мало сочувствия. Поэтому он удалился на запад и основал там, в ахейских колониях, расположенных при Тарентском заливе, тайный религиозный союз, к которому скоро примкнула большая часть знати и который, благодаря тесному единению своих членов, был в состоянии даже захватить в свои руки политическую власть в Кротоне и Метапонте и удержать ее на продолжительное время.

В такую религиозно настроенную эпоху особенно важное значение должно было приобрести узнавание воли божества. Древнее гадание по полету птиц, как оно производилось в гомеровский период, не могло удовлетворять этой потребности. Уже в гимне к Гермесу говорится, что не по всякому появлению птиц можно узнать судьбу; точно так же и Гесиод, подобно гомеровскому Гектору, сомневается в значении искусства прорицания. Стали искать более верный метод и нашли его в гадании по внутренностям жертвенных животных. Угодными жертвами для божества были только совершенно беспорочные животные; поэтому, если при заклании оказывалось, что внутренности животного представляют какие-нибудь отклонения от нормы, цель жертвоприношения считалась не достигнутой; отсюда естественно было заключить, что божество вообще не одобряет предприятия, при начале которого была принесена ему данная жертва. Это было важное открытие, так как этот способ имел то преимущество, что им можно было пользоваться во всякое время и что исключалось всякое сомнение относительно воли божества. Поэтому гадание по внутренностям жертвенных животных, еще совершенно неизвестное Гомеру и Гесиоду, ко времени Персидских войн было уже во всеобщем употреблении и достигло высокого развития.

Рука об руку с этим искусством шло развитие оракулов. Вся Греция покрылась местами прорицания, между которы-

ми Додона и Дельфы уже рано приобрели славу наиболее священных мест; это единственные оракулы, упоминаемые Гомером. Из всех частей греческого мира, и даже из соседних варварских стран, стекались сюда верующие, чтобы узнать волю божества. Бог вещал свою волю или при помощи знамений, каковы шелест священных дубов, сновидения, горение жертвенного пламени, случайность жребия, — или посредством изречений, произносимых жрецами и жрицами в состоянии религиозного экстаза и затем облакаемых „про-роками“ в соответствующую форму. При этом дело шло во-все не о предсказании будущего, что очень скоро дискреди-тировало бы оракула, — а скорее о наставлениях для прак-тической жизни, и прежде всего о разъяснении религиозных церемоний, при помощи которых можно было приобрести расположение богов или искупить совершенное преступле-ние. Таким образом, оракул служил в общем той же цели, что и мистерии и очистительные жертвы, т.е. успокоению совести и нравственному воспитанию народа. Кто заходил в своих вопросах слишком далеко, тот должен был довольст-воваться двусмысленным и обманчивым ответом. Особенно Дельфийский оракул приобрел значение высшего авторитета по всем религиозным и этическим вопросам; а при тесной связи, какая существовала между религией и государствен-ной жизнью, оракул не лишен был также известного полити-ческого влияния, которое, впрочем, всегда было очень огра-ничено. Что Дельфы при этом служили иногда орудием в руках наиболее влиятельных государств Средней Греции, что временами даже подкуп прокладывал себе дорогу к пи-фии и ее пророкам — все это вытекает из самого характера учреждения и повторялось при подобных условиях во все времена.

Ответы оракула, как непосредственные проявления бо-жественной воли, имели значение не только для тех, к кому они были обращены, но могли служить нравственным руко-водством и вообще для всякого верующего. Поэтому уже рано начали составляться и достигли обширного распро-странения сборники подобных изречений. Правда, при этом не обошлось без благочестивого обмана, и немало оракулов

было подделано из чисто мирских побуждений. Наряду с изречениями оракулов существовали также сборники изречений, принадлежавших святым мужам древности, как например, беотийскому прорицателю Бакису. Были люди, которые делали себе ремесло из того, что заучивали такие изречения на память и, переходя из города в город, за небольшое вознаграждение делились с верующими своею мудростью. Они же отчасти занимались и распространением орфического учения. Это доставляло им хороший заработок, хотя образованная часть общества относилась к ним с заслуженным презрением.

Не было, конечно, недостатка и во внешних проявлениях благочестия. На религиозные нужды в эту эпоху было издержано больше, чем на все остальные потребности государства вместе. В особенности постройка храмов поглотила, вероятно, огромные суммы. Теперь уже не довольствовались тем, чтобы, по обычаю предков, поклоняться богам в священных рощах и приносить им жертвы на алтарях, воздвигнутых под открытым небом; бог должен был иметь свой дом, подобно тому, как царь или знатный аристократ имел свой дворец. Начиная с VII века, такие здания возвышались в кремлях и вблизи рынков во всех греческих городах. Вошло в обычай десятую долю дохода с промышленных или торговых предприятий и военной добычи посвящать богам, большею частью в виде какого-нибудь художественного произведения, которое доставило бы божеству удовольствие. Таким образом, храмы наполнились драгоценными дарами, а Дельфийское и Олимпийское святилища скоро не могли уже вместить всю массу накопившихся даров, и пришлось построить вблизи храма длинный ряд сокровищниц. Одни только подарки, пожертвованные Крезом в Дельфы, оценивались, по преданию, приблизительно в 200 эвбейских золотых талантов.

Соответственно этому празднества в честь богов устраивались с постоянно возрастающим великолепием. В храм шли торжественной процессией, при участии всех должностных лиц и войска; затем совершали гекатомбу из отборных животных, за которой следовали гимнастические состязания,

хоровые танцы и музыкальные представления. На празднества более значительных городов, как, например, Карнеи, Гиакинфии, Гимнопедии в Спарте, Панафиней и Дионисии в Афинах, стекались зрители со всех концов Греции. Но все эти местные празднества отступали на задний план перед четырьмя большими национальными праздниками, которые устраивались в Олимпии, в Дельфах, на Коринфском перешейке и в Немейской долине. Кажется, что раньше всех, уже в VII веке, приобрели всеобщую славу Олимпиады, которые вплоть до эллинистического периода занимали первое место между всеми греческими празднествами. Через каждые 4 года, после середины лета, в священной роще Альтиса на берегу Алфея, в области города Пифы, приносилась жертва Олимпийскому Зевсу, за которой следовали гимнастические состязания и бега на колесницах. В Дельфах первоначально происходили только музыкальные состязания; после так называемой священной войны, около 590 г., амфиктионы преобразовали Дельфийское празднество и, по примеру Олимпийских игр, ввели здесь и гимнастические состязания. Это празднество устраивалось также раз в четыре года, именно в конце лета третьего года каждой олимпиады, так что Олимпийские и Пифийские празднества чередовались друг с другом через каждые два года. Истмийские игры, по преданию, стали национальными празднествами с 580 г., Немейские — с 573 г. однако игры на Истме существовали уже в эпоху Солона, и само собой разумеется, что признание такого празднества целой нацией должно было быть результатом продолжительного развития. Здесь также наряду с гимнастическими состязаниями происходили музыкальные. Впрочем, Истмийские и Немейские игры никогда не достигли того значения, которым пользовались Олимпийские и Дельфийские празднества, тем более что они праздновались через каждые два года и, следовательно, здесь гораздо легче было одержать победу.

Победу на одном из этих национальных празднеств общество VI и еще V века считало высшею честью, какая только могла выпасть на долю грека; эта честь переходила и на род, и на город, к которым принадлежал победитель, и па-

мять об этом событии тщательно сохранялась. Хотя непосредственной наградой был лишь зеленый венок, но отдельные общины заботились и о материальном вознаграждении, — например, законодательство Солона определяло для победителя на Олимпийских играх значительный по тому времени приз в 500 драхм, а для победителя на Истмийских играх приз в 100 драхм. Сюда присоединялись пожизненные обеды на государственный счет в булэ и всякого рода другие почести, как, например, право поставить свою статую в священной области того божества, на празднике которого одержана была победа. Это должно было с течением времени повести к образованию класса профессиональных атлетов; да и помимо этого, было вопиюще несправедливостью, что человека, который верхом или на паре лошадей в Олимпии или Дельфах первый пришел к цели, чествовали как благодетеля нации.

Для того, чтобы эти празднества достигали цели, ради которой они были установлены, т.е. чтобы они действительно доставляли богам удовольствие, первым условием было устраивать их в определенное время. Это повело к упорядочению календаря. Всякое летосчисление имеет своей исходной точкой движение солнца и луны, и уже Гомер говорит о годах и месяцах, но название месяца встречается впервые лишь в Гесиодовых „Трудах и Днях“, написанных в VII веке. Эти названия обыкновенно заимствованы от главнейших празднеств соответствующего месяца; а так как каждая греческая область, даже почти каждый город, имели свои особые празднества, то одни и те же месяцы в разных частях греческого мира носили самые различные названия. Затем, уже рано должны были обратить внимание на то, что солнечный год не делится на определенное число лунных месяцев. Сначала думали найти выход из этого затруднения, считая попеременно один год в 12, другой в 13 месяцев; но так как при этой системе, так называемой триетериде, за каждые восемь лет набиралось около одного лишнего месяца, то уже очень рано должны были заметить, что счет по месяцам не совпадает с временами года. Для избежания этого неудобства установлен был восьмилетний цикл, так называемая окте-

терида; эта система состояла в том, что из каждых 8 лет 5 считали по 12 месяцев, остальные три — по 13. Такое решение задачи, состоявшей в том, чтобы связать солнечный год с лунным месяцем, вполне удовлетворяло всем практическим целям, так как сравнительно с временами года календарь уходил вперед лишь в 160 лет на один месяц, и такая разница должна была оставаться незаметной на протяжении многих поколений. В зависимости от этого цикла Олимпийские и Дельфийские празднества устраивались через промежутки в 4 года. Гораздо легче было определить продолжительность самого лунного месяца, так как нужно было лишь наблюдать небо, чтобы знать, когда наступает новолуние. Таким образом, очень скоро должны были заметить, что начало календарного месяца опережало действительное новолуние, если 30-дневные и 29-дневные месяцы просто чередовались друг с другом, и что необходимо было время от времени вставлять один день. Это долго делалось чисто эмпирически; наконец, около конца VII века восьмилетний цикл был твердо установлен дельфийскими жрецами, и этот календарь был в 594 г. введен Солоном в Афинах, где он оставался в силе до эпохи Пелопоннесской войны.

Греки гомеровского времени, при несложных условиях их жизни, не чувствовали еще никакой потребности считать годы. Когда затем начали давать в помощь царям ежегодно сменяемых выборных чиновников или вовсе заменять их такими должностными лицами, тогда возник обычай обозначать каждый год именем того высшего сановника, который в течение этого года управлял делами государства. А так как около того же времени письмо вошло во всеобщее употребление, то скоро перешли к составлению списков этих должностных лиц в хронологическом порядке. Это произошло, как мы видели, в Спарте, по преданию, уже около середины VIII века, в Афинах — в начале VII века; можно предположить, что тогда же или несколько позже и большинство остальных государств ввело у себя подобные списки. Таким образом, каждая греческая община имела свою особую эру, и это не изменилось впоследствии; до общего для всей нации летосчисления греки вообще никогда не дошли. Счис-

ление по олимпиадам нашло применение только в науке, да и то не раньше III столетия.

Идеи нового времени должны были выразиться также в характере литературы и искусства. Не то чтобы прежние идеалы были теперь забыты. Напротив: великие эпопеи еще надолго сохранили первое место в расположении народа, и даже именно теперь, когда оживленные торговые сношения привели отдельные племена в более тесное соприкосновение, они сделались достоянием всей нации. Из Ионии песни Гомера перешли в метрополию, а отсюда распространились в западных колониях. Их теперь не пели уже, как в старину, под аккомпанемент кифары во дворцах знатных людей; странствующие певцы — рапсоды — переходили из города в город, с посохом в руке, с венком на голове, и в праздничный день, на рынке, читали народу отрывки эпических произведений. Таким образом, их содержание сделалось известным каждому греку, и вскоре пластическое искусство начинает черпать свои сюжеты из Гомера. Дельфийский оракул давал свои изречения в эпическом размере и эпическим слогом; на том же языке писал свои военные песни лакедемонянин Тиртей в конце VII века. Да и само эпическое творчество еще далеко не прекратилось. Большие отрывки „Одиссеи“ возникли, как мы видели, лишь в VII столетии, а из эпических стихотворений так называемого „цикла“ большая часть была сложена также, вероятно, только в этом столетии, а некоторые даже едва ли раньше VI века. Однако древние образцы теперь оказываются недосыгаемыми. Уже „Одиссея“ не может сравниться с „Илиадой“ по поэтическим достоинствам, и хотя из позднейших эпопей до нас дошли лишь скудные отрывки, однако отзыв древних не оставляет никакого сомнения в том, что они стояли еще далеко ниже „Одиссеи“.

Век героической песни прошел безвозвратно. Зато теперь возникает пародический эпос. Такого рода эпизод вплетен уже в нашу „Одиссею“, именно рассказ об Афродите, которая обманывает своего супруга Гефеста и которую при этом застигают вместе с ее возлюбленным Аресом. Большой популярностью пользовалось эпическое стихотворение о приключениях Маргита, который все, за что он

брался, делал навыворот и в брачную ночь не знал, что делать со своей молодой женой, пока последняя сама не наставила его на правый путь. Автором этого стихотворения считался Гомер; во всяком случае оно возникло в Ионии, приблизительно в первые десятилетия VII века. К гораздо более позднему времени относится дошедшая до нас „Война мышей и лягушек“, пародия на войну из-за Трои, написанная гомеровскими стихами.

Одновременно развился и генеалогический эпос, первоначально вызванный к жизни потребностью внести систему и порядок в бесчисленное множество накопившихся мифов. Зачатки таких стремлений обнаруживаются уже у Гомера; но полного развития это направление достигает в поэтической школе Гесиода. „Каталог женщин“ и „Великие Эои“ повествовали о судьбах тех греческих женщин, с которыми боги вступали в любовную связь, и перечисляли их потомков, от которых вели свое происхождение греческие знатные роды. В аристократическом обществе, каким было греческое в VII и особенно в VI веке, успех таких стихотворений был обезличен; и действительно, в этом периоде возник бесконечный ряд подобных произведений каковы, например, „Навпактии“, сходные по содержанию с гесиодовским „Каталогом женщин“, „Форонида“ и „Данаида“, рассказывавшие аргосские мифы, „Генеалогии“ Эвмела Коринфского, Асия Самосского и многие другие. Само собой разумеется, что поэтическое достоинство этих произведений было в большинстве случаев совершенно ничтожно; но так как читающей публики в то время еще не было и все знания распространялись только путем устной передачи, то поневоле приходилось облекать эти прозаические сюжеты в форму эпического стиха.

Такой же обработке подвергались и мифы о богах (выше, с.130). Самую знаменитую попытку в этом роде представляет „Теогония“ Гесиода, произведение VII века, которое в существенном стоит на почве народной религии. Совершенно другое направление приняла богословская мысль в VI веке. Так, орфики учили, что вначале была ночь; она произвела на свет серебряное мировое яйцо, из которого ро-

дился сияющий бог Эрот или Фанес, создавший и приведший в порядок мир, между тем как из скорлупы яйца произошли небо, море и земля. Эрот с Ночью произвели на свет Океан и Тефиду; дети последних — Кронос и Рея вместе с остальными титанами, затем следует, как и в гесиодовой „Теогонии“, Зевс. Его сын от Персефоны — Дионис-Загрей, которого титаны растерзали, а Зевс снова вернул к жизни. Приблизительно таково же было, по-видимому, содержание „Теогонии“ Эпименида Критского, жреца и прорицателя, который и вообще придерживался учения орфиков, и в особенности требовал воздержания от мясной пищи. Еще более удалился от народных верований Ферекид из Сирова (в конце VI столетия) в своем сочинении „О мировом здании и его пяти частях“ Зевс и Кронос (время) и Хтония (богиня подземного мира), учил он, жили вечно; Хтонию называли также Землей, так как Зевс подарил ей землю. И Зевс приготовил большую и прекрасную ткань и выткал на ней Землю и Океан и жилище Океана. Эту ткань он растянул над крылатым мировым деревом. Под нею находится область Тартара; здесь живут дочери Борея, Гарпии и Ураган; сюда Зевс низвергает согрешивших богов. Мы видим, как в мифологических образах здесь преподаются монотеистические учения. Ферекид также первый сбросил поэтическую оболочку и излагал свое учение в простой прозаической форме. Таким образом, мы стоим здесь на рубеже мифологического и философского мышления.

Между тем успехи музыки открыли новые пути для поэзии. В то время, когда складывался эпос, греки знали лишь один инструмент — арфу. Приблизительно около 700 г. от малоазиатских и фракийских варваров перешел в Грецию кларнет, или, как обыкновенно переводят соответствующее греческое слово — флейта. Введение нового инструмента произвело переворот в греческой музыке; наряду с древним национальным ладом — „дорическим“, как его по-прежнему называли, теперь вошли в употребление фригийский и лидийский лады. Затем, если до сих пор игра на арфе служила исключительно для аккомпанемента пению, то игра на флейте явилась чисто инструментальной музыкой, пока в пред-

ставлении не начали принимать участие несколько человек. Греки, желавшие для всего иметь творца, приписывали изобретение этой так называемой авлетики фригийцу Олимпу.

Однако пение и инструментальная музыка были так неразрывно связаны в сознании греческого народа, что одна авлетика не могла долго удовлетворять его музыкальной потребности. Поэтому скоро и новым инструментом стали пользоваться для аккомпанемента пению. „Авлетика“ развилась в „авледику“ При этом оказалось необходимым видоизменить размер эпического стиха соответственно характеру флейты. Вначале держались по возможности близко к употреблявшемуся ранее размеру; в шестистопном двустишии второй стих был превращен в пентаметр посредством опущения обоих коротких слогов вслед за мужской цезурой и последнего слога; таким образом, создано было элегическое двустишие, которое получило такое же значение в композициях для флейты, какое гекзаметр имел в композициях для кифары.

Это нововведение должно было отразиться также на кифаредике. Звучность кифары, или, как ее теперь обыкновенно называли, лиры была усилена тем, что число струн увеличили с четырех до семи; это усовершенствование впоследствии приписывали лесбосцу Терпандру. Оно дало возможность исполнять на лире мелодии, даже не сопровождая их пением. Таким образом, наряду с кифаредикой возникла кифаристика, творцом которой называют аргосца Аристонику, который, по преданию, также жил еще в VII веке.

В искусство музыка развилась прежде всего на службе культа, и особенно культу Аполлона, который больше всех божеств покровительствовал музыкальным искусствам. В самом деле, обычай чествовать богов гимнами восходит до отдаленнейшей древности. Наряду с этими старыми песнями, при которых пение текста отодвигало на задний план аккомпанемент инструмента, теперь на празднествах в честь богов стали исполнять музыкальные произведения, причем рядом с игрой на инструменте текст имел лишь небольшое значение или даже совершенно отсутствовал. Такие мелодии называли „номосами“. Эта религиозная музыка была осо-

бенно распространена в Спарте, которая, благодаря завоеванию Мессении, около конца VIII и начала VII века сделалась одной из первых греческих держав, — в городе, „где процветают копья юношей и песни муз, где царствует справедливость, мать великих подвигов“, как говорится в одном стихотворении той эпохи. Со всех концов стекались сюда музыканты. Здесь, по преданию, жил Терпандр, от которого вел свое происхождение самый известный род спартанских певцов и который считался творцом кифаредийского „номоса“ Несколько позднее фиванец (или теб) Клонас изобрел, по преданию, авлетический номос, который затем был усовершенствован Полимнестом, или, как его называли в главном месте его деятельности, в Спарте, Полимнастом из Колофона (около 600 г.). Но всех других музыкантов этой эпохи затмил Сакадас из Аргоса, который три раза подряд брал приз на Дельфийских играх (582, 578, 574 гг.). Большой известностью пользовался особенно его пифийский номос, мотив для флейты без пения, содержанием которого была борьба Аполлона с пифийским драконом. Эти музыканты произвели переворот в музыке введением звуков, чуждых гамме, — так называемого „энгармонического диеза“, т.е. повышением звуков диатонической шкалы на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ или $\frac{3}{8}$ целого тона; новейшая музыка, как известно, уже не пользуется этими тонами, но в греческой музыке классической эпохи они играли очень выдающуюся роль. В этом периоде были изобретены также ноты для инструментов.

Так были созданы художественные формы, в которых поэзия могла выражать идеи новой эпохи. Во главе всего этого движения стоит Архилох Паросский, около середины VII столетия. В его песнях перед нами как бы непосредственно открывается новый мир. Здесь впервые появляется субъективность в поэзии, и Архилох — первый грек, который, как живой человек, стоит перед вами во всей своей индивидуальности. Он пел обо всем, что волновало его в жизни: о своей любви к прекрасной Необуле на паросской родине, как и о своих военных поездках по дикой Фракии; с полной откровенностью выражал он свои страсти и язвительной насмешкой преследовал своих врагов. Если он и не был му-

зыкальным новатором, то вполне усвоил себе успехи, сделанные музыкой незадолго до его времени. Он пренебрег эпическим гекзаметром и вернулся к размерам народной поэзии — к ямбу и трохею, которые употреблял в самых разнообразных сочетаниях. Таким образом, Архилох указал путь позднейшей греческой поэзии, и древность справедливо поставила его наряду с Гомером.

Последователями Архилоха в изобретенной им ямбической сатире были его младший современник Семонид из Аморга и, во второй половине VI столетия, эфесец Гиппонакт, который для своих подчас грубых инвектив изобрел особый размер — хромой ямб (холиямб). Эзоп, который, по преданию, был рабом и жил на Самосе около половины этого же века, продолжал разработку животной басни, введенной в литературу уже Архилохом. Особенно широкое распространение получила элегия. Каллин из Эфеса, современник Архилоха, был, по-видимому, первым поэтом, который сочинял в этом размере военные песни; по его стопам пошли лакедемонянин Тиртей и Мимнерм из Смирны, жившие на рубеже VII и VI столетий. Тот же Тиртей и его младший современник Солон с успехом пользовались элегическим размером для проведения в общество своих политических взглядов. Далее, Мимнерм ввел в этот род поэзии ту тему, которою элегия позже почти исключительно ограничивалась, — любовь. В собрании элегий, посвященном гетере Нанно, он воспевал радости и муки любви и так быстро исчезающую красоту и молодость. Охотно пользовались поэты этим размером и для выражения этических размышлений, например, Солон и живший в эпоху Персидских войн мегарец Феогнид, нравоучения которого, обращенные к его молодому другу Кирну, имели большой успех и с течением времени обратились в школьную книгу.

Наконец, поэзия совершенно освободилась от гнета условности, тяготевшего еще и над элегией. Лесбосские поэты Алкей и Сапфо, жившие около середины VI века, пели в простых, большею частью четырехстрочных строфах на эолийском наречии своей родины. В это время в Митилене между народом и аристократией шла ожесточенная борьба, в

которой Алкей принимал живое участие на стороне знати; поэтому первое место между его стихотворениями, наряду с застольными песнями, занимают политические песни. Сапфо, как истинная женщина, пела почти только о любви. Правда, мы не должны прикладывать к ней мерку наших нравственных воззрений. Все ее любовные песни обращены к красивым девушкам, и пламенная страстность речи показывает, что дело идет вовсе не о платонических чувствах¹. Но именно это делает Сапфо величайшей поэтессой всех времен. И рядом с этой жгучей страстью стоит нежное женственное чувство, выражающееся особенно в свадебных песнях, которые она сочиняла для своих молодых подруг. Те же цели преследовал ее современник, уроженец Теоса Анакреонт, который долго жил при дворе самосского тирана Поликрата, а позже — в Афинах при дворе Гиппия. Но ему недоставало мужественной силы Алкея. Вся его поэзия посвящена любви и вину, особенно любви к красивым мальчикам. Он также пел в безыскусственных строфах на языке своей родины, и его удобопонятный ионический диалект обеспечил ему популярность, какой не достигли лесбосские поэты, стоявшие несравненно выше него.

Между тем музыка и поэзия завоевали новую область. Искусственная композиция начала, конечно, с одноголосного мотива; теперь она достаточно окрепла, чтобы перейти к хоровой песне. Это движение также началось в Спарте, где на празднестве гимнопедий издавна выступали хоры мальчиков и девочек. Фалет из Гортины, Ксенодам из Киферы и Ксенокрит из италийских Локр сочиняли и клали на музыку новые тексты для этих представлений.

Своим дальнейшим развитием хоровая лирика была обязана Алкману из спартанской области Месои, жившему в первой половине VI века². Его слава основывается главным

¹ Попытки „оправдать“ Сапфо, доходившие до искажения текста, совершенно излишни; каждого следует мерить масштабом его времени и страны. Притом, они выставили бы Сапфо в чрезвычайно противном виде.

² Подобно Тиртею, и Алкман принадлежал к лучшему обществу Спарты; то же самое относится, конечно, и к девушкам, которые пели в его хорах.

образом на его композициях для девичьих хоров („Парфения“). Он также вполне свободен от традиционного эпического слога и обнаруживает уже склонность к делению пьес на строфу, антистрофу и эпод, которое потом сделалось господствующим в греческой хоровой лирике¹ Содержанием этих пьес служит прежде всего прославление богов, а затем изображение чувств, возбуждаемых в зрителях видом самого хора. Действительно, праздничный хоровод красивейших девушек „обильной красавицами“ Спарты представлял, вероятно, несравненное зрелище; естественно, что Алкман в восторженных песнях прославлял предводительниц своих хоров, Агидо и Мегалострату. Его справедливо причисляли позже к основателям эротической лирики.

С незапамятных времен на празднествах Диониса народ пел песни в честь этого бога; уже Архилох называет себя искусным в таких песнопениях. Эта одноголосная песнь была позже заменена хоровой, причем соучастники являлись в виде сатиров, одетыми в козлиные шкуры. По преданию, этим „дифирамбам“, как они назывались, впервые придал художественную форму поэт Арион из Метимны на Лесбосе, живший в Коринфе при Периандре (около 600 г.). Эта поэтическая форма имела огромное значение для дальнейшего развития греческой поэзии. Но важнейший вид хоровой лирики возник в Сицилии. Здесь, около половины VI века, уроженец Гимеры Стесихор задался мыслью оживить умирающий эпос и с этой целью заменил декламацию рапсода хоровой песнью и, сообразно с этим, гекзаметр — сложными дактило-трохеическими ритмами. Сюжетами для своих стихотворений он брал обыкновенно, согласно характеру времени, не битвы и приключения, а описания празднеств и эротические мифы; в одной из самых знаменитых своих поэм, в „ГерIONEИДЕ“, Стесихор рассказывал о странах дальнего запада, которые сделались доступны грекам благодаря открытиям последнего столетия. Лирика Стесихора скоро приобрела большую известность; она имела сильное влияние на поэзию Симонида и Пиндара и на хор трагедии. На своей

¹ „Строфы“ сохранившегося „Парфения“ делятся каждая на два метрически равных четверостишия и один шестистрохный эпод.

собственной сицилийско-италийской родине Стесихор нашел подражателя в лице Ивика из Регия, который во времена Поликрата (около 530 г.) переселился на греческий восток и долго жил при дворе этого тирана. Его хоровые песни воспевают большею частью хвалу красивым мальчикам и исполнялись, по-видимому, хорами мальчиков; таким образом, они в известном смысле составляют контраст с „Парфениями“ Алкмана.

В то время как музыка и поэзия освобождались от оков условного стиля и вырабатывали те средства, которые дали им возможность достигнуть совершенства, аналогичное движение происходило и в области пластических искусств. Микенский стиль, который в догомеровскую и раннюю гомеровскую эпохи господствовал в странах, прилегающих к Эгейскому морю, в течение VIII века пришел в упадок и мало-помалу был совершенно оставлен; ни в древнейших греческих некрополях Сицилии и Италии, ни в Олимпии не было найдено памятников этого рода орнамента. Его заменяет геометрический стиль, называемый обыкновенно стилем дипилона, по имени афинских ворот, через которые шла священная дорога в Элевсин и вблизи которых такие памятники впервые были найдены в большом количестве. Этот стиль заимствует свои мотивы из ткацкого искусства и резьбы по дереву; охотнее всего он употребляет меандр, зигзагообразную линию и ряды примыкающих друг к другу кружков, которые соединяются касательными. Столь характерная для микенского стиля спираль совершенно отсутствует, точно так же, как и полипы и другие морские животные; растительный орнамент встречается лишь изредка. Зато на вазах дипилона встречаются длинные ряды водяных птиц и четвероногих, а вскоре появляются и изображения сцен из человеческой жизни — погребений, состязаний, морских битв и т.п. Если рисунок отчасти еще очень груб, то все-таки прогресс сравнительно с микенской керамикой весьма значителен, и гончары, работавшие в микенском стиле, сами признали это тем, что пытались перенять мотивы дипилона. Некоторое время оба стиля господствовали рядом, но в конце концов микенский стиль должен был уступить. Таким обра-

зом, около 700 г. воцарился стиль дипилона, и в некоторых отраслях художественной промышленности, как, например, в обработке бронзы, геометрический орнамент удержался до V столетия.

Между тем финикийцы открыли правильное морское сообщение между Грецией и дальним Востоком (выше, с.104); вследствие этого произведения финикийской промышленности наводнили области, прилегающие к Эгейскому морю. В поздних частях эпоса такие предметы часто упоминаются, да и те художественные произведения, которые там описываются, как, например, „Щит Ахилла“, носят явные следы влияния финикийского искусства. Это должно было, в свою очередь, отразиться на художественной промышленности греков. Первые признаки этого влияния мы видим на протокоринфских вазах, фабрикация которых началась в начале VII или уже в VIII веке, вероятно, в Коринфе или Халкиде. Орнамент состоит большею частью из окружающих сосуд полосок, между которыми иногда находится животный фриз; здесь впервые появляется в греческой керамике изображение льва. Большое значение получил этот животный фриз в другом виде ваз, который мы, по одному из главных мест его производства, называем обыкновенно коринфским и который также в общем относится еще к VII веку. Здесь наряду со львами, пантерами и другими дикими животными встречаются и крылатые чудовища, какие создало ассирийское искусство.

Но греческое искусство недолго довольствовалось простым подражанием восточным мотивам. Оно вскоре перешло к изображению сцен из человеческой жизни, а затем и мифологических происшествий, причем значение отдельных фигур пояснялось особыми приписками. Вместе с тем и стиль изображений становится все более независимым от восточных образцов. В противоположность восточной условности здесь обнаруживается стремление к реализму. Особенно аттическая керамика уже в VI веке сделала в этом отношении крупные успехи, хотя фигуры еще изображаются в профиль и все в одной и той же плоскости. Но от этих прие-

мов греческая живопись вообще не освободилась раньше Персидских войн.

Металлическая техника также приблизительно с конца VII века перешла к изображению мифологических сцен; ими украшен уже щит Геракла, описанный в одном гесиодовском стихотворении. Знаменитым произведением этого рода был ящик кедрового дерева с рельефными украшениями из золота и слоновой кости, который находился в Олимпии в сокровищнице коринфян и, без сомнения, был коринфской работы; по преданию, его пожертвовал богу тиран Кипсел. Таковы же были трон Аполлона в Амиклах, изготовленный около 550 г. Бафиклом из Магнесии, и бронзовые рельефы лакедемонянина Гитиада на храме Афины Халкиекской в Спарте. О стиле этих произведений мы можем составить себе представление по бронзовым рельефам, найденным в Олимпии. Мы видим, что и эта отрасль искусства, подобно живописи на вазах, стоит в зависимости от восточных мотивов и с успехом стремится достигнуть свободы концепции.

Гораздо раньше достигла самостоятельности архитектура; насколько можно судить при современном состоянии науки, уже сводчатая могила микенского периода не имеет аналогии на Востоке. Новое время ставило новые задачи. С тех пор, как пала царская власть, место царских дворцов заняли простые частные дома; сводчатые могилы также перестали строить, отчасти потому, что у отдельного лица не хватало средств для такой постройки, но главным образом потому, что культ мертвых вообще терял значение. А города, возникавшие под влиянием возраставших торговых сношений и развития промышленности, как ни малы они были по позднейшим понятиям, были все-таки слишком обширны, чтобы их можно было обложить такими же огромными каменными стенами, какими были окружены древние кремли; поэтому обыкновенно довольствовались стеной из глиняных кирпичей, которую подпирали деревянными столбами.

Зато, согласно религиозному духу времени, архитектура становится теперь слугою культа. Мысль — построить богу жилище, была прежде всего результатом антропоморфических представлений о сущности божества. Но в том же на-

правлении действовало, вероятно, и восточное влияние: постройка храмов начинается в Греции как раз в то время, когда ее отношения к древним культурным странам дальнего Востока становятся более тесными. Однако не следует забывать, что греческий храм есть чисто национальное создание, ничуть не заимствованное из форм восточного храма.

В кремлях микенского времени не было храмов. Это, конечно, вовсе не доказывает, что тогда еще вообще не существовало храмов¹: так как богам поклонялись первоначально за воротами кремля, в священных рощах, то в этих местах должны были находиться и древнейшие храмы. Как на общеизвестные примеры этого рода можно указать на храм Геры близ Микен, Геракла близ Фив, Артемиды близ Эфеса. Но когда начали возникать большие города, то явилась потребность строить богам жилища и внутри стен. Уже „Илиада“ упоминает о существовании храма Афины в Троянском кремле, а в Микенах и Тиринфе царские дворцы были в VII веке разрушены и на их фундаментах построены храмы.

Главной составной частью такого храма была четырехугольная покрытая крышею комната, в которой жил бог и где стоял его истукан. По-видимому, древнейшие храмы состояли только из такого ничем не украшенного святилища; подобный храм сохранился на горе Охе в южной части Эвбеи. Но вскоре начали выводить крышу за стены святилища и подпирать ее колоннами, так что вокруг святилища образовалась та крытая галерея (перистиль, птерон), которая и составляет характерную особенность эллинского храма; образцом для нее послужили, очевидно, колоннады царских дворцов. И подобно древнейшим дворцам, храмы возводились первоначально только из дерева и глины. Каменный храм позднейшего времени — не что иное, как подражание этой древней деревянной постройке; столбы, поддерживающие крышу, заменяются каменными колоннами, выступающие вперед концы поперечных балок — обтесанными напо-

¹ В „Илиаде“ храм упоминается уже в одном из древнейших мест (I. 39); однако эпос знает также множество святилищ, состоявших только из рощи и алтаря.

добие балок каменными плитами, так называемыми триглифами, а остающиеся между ними промежутки заделываются также плитами, метопами. В орнаментировке все еще подражают восточным образцам; притом каннелюры колонн и дорическая капитель заимствованы из Египта, ионическая капитель — из внутренних областей Малой Азии.

Древнейшие уцелевшие каменные храмы едва ли восходят ко времени до VII столетия. Святилище узко и длинно, перистиль широк. Короткие и сильно суживающиеся кверху колонны далеко отстоят одна от другой, капители низки и широки; вся постройка тяжеловесна и как бы придавлена. Только в течение VI столетия конструкция становится легче и гармоничнее. Еще большего развития достигли эти качества в архитектурном стиле, который в этом самом веке возник в Малой Азии¹ и который поэтому называется ионическим, тогда как древнегреческий стиль, в противоположность ему, получает с этих пор имя дорического. В то время, как дорическая колонна поднимается прямо с земли, колонна ионического стиля стоит на базисе, затем сама она, в отношении к диаметру, выше, поперечники легче, без триглифов и метопов, и орнаментовка более изящна. Но в более раннее время этот стиль ограничивался почти исключительно Малой Азией; в собственно Греции ионическая колонна употреблялась только изредка для украшения внутренней части зданий, как, например, при перестройке Дельфийского храма после пожара 548 г., и даже позднее постройки в этом стиле воздвигались здесь почти в одной только Аттике.

Каменный храм открыл новое поприще декоративной пластике, которою, как мы знаем, пользовались уже в микенский период. Теперь начали украшать каменным рельефом метопы, фризы, фронтоны, иногда даже барабаны колонн. Вначале, конечно, и здесь подражали восточным образцам. Так, например, на фризе храма в Ассе, в Южной Троаде, мы находим изображения львов, быков и сфинксов, непрерывно

¹ Древнейшие храмы этого стиля, древность которых может быть установлена, суть храм Геры на Самосе и храм Артемиды близ Эфеса, которые были построены самосскими архитекторами Рэком и Феодором во времена Креза и Поликрата, т.е. около середины VI столетия.

следующих друг за другом и образующих длинные полосы, совершенно так же, как на коринфских вазах VII столетия; впрочем, здесь изображены и мифологические сцены, как и естественно на храме. Как весь храм, так и украшающие его рельефы были окрашены яркими красками, и открытия, сделанные в последние годы в афинском Акрополе, дали нам живое представление о внешнем виде этих памятников. Неокрашенные мраморные скульптуры показались бы грекам столь же странными, как нам эти остатки из эпохи до Персидских войн.

Но храм был немислим без идола. Старые истуканы, камни, деревянные колоды и т.п., уже не удовлетворяли религиозной потребности общества; человек хотел созерцать своего бога в таком же виде, в каком представлял его себе в воображении. Вначале довольствовались тем, что на круглом или плоском куске дерева выделывали голову и иногда также половой член; отсюда позже развились гермы. В изображении остальных частей тела не представлялось надобности, так как в ту эпоху, и отчасти еще до классического времени, идола обыкновенно облакали в драгоценные ткани. Постепенно начали изображать всю фигуру; первые попытки в этом направлении были, конечно, крайне несовершенны и вызывали улыбку на устах позднейших греков. Но современники дивились красоте этих статуй и приписывали их изобретение Дедалу, который первоначально был тождествен с самим богом Гефестом. Он считался родоначальником многих родов художников в Греции.

Правда, первые попытки делать статуи из камня относятся к отдаленнейшей доисторической древности; это — те грубые женские идола с греческих островов, о которых мы выше говорили (с.102). Но резьба по дереву оставалась до VI века господствующим видом пластики. Еще Дипэн и Скиллис из Крита, первые греческие скульпторы, достигшие некоторой известности, и даже их ученики, наряду с мраморными статуями изготовляли еще и деревянных идола; древнейшие статуи победителей в Олимпии (около 500 г.) также были вырезаны из дерева. Вторым центром мраморной скульптуры сделалась Иония; здесь в VI веке действова-

ли художники Миккиад из Хиоса, его сын Архерм и сыновья последнего Бунал и Афенис; отсюда переселился в Афины Энлой в то время, как здесь, под покровительством Писистратидов, начала развиваться оживленная художественная деятельность.

Теперь начали выделывать статуи и из металла. При этом еще по старой привычке ковали металл молотом, а затем склепывали; таким образом Клеарх из Регия, по преданию, ученик Дипэна и Скиллиса, приготовил для Спарты статую Зевса. Около 550 г. самосские мастера Рэк и Феодор изобрели способ отливки статуй из металла или, вернее, перенесли это искусство, давно известное на Востоке, в Грецию, где оно имело огромные последствия для развития пластики.

Несмотря на все эти успехи, скульптура все еще стоит на довольно низкой ступени. Правда, художники обнаруживают замечательное знание человеческого тела, какого никогда не достигали восточные народы; но они еще не умеют придавать своим фигурам естественных поз. В особенности лицо лишено всякого выражения; все статуи этого времени носят одну и ту же стереотипную улыбку на губах; искусство еще совершенно не в состоянии передавать индивидуальные черты. Портретную статую можно было отличить от идеальной только благодаря надписи. Таким образом, пластическое искусство в конце VI столетия далеко еще не достигло той степени совершенства, какую уже обнаруживают в это время поэзия и музыка. Но труднейшая часть работы была и здесь исполнена, технические трудности большею частью устранены, и благодаря этому сделалось возможным появление в следующем периоде таких неподражаемых образцов искусства, как произведения Фидия, Иктина и Полигнота.

ГЛАВА IX

Начало объединительного движения

Как все народы, рассеянные по большим пространствам, греки поздно сознали свое племенное единство. У Гомера еще нет общего имени для всей нации — нет, сообразно с этим, и отрицательного признака греческого национального чувства — обозначения всех негреков варварами. Но само национальное чувство уже проснулось. В то время, когда заканчивалась наша „Илиада“, Троянская война уже представлялась общегреческим предприятием, и в „Списке кораблей“ это представление получило вид законченной системы. Грустно видеть, что здесь, на пороге греческой истории, был в поэтических образах выставлен идеал, так мало осуществленный дальнейшей историей.

Пробуждавшееся национальное чувство получило внешнее выражение прежде всего в религиозной области. Дельфы и Додона уже в гомеровские времена были святынями для всего народа; несколько позже к ним присоединяется Олимпия. Остров Делос становится религиозным центром всего ионийского племени по обе стороны Эгейского моря. Вокруг одной из этих национальных святынь — вокруг Дельфийского храма — образовался первый постоянный союз греческих племен, вышедший за пределы отдельной местности.

Храм Деметры близ Анфелы, при входе в Фермопильское ущелье, которое соединяет Фессалию с Южной Грецией, был с давних времен религиозным центром для „окрестных жителей“, собиравшихся сюда для совместных жертвоприношений.

Позже, когда большое значение получил храм Аполлона в соседних Дельфах, т.е. приблизительно с VIII века, он сделался вторым средоточием „союза окрестных жителей“, или, как его называли греки, — Амфиктионии. С этих пор круг участников стал все более расширяться, пока в него не вошла, наконец, вся Греция от Истма до Олимпа. Здесь мы находим фокейцев, к области которых принадлежали Дельфы, соседних дорийцев и локрийцев, далее все племена Фессалии, а рядом с фессалийцами даже малийцев, энианцев, до-

лопов, фтиотийцев, магнетов, перребов, наконец, эвбейцев и беотийцев. Каждый из этих народов имел в совете амфикионионов два голоса; уполномоченные и их помощники собирались два раза в год — осенью и весной. Сначала в Фермопилах, затем в Дельфах совершали жертвоприношения; потом приступали к обсуждению общих дел, как, например, содержание храмов, заведование священными сокровищами, устройство священных игр и проч. При исполнении своих решений союз имел право, в случае надобности, требовать вооруженной помощи от своих членов. В политические вопросы Амфикиония не вмешивалась; участвовавшим в ней государствам разрешалось воевать друг с другом, сколько им было угодно, но они были обязаны соблюдать при этом известные международные условия; так, ни один из принадлежавших к союзу городов не имел права во время войны разрушить другой союзный город или отрезать его от воды.

Как ни был шаток этот союз, он все же должен был значительно поднять в участниках чувство национального единства. В самом деле, весьма вероятно, что именно под влиянием дельфийской Амфикионии стали обозначать именем „эллинов“ весь греческий народ, потому что первоначально Элладой называлась только область на юге Фессалии, и в таком значении это слово встречается еще у Гомера. Только около середины VII века Архилох и приблизительно в то же время Гесиод в „Трудах и Днях“ употребляют слово „эллины“ или, скорее, „панэллины“ для обозначения всей нации. В „списках“ Гесиода мы уже находим царя Эллина — героя-эпонима греческого народа, и с этих пор имя „эллины“ входит во всеобщее употребление.

Само собой разумеется, что объединительное движение обнаружилось и в политической области. Древние областные государства доисторического периода, утратившие уже всякое значение, стали складываться в более крупные союзы. Проще всего это делалось так, что соседние области вступали между собой в союз для облегчения сношений и для общей защиты в случае войны, причем каждое из участвовавших государств сохраняло в остальных отношениях полную автономию; в этих случаях основой обыкновенно служили

древние религиозные союзы. Иногда происходило полное слияние — *синойкизм*, как говорили греки, — причем часть жителей переселялась в то селение, которое было избрано главным городом нового союзного государства. Наконец, часто более сильная область покоряла соседние, менее сильные области, и делала их жителей или своими подданными (перизки), или крепостными. Конечно, и эти новые государства были большею частью невелики, а там, где основывались более крупные политические союзы, как, например, в Фессалии и Пелопоннесе, они представляли собой непрочное соединение самостоятельных общин, без общей организации и без тесной внутренней связи.

Объединение областей нигде не было проведено с таким совершенством, как в Аттике. Здесь тоже некогда существовал целый ряд самостоятельных областных государств¹, из которых некоторые продолжали существовать и в позднейшее время как религиозные союзы; таков, например, Тетраполис на Марафонской равнине, представлявший союз четырех „городов“, вернее, сел: Марафона, Пробалинфа, Трикорифа и Энои. Но здесь не было больших городских центров; население страны было разбросано более чем по сотне местечек и деревень, и это обстоятельство должно было особенно облегчить слияние всех областей в одно государство. Этому благоприятствовали и географические условия, так как орошаемая Кефисом центральная равнина соединялась со всеми остальными частями страны удобными путями сообщения. Из этой центральной равнины и исходило объединение страны; средоточием союзного государства стала крепость Афины, расположенная на высокой скале над долиной Нижнего Кефиса. Каким образом произошло здесь слияние — мы не знаем, так как уже в начале исторического периода мы находим жителей всех областей страны объединенными на равных правах в союзном государстве² Праздник Синой-

¹ По дошедшим до нас сведениям — 12; упоминают: Кекропию, Тетраполь, Эпакрию, Декелею, Элевсин, Афидну, Форик, Браврон, Киферу, Сфетт, Кефисию; двенадцатое имя неизвестно.

² Афиняне исторической эпохи приписывали объединение страны герою солнечного цикла Тесею, точно так же, как лакедемоняне приписыв-

кии, который еще и в историческую эпоху праздновался ежегодно в середине лета, поддерживал воспоминание о событии, которому Афины больше всего были обязаны своим позднейшим величием. Конечно, присоединение всей страны к Афинам произошло не сразу, особенно Элевсин, благодаря своему обособленному положению, по-видимому, долго оставался независимым, может быть, даже до VII века, между тем как остальная Аттика еще в VIII веке вошла в состав Афинского государства. Однако, еще во время Писистрата отдельные области Аттики весьма энергично преследуют свои местные интересы; население равнины в окрестности Афин, Педиона, находится во враждебных отношениях к жителям Паралии, полуострова по ту сторону Гиметта, и к диакрийцам, населяющим горную страну напротив Эвбеи. Клисфен своим новым подразделением государства стремился главным образом именно уничтожить этот партикуляризм. Действительно, только его реформа и завершила объединение Аттики.

Соседней Беотии, кажется, еще более, чем Афинам, самой природою предназначено было образовать единое политическое целое. Но здесь уже рано возник целый ряд значительных городских центров; наряду со знаменитыми Фивами эпос прославляет богатство минийского Орхомена, и еще в настоящее время на одном из островов Копайдского озера, у подошвы Птоона, возвышаются остатки стены, окружавшей широким кольцом доисторический город, которого даже имя не дошло до нас. Кажется, этот город был разрушен фиванцами; однако Фивы были недостаточно сильны, чтобы покорить и остальные соседние города — Танагру, Феспию, Галиарт. Таким образом, объединение Беотии могло произойти только в форме федеративного государства, развившегося постепенно из религиозного союза, который с незапамятных времен связывал города страны со святынями Афины Итонской при Коронее и Посейдона при Онхесте у Копайдского озера. Дольше всего держался Орхомен, который еще в гомеровском „Списке кораблей“ не причисляется к Беотии и

который даже в позднейшее время постоянно обнаруживал сепаративные наклонности. Во главе союза стояли Фивы, имевшие, как самый значительный город, двух представителей в высшем исполнительном совете — коллегии беотархов, между тем как остальные города посылали туда по одному члену; вообще Фивы, благодаря своему фактическому превосходству, имели обыкновенно решающее влияние на политику союза.

Такую же форму приняли и областные союзы остальных племен Северной Греции, от Фокиды и Локриды вверх до Олимпа и Акрокеравнского мыса. Из этих государств в древнейшее время приобрел большое значение только Фессалийский союз. Обширная, окруженная со всех сторон горами равнина Пеня уже сама по себе должна была побуждать жителей к политическому объединению; не меньшее значение имела потребность господствующей аристократии в помощи на случай восстания крепостных крестьян. Таким образом, первоначально в отдельных частях страны образовались более крупные областные союзы: на востоке, между нижней частью Пеня и Пагаситским заливом, — Пеласгиотида, „пеласгический Аргос“ Гомера — вокруг Ларисы, Краннона и Фер, на западе, по верхнему течению Пеня — Гистнеотида вокруг Трикки и Гомф; на юге, в области Апидана и Энипея — Фессалиотида вокруг Фарсала и Киериона. Эти три округа вступили затем в союз между собой — вряд ли ранее VII века, потому что гомеровский „Список кораблей“ еще не знает единой Фессалии. Позже к ним присоединились на правах четвертого союзника фиотийские ахейцы. Во главе союза стоял высший чиновник (*тагн, таг*), выбираемый, кажется, пожизненно из господствующих аристократических родов; ему принадлежало главное начальство на войне.

Таким образом, на севере Греции образовалось могущественное государство, близость которого сильно давала себя чувствовать соседям. Все небольшие горные народы в окрестности вынуждены были признать верховное владычество Фессалии и обязались платить дань и выставлять войско во время войны: магнеты у Пелиона и Оссы, перребы у южного

склона Олимпа и Камбунских гор, долопы по южному Пинду, малийцы и энианцы у Эты. Фессалийцы обладали теперь большинством голосов в совете дельфийской Амфикинии, и они воспользовались этим положением для распространения своего влияния и к югу от Фермопил.

В том месте, где Дельфийская долина открывается к морю, находился город Криса, достигший цветущего состояния благодаря плодородию прибрежной равнины, и еще более — благодаря торговле в заливе, который получил свое имя от города. Выходцами из этого города были некогда основаны Дельфы. Когда затем это священное место сделалось предметом национального поклонения, дело не могло обойтись без раздоров — тем более что Дельфы имели прочную опору в Амфикинии. Около начала VI века двинулось на Крису фессалийское войско под начальством Эврилоха из рода Алевадов; в этой „священной войне“ приняли участие, по преданию, также Афины и тиран сикионский Клисфен. Исход борьбы легко было предвидеть. После продолжительного, по преданию, десятилетнего сопротивления Криса была взята и разрушена, а область ее посвящена дельфийскому богу. После этого Амфикиния была преобразована; голоса получили афинские и пелопоннесские дорийцы; Дельфийские игры приобрели значение национального праздника.

Благодаря этим событиям вся Фокида подпала под фессалийское владычество. Но при попытке подчинить себе и Беотию фессалийцы потерпели решительное поражение в большом сражении при Керессе в Феспийской области. С этого времени могущество Фессалии начинает падать. Фокида вернула себе свою независимость и отстояла ее в продолжительных войнах с могущественным соседом. Особенно известна победа, одержанная фокейцами над фессалийской конницей при Гиамполисе незадолго до Персидских войн. С тех пор Фермопилы образуют южную границу Фессалии не только в географическом, но и в политическом отношении.

Несчастье Фессалии заключалось в том, что в ней не было ни одного достаточно большого и сильного города, который мог бы подчинить своему влиянию остальные об-

щины. Наиболее значительные города страны — Фарсал, Краннон, Лариса, Феры — были почти равны между собой. Поэтому союз, объединявший Фессалию, был постоянно непрочен, пока наконец центральная власть потеряла всякое значение и совсем перестали выбирать *тага* (*tagosa*). Как политические, так и социальные условия — владычество аристократии и крепостное положение земледельческого класса — препятствовали какому бы то ни было прогрессу страны. Фессалия никогда не дала ни одного выдающегося ученого, поэта или художника; а до IV века мы даже вообще не знаем ни одного фессалийского писателя. Та из греческих областей, которая была наиболее щедро одарена природою, осталась мертвым членом в организме нации.

Иным путем пошла история северной соседки Фессалии, горной Македонии, орошаемой верхним течением Галиакмона. Приблизительно в первой половине VII века царь Пердикка I из дома Аргадов повел свой народ вниз по течению реки в Пиерию у подошвы Олимпа, изгнал фракийское население страны и заменил его македонскими колонистами. Такой же участи подверглись иллирийские зорды у Бегорритского озера. В завоеванной области, в том месте, где до рога из плоскогорья спускается в Эмафийскую равнину и горные воды, устремляясь в долину, образуют великолепные водопады, Пердикка основал свою столицу Эги. Отсюда в течение двух ближайших веков были отняты у пеонийцев и фракийцев равнина по нижнему течению Аксия и холмистая область Мигдония по ту сторону реки, до границы халкидских колоний. Здесь, при реке Лудие, в безопасной, защищенной болотами местности, македонские цари построили свою новую столицу Пеллу, тогда как Эги оставались местом погребения царской фамилии и религиозным центром страны. Кроме того, здесь возникло много других поселений, из которых наиболее значительными были Бероя, Миеза, Алор. Так греческая нация тихо и скромно приобрела на севере область, которая по величине не уступала Фессалии. Этой стране суждено было позже спасти Грецию от бедствий политического разъединения.

В Пелопоннесе отдельные округа также соединились в

большие союзы. Микены потеряли теперь то руководящее положение, которое они занимали в доисторический период. Действительно, если положение древней горной крепости во времена всеобщих войн было очень благоприятно, то оно несколько не соответствовало потребностям нового времени с его развитыми сношениями. Вследствие этого Микены вскоре затмил город Аргос, расположенный вокруг высокой крепости Лариса, вблизи морского берега, где дороги из внутренней части Пелопоннеса вступают в равнину. Соседние мелкие города скоро должны были подпасть под власть аргосцев. Асина была разрушена, по преданию, еще в VIII веке, Навплия — около 600 г. Орнеи, Гисии, Тиринф, Мидея и сами Микены сделались подчиненными перизкскими городами.

К югу Аргос распространил свое господство на Кинурию и, по преданию, даже на все западное побережье залива и остров Кифера. Господство над знаменитым в древности храмом Геры возле Микен перешло теперь к Аргосу, который, таким образом, приобрел сакральную гегемонию над всей страной. В первой половине VI века, в царствование Фейдона, аргосцам, по преданию, удалось даже заставить Коринф, Эгину и соседние города также признать их политическое господство: таким образом они восстановили царство Темена, на долю которого, по преданию, выпала некогда, при разделе дорийских завоеваний в Пелопоннесе, вся Арголида.

Между тем на юге у Аргоса появился опасный соперник. В равнине по среднему течению Эврота, глубоколежащем Лакедемоне Гомера, Спарта около середины VIII века, по преданию — при царе Телекле, покорила соседние Амиклы и Фарис. Скоро затем была завоевана и долина нижнего Эврота до самого моря, с городами Геронтрами и Гелом. Завоеванная область была разделена на равные части между победителями; туземцы, обращенные в крепостных (илотов), должны были обрабатывать землю для своих новых господ. Последние, освобожденные, таким образом, от всяких забот о средствах пропитания, получили возможность посвятить себя исключительно военному делу. Все гражданское насе-

ление Спарты получило военную организацию и было подчинено строгой дисциплине; даже мальчиков с раннего детства готовили только к этой цели. Таким образом, Спарта, благодаря своему постоянному войску, получила перевес над соседями, которым каждый раз приходилось собирать гражданское ополчение. Нужно думать, что такая организация создана была по примеру соседнего родственного Крита, где подобное устройство существовало уже несколько столетий (см. выше, с.87), так как Спарта в это время вообще находилась под сильным влиянием Крита.

Ближайшим последствием покорения долины нижнего Эвроты было признание господства Спарты небольшими городами полуостровов Малей и Тенара. Они уступили ей часть своих владений, выставляли во время войны свой отряд, подчинялись спартанским судам, получали спартанских наместников (гармостов) и, в случае надобности, допускали к себе спартанские гарнизоны. В остальном эти общины перизков, как их называли, сами ведали свои дела и, по видимому, спартанское господство не было очень тягостным, так как перизки, за немногими исключениями, оставались верны Спарте во всех кризисах, вплоть до македонского периода.

Скоро долина Эвроты оказалась тесной для спартанцев, и их стала привлекать богатая Мессенская равнина по ту сторону Тайгета. Под конец VIII века царь Теопомп перешел через горы и после борьбы, продолжавшейся, по преданию, 20 лет, покорил Мессению. Здесь также земля была разделена между победителями, а жители обращены в крепостных, которые обязаны были отдавать своим господам половину дохода с полей. Но мессенцы не могли забыть свою прежнюю свободу, и когда во второй половине VII века Спарта была ослаблена внутренними смутами, они восстали против своих поработителей, поддерживаемые Панталеоном, царем Писы, и Аристократом, царем Орхомена в Аркадии. Вначале союзники одержали несколько побед, и еще долго потом воспевались геройские подвиги мессенского полководца Аристомена. Но всякая храбрость оказывалась бессильной против спартанской дисциплины; в сражении у Большого

рва победа осталась за спартанцами, наконец, был взят и последний оплот восставших, крепкая Ира. Мессения снова была поработщена, и спартанцы спокойно владели ею до самых Персидских войн.

Победоносная Спарта стала теперь распространять свое господство и по направлению к северу. Первые шаги к этому сделаны были, вероятно, еще до восстания мессенцев; по крайней мере область у верхнего течения Эвроты и Эноса — Скиритиду — спартанцы должны были покорить раньше, чем они могли двинуться на Тегею. Однако храбрые жители горной Аркадии оказали им сильное сопротивление, тем более успешное, что и здесь отдельные округа начали сливаться в один крупный союз. Инициатива в этом деле принадлежала, по-видимому, Орхомену, царь которого Аристократ, как мы видели, поддержал восстание мессенцев и, вероятно, завоевал часть южной Аркадии; сын его Аристодам, по преданию, в деле упрочения своего могущества следовал его примеру. Монеты с аркадской надписью, которые чеканились приблизительно с середины VI века до времени Пелопоннесской войны, указывают на продолжительное существование этого союза. К нему принадлежала, вероятно, и Тегея; во всяком случае соседи не могли оставаться безучастными свидетелями нападения спартанцев на этот город. Таким образом, спартанцы под предводительством своих царей Леонта и Агасикла (около 580—550 гг.) потерпели тяжелое поражение, которое на время приостановило их дальнейшие успехи.

Около этого же времени аргосский царь Фейдон сделал попытку доставить своему городу руководящее положение в Пелопоннесе, на которое Аргос, по гомеровской традиции, имел право. Он совершил поход через весь полуостров в Олимпию и отнял у элейцев заведование национальным праздником, незадолго перед тем захваченное ими. Однако этот успех был непрочен. По преданию, Фейдон погиб во время одного восстания в Коринфе, а при его сыне Локаде могущество Аргоса начало падать. Коринф и соседние города вернули себе независимость и нашли опору в Спарте, которая теперь начала наступательную войну против Аргоса.

Кифера и восточное побережье Лаконии вверх до Фиреи были завоеваны, а попытка аргосцев вернуть себе потерянные области окончилась кровавым поражением их около 540 г.

Между тем элейцы снова покорили Писатиду, свергли ее династию и низвели города страны на степень подчиненных периэксских общин. Подобная же участь постигла жителей горной страны, пограничной с Аркадией, — так называемой Акрории, а может быть, и часть трифилийских городов к югу от Алфея. После этого никто уже не оспаривал у Элиды права заведования Олимпийским празднеством. По преданию, Спарта помогала элейцам во время этих войн, во всяком случае с этой поры Элида находится в союзе со Спартой.

В Аркадии около этого времени свергнута была орхоменская династия; затем сначала Тегея, а вскоре и Мантиней, Орхомен и вообще восточная и южная части страны должны были признать спартанское господство и обязаться выставлять войско в случае войны. За исключением Аргоса и горных округов Ахеи и северной Аркадии, весь Пелопоннес находился теперь в зависимости от Спарты. Собственно Спартанская область занимала более трети полуострова, свыше 8000 кв. км; почти такую же площадь составляли владения союзных государств. Таким образом, к концу VI века Спарта является первым по могуществу государством Греции, и ей главным образом нация была обязана сохранением своей независимости, когда скоро затем начались Персидские войны.

В то время как областные государства греческого материка, исключая немногих, сливались в большие государственные союзы, острова принимали в этом движении только слабое участие. Правда, на Крите более значительные города, Гортина и Кнос, подчинили своему влиянию слабые соседние общины, однако до объединения всего острова дело никогда не доходило; не было внешнего врага, который угрожал бы независимости Крита. Из Кикладских островов тоже ни один не был достаточно силен, чтобы подчинить остальные своему политическому влиянию. Андрос, Тенос и Кеос, по преданию, находились некоторое время в зависимо-

сти от Эретрии; впоследствии, с середины VI века, здесь все более стало преобладать влияние Афин. На Эвбее объединению мешало соперничество равных по могуществу торговых городов Халкиды и Эретрии. Плодородная Лелантская равнина, простирающаяся от Эврипа до подошвы Дирфиса, постоянно служила яблоком раздора между обеими соседними общинами; и однажды, около 600 г., такой пограничный спор принял характер настоящей войны, в которую, благодаря развитым торговым сношениям обоих городов, вовлечена была большая часть Греции. Жителям Эретрии пришли на помощь милетцы; на стороне халкидцев стояли старые соперники Милета, самосцы, затем фессалийцы; в войне приняли участие и коринфяне под начальством их тирана Перяндра. По преданию, исход войны был решен фессалийскою конницей; памятник ее предводителю, Клеомаху из Фарсала, павшему в бою, стоял еще в позднейшее время на площади в Халкиде. С этих пор Лелантская равнина оставалась во владении халкидцев.

Колонии по ту сторону моря в это время также, вероятно, еще не начинали складываться в большие государства. Находясь на довольно далеком расстоянии друг от друга, эти города имели достаточно простора, чтобы расширяться на счет соседних варваров и на захваченных таким образом землях, в свою очередь, основывать поселения, которые в политическом отношении обыкновенно сохраняли связь с метрополией. Так, Акры и Касмены всегда оставались в зависимости от Сиракуз; тщетно пыталась Камарина около 550 г., с помощью силикийцев и других союзников, освободиться от этой зависимости. Сибарис перед разрушением его кротонцами (около 510 г.) имел под своей властью, по преданию, свыше 25 городов и 4 туземных италийских племени; однако монеты его колонии Лаоса и Посейдонии указывают на то, что эти общины уже в VI веке были самостоятельны и, самое большое, находились в союзе со своей метрополией.

В Малой Азии Митилена, хотя и сохранила до Персидских войн, а отчасти даже до Пелопоннесской войны, господство над своими колониями в южной Троаде и у Геллеспонта, не сумела подчинить своему владычеству малые го-

рода на самом Лесбосе. Жители Колофона рано, может быть, еще в VIII веке, завоевали эолийскую Смирну и, таким образом, распространили свое господство от одного моря до другого, от Каистрского до Гермейского залива. Самосцы в VII веке заселили Аморг и завладели лежащим напротив их острова мысом Микале, что вовлекло их в продолжительный спор с Приеной, имевшей притязания на эту область.

Прочие города малоазиатского побережья оставались в этом периоде независимыми друг от друга. Религиозный союз, с давних времен объединявший города Ионии вокруг храма геликонского Посейдона на мысе Микале, никогда не был преобразован в политический. Даже под давлением внешней опасности — сначала со стороны мидийских царей, а позже со стороны персидской монархии — ионийские города не решались пожертвовать своим суверенитетом; предложение, сделанное во времена Кира Фалесом Милетским — соединить всю Ионию в одно государство с главным городом Теосом, не имело никакого успеха. Вот почему, как только внутри полуострова сложилось более значительное государство, греческие прибрежные города подпали под чуждое владычество.

Объединение Малой Азии исходило из плодородной долины Герма — самой обширной плоскости в западной части страны. Она рано сделалась средоточием сравнительно высокой культуры, о которой еще в настоящее время свидетельствуют высеченные в скалах Сипила рельефы с иероглифическими надписями, статуя Кибелы около Магнесии и так называемый Сезострис около Смирны. Но около того времени, когда греки упрочили свое владычество в восточной части Эгейского моря, в этой области еще не могло существовать более или менее значительного государства; иначе чуждым поселенцам не удалось бы распространиться по всему ионийскому побережью. Еще в эпосе меонийцы, как называются у Гомера жители долины Герма, ничем не стоят выше остальных народностей Малой Азии. Кажется поэтому, что царям Сард удалось подчинить своей власти всю нацию не ранее VIII века, и, может быть, именно этим

объясняется то обстоятельство, что отныне имя „лидийцы“ вытесняет древнее имя меонийцев.

Около начала VII века, при царе Гигесе (Гиге) из династии Мермнадов, Лидия выступает на историческую сцену. Государство должно было тогда обнимать, кроме долины Герма, по крайней мере еще долину Меандра; оно было достаточно сильно, чтобы стремиться к обладанию морским побережьем. Однако вначале эти попытки оказались безуспешными; от Милета Гигес был отбит, а жители Смирны даже вторглись в Гермскую долину и здесь победоносно сражались с лидийской конницей. Зато Гигесу удалось распространить свое владычество на Троаду и южное побережье Пропонтиды, где он, по-видимому, основал Даскилею, которая оставалась столицей геллеспонтской страны вплоть до падения Персидского царства.

В это время явился у греков и лидийцев общий враг в лице диких киммерийцев, пришедших с северного берега Черного моря, где Крым до сих пор сохранил их имя. Вместе с ними пришли и треряне, которые были, вероятно, фракийского происхождения. Фригийское царство пало под их натиском; около 675 г. они воевали в Каппадокии против Асархаддона, царя Ассирии. Ввиду этой опасности Гигес обратился за помощью к Ашшурбанипалу, который в 668 г. сменил своего отца, Асархаддона, на ассирийском престоле. Сначала он действительно имел некоторый успех, но скоро счастье изменило ему; Гигес потерял сражение и жизнь, Сарды были взяты, и только кремль, благодаря своему положению на крутом холме, сумел отстоять себя. После этого киммерийцы двинулись к ионийскому берегу; храм Артемиды около Эфеса, главное святилище Малой Азии, был сожжен; богатая Магнесия на Меандре стала добычей варваров.

Однако гроза прошла мимо; киммерийцы ушли, и сын Гигеса Ардис восстановил Лидийское царство. Он покорил также без большого труда Фригию, в которой нашествие киммерийцев разрушило весь государственный строй. Теперь Ардис возобновил против греческих городов наступательную политику своего отца, однако не с большим успе-

хом, чем последний. Если он и покорил Приену, то сильный Милет отражал все нападения как самого Ардиса, так и его преемников, Садиятта и Алиатта, который, наконец, должен был признать независимость города. Зато Алиатту удалось завоевать колофонскую колонию Смирну, город был разрушен, и с тех пор его место оставалось пустынным в продолжение двух столетий. Алиатт воевал также и на севере, и на востоке, он покорил Вифинию, изгнал из Малой Азии остатки киммерийцев и проник по ту сторону Галиса в Каппадокию. Здесь он столкнулся с мидийским царем Киаксаром, который незадолго перед тем разрушил Ассирийское царство и теперь, как преемник прав ассирийских царей, считал себя законным владельцем Каппадокии. Началась война, продолжавшаяся, по преданию, шесть лет и окончившаяся договором, по которому впредь границей между Мидией и Лидией должна была служить река Галис (585 г.).

Лидийское царство обнимало теперь всю западную часть Малой Азии, за исключением горных областей на юге и большинства греческих приморских городов. Первые не имели большого значения; тем настойчивее требовали интересы государства покорения эгейского побережья. При политической разрозненности Ионии это легко удалось сделать Крезу, который около 560 г. наследовал своему отцу Алиатту. Греческие общины, одна за другой, должны были признать лидийское господство; один только Милет и теперь отстаивал свою независимость.

Но в то время, как Лидия подчиняла себе греческие приморские города, она сама все более поддавалась влиянию греческой культуры. Уже во время Геродота лидийцы почти совершенно переняли греческие нравы. Как рано проник в Лидию греческий язык, видно из того, что там не было найдено почти никаких литературных памятников на местном языке. Уже в V веке лидиец Ксанф, первый в длинном ряду греческих писателей варварского происхождения, написал историю своей страны на греческом языке. Царь Алиатт, кроме своей карийской супруги, имел еще жену-ионийку, сын которой, Панталеон, едва даже не наследовал своему отцу вместо Креза. Греческие боги не имели более усердных

поклонников, чем лидийские цари; уже Гигес посвятил Дельфийскому храму драгоценные подарки, а расточительная щедрость, которую обнаруживал Крез не только по отношению к Дельфийскому храму, но и по отношению к храмам Артемиды в Эфесе и Аполлона в Бранхидах близ Милета, известна всякому.

Однако Лидийскому царству недолго суждено было процветать. Только что Крез покорил морское побережье и принялся за постройку флота, чтобы подчинить своей власти и соседние острова, как в центре Азии наступили события, заставившие его обратить свои взоры на восток. Около 550 г. Мидийское царство пало под натиском персидского царя Кира, и Крез решил воспользоваться этим моментом для осуществления планов своего отца Алиатта, которому пометал привести их в исполнение мидиец Киаксар. Перейдя р. Галис, он вторгся в мидийскую Каппадокию. Но после нескольких удач вначале он был вынужден отступить перед более сильной армией Кира назад в Лидию; преследуемый неприятелем, Крез потерпел решительное поражение под стенами своей столицы в долине Герма. После непродолжительной осады Сарды были взяты штурмом и сам царь попал в руки победителя (546 г.). Лидийское царство прекратило свое существование; сопротивление, которое еще оказывали ионийские города, с самого начала не обещало успеха и вскоре было сломлено полководцем Кира, Гарпагом. Часть жителей Фокеи и Теоса покинула родину и отправилась искать новых мест для поселения по ту сторону моря; остальные греки покорились персидскому владычеству, которое едва ли было более тягостно, чем прежде владычество лидийцев. Ликийцы, которые до тех пор сохраняли независимость, тоже должны были подчиниться, — и Кир владел теперь всей Малой Азией. Завоеванная страна была разделена на две сатрапии с главными городами Сардами и Даскилеей.

В последние годы своего царствования, занятый другими, более важными задачами, Кир не имел времени думать о государствах, лежащих у Средиземного моря. Его сын Камбиз обратил свое оружие против Египта, царь которого Ама-

сис незадолго перед тем умер, оставив престол своему молодому сыну Псамметиху III. При Пелусие, близ устья восточного рукава Нила, произошло сражение между греческими наемниками и персами: здесь оба народа впервые померились силою в открытом поле (525 г.). Победа осталась за Камбизом, и участь Египта была решена; главный город Мемфис пал после продолжительной осады, царь был взят в плен. Нильская долина стала персидской сатрапией. Соседняя Кирена добровольно подчинилась персидскому господству; города на Кипре уже в начале войны перешли на сторону Персии.

Таким образом, несколько более чем в 20 лет, добрая треть греческой нации подпала под персидское владычество. Можно было предвидеть, что персы не остановятся на этом; если не жажда завоеваний, то уже сама сила обстоятельств должна была толкать их вперед по пути, на который они вступили, потому что в области Эгейского моря нет ни одной естественной границы.

ГЛАВА X

Господство аристократии и его падение

В то время, как в греческом народе вырабатывалось сознание его национального единства и отдельные области, по крайней мере на самом полуострове, соединялись в политические союзы, не менее глубоким изменениям подверглось и внутреннее устройство большинства государств. Уже в гомеровскую эпоху аристократия все более расширяла свое влияние в ущерб царской власти, и уже авторы „Илиады“ и „Одиссеи“ считают нужным защищать монархию — притом монархию законную — против подобных захватов:

Нехорошо многовластье. Единый да будет властитель,
Царь единый, которому Кроноса хитрого сыном
Скипетр дан и законы затем, чтоб царил он над нами¹

Однако, если даже в этих словах выразились чувства большей части греческого народа, это большинство еще не могло оказывать деятельного влияния на ход общественных дел. Народ еще не играл никакой роли; политически имела значение только знать, т.е. крупные землевладельцы. „Одиссея“ изображает нам итакийский народ преданным царскому дому; но никто не решается восстать против поведения женов, принадлежащих к знатнейшим фамилиям государства. По отношению к этой аристократии царь был только первым между равными; при небольших размерах греческих государств положение царя должно было быть здесь, разумеется, совершенно иным, чем в восточных монархиях, или чем в позднейшее, эллинистическое время. Пока продолжались постоянные распри между соседними государствами, аристократия подчинялась царю; но по мере того, как эти распри становились реже, подчинение царской власти казалось более ненужным. При таких условиях царь мог сохранять свое прежнее значение только в том случае, если обла-

¹ Илиада. II. 204—206. (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М., 1896. С.22).

дал выдающимися личными качествами, а это, конечно, не всегда случалось. У Гомера среди Народного собрания царю бросают в лицо такие слова, — и нет сомнения, что эта картина взята из действительности:

Пьяница грузный! По виду собака, олень по отваге!
Ты никогда не дерзал в своем сердце ни в бой, ополчившись,
Вместе с народом идти, ни спрятаться в тайной засаде
Вместе с вождями ахейцев, — тебе это смертью казалось.
Царь — пожиратель народа, над трусами царствовать годный!
Ибо иначе, Атрид, ты б в последние нынче был дерзок¹

Таким образом, уничтожение царской власти было только вопросом времени.

Как и естественно, республиканское движение началось в тех частях греческого мира, которые достигли наиболее высокого экономического развития. В малоазиатских колониях царская власть была уничтожена в течение VII века, а отчасти, может быть, еще в VIII веке. Приблизительно в это же время монархия была отменена в Аттике и в городах на Истме и, вероятно, также в Беотии и на Эвбее² Что касается сицилийских и италийских колоний, то здесь, исключая легендарного царя Сиракуз, мы находим царскую власть только в лакедемонской колонии Таренте, где она удержалась до начала V века. На Крите также существовала царская власть, по крайней мере до конца VII века; точно так же и на сосед-

¹ Илиада. I. 225—332. (Илиада Гомера /пер. Н.М.Минского. М., 1896. С.7).

² Достоверных известий об этих событиях нет, да и не может быть; предания, относящие падение царской власти (например, в Афинах) к древнейшим временам, лишены всякого исторического значения. Ничего не доказывают и списки должностных лиц, — с одной стороны, потому, что магистраты-эпонимы могли существовать и при монархии, с другой стороны — так как царская власть могла быть уничтожена раньше, чем начато ведение дошедших до нас списков. *Terminus post quem* (самая поздняя граница во времени) представляют гомеровские эпосы, которые еще необходимо предполагают существование царской власти; *terminus ante quem* (самая ранняя граница во времени) — появление первых тиранов в VII веке, а для Афин — законодательства Дракона и Солона и килонское восстание.

нем острове Фера в это время, по-видимому, еще держался монархический образ правления, так как основанная около 630 г. выходцами с этого острова Кирена управлялась царями до середины V в. В земледельческих областях Пелопоннеса, как, например, в Аркадии и Писатиде, царская власть удержалась до конца VII или начала VI века (см. выше, с.249 и след.), а в Аргосе монархия пала только в эпоху Персидских войн. В Спарте уже в VIII веке, или еще раньше, состоялось соглашение между аристократией и царской властью; рядом с древней династией Агиадов во главе города поставлен был на равных с ней правах род Эврипонтидов¹, так что главы обеих фамилий одновременно носили царское звание. Неизбежное соперничество между обеими династиями служило гарантией против превышений власти, и это обстоятельство было одной из главных причин того, что царская власть удержалась здесь в своей двойственной форме до конца III века. В отдаленных и сильно отставших в культурном отношении частях греческого мира древняя наследственная монархия также отчасти сохранилась до позднего времени; так, например, у агрейцев в Этоли, у молоссов и афаманцев в Эпире, в Македонии и в городах на Кипре.

Сколько можно судить, первые попытки не были направлены против царской власти как таковой, а имели целью только замещение царствующей династии другою. В таком смысле „Одиссея“ представляет отношение женихов к Телемаху; и то же самое, как мы видели, произошло, вероятно, в Спарте. Если такая попытка удавалась, то она наносила тяжелый удар существованию монархии, потому что новая династия была лишена той крепкой опоры, какую представляет только законное престолонаследие. В большинстве случаев, однако, упразднение царской власти достигалось не путем революции, а посредством мирных реформ. Начиналось с того, что в помощь царям давали выборных чиновников; ближайшим поводом к этому служило расширение государственных функций, обусловленное в VII, а отчасти,

¹ Поэтому род Эврипонтидов считался более молодым и пользовался меньшим почетом.

может быть, уже в VIII веке экономическим прогрессом нации. Так, в Спарте была учреждена должность эфоров, первоначальное назначение которых состояло в том, чтобы помогать царям в гражданском судопроизводстве; в Афинах учреждены были, для замещения царя в гражданском управлении, должность архонта, а в начальствовании на войне — должность военачальника (*полемарха*). Власть царя в уголовном судопроизводстве также все более ограничивалась советом старейшин. Уже в сцене суда, изображенной на щите Ахилла у Гомера, речь идет только о геронтах; в Спарте уголовное судопроизводство также находилось в руках герусии, и хотя цари принимали участие и пользовались правом голоса в этой коллегии, однако их компетенция ни в каком отношении не была выше компетенции всякого другого члена. В Афинах коллегия эфетов, вероятно, уже рано забрала в свои руки уголовное судопроизводство, предоставив царю только председательство, которое и впоследствии принадлежало выборным царям. Таким образом, в большинстве государств деятельность царя была постепенно сведена к исполнению связанных с его саном жреческих обязанностей, пока, наконец, и последние не были возложены на выборных должностных лиц. Там, где царский род численностью и богатством превосходил все остальные аристократические фамилии, управление государством переходило ко всему этому роду таким образом, что все должности замещались членами его. Так, Бакхиады даже после упразднения царской власти правили Коринфом, Пенфелеиды — Митиленой, Басилеиды — Эфесом, Алевады — многими городами Фессалии; еще во время Пелопоннесской войны существовал подобный образ правления у хаонян в Эпире. Но в громадном большинстве греческих государств царским фамилиям не удалось удержать в своих руках власть; здесь монархия была упразднена в интересах всего сословия благородных.

В остальном прежнее государственное устройство с упразднением царской власти не потерпело существенных изменений. Совет продолжал существовать, но его значение должно было возрасти, так как он имел теперь дело не с царем, правящим по праву наследия и пожизненно, а с долж-

ностными лицами, избираемыми на определенный срок — обыкновенно на год — и обязанными отдавать отчет в своей деятельности. Разделение обязанностей, которому было положено начало еще во время царей и которое теперь продолжалось, также должно было содействовать ослаблению власти должностных лиц. Вскоре затем стали заменять отдельных должностных лиц коллегиями, каковы например, пять эфоров в Спарте¹, или назначать такие коллегии им в помощь. Так, в Афинах, наряду с архонтом, полемархом и заменившим наследственного царя выборным царем, учреждена была для судопроизводства коллегия из шести фесмофетов. В союзных государствах, как, например, в Беотии, высшее правительственное учреждение составлялось, естественно, из известного числа равноправных членов, избираемых отдельными государствами.

Но общий характер государственного устройства был теперь совершенно иной, чем в царский период. Царь в своих собственных интересах должен был оказывать всем частям населения одинаковое покровительство; как раз постоянно возрастающее могущество знати побуждало царей искать поддержки у простого народа. Сословие, достигшее господства в государстве, редко заботится о чем-нибудь другом, кроме своей временной выгоды; и греческая аристократия того времени, „добрые“ и „славные“ господа, как они себя называли, не составляли исключения из этого правила. Уже в последние времена царского периода значение Народного собрания было довольно ничтожно (см. выше, с. 116 и след.); теперь же оно окончательно потеряло свое влияние. Жреческие должности и соединенные с ними крупные доходы были монополизированы аристократией и сделались наследственными в знатных фамилиях; точно так же знать забрала в свои руки и судопроизводство, потому что только господствующий класс знал обычное право. При этом судьи бессовестно нарушали право в интересах своего сословия, и подкупы были в порядке вещей. Басня о соловье и ястребе,

¹ Что первоначально был только один эфор, доказывается, по-видимому, тем обстоятельством, что и впоследствии год обозначался именем одного только члена коллегии.

которую Гесиод применяет к отношениям между народом и знатью, верно рисует действительность. Мы видели выше (с.206), как беспощадно пользовались благородные своим экономическим превосходством для угнетения бедного класса, как им удалось в Фессалии низвести земледельческое население на степень крепостных и как Аттика перед реформами Солона была недалеко от того, чтобы впасть в подобное же состояние.

Прошедшее обыкновенно представляется нам в лучшем свете; неудивительно поэтому, что греческий народ оглядывался на период царской власти как на золотое время, которое теперь сменил железный век. Если дух гомеровского эпоса в IX и VIII веках был решительно монархический, то эпос Гесиода в VII веке не в меньшей степени проникнут антиаристократической тенденцией. По мере того, как благосостояние и образование распространялись и в низших слоях общества, все громче раздавались голоса, требовавшие реформ. Эта оппозиция была тем опаснее, что знать теперь все более теряла свое прежнее превосходство в военном отношении. Тогда как в гомеровское время участь сражений решалась почти исключительно передними рядами тяжеловооруженных, в сравнении с которыми масса легковооруженного и плохо дисциплинированного народа не имела почти никакого значения,— теперь успехи металлургии дали возможность и среднему классу приобретать себе металлическое оружие. Это произвело совершенный переворот в тактике; с тех пор, как греческие государства получили возможность выставлять сотни и тысячи закованных в металл воинов, способ сражения враспынную, употреблявшийся в героическое время, был оставлен, и тяжеловооруженные шли на врага сомкнутыми фалангами, которые действовали всюю тяжестью своей массы. Против этой железной стены боевая колесница оказывалась бесполезной; она вышла из употребления, и ею пользовались еще только для состязаний. Место воинов, сражавшихся на колесницах, заняла теперь конница, которую, однако, на гористом греческом полуострове можно было пользоваться только в очень ограниченных размерах, вследствие чего она в древнейшее время

имела значение только в Фессалии, Беотии и Эвбее. Таким образом, господствующее влияние в Греции должно было перейти к среднему сословию.

Первое требование, предъявленное правящей аристократии, касалось кодификации господствующего права, шаткость которого составляла в то время самое вопиющее зло во всем государственном строе. Реформа в этой области была тем более необходима, что государство именно в ту эпоху начало отнимать у родов древнее право кровной мести и передавать уголовные преступления публичным судам, а несколько позже — и приводить в исполнение приговоры через посредство собственных должностных лиц. Родственники убитого сохраняли только право и обязанность поддерживать обвинение. Благодаря этой реформе в руках судей сосредоточилась такая страшная власть, что даже в интересах самого господствующего сословия чувствовалась необходимость ограничить судопроизводство точно формулированными законодательными постановлениями. Все более распространявшееся знакомство с письменностью дало возможность собрать в один свод правовые нормы, освященные обычаем или законодательными актами, и таким образом охранить их от искажений и довести до сведения всех.

Греки, как и все вообще индогерманцы, издревле смотрели на право как на божеское постановление и главным назначением богов считали именно охрану правового порядка. Поэтому позднейшие поколения видели в древних законодательствах откровения богов. Критяне приписывали свои законы Миносу, и когда последний из бога был обращен в героя, то думали, что он получил свои законы от Зевса. Лакедемоняне считали свои законы откровением бога света; Тиртей полагал, что они исходят из Дельф, тогда как в представлении позднейшего времени бог превратился в героя Ликурга („носителя света“), который получил от Дельфийского оракула только санкцию своего законодательства. Таким же образом и италийские локрийцы верили, что автором их законодательства был Залевк, „ярко блистающий“

Подобные предания показывают нам, что кодификация права в этих областях, насколько она вообще имела место,

ограничилась главным образом записыванием господствовавшего обычного права. Но именно тот факт, что мифические законодатели Крита, Спарты и Локр превратились во мнении народа из богов в людей, достаточно характеризует глубокую перемену, которая приблизительно в VII веке произошла в правовых понятиях греков. Положительные законы, господствовавшие в отдельных государствах, были признаны теперь человеческими постановлениями. На место установленного по откровению богов правового порядка (*фемис*) гомеровского времени является теперь закон (*фемос, номос*) — понятие, еще чуждое эпосу. А постановление человека может быть отменено другим человеческим постановлением. При таком воззрении начертание существовавших законов оказалось в значительной степени реформой этих самых законов, о виновниках которой долго сохранялась память в потомстве.

К древнейшим из этих законодательств принадлежит кодификация аттического права Драконом около конца VII века. За нею, спустя несколько десятков лет, последовала обширная законодательная реформа Солона (594 г.). Еще к VII веку, до начала господства Кипселидов и, следовательно, может быть, также до Дракона, относится законодательство Фейдона в Коринфе. Филолай, по преданию, также коринфянин, стал законодателем беотийских Фив. Около того же времени Харонд дал законы Катане, в Сицилии; это законодательство было введено и в остальных халкидских колониях запада и, измененное соответственно требованиям времени, даже еще в Фуриях, основанных в 445 г. Сиракузский законодатель Диокл также, вероятно, жил в этом периоде. Около середины VI века Питтак преобразовал законы Митилены. То же самое происходило, вероятно, во всем греческом мире, поскольку он вообще принимал участие в духовной жизни того времени.

Древнее право обращало внимание только на внешний состав наказуемого деяния; теперь стали принимать в расчет и внутреннюю сторону преступления. Уже законы Дракона делали различие между убийством умышленным и непреднамеренным; тогда как искуплением за первое должна была

служить кровь виновного, — непреднамеренного убийцу постигало только изгнание, из которого он мог вернуться, если ему удавалось умиловить родственников убитого. К телесным повреждениям применялся принцип возмездия: кто выколол у другого глаз, — постановлял Харонд — тот должен сам лишиться глаза. За кражу Дракон установил смертную казнь безотносительно к ценности вещи. Позже Солон ввел различие между крупной и мелкой кражей; для первой оставлено было наказание смертью, вторая каралась денежным штрафом в двойном, а в известных случаях — даже в удесятеренном размере стоимости украденной вещи. Вообще законодательства этого времени признают, наряду со смертной казнью и телесным изуродованием или наказанием, только денежные пени или, для неграждан продажу в рабство, а для граждан, кроме того, атимию, т.е. лишение гражданских прав, которое применялось, например, в том случае, когда виновный не был в состоянии уплатить денежный штраф. Тюрьма служила только для предварительного заключения или для заключения за долги. Наконец, существенное влияние на высоту наказания имело то, совершено ли преступление против гражданина или против негражданина; в последнем случае приговор был гораздо мягче.

В то же время, соответственно более сложным экономическим отношениям эпохи, было выработано и обязательственное право. Наказания отличались ужасающей строгостью: несостоятельный должник вместе со своим семейством становился рабом кредитора. Исполнение приговора было, однако, еще и теперь совершенно частным делом; истец должен был, например, сам вознаграждать себя посредством захвата части имущества своего противника. Постоянно возрастающее ослабление родовой связи повело, далее, к тому, что распоряжение остающимся наследством было предоставлено последней воле умирающего, как это в Афинах впервые было постановлено Солоном. В тех государствах, где крестьянские надельные земли были неделимы и неотчуждаемы, как например, в Спарте, свобода завещания естественно ограничивалась движимым имуществом и землею, не входившею в состав надела.

Главным доказательством в судебном процессе, если не было письменных документов, являлась клятва, причем во многих государствах до позднего времени сохранился обычай привлекать соприсяжников. Божьи суды, например, испытание огнем, рано вышли из употребления. У рабов дозволялось вынуждать показания посредством пытки, которая к свободным применялась только в исключительных случаях; граждане, по крайней мере в Афинах, были освобождены от нее народным постановлением, изданным, вероятно, вскоре после изгнания тиранов, в конце VI века.

Греки никогда не научились ясно различать право от конституции. Поэтому законодательства повсюду вторгались в область государственного управления; люди стремились организовать и государство на рациональных началах. И так как реформы вызывались преимущественно раздражением народных масс против их благородных притеснителей, то законодательства вели обыкновенно к ограничению преимуществ аристократии. Привилегии по рождению теперь заменяются привилегиями по имущественному положению, и именно по поземельному владению, соответственно второстепенной роли, какую в VII веке еще играли торговля и промышленность по сравнению с сельским хозяйством. На этом принципе зиждилось ликурговское государственное устройство Спарты; полноправным гражданином был лишь тот, кто имел столько земли, что мог, сам не обрабатывая ее, жить с семейством на приносимый ею доход. В Халкиде и Эретрии на о. Эвбея, а также во многих малоазиатских городах, как Кима (Кумы), Колофон, Магнесия на Меандре, активным правом гражданства пользовались все те, кто был в состоянии держать боевого коня. В Афинах Солон ввел сложную систему имущественных классов, по которым определялись гражданские права¹. В Самосе и Сиракузах гра-

¹ По „Афинской политике“ Аристотеля, гл. 4, эти классы существовали уже во время Дракона. Однако все учреждения, которые приписываются в этой главе Дракону, принадлежат гораздо более позднему периоду. Это, так называемое „драконово законодательство“ — не что иное, как идеальная конституция афинских олигархов конца V века, которую какой-нибудь политический писатель, ради вышей рекомендации ее, выдал за

жданским полноправием также пользовались только землевладельцы, и аналогичный режим господствовал, вероятно, во всем греческом мире, исключая те государства, где, как, например, в Фессалии, еще держалось аристократическое устройство. Вообще же в руках знатных родов оставалось, в виде единственной привилегии, отправление известных жреческих обязанностей, с незапамятных времен переходившее в них от отца к сыну, право, которое законодательство не решалось поколебать из соображений религиозного свойства.

Как бы велико ни было принципиальное значение этих реформ, на практике они мало изменили существовавший порядок вещей, так как почти вся земля принадлежала аристократическим фамилиям, которые, таким образом, по-прежнему сохраняли руководящее влияние на управление государством. Тем важнее были последствия реформ. Преграды, делившие до тех пор граждан на два совершенно обособленных лагеря, теперь рушились. И самому бедному дана была законом возможность получить все гражданские права, как только он, благодаря прилежанию или счастью, достигал известного благосостояния; с другой стороны, благородный, промотав свое имение, должен был выступать из привилегированного класса. А при блестящем развитии, какого достигли в Греции торговля и промышленность в течение VI века, уничтожение преимуществ землевладения сравнительно с движимостью было только вопросом времени. Поговорка, гласящая, что деньги делают человека, возникла в это время, и она характерна для направления общественной мысли.

Такая реформа, конечно, не могла быть проведена мир-

творение древнего законодателя, точно так же, как Солону и Ликургу приписывали всевозможные учреждения, к которым они были совершенно непричастны. Что автор или, если угодно, интерполлятор „Афинской политики“ был введен в заблуждение подделкой, это совершенно понятно, как понятно и то, что некоторые новейшие авторы следуют его примеру. Если принять во внимание, как мало точных сведений ученые V и IV веков имели даже о Солоне, то вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, что досолоновское устройство Афин мы можем узнать не иначе, как путем обратных заключений.

ным путем. Привилегированные сословия отказываются от своих преимуществ не иначе как по принуждению; действительно, вслед за падением монархии в Греции наступило время революций. Внешний толчок к перевороту давали обыкновенно раздоры в среде самого господствующего класса, которые были тем более неизбежны, чем теснее была связь между членами каждого аристократического рода в отдельности. Более слабая партия искала помощи у народа, честолюбивые аристократы становились во главе недовольных масс и вели их против своих собственных товарищей по сословию; и хотя эта борьба с существующим строем часто бывала безуспешна, но ее снова возобновляли до тех пор, пока, наконец, достигали цели. Тогда начинались казни, изгнания, конфискация имущества, отмена долгов, новое разделение земельной собственности; но и знать — там, где она одерживала верх, — не оставалась в долгу перед своими противниками, и нередко даже святость храма не спасала приверженцев побежденной партии от мести победителей. Однако, при политической незрелости масс, падение аристократии вело вначале не к созданию свободных конституций, а к восстановлению строя царской эпохи; победоносный демос предоставлял своим вождям высшую власть, которая, казалось, одна только могла помешать возвращению ненавистного господства аристократии.

Но отжившие учреждения не воскресают снова, и это новое царство было совершенно не похоже на прежнюю монархию героического времени. Это очень хорошо чувствовали и сами новые правители, не решавшиеся принимать имя царя; современники называют их „монархами“ или „тиранами“; последнее слово тогда еще не имело того ненавистного смысла, какой оно получило у нас. Вообще тираны вели себя совершенно как представители народа, и, например, никто из них не чеканил монет с собственным именем. Формы республиканского устройства по возможности сохранялись, и правители заботились только о том, чтобы наиболее влиятельные должности всегда замещались их родственниками или приверженцами. Разумеется, и положению самого „тирана“ в государстве придавалась какая-нибудь

законная форма: обыкновенно ему вручали высшую военную власть — либо на всю жизнь, либо на известное число лет, по истечении которых полномочие возобновлялось. На основании этой компетенции большинство тиранов содержало отряды наемников для охраны кремля и других укрепленных мест. Одним этим, конечно, нельзя было надолго удержать власть в своих руках; поэтому тираны усердно стараются сохранить расположение возвысившего их народа образцовым управлением, сооружением великолепных общественных построек, устройством блестящих празднеств и, по возможности, славными внешними предприятиями. Такая деятельность требовала значительных денежных средств, вследствие чего теперь — впервые в греческой истории — введено было правильное прямое обложение.

Не может быть сомнения в том, что тирания дала могущественный толчок как экономическому, так и духовному развитию Греции. Она освободила народные массы от векового гнета, сломала старые сословные предрассудки, впервые фактически установила равенство перед законом между знатными и незнатными. Государство в первый раз сознало свою обязанность заботиться не только о защите граждан, но и об их материальном благосостоянии, путем покровительства торговле, сельскому хозяйству и промышленности, устройства дорог, каналов и водопроводов. Коринф и Самос достигли блестящего положения при Периандре и Поликрате; Писистрат и Гелон положили основание позднему величию Афин и Сиракуз. Художники и поэты были желанными гостями при дворах тиранов и находили для себя выгодные занятия, первые — при постройках, вторые — на музыкальных представлениях во время больших празднеств. Сами правители с живым участием следили за всеми духовными стремлениями своего времени, а Периандр и Питтак даже попали в число „семи мудрецов“

Но несмотря на этот блеск и на все великие заслуги тиранов, их господство в Греции не могло быть продолжительно. Подчинение воле одного человека, хотя бы и прикрытое подобием республиканских форм, сделалось, наконец, одинаково невыносимым для всех слоев населения. Та

глубокая ненависть к монархическому правлению, которою отличаются греки классического периода, представляет большею частью последствие тирании. Нужно было обладать очень выдающимися политическими дарованиями, чтобы при этих условиях отстоять свое единовластие; а что такие дарования только редко передаются по наследству сыновьям, это было известно уже древнему Гомеру. Таким образом, тирания обыкновенно лишь на короткое время переживала своего основателя. Только в немногих случаях она удержалась в течение нескольких поколений, — дольше всего в Сикионе, где в продолжение целого столетия (приблизительно 660—560 гг.) власть оставалась в руках фамилии Ортагора.

Гнет тиранического правления сильнее всего давал себя чувствовать аристократии, и она-то больше всего и способствовала его свержению. Однако восстановление прежнего господства знати было при современных условиях невысказано. Можно было, конечно, изгнать тиранов, но нельзя было уничтожить тех глубоких следов, которые оставило их правление. Так, сверженное некогда Кипсолом господство Бахиадов в Коринфе не было восстановлено, а заменено умеренной олигархией; в Афинах после падения Писистратидов законы Солона были изменены в демократическом духе. Только в тех государствах, которые не прошли через стадию тирании, как Фессалия, Беотия, Элида, древнее аристократическое устройство удержалось до Персидских войн, а отчасти еще дольше.

Движение, изображенное здесь в своих общих чертах, началось приблизительно около середины VII века. Оно ограничилось только теми частями греческого мира, которые в экономическом и духовном отношении достигли наибольшего развития, следовательно, колониями на западе Малой Азии, Сицилией, а в метрополии Аттикой, Эвбеей и городами при Истме. За исключением этих мест, тирания до IV столетия не привилась нигде на греческом полуострове; точно так же мы до Персидских войн не встречаем тиранов в колониях по северному побережью Эгейского моря и на Черном море, что, впрочем, объясняется, может быть, только

скудостью дошедших до нас известий. На Крите возникновению тирании мешала военная организация граждан и обособленное положение острова; а там, где удержалась древняя монархия, тирания вообще не могла возникнуть.

Древнейшими тиранами Милета были, по преданию, Фоант и Дамасенор, которые, впрочем, скоро были свергнуты знатью; за ними последовал, около начала VI века, Фрасибул, который защитил город против Алиатта Лидийского и после продолжительной борьбы добился почетного мира (см. выше, с.255). Несколько больше мы знаем о внутренней борьбе в Митилене около середины VI столетия, благодаря песням Алкея, который сам принимал деятельное участие в этом движении. Попытки Меланхра и Мирсила добиться единовластия увенчались только временным успехом; наконец, утомленный внутренними смутами демос вручил диктатуру, или, как выражались враги, тиранию, человеку замечательного ума, Питтаку, который восстановил порядок и затем сложил с себя свое звание. Что касается тиранов большинства остальных городов малоазиатского побережья, то мы знаем только их имена, а большею частью не знаем и этого. В несколько более ясных очертаниях вырисовывается из тумана только личность Поликрата. Около 540 г. он сверг господство земельной аристократии на Самосе и скоро сделался, благодаря своему флоту, страшилищем Эгейского моря, на котором он занимался морским разбоем в самых широких размерах. Тщетно пытались милетцы и союзные с ними лесбосцы положить конец его грабежам; так же безуспешно окончился поход против Самоса, предпринятый спартанцами и коринфянами. Поликрат вышел победителем из всех войн, и многие из соседних островов и приморских городов должны были подчиниться его господству. С египетским царем Амасисом он поддерживал дружеские отношения, что, впрочем, не помешало ему послать свое войско на помощь персидскому царю для покорения Нильской долины. Награбленные сокровища он употреблял на великолепные постройки, которые еще долго потом составляли украшение Самоса; при его дворе жили поэты Ивбик и Анакреонт. Наконец, возрастающее могущество Поликрата начало беспо-

коить и персов, хотя он признал верховную власть великого царя и, без сомнения, платил также дань. Орет, сатрап Сард, хитростью заманил его в Магнесию на Меандре, где велел умертвить его и труп распять на кресте. После этого личный секретарь Поликрата, Меандрий, провозгласил себя тираном в Самосе и удержал в своих руках власть до тех пор, пока Силосонт, брат Поликрата, изгнанный последним из отечества, не вернулся с персидскою помощью на остров. Вообще персы старались доставлять власть в греческих городах Малой Азии тиранам, потому что последние, будучи связаны с государством собственными интересами, служили лучшею порукою верности городов. Благодаря этому под конец VI века тирания была господствующей формой правления в азиатской Греции.

На другом конце греческого мира, в Сицилии, первым тираном был, по преданию, Панетий; приблизительно в 600 г. он сверг господство земельной аристократии в Леоцтинах. Большее значение приобрел около 560 г. в Акраганте энергичный Фаларис, который покорением соседних сицилийских общин положил основание величию своего города. Предание рисует его типом жестокого тирана; и действительно, только благодаря своей неутомимой энергии он мог держаться против происков своих врагов, которыми он в конце концов и был побежден после шестнадцатилетнего правления. Но с его падением Акрагант только переменял правителя; монархия удержалась или, по крайней мере, вскоре была восстановлена. В большинстве остальных городов греческого запада тирания установилась только под конец VI века, как это будет видно из дальнейшего изложения.

В греческой метрополии, по преданию, около середины VII века Ортагор провозгласил себя тираном своего родного города Сикиона, и его династия удержала власть до середины следующего столетия. При Клисфене (приблизительно 590 — 560 гг.) эта тирания достигла наибольшего блеска. Сикион принимал участие в „священной войне“ против Крисы (выше, с.246) и в победоносных войнах с могущественным Аргосом отстоял свою независимость. По преданию, руки Клисфеновой дочери Агаристы искали юноши из луч-

ших фамилий всей Греции; отец выдал ее за афинянина Мегакла из дома Алкмеонидов (около 570 г.). Родившийся от этого брака сын, названный по имени деда с материнской стороны Клизфеном, положил основание аттической демократии после падения тирании сыновей Писистрата. Со смертью Клизфена мужская линия династии Ортагора, по-видимому, угасла, и в Сикионе было восстановлено республиканское устройство.

Несколько позднее, чем в Сикионе, господство аристократии было низвергнуто в соседнем Коринфе Кипселом, которому затем наследовал его сын Периандр. С воцарением последнего началась для Коринфа пора расцвета. Положено было основание целому ряду цветущих колоний, как Анакторион, Левкада, Амбракия, Аполлония, Эпидамн — на Ионическом и Адриатическом морях, Потидея на халкидонском полуострове. Далее Периандр покорил могущественную Керкиру, основанную около середины VIII века выходцами из Коринфа и успевшую с тех пор сделаться соперницей метрополии в торговле с западом. Во главе отдельных городов поставлены были члены царствующего дома: в Амбракии сын Кипсела Горг, в Керкире сын Периандра Ликофрон. Таким образом, впервые в греческой истории основано было обширное колониальное государство. Соседний Эпидавр также должен был признать господство Коринфа. Последний стал теперь, бесспорно, самой значительной морской державой Греции и одним из первых греческих государств вообще; война между Халкидой и Эретрией за обладание Лелантским полем, которая подорвала могущество эвбейских городов и в которой Периандр принимал деятельное участие (выше, с.252), упрочила положение Коринфа. При таких условиях коринфская торговля быстро достигла значительного развития, и, по-видимому, именно Периандр отчеканил в Коринфе первые монеты. О процветании художественной промышленности свидетельствуют сохранившиеся во множестве коринфские вазы и металлические изделия этого времени и знаменитый „ящик Кипсела“, который, кажется, был посвящен Периандром Гере в Олимпии (выше, с.236). Игры в честь истмийского Посейдона также, ве-

роятно, обязаны Периандру если не учреждением, то во всяком случае возведением их на степень панэллинского национального праздника (выше, с.152). Периандр покровительствовал также музыке и поэзии; при его дворе жил и работал сочинитель дифирамбов Арион.

Но после смерти Периандра тирания держалась в Коринфе лишь короткое время. Его племянник Псамметих, nasledовавший ему в правлении, уже через несколько лет был убит, и затем введена была умеренная олигархия (выше, с.271), которая с небольшими перерывами удержалась до македонского периода. В колониях также были теперь низвергнуты потомки Кипсела; Керкира и Эпидавр вернули себе независимость. Могущество Коринфа было глубоко потрясено, и одно время город, кажется, принужден был даже признавать верховное владычество аргосского царя Фейдона. Правда, после смерти Фейдона Коринф вернул себе свободу, и Потидея и колонии на этолийско-акарнанском побережье вверх до Амбракии остались верны метрополии; но Керкира отстояла свою самостоятельность, и скоро Коринф был вынужден броситься в объятия Спарты (выше, с.250).

Приблизительно около того времени, когда Кипсел достиг власти в Коринфе, в соседней Мегаре провозгласил себя тираном Феаген. Он завоевал Саламин или, по крайней мере, отстоял этот остров против притязаний Афин; далее, он возвел большие общественные постройки. В конце концов он был свергнут народом, после чего, по преданию, наступило время господства черни, продолжавшееся до тех пор, пока и здесь, как в Коринфе, не был введен олигархический образ правления.

Феаген выдал свою дочь за молодого афинского аристократа Килона, который прославился победою на Олимпийских играх (по преданию, в 640 г.). Килон задумал последовать примеру тестя и стать повелителем своего родного города. Ему действительно удалось с толпой своих приверженцев занять Акрополь; но народного восстания, на которое он надеялся, не произошло. Архонты, с Алкмеонидом Мегаклом во главе, оцепили Акрополь, в котором скоро наступил голод. Сам Килон спасся бегством, а его привержен-

цы, искавшие спасения у алтаря Афины, были убиты по приказанию архонтов. Впоследствии Алкмеониды тяжело поплатились за это преступление.

Может быть, именно эти события побудили правящий класс эвпатридов сделать уступку требованиям демоса в виде законодательства Дракона (выше, с.265). При постоянно возраставшей нужде народных масс эта уступка могла помочь, конечно, только на короткое время. В среде самих эвпатридов существовала партия, которая настаивала на коренной реформе как на единственном средстве для предупреждения революции. Во главе этой партии стоял Солон, самый выдающийся в умственном отношении афинянин того времени, принадлежавший к древней, хотя и не очень богатой фамилии. Будучи талантливым поэтом, он старался влиять на общественное мнение в духе реформы при помощи своих элегий — единственный вид публицистической деятельности, который был в то время возможен. Наконец цель была достигнута; в 594 г. Солон, в качестве первого архонта, стал во главе государства с неограниченным полномочием на реформу существующего порядка.

На первом плане стояло исцеление социальных зол, от которых страдала Аттика. Но тут могли помочь только очень радикальные мероприятия. Последовала всеобщая отмена долгов, и Солон по праву мог хвалиться тем, что освободил свою страну от бремени залоговых камней, которые возвышались повсюду на полях крестьян. Далее, была дана свобода всем, кто за долги попал в рабство, и на будущее время отнято у кредитора право на личность должника. Но новому разделу земельной собственности, которого требовали его единомышленники, Солон решительно воспротивился.

Когда, таким образом, самая неотложная часть работы была сделана, Солон приступил к кодификации частного права, между тем как для уголовного права остались в силе законы Дракона. В гражданском процессе введена была апелляция на приговор должностных лиц к собранию присяжных — гелиэя, которые выбирались по жребию из всех граждан старше 30 лет; этим устранялась самая вопиющая несправедливость старого суда. Что касается уголовного су-

допроизводства, то самая существенная часть его — суд за умышленное убийство — был отнят у эфетов и возложен на особую корпорацию, к которой пожизненно принадлежали все архонты, безусловно исполнившие свою должность; рядом с ними заседали здесь с правом голоса и состоявшие в данное время на службе архонты. Новое судилище собиралось, как некогда эфеты, на холме Ареса, на освященном древностью месте у подножия Акрополя, и получило поэтому название „совет Ареопага“

Государственное устройство также было изменено соответственно воззрениям времени. Родовой ценз был заменен имущественным. Для этой цели все граждане были разделены на четыре класса по величине имущества. К первому классу (*пентакосиомедимнов*) принадлежали все те, которые получали со своих земель ежегодного дохода не менее 500 мер хлеба или масла и вина; только они могли быть избираемы на высшие государственные должности. Второй класс (*триакосиомедимнов*, или *всадников*) обнимал граждан, получавших от 300 до 500 мер; третий класс (*зевгитов*) — землевладельцев с годовым доходом от 200 до 300 мер. Для граждан этих двух классов был открыт доступ к низшим государственным должностям. Беднейшим гражданам — *фетам*, которые не были в состоянии содержать запряжку волов и должны были жить всецело или отчасти трудами своих рук, равно как и всем, владевшим исключительно движимую собственностью, было предоставлено только участие в Народном собрании без пассивного избирательного права. Для целей управления все государство было разделено на 48 округов — *навкрарий* — по 12 в каждой из четырех фил, на которые распались все граждане. Каждый из этих округов должен был в случае войны снаряжать корабль, а на их начальников, *навкраров*, возложено было собирание прямых имущественных налогов, к которым прибегали в случае чрезвычайной надобности. В остальном организация государственных должностей не подверглась существенным изменениям. Высшей инстанцией для решения всяких политических и административных споров сделан был Ареопаг,

который, таким образом, стал важнейшим учреждением в государстве.

Солон имел полную возможность удержать в своих руках власть, которую ему вручили для проведения реформ, и сделаться афинским тираном. Он не захотел воспользоваться своим положением; но этим он только замедлил, а не остановил течение обстоятельств, толкавшее и Афины в объятия тирании, потому что созданный им государственный строй, как это обыкновенно бывает при компромиссах, не удовлетворил собственно никого, кроме самого законодателя. Важнейший недостаток этой конституции состоял в том, что она принимала в расчет только поземельную собственность и тем совершенно устраняла класс ремесленников, демиургов, от участия в государственном управлении, несмотря на то, что этот класс приобрел уже огромное значение в экономической жизни страны и что это значение с каждым днем возрастало. Брожение внутри государства возобновилось. Уже в 590 г. не состоялись выборы архонтов, что повторилось и четыре года спустя; вскоре после этого архонт Дамасий сделал попытку удержать власть дольше законного срока, т.е. низвергнуть конституцию и провозгласить себя тираном. Однако его попытка не удалась: после двухлетнего господства (582 — 580 гг.) Дамасий был свергнут и Афины снова вернулись к сословному строю, с той только разницей, что теперь доступ к государственным должностям был открыт и мелким землевладельцам и демиургам. Были выбраны десять архонтов — пятеро из эпатридов, трое из крестьян, остальные два из демиургов; но эта реформа держалась лишь очень короткое время. Революция продолжалась, поддерживаемая главным образом раздорами среди самой аристократии. Одна из могущественнейших фамилий, Алкмеониды, отделилась от большинства знати и стала во главе недовольных народных масс. Главную поддержку они нашли в жителях прибрежной части Аттики по ту сторону Гиметта, так называемой Паралии; отсюда и название партии „Паралии“ Противную партию составляли богатые землевладельцы Афинской равнины со своими приверженцами, так называемые Педиен.

Исход этой борьбы решил Писистрат, происходивший из очень знатной семьи, которая вела свой род от Нестора. Но еще более, чем своему знатному происхождению, он был обязан собственным военным успехам. Ему удалось отнять у мегарцев остров Саламин, на который Афины издавна заявляли притязания, и даже завоевать Нисею, гавань Мегар, которая, впрочем, была возвращена после заключения мира. Эти успехи доставили ему широкую популярность, и в особенности мелкое крестьянское население так называемой Диакрии, противолежащей Эвбее части Аттики, было предано ему душой и телом. Общий интерес сблизил его с Алкмеонидами; глава этого рода Мегакл отдал за него свою дочь, и соединенными силами им удалось отнять у педиеев управление государством. Для охраны его личности от покушений противников Писистрату было разрешено постановлением Народного собрания набрать отряд телохранителей; тогда он сбросил маску, завладел Акрополем и стал, таким образом, владыкой Афин, тираном (около 560 г.). Это, конечно, не входило в расчеты Мегакла; он примирился теперь со своими старыми противниками, педиеями — тем более что брак его дочери с Писистратом остался бездетным. Против этой коалиции тиран не мог устоять. Он удалился в изгнание, сначала на фракийское побережье, затем в Эретрию; его имения в Аттике были конфискованы, и свобода, казалось, была еще раз спасена.

Однако Писистрат и теперь не отказался от своих планов. Во многих частях Эллады у него были могущественные друзья, которые доставляли ему обильные денежные средства для вербовки наемников. После десятилетних приготовлений он высадился в Марафонской бухте, на берегу преданной ему Диакрии. Здесь в его лагерь стали стекаться со всех сторон его единомышленники; скоро он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы двинуться на Афины. У храма Афины в Паллене, близ северного склона Гиметта, он встретил войско афинской знати; оно потерпело полное поражение, и победитель беспрепятственно вступил в столицу. Вожди противной партии, преимущественно Алкмеониды, удалились в изгнание.

Писистрат оставил в силе конституцию Солона и заботился только о том, чтобы выборы падали, по возможности, на его родственников и приверженцев; начальство над военными силами он, разумеется, оставил за собою, а в Акрополе держал гарнизон из своих наемников. Он усердно поощрял земледелие, устраивал дороги и водопроводы, украсил город великолепными постройками, как, например, храмами Афины Паллады на Акрополе и Зевса Олимпийского у Илуса. Главные два праздника позднейших Афин, Большие Панафиней и Большие Дионисии, были учреждены Писистратом. Тогда в первый раз начали ставить на сцене трагедии, и первые поэты и композиторы того времени, как Симонид, Анакреонт, Ласос из Гермियोны, были с почетом приняты при дворе афинского тирана. Орфический пророк Ономакрит также находился в дружеских отношениях с сыном Писистрата Гиппархом.

Но самую блестящую сторону правления Писистрата составляла его внешняя политика. Он доставил Афинам влияние на Делосский храм Аполлона, сделавшийся в течение VII века общею племенной святыней ионийцев по обе стороны Эгейского моря; правителем Наксоса, самого большого из Кикладских островов, он сделал своего друга Лигдамиса. Далее, Писистрат обратил свои взоры на Геллеспонт, важнейшую торговую дорогу греческого мира, обладание которою все более становилось жизненным вопросом для Афин. Он занял здесь город Сигейон при устье Скамандра и отстоял его в многолетней войне против Митилены. Около того же времени афинянин Мильтиад из старинного аристократического дома Филаидов основал себе княжество во фракийском Херсонесе, на противоположном Сигейону европейском берегу Геллеспонта. Очевидно, что это предприятие могло удалиться только при содействии Писистрата; если на родине Мильтиад был его политическим противником, то в Херсонесе его собственные интересы заставили его примкнуть к афинскому тирану. Писистрат уже во время своего изгнания укрепился на южном берегу Фракии, у нижнего течения Стримона, где позже был основан Амфиполь; он удержал эти владения и по возвращении в Афины и из

рудников Пангея извлекал часть финансовых средств, нужных для его предприятий. Таким образом, Писистрат повсюду наметил направление позднейшей колониальной политики Афин и положил первое основание морскому могуществу своего города.

Но несмотря на весь этот блеск, афиняне не могли забыть, что расцвет их города куплен ценою свободы; правда, у них был хороший господин, но все же это был господин. Впрочем, пока Писистрат был жив, не обнаруживалось никакой оппозиции: только когда умер старый правитель (по преданию, в 527 г.) и власть перешла к его сыновьям Гиппию и Гиппарху, началось революционное движение. Во время Больших Панафиней летом 514 г. Гиппарх пал жертвой заговора; но Гиппий спасся от кинжала убийц, и ближайшим последствием неудачного покушения было только то, что тирания сделалась еще более тягостной. Однако народ сохранил благодарное воспоминание об этом подвиге, и когда спустя несколько лет Афины освободились от тирании, — тираноубийцам Гармодию и Аристокитону были воздвигнуты на площади медные статуи и их потомки удостоены высшей почести, какую только могло оказать государство гражданину, — именно пожизненного участия в обедах в Пританее. И долго еще в Афинах на праздничных пиршествах раздавалась песнь свободы: „Я хочу нести меч в миртовом венке, как Гармодий и Аристокитон, когда от их руки пал тиран и они завоевали для афинского народа свободу и право“

Теперь начали действовать и аттические эмигранты; отряд изгнанных эвпатридов завладел Лейпсидрионом, укрепленным пунктом у южного склона Парнета. Но народ остался спокойным, Лейпсидрион пал, и много доблестных людей погибло за свободу. Однако Алкмеониды не были обескуражены этой неудачей; не будучи в состоянии собственными силами свергнуть тиранию, они стали искать помощи на стороне. Даже в изгнании они располагали значительными денежными средствами, которые дали им возможность, после пожара Дельфийского храма, взять на себя возобновление его и при этом сделать больше, чем они были обязаны

по контракту. Этим они привлекли на свою сторону дельфийских жрецов и вообще Амфикионию, и оракул употребил теперь все свое влияние, чтобы побудить Спарту к вмешательству в дела Аттики. Но и собственные интересы Спарты побуждали ее стремиться к тому, чтобы подчинить могущественные Афины своему влиянию, — тем более что Писистратиды находились в дружественных отношениях с Аргосом. Поэтому спартанцы послали войско против Гиппия; но на помощь последнему подоспела фессалийская конница, и благодаря этому подкреплению ему удалось разбить наголову высадившихся при Фалере спартанцев в прогнать их обратно к их кораблям. Спарта принуждена была напрячь все свои силы. Царь Клеомент повел пелопоннеское союзное войско через Истм, одержал победу над фессалийскими всадниками и вступил в Афины, где запер Гиппия в Акрополе. Спустя несколько дней тиран капитулировал под условием свободного отступления; он удалился в свое геллеспонтское владение Сигейон, где правил с тех пор в качестве персидского вассала. Афины были свободны (510 г.).

До сих пор аттическую аристократию объединял гнет тирании; теперь опять стали возобновляться старые раздоры. Главная заслуга в свержении тирана принадлежала Алкмеонидам, к которым поэтому и перешло вначале управление государством. Во главе этого рода стоял в то время Клисфен, сын того самого Мегакла, который был сначала союзником, а потом смертельным врагом Писистрата и умер в изгнании. Это был очень даровитый государственный человек, похожий на своего деда по матери, сикионского тирана, имя которого он носил (выше, с.273). Народная политика была традицией в его фамилии; теперь же она была особенно необходима ввиду того, что Писистратиды все еще обладали в Афинах сильной партией. Поэтому Клисфен приступил к реформе государственного устройства в демократическом духе как к единственному средству предотвратить восставление тирании, и в то же время упрочить свою собственную власть против происков многочисленных знатных родов, которые, ничему не научившись и ничего не забыв,

стремились к восстановлению аристократического строя.

Итак, прежде всего Клисфен должен был сломить ту организацию, на которой до сих пор главным образом основывалось влияние этих родов. С этой целью он ввел в Аттике новое политическое деление. Прежние родовые филы, существовавшие с незапамятных времен, были уничтожены, их заменили десять новых, местных фил, причем каждый гражданин был причислен к той филе, в области которой он жил в момент преобразования. Таким образом, большие знатные роды, из которых каждый раньше принадлежал целиком к одной какой-нибудь филе, теперь должны были раздробиться, и в высшей степени затруднялась совместная деятельность их членов. И действительно, цель оказалась вполне достигнутой: уже в ближайшем поколении роды, как таковые, теряют всякое политическое значение, между тем как до этого времени именно они составляли главный фактор в партийной жизни Аттики. В то же время было принято в число граждан множество иностранцев, живших оседло в Афинах (метеки), и даже вольноотпущенных рабов, что, конечно, содействовало усилению демократического элемента.

Новые филы были названы по именам наиболее знаменитых отечественных героев: Эрехтея, Эгея, Кекропа, Эанта и других. Каждая фила в свою очередь распадалась на несколько общин — *демов*, из которых каждая состояла из одной деревни или местечка Аттики; только столица и второй после нее по величине город страны, Браврон, были разделены на несколько демов, очевидно, с целью предотвратить возможность образования из них государств в государстве. С этой же целью в одной и той же филе соединены были демы из различных частей Аттики; так, например, Элевсин, Пирей и Азения у Суния принадлежали к филе Гиппотонтида, Марафон и Фалер к филе Эантида; Афины и их ближайшие окрестности были разделены между всеми 10 филами. Этим была предотвращена опасность, чтобы новая организация не послужила оплотом для партикуляристических стремлений, которые так резко обнаружались еще в начале эпохи Писистратидов.

Для верховного руководства государственными делами

и для приготовления вносимых в Народное собрание проектов был учрежден Совет из 500 членов, по 50 от каждой из 10 фил, причем каждому дему предоставлялось соответствующее его величине количество мест в Совете. Это, кажется, первый пример пропорционального населению представительства, который мы находим в истории. Далее, чтобы сделать невозможным всякое влияние знатных родов на состав Совета, его члены избирались посредством жребия из числа граждан, искавших этой должности; а большое число членов служило ручательством за то, что господствующее в данный момент среди граждан политическое течение найдет себе выражение и в Совете. По числу 10 фил Совет распался на 10 секций, из которых каждая в продолжение десятой части года имела председательство („пританию“) и непрерывно находилась в здании Совета для разрешения текущих дел. В течение этого времени члены ее содержались на государственный счет, так что и бедные граждане могли вступать в Совет. Вероятно, была также расширена компетенция народных судов; но мы не имеем об этом никаких точных сведений. Однако право быть избираемыми на высшие государственные должности было и теперь предоставлено только двум высшим податным классам.

Существовавшие учреждения Клисфен в общем оставил в том виде, как он их застал. Таким образом, архонты по-прежнему сохранили свое положение во главе государства. Правда, теперь, после продолжительного периода тирании, их компетенция представляла уже лишь тень того, чем она была при Солоне. Полемарх лишился начальства над войском и в сущности был только правительственным чиновником, хотя по имени он все еще оставался высшим военачальником. Военная власть, находившаяся прежде в руках тиранов, была теперь возложена на новообразованную коллегию десяти стратегов, из которых каждый выбирался своею филлой и на войне командовал ее отрядом, между тем как в главном начальстве над всем войском стратеги сменялись каждый день по очереди. Полемарх председательствовал в этой коллегии и занимал в сражении почетное место на правом фланге.

Наконец, чтобы устранить всякую возможность восстановления тирании, Клисфен учредил остракизм. Каждой весной народ должен был решать голосованием, представляет ли кто-нибудь из граждан опасность для свободы. Если большинство давало утвердительный ответ, то созывалось второе собрание, в котором всякий афинянин надписывал на табличке — *остракон* одно имя; для того, чтобы баллотировка считалась действительной, требовалось присутствие 6000 граждан, т.е. почти четверти всего числа тогдашних граждан Атики. Кто имел против себя большинство голосов, должен был покинуть страну на 10 лет, но сохранял свое имущество и по истечении срока изгнания снова восстанавливался в правах гражданства. Это была мера борьбы, продиктованная чувством самосохранения, и только с этой точки зрения ее можно понять и оправдывать. Можно, конечно, сомневаться, достигла ли бы она своей цели, если бы Афинам еще раз серьезно угрожала опасность тирании; но ясно, что эта мера открывала полный простор всякого рода злоупотреблениям. Для вожаков партий, располагавших в Народном собрании большинством голосов, это учреждение представляло отличное средство приличным образом избавиться от неприятных противников; и действительно, почти только с этой целью и прибегали к остракизму.

Ясно, что реформа Клисфена была еще очень далека от того, что спустя пятьдесят лет называли в Греции демократией. Привилегии по имущественному цензу, установленные Солоном, остались в силе и теперь; поэтому впоследствии афинские олигархи ставили себе целью возвращение к конституции Клисфена. Но в свое время эта реформа представляла значительный прогресс и нанесла тяжелый удар консервативной аристократической партии. Последняя не была в состоянии собственными силами бороться с демосом, которым руководил Клисфен, поэтому она прибегла к тому же средству, которое незадолго перед тем употребил Клисфен против Писистратидов, именно обратилась за помощью к Спарте.

Действительно, спартанская олигархия имела полное основание смотреть подозрительно на демократическое раз-

витие, которое начало обнаруживаться в только что освобожденной Аттике. Царь Клеомен I еще раз предпринял поход в Афины и без труда добился изгнания Клисфена и его главных приверженцев (508 г.); поводом к этому послужило старое обвинение в святотатстве, тяготевшее над Алкмеонидами еще со времени восстания Килона (выше, с.275). Предводитель консервативной аристократии Исагор, в качестве первого архонта, стал во главе правительства. Но когда одержавшая верх партия сделала попытку уничтожить и клисфеновскую конституцию, демос восстал: Клеомен и Исагор были заперты в крепости и уже на третий день вынуждены капитулировать под условием свободного отступления. Теперь вернулись Клисфен и остальные изгнанники. Ясно было, впрочем, что этим успехом достигнуто очень мало. Если бы Спарта взялась теперь за дело серьезно и переправила через Истм сильное войско, то аттической демократии, казалось, грозила неминуемая гибель. В Греции не у кого было искать помощи; напротив, кроме Спарты, Афины вели в это время войну еще со своим сильным соседом на севере, с Беотийским союзом, из-за Платеи, которая, отложившись от Фив, искала и нашла помощь у Афин. Поэтому они обратились к Артафрену, персидскому сатрапу Сард; и когда он в награду за свое содействие потребовал подчинения персидскому царю, афинские послы, не задумываясь долго, согласились на его требование — шаг, которому народ впоследствии отказал в ратификации, когда миновала опасность со стороны Пелопоннеса.

Между тем царь Клеомен собрал войска пелопоннесских союзников и двинулся через границу Аттики до Элевсина, а беотийцы и халкидцы в то же время напали на Аттику с севера. Но в пелопоннесском лагере не было большого воодушевления к войне, предпринятой для порабощения Афин, и именно сильнейший из союзных городов, Коринф, находившийся тогда в очень хороших отношениях с Афинами, отказался от дальнейшего участия в походе. Затем и второй спартанский царь, Дамарат, которому вместе с Клеоменом принадлежало главное начальство над войском, открыто выступил против политики своего товарища по власти. Та-

ким образом, армия расстроилась, и Клеомен принужден был вернуться в Спарту без всякого успеха.

Теперь афиняне могли беспрепятственно обратить свое оружие против своих врагов в Средней Греции. На берегу Эврипа беотийцы потерпели полное поражение; еще в тот же самый день победоносное войско перешло на о. Эвбея и одержало решительную победу над халкидцами. Вследствие этого Халкида попала в зависимость от Афин, и часть поместий халкидской знати была отдана в собственность афинским колонистам. Беотийцы же продолжали войну, поддерживаемые Эгиной, флот которой опустошал берега Аттики. Решительного успеха не добились ни одна из воюющих сторон, и наконец заключен был мир на условиях прежнего владения. Молодая аттическая демократия блистательно доказала свою жизнеспособность.

Свержением Писистратидов закончился период тирании в самой Греции. В малоазиатских городах тираны держались еще только искусственно, благодаря поддержке персов. Правда, в Сицилии тирания именно в это время достигла высшей точки своего развития; но и здесь ей суждено было пасть уже спустя немного десятилетий. Нация уже переросла монархию, борьба между знатью и гражданством была окончена. Но оба эти сословия нашли теперь общего врага в массе безземельных, которые добивались участия в государственной жизни. Однако в ближайшее время всякие внутренние раздоры отступили на задний план ввиду опасности, которая грозила независимости нации с востока.

ГЛАВА XI

Освободительные войны

Греческому народу выпала на долю счастливая возможность развиваться самобытно, почти не подвергаясь насильственным внешним влияниям, вплоть до достижения полной духовной и политической зрелости. Ни один чужеземный завоеватель не пытался проникнуть в Грецию; а когда сами греки начали распространять свое владычество над островами и побережьями Средиземного моря, они не встречали серьезного сопротивления в варварских обитателях этих стран. Даже финикийцы в первое время везде уступали грекам и почти без борьбы предоставили им все торговые округа, которые они до тех пор эксплуатировали.

В VI столетии эти обстоятельства начали изменяться. Малоазиатские греческие города подпали под лидийское, Кипр — под египетское владычество; на западе финикийцы сплотились вокруг Карфагена в единое государство, которое вскоре начало наступать на греков. Но только расцвет персидского могущества грозил серьезною опасностью свободе греческой метрополии.

Древние восточные монархии — Мидия, Лидия, Вавилония, Египет — были одна за другой покорены Киром и Камбизом. Владения персидских царей простирались от Эгейского моря и Большого Сирта до Яксарта и Инда. Это было государство, равного которому мир не видел ни раньше, ни впоследствии. Персидская монархия на исходе VI века была не только первой, но и вообще единственной великой державой, наряду с которой существовали только незначительные мелкие государства. Казалось, только от воли персидского царя зависело определить границы своего владычества.

В самом деле, государство располагало почти неистощимыми военными силами. Если обширное Иранское плоскогорье и было сравнительно скудно населено, то при своем громадном протяжении (около 3 млн кв. км) оно все-таки имело очень большое абсолютное население. Зато чрезвы-

чайно густо были населены плодородные равнины по Евфрату и Тигру, Нильская долина и древняя культурная страна — Сирия. Царь имел возможность собрать любое количество войска, какое только он мог прокормить. Кроме того, обладание морским побережьем на протяжении от Нила до Геллеспонта доставляло средства, чтобы снаряжать сотни боевых кораблей, во главе которых стоял превосходный флот финикийских торговых городов.

Финансовые силы государства не уступали его военным силам; под скипетром персидского царя были соединены богатейшие страны тогдашнего мира. Наряду с земледелием процветали торговля и промышленность, особенно в западной половине государства; еще греки V столетия смотрели на города вроде Мемфиса, Вавилона, Сузы, Экбатаны с таким же удивлением, как средневековые путешественники на Каир или Багдад. Доходы царя простирались при Дарии до 7600 персидских серебряных талантов (около 19 000 кг золота), к которым присоединялись еще значительные натуральные повинности. Так как на текущие расходы далеко не требовалось таких крупных сумм, то цари могли накапливать большие богатства. По достоверным известиям, Александр получил в добычу в Сузе 40—50 тыс. а в Персеполе 120 тыс. талантов серебра. Нужно помнить при этом, что Афинская государственная казна к началу Пелопоннесской войны заключала в себе только 6000 талантов, между тем как все доходы Аттического государства около этого времени не превышали 600 талантов.

И все эти неисчислимы богатства находились в полном распоряжении одного человека. По сравнению с волей царя не имела никакого значения ни одна другая воля в государстве; знатный сатрап, как и простой поденщик — все в одинаковой степени были рабами царя, все повергались в прах перед своим владыкой — зрелище, наполнявшее глубоким отвращением всякого эллина. Таким образом, политическая сила государства обуславливалась в значительной степени личностью царя.

Но и помимо этого государство скрывало в себе немало элементов слабости. Уже громадное протяжение нейтралит-

зовало до известной степени большие материальные средства, которыми оно располагало. В самом деле, требовалось более 4 месяцев, чтобы привести войско из Вавилона в Сарды или к Нилу, и еще больше времени, чтобы стянуть отряды из отдаленных провинций. Поэтому для каждого большого похода, который предпринимал царь, нужны были многолетние приготовления. Да и качества этих войск оставляли желать многого. Население страны в громадном большинстве было невоинственно, не говоря уже о том, что оно лишь против воли шло на войну за своих чужеземных властителей. Правда, сами персы, и вообще арийские племена Иранского плоскогорья, были хорошими солдатами, особенно отличными наездниками и стрелками из лука. Однако, как ни полезны были эти роды оружия на обширных равнинах Азии, — на изрезанной или гористой местности персы, благодаря недостатку дисциплины и легкому вооружению, уступали греческим гоплитам; и еще больше была, в сравнении со свободными гражданами греческих городов, моральная слабость азиатов, которые дрожали перед кнутом своих офицеров и сражались только за своего царя и господина.

Вообще самым больным местом персидской монархии было то, что она была основана только на грубой силе и ею одной держалась. Бесчисленные народы, входившие в ее состав, не были связаны между собой каким-нибудь общим интересом; а персидское владычество не сумело, да и не пыталось слить эти народы в одно целое. Вавилоняне, мидийцы, египтяне, жители Малой Азии во времена Александра были еще так же чужды друг другу, как некогда во времена Дария; все они, исключая, может быть, одних мидийцев, приветствовали падение персидского господства как освобождение от невыносимого ига.

Уже после смерти Камбиза II во время его возвращения из Египта был момент, когда едва только основанное государство, казалось, опять готово было распасться. В коренной провинции Персиде началась гражданская война, и целый ряд подчиненных народов воспользовался этим случаем, чтобы попытаться свергнуть с себя чуждое владычество. Только после продолжительной борьбы Дарию, принцу из

боковой линии дома Ахеменидов, удалось утвердиться на престоле и снова покорить отпавшие провинции. Он дал теперь государству более строгую административную организацию и особенно урегулировал финансы, точно определив размер дани отдельных областей.

Новый царь обратил свои взоры на запад, которым Кир и Камбиз, занятые более важными делами, слишком пренебрегали. Впрочем, покорение европейской Греции, по крайней мере вначале, не входило, кажется, в его планы. Дарий прошел через Босфор, Фракию и страну гетов до Истра, перешел через эту реку и проник далеко в глубь дикой страны скифских племен (в нынешней южной России). Какие мотивы побуждали его к этому странному походу, который даже в случае удачи несколько не увеличил бы его могущества, не знал даже Геродот; вероятно, это была простая жажда завоеваний, соединенная с незнанием географии. Однако предприятие потерпело полную неудачу; скифы удалились в глубь своих степей и болот, и персидское войско, которое нигде не могло найти неприятеля, принуждено было в конце концов возвратиться через Дунай вследствие недостатка в съестных припасах.

Это поражение должно было глубоко поколебать персидское влияние в Малой Азии. До сих пор персы переходили от победы к победе, всюду им предшествовала слава непобедимости; теперь поражение произвело тем более сильное впечатление, что неудачным походом руководил сам царь. Немногого недоставало, чтобы десант греческого флота, которому было поручено охранение моста через Дунай, сломал этот мост и разбежался по домам, что повело бы к верной гибели персидского войска. Этот план не удался вследствие сопротивления милетского тирана Гистиея, который хорошо понимал, что его собственное положение во главе его города основывалось только на поддержке персидского царя. Таким образом, величайшая опасность была предотвращена. Однако на Геллеспонте вспыхнуло восстание, которое, впрочем, осталось изолированным и без большого труда было подавлено; при этом персам удалось даже подчинить своему господству фракийское побережье до Стри-

мона. Но во всей западной части Малой Азии брожение продолжалось. Даже на Гистиея пало подозрение царя, который под почетным предлогом призвал его в Сузу и там задержал при своем дворе. При таких обстоятельствах малейший повод мог вызвать возмущение.

В Милете после отозвания Гистиея тирания перешла к его двоюродному брату и зятю Аристагору. Он вознамерился подчинить своему влиянию Киклады, поводом к чему должно было послужить возвращение изгнанных аристократов в Наксос. Артафрен, сатрап Сард, одобрил это предприятие, выгодное и для персидского правительства; из греческих приморских городов был собран флот и на корабли посажено персидское войско. Но Наксос оказал неожиданное сопротивление, и после того, как флот четыре месяца простоял без всякого успеха перед крепостью, ему ничего другого не оставалось делать, как вернуться в Азию (в конце лета 499 г.).

Неудача этой экспедиции была искрой, от которой вспыхнуло давно уже готовившееся восстание. Аристагор сам стал во главе движения; он сложил с себя тиранию и призвал жителей Милета к борьбе за свободу против варваров. Греческий флот, только что вернувшийся от Наксоса и расположившийся напротив Милета, при устье Меандра, с восторгом присоединился к нему; находившиеся на кораблях тираны были схвачены и выданы их городам для наказания. После этого восстание быстро распространилось по всему малоазиатскому побережью; везде свергали тиранов и отказывали персам в покорности.

Но Аристагор очень хорошо сознавал, что движение могло иметь успех только в том случае, если бы оно встретило поддержку в единоплеменниках по ту сторону Эгейского моря. И сами европейские греки были сильно заинтересованы в том, чтобы восстание не осталось без поддержки. В самом деле, не нужно было обладать большой дальновидностью, чтобы понять, что персидское государство не могло на будущее время довольствоваться обладанием азиатской частью греческого мира. Еще недавно предприятие против Наксоса показало, какие планы составлялись в Сузе и Сардах.

Чувство самосохранения заставляло греков предупредить нападение и начать неизбежную борьбу, пока еще на их стороне были азиатские собратья.

А между тем из двух главных греческих городов Спарта была занята более неотложными делами у себя дома. Ей снова предстояла война с ее старым соперником, Аргосом, которая действительно началась в течение ближайших лет. Спартанский царь Клеомен перешел к наступательным действиям и, не будучи в состоянии проникнуть с юга в Аргосскую равнину, перевез свое войско на эгинских и сикионских кораблях из Фиреи в Навплию. Близ соседнего Тиринфа произошла битва, в которой аргосское войско было почти уничтожено. Правда, Клеомену не удалось завладеть хорошо укрепленным главным городом, как и вообще спартанцы были малоопытны в ведении осад; но могущество Аргоса было все-таки надолго сломлено. Из периэских городов Микены и Тиринф получили независимость и вступили в союз со Спартой; другой части своих подданных Аргос должен был предоставить гражданские права. Теперь ничто не мешало Спарте двинуть войска за море; но в это время Иония уже была покорена превосходными силами персов.

Больше успел Аристагор в Афинах, где тесные родственные связи и оживленные торговые сношения обеспечивали ионийцам самые горячие симпатии. Да и помимо этого, афиняне имели полное основание принять участие в войне с Персией, так как Гиппий, считавшийся, как правитель Сигея, персидским князем, пользовался большим влиянием при дворе сатрапа в Сардах, и Артафрен уже формально потребовал от Афин, чтобы они снова приняли изгнанного тирана. Несмотря на это, афиняне ограничились полумерами. В помощь ионийцам было послано только двадцать кораблей; этого было слишком мало, чтобы оказать решительное влияние на исход борьбы, но вполне достаточно, чтобы Афины приобрели в персидском царе непримиримого врага и навлекли на себя его месть в случае неудачи восстания. Кроме того, Эретрия, искони находившаяся в дружеских отношениях с Милетом, прислала 5 триер. Вот все, что было сделано метрополией для спасения ее колонии.

При таких условиях ионийцы поступили совершенно правильно, начав наступательные действия, прежде чем неприятель собрал свои силы (весной 498 г.), и избрав предметом нападения главный город Малой Азии — Сарды. Персидский гарнизон был слишком незначителен, чтобы защищать обширный город, и заперся в неприступной крепости. Но в то время, как греки вступали в город, вспыхнул пожар, который со страшной быстротой распространился на дома, крытые без исключения камышом, и превратил весь город в пепел. На осаду крепости греки не решились ввиду приближавшихся персидских подкреплений. Таким образом, не оставалось ничего другого, как вернуться в Эфес. Но во всей Малой Азии пожар Сард произвел глубокое впечатление; города у Геллеспонта, Кария, Ликия и Кипр присоединились теперь к восстанию.

Афиняне, оставив своих союзников в Эфесе, отплыли домой; с тех пор они уже не принимали никакого участия в войне. Зато они воспользовались царившею в Малой Азии смутою, чтобы сделать приобретение для себя. С помощью тирана фракийского Херсонеса, афинянина Мильтиада, близкого родственника того Мильтиада, который некогда, при Писистрате, основал там княжество (см. выше, с.280), „пеласгическое“ население Лемноса и Имброса было изгнано, и эти плодородные острова заселены афинскими колонистами. Таким образом, Афины приобрели господствующее положение у входа в Геллеспонт.

Между тем собрались военные силы персов. Весной 497 г. войско двинулось к Кипру, и хотя на море ионийцы одержали победу над финикийскими кораблями, зато соединенные силы кипрских князей потерпели на суше, при Саламине, полное поражение со стороны персов, и результатом этой победы было покорение всего острова. В то же самое время персы открыли наступательные действия и в Малой Азии. Города при Геллеспonte, Эолия, Клазомены в Ионии были завоеваны. Правда, в Карию полководцы царя, после нескольких побед вначале, потерпели решительное поражение, которое на время остановило дальнейшие успехи персидского оружия; но с потерей Кипра участь восстания была

решена. Сам Аристагор пал духом; притом его положение в Милете должно было пошатнуться с тех пор, как военное счастье обратилось против ионийцев. Он покинул отечество и отплыл в Миркин у нижнего течения Стримона во Фракии, который некогда был подарен царем Гистиею в награду за его услуги. При попытке основать здесь город в том месте, где позднее афиняне построили Амфиполь, он был убит эдонийцами (496 г.).

Между тем Дарий послал Гистиея в Сарды, надеясь при помощи его влияния побудить ионийцев к добровольному подчинению. Вместо этого старый тиран вступил с недовольными персидскими вельможами в заговор против сатрапа Артафрена, и затем, когда его участие в заговоре было обнаружено, спасся бегством на Хиос. Но его надежда стать во главе национального движения не оправдалась; милетцы не хотели больше признавать своего прежнего правителя. Наконец, получив от митиленцев несколько кораблей, он начал с ними партизанскую войну в Геллеспонте.

Уже пятый год продолжалось восстание, а Иония все еще не была покорена. Попытка разъединить греков посредством переговоров не удалась, и с одним сухопутным войском ничего нельзя было сделать против хорошо укрепленных приморских городов. Наконец, летом 494 г. в Эгейском море появился финикийский флот, к которому вынужден был присоединить свою эскадру и покоренный незадолго перед тем Кипр. Со своей стороны, греки собрали все свои морские силы — по преданию, 353 корабля, большею частью пятидесяти- и тридцативесельных. При небольшом острове Ладе, в виду Милета, дано было решительное сражение, величайшее из всех, какие до сих пор происходили на море; победа досталась финикийцам, благодаря их численному превосходству. Милет был осажден и, наконец, взят приступом (осенью 494 г.). Он дорого заплатил за свое отпадение; если он и не был разрушен, то уже никогда не достиг прежнего цветущего состояния.

Теперь без особенного труда была подчинена Кария, а в следующем году возвращены к покорности острова и приморские города до фракийского Босфора. Гестией, провоз-

гласивший себя, после битвы при Ладе, тираном Хиоса, также попал в руки персов и был казнен Артафреном как изменник. Повсюду были снова водворены прежние тираны, или города получили новых правителей. Налоги были наново распределены на основании грубого размежевания земель, и ограничена самостоятельность отдельных городов: у них было отнято главным образом право ведения войны. Иония была теперь связана с Персией теснее чем когда бы то ни было.

Оставалось еще рассчитаться с Афинами и Эретрией за поддержку, которую они оказали восстанию, что и было приведено в исполнение в начале следующего года (492 г.). Войско под предводительством Мардония, зятя царя, перешло через Геллеспонт и в сопровождении сильного флота двинулось вдоль южного побережья Фракии на запад. Но при Афоне большая часть флота была уничтожена бурей, а сухопутное войско понесло в борьбе с воинственными фракийскими племенами такие тяжелые потери, что о немедленном продолжении похода нечего было и думать. Мардоний должен был удовольствоваться тем, что снова упрочил персидское господство во Фракии и покорила Македонию. В важнейших крепостях оставлены были гарнизоны, а остальное войско позднее осенью вернулось в Азию.

Если не удалась попытка добраться до Греции сухим путем, то, может быть, морской путь, через Эгейское море, представлял больше шансов на успех. С тех пор как ионийский флот был уничтожен при Ладе, не существовало больше такой силы, которая могла бы в открытом море противостоять кораблям царя. Правда, на флот можно было посадить лишь ограниченное количество сухопутных войск; но казалось едва вероятным, чтобы под свежим впечатлением страшной кары, только что постигшей Ионию, греки поднялись для совместных действий.

Таким образом, через два года после возвращения Мардония против Греции двинулся сильный персидский флот (490 г.). Начало соответствовало ожиданиям. Киклады подчинились без пролития крови; Эретрия, против которой флот затем направлял свои действия, хотя и оказала мужественное

сопротивление, но через несколько дней была взята штурмом. Отсюда персы переправились через узкий пролив, отделяющий Эвбею от материка, в Аттику. Войско высадилось в Марафонской бухте, где полстолетия назад, также приплыв из Эретрии, высадился Писистрат, чтобы открыть отсюда свое победоносное шествие к Афинам.

Сын Писистрата Гиппий присоединился к экспедиции, успех которой должен был иметь последствием его восстановление на афинском престоле. Еще и теперь в Афинах была сильная партия, преданная старой тиранической династии; прошло лишь несколько лет с тех пор, как (496—495 гг.) Гиппарх из Коллита, близкий родственник Писистратидов, занимал высший пост в государстве, и даже Алкмеониды, влияние которых на управление государством все более падало, втайне поддерживали дело реставрации. Но большинство граждан, по крайней мере из состоятельных классов, вовсе не было склонно купить такой ценою мир с Персией. Во главе их стоял Мильтиад из Лакиады, прежний тиран Херсонеса, который за участие в ионийском восстании поплатился своим тронem и теперь нашел убежище в Афинах. Здесь он сначала как тиран был присужден к смерти, но затем оправдан судом присяжных; скоро после этого народ избрал его в стратеги (490 г.).

Этот выбор имел большое значение, потому что Мильтиад был не только отъявленным врагом персов, но и врагом Писистратидов, которые сначала заставили его отца — Кимона уйти в изгнание, а затем, позволив ему вернуться, избавились от него посредством убийства. О подчинении Персии при таких обстоятельствах не могло быть речи, напротив, тотчас по получении известия о падении Эретрии создали гражданское ополчение и послали в Спарту за помощью. Но там из религиозных соображений медлили с отправкой вспомогательного отряда, поэтому часть аттических стратегов была того мнения, что нужно ограничиться защитой стен. Если афиняне не приняли этого предложения, которое, может быть, погубило бы все дело и во всяком случае подвергло бы страну всем ужасам войны, то это была заслуга Мильтиада. По его настоянию было решено двинуться на-

встречу врагу и, в случае необходимости, дать сражение даже без спартанцев. Войско расположилось на высотах в западной части Марафонской равнины, прикрыв, таким образом, дорогу в Афины.

Здесь было собрано около 9000 гоплитов; к ним присоединилось приблизительно такое же количество легковооруженных и небольшой вспомогательный отряд союзной Платеи. При трудности, с какою сопряжена переправа через море больших отрядов в одном транспорте, представляется очень сомнительным, чтобы персидский флот заключал значительно большее число солдат, и именно самая страшная часть персидского войска, конница, могла находиться здесь лишь в очень ограниченном количестве; а матросы почти совершенно не годились для битвы на суше. Ввиду этих обстоятельств персы медлили с нападением; они, очевидно, надеялись, что в Афинах начнется движение в пользу Писистратидов. С другой стороны, и афиняне всеми силами старались оттянуть битву до прихода спартанских союзников. Именно это соображение заставило, наконец, персидского полководца Датиса принудить афинян к битве в неудобной местности, но его легковооруженное войско не выдержало натиска греческих гоплитов. С большими потерями персы были оттеснены к своим кораблям, где они с отчаянным мужеством еще раз взялись за оружие. Действительно, им удалось спасти флот и сесть на корабли; только 7 триер остались в руках афинян. По преданию, 6400 варваров легли на поле битвы, и хотя это число, вероятно, преувеличено, однако обширные приготовления, сделанные к следующему походу в Грецию, доказывают, что поражение было очень тяжелым. Урон победителей составлял, по преданию, лишь 192 человека, но в числе убитых находились полемарх Калимах из Афидны и один из стратегов — Стесилей.

После этого Датис сделал еще попытку завладеть афинской гаванью Фалером — попытку, которая теперь, после поражения, конечно, не могла увенчаться успехом; кроме того, при его приближении победоносное войско уже стояло наготове для защиты столицы. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как вернуться в Азию. Старый Гип-

пий не перенес этих неудач, разрушивших все его надежды, по преданию, он умер еще раньше, чем приплыл в свой Сигейон.

Итак, Аттика освободилась от нашествия, и все планы восстановления тирании рушились. Но еще гораздо крупнее, чем материальные результаты победы, было ее моральное значение. Она доказала, что персидская пехота не могла соперничать с греческими гоплитами; ореол непобедимости, окружавший до тех пор покорителей Азии, в глазах эллинов исчез в этот день. Хотя бы варвары возобновили свое нашествие с более многочисленным войском, нация могла теперь смотреть в глаза будущему с уверенностью в своих силах.

В Персии ни минуты не сомневались в необходимости исправить марафонскую ошибку. В первый раз ошиблись в силах неприятеля и предприняли поход с недостаточными средствами; теперь нужно было повторить попытку в бóльшем масштабе. Но среди приготовлений к этому походу Дарий I умер, на пятом году со времени битвы при Марафоне (486 г.); а его преемник Ксеркс должен был подавить восстание в Египте, прежде чем мог приняться за исполнение планов своего отца против Греции. Таким образом, Эллада могла отдыхать после Марафона десять лет.

Однако только в Афинах, которым, правда, грозила ближайшая опасность, воспользовались этим временем для того, чтобы укрепиться против угрожавшего нападения. Уже в первом году после Марафонской битвы Мильтиад сделал попытку, во главе всего афинского флота, принудить Киклады к отложению от персов. Ему, действительно, удалось добиться присоединения к Афинам западной цепи островов от Кеоса до Мелоса; остальные же Киклады оставались верными союзниками персов, и осада Пароса, начатая затем Мильтиадом, не увенчалась успехом. По возвращении он был привлечен к суду Ксантиппом из Холарга, одним из вожаков партии Алкмеонидов, женатым на племяннице Клисфена, Агаристе. Присяжные, хотя не присудили марафонского победителя к смерти, как этого требовало обвинение, но наложили на него непосильный денежный штраф. Спустя короткое время Мильтиад умер от раны, полученной при Паросе.

Теперь оставили наступательную политику против Персии; не пытались даже вернуть себе Лемнос и Имброс, которые отпали после ионийского восстания. Вместо этого ограничились более легкой задачей — изгнать из города друзей тиранов или тех, кого считали таковыми. Гиппарх из Коллита (см. выше, с.297) был подвергнут изгнанию посредством остракизма (весной 487 г.); эта мера была теперь впервые применена.

Однако торжество Алкмеонидов было непродолжительным. Уже в следующем году (487—486 гг.) государственное устройство подверглось изменению в демократическом духе. Высшая государственная должность, архонтство, замещалась до сих пор, как мы знаем, путем народных выборов; теперь постановлено было бросать жребий между кандидатами, и этим была уничтожена привилегия, которою до сих пор фактически пользовались знатные фамилии при замещении этой должности. Кажется, Алкмеониды противились этой реформе, которая прямо нарушала их интересы и, без сомнения, была предложена главным образом с целью сломить их влияние в государстве. Но их песня была спета. Весной 486 г. глава этого рода, племянник Клисфена Мегакл, был изгнан остракизмом, а вскоре затем (в 485 или 484 г.) та же участь постигла его шурина Ксантиппа.

Теперь управление государством перешло в руки виновника реформы, Аристида из Алопеки. Молодым человеком он некогда при Клисфене принимал участие в восстании против тиранов; впоследствии он примкнул к Мильтиаду и через год после Марафонской битвы (489—488 гг.) достиг звания первого архонта. Не будучи гениальным ни как государственный деятель, ни как полководец, он, однако, всегда обнаруживал правильное понимание того, что нужно было сделать в данную минуту; главным же образом он был обязан своим политическим значением славе своей непоколебимой справедливости. К нему примкнул Фемистокл из Фреаррии. Он тоже принимал деятельное участие в борьбе с Алкмеонидами, за что последние позже отомстили ему непримиримой враждой. Но он был дальновиднее Аристида. Он понял, что будущность Афин связана с морем и что госу-

дарство опять должно вступить на путь политики Писистрата. В этом направлении он действовал уже и раньше, будучи первым архонтом; он приступил тогда (в 493—492 гг.) к выполнению плана, задуманного до него Гиппием, — вместо открытого и незащищенного Фалерского рейда обратить в военную гавань превосходную Пирейскую бухту. Но для создания большого флота нужны были очень значительные средства; а восстановленная демократия вовсе не обнаруживала желания рисковать своей популярностью, напрягая податные силы народа. Поэтому сбор поземельной подати, которая взималась во времена тиранов, прекратился; мало того, стали даже делить между гражданами богатые доходы с Лаврийских серебряных рудников.

Между тем, кажется, в 488 г. Афины были вовлечены в войну с соседней Эгиной. Этот небольшой остров, как нам известно, был одним из главных средоточий греческой промышленности и торговли; его флот был самым сильным и многочисленным во всем греческом мире, с тех пор как после изгнания Писистратидов пришло в упадок морское могущество Афин и битва при Ладе сломила морские силы Ионии. Афины давно уже смотрели с беспокойством на усиление соседнего острова, и уже не раз оба государства мерились силами, но победа всегда доставалась эгинцам. Теперь, наконец, внутренние смуты на Эгине, казалось, давали афинянам желанный случай одолеть своих старых врагов.

Эгина еще сохраняла аристократическое устройство, но и здесь была многочисленная партия, стремившаяся к ниспровержению существующего порядка и надеявшаяся достигнуть своей цели с помощью афинской демократии. Однако восстание вспыхнуло раньше, чем пришли афиняне, и было без большого труда подавлено правительством. Афинянам удалось высадить на остров десантный отряд и одержать победу над врагом в открытом поле; но на море эгинцы скоро опять взяли верх, так что афиняне были вынуждены увести свое войско обратно. Война затянулась надолго, нанося тяжелый ущерб афинской торговле, так как эгинцы все время держали в блокаде побережье Аттики.

Положение Афин было позорно, и в афинском обществе

все более распространялось убеждение, что дальше так не может продолжаться. Теперь, наконец, Фемистокл мог надеяться осуществить свои великие планы. Необходимые средства были налицо; не было надобности в новых налогах, — вполне достаточно было только уничтожить вредный обычай распределения избытков между гражданами. Поэтому Фемистокл внес предложение, чтобы доходы с Лаврийских серебряных рудников были употреблены на постройку кораблей (483—482 гг.). Именно, сверх тех 50 военных кораблей, которыми государство уже владело, предполагалось по этому проекту построить боевой флот из 100 триер — большей величины кораблей, которые как раз в это время начали вытеснять прежние 50-весельные корабли. Это предложение встретило, конечно, сильную оппозицию, во главе которой стал сам Аристид. Он опасался политических последствий, которые должно было повлечь за собой перенесение центра тяжести могущества Афин с суши на море. Однако положение, созданное войною с Эгиной, было так тяжело, что большинство народа, не колеблясь, охотно принесло жертву, которой требовал Фемистокл. Аристид был изгнан остракизмом (весной 482 г.), и предложения Фемистокла были приняты. Когда через два года персы снова предприняли поход против Эллады, Афины владели флотом, который превосходил не только эгинский, но вообще флоты всех других греческих государств, исключая, пожалуй, только молодой сиракузский флот, созданный в это самое время Гелоном.

В то время, как Афины, таким образом, в тишине упрочивали за собой место первой морской державы Греции, преобладающее в последней государство, Спарта, перенесло тяжелый внутренний кризис. И здесь, как мы видели, царская власть уже рано была ограничена Советом старейшин, герусией; с другой стороны, Народное собрание сохранило за собой право последнего решения во всех важных государственных вопросах, — право, которое оно в других частях Греции потеряло, если не формально, то фактически, еще в гомеровские времена. Причина этого явления заключается, очевидно, в том, что завоевание нижней долины Эвроты и Мессении дало возможность наделить землей большое ко-

личество беднейших граждан и тем предотвратило экономический кризис, который в большей части остальных государств привел мелких свободных в зависимость от знати. В VIII веке была учреждена коллегия эфоров, выборная должность в помощь царям при гражданском судопроизводстве и полицейском надзоре за гражданами и подданными. Этот институт должен был приобретать все большее влияние по мере того, как цари, вследствие расширения пределов государства, все менее были в состоянии лично исполнять упомянутые функции; впрочем, около времени великого мессенского восстания политическое значение эфората было еще, по-видимому, довольно ограничено. Тогда в Спарте начались сильные внутренние смуты, которые, наконец, были прекращены формальным договором между народом и царскою властью; цари должны были дать клятву соблюдать законы, а эфоры, со своей стороны, обещали от имени народа охранять права царей, пока последние будут исполнять свою клятву. Эта обоюдная присяга возобновлялась каждый месяц. Таким образом, эфоры заняли в государстве равное положение наряду с царями.

С этих пор цари постоянно стремились к тому, чтобы разбить эти оковы; и когда Клеомен II победил аргосцев, казалось, наступил для этого благоприятный момент. Покоритель Тиринфа начал с того, что возбудил против своего товарища из другой династии, Дамарата, обвинение в незаконном происхождении и под этим предлогом добился его низложения, причем ему оказало помощь изречение Дельфийского оракула (491 г.). Дамарат искал убежища в Персии, где Дарий дал ему в управление горную крепость Пергам и соседние города в плодородной долине Каика в Мисии; его место в Спарте занял глава младшей линии династии Эврипontiдов, Леотихид II, находившийся, разумеется, в полной зависимости от Клеомена, которому он был обязан достижением престола. Таким образом, Клеомен приобрел такое положение, какого давно не занимал ни один спартанский царь; но именно это и вызвало реакцию в общественном мнении, и Клеомен был вынужден покинуть страну. Он отправился в Аркадию и собрал там войско, чтобы силою до-

биться возвращения. Волей-неволей спартанцы принуждены были возратить ему царское достоинство. Вскоре затем он, по преданию, впал в сумасшествие, и, брошенный в тюрьму по требованию своих родичей, сам лишил себя жизни. По всей вероятности, он был убит эфорами по соглашению с его сводными братьями, Леонидом и Клеомбротом, из которых старший, Леонид, наследовал ему во власти. Леонид I также лишь с большим трудом удержался на престоле, но призвать опять Дамарата, вассала великого царя, не могли решиться в такое время, когда каждую минуту можно было ожидать нового нашествия персов. Царская власть в Спарте уже никогда не оправилась от этих ударов; с этих пор направление политики государства зависит исключительно от эфоров, между тем как цари все более и более нисходят на степень простых исполнительных должностных лиц, подчиненных эфорам.

Между тем приготовления персов пришли к концу. На этот раз они задались целью подчинить себе всю Грецию, и размер их приготовлений соответствовал такому плану. Во главе почти 100-тысячного войска царь Ксеркс весной 480 г. перешел Геллеспонт на двух понтонных мостах, чтобы затем вдоль северного побережья Эгейского моря двинуться на запад. Такой армии греческий мир еще никогда не видел; неудивительно поэтому, что фантазия современников была сильно поражена этим зрелищем и до бесконечности преувеличила количество неприятельского войска. Надпись на памятнике, который впоследствии был воздвигнут пелопоннесцами в воспоминание о сражении при Фермопилах, определяет число неприятельского войска в 3 млн; а Геродот исчисляет сухопутное войско вместе с флотом даже свыше 5 млн человек, включая сюда, впрочем, и очень многочисленный обоз. Флот состоял, по преданию, из 1207 кораблей; эта цифра, вероятно, правильна, только нужно понимать под нею не триеры или боевые суда, а вообще корабли.

Ввиду таких огромных сил всякое сопротивление казалось большинству греков бесполезным; даже Дельфийский оракул считал победу персов несомненной и советовал доб-

ровольно подчиниться неизбежному. Царь ведь не хотел истребить эллинов; он требовал лишь подчинения, и, наконец, пример азиатских единоплеменников показывал, что и под персидским господством можно жить. Что касается Афин, то здесь, конечно, нечего было и думать о подчинении; после того, что произошло, оставался выбор только между победой и гибелью. А для Спарты подчинение Персии означало бы потерю гегемонии над Пелопоннесом, которой она добилась в течение последнего столетия. Таким образом, поведение обоих государств было уже заранее намечено. Политика Спарты, в свою очередь, определяла образ действий членов Пелопоннесского союза; а военные силы, которыми располагал этот союз, были настолько значительны, что ни одно государство греческого материка не решилось примкнуть к Персии, пока царь еще был далеко. Один только Аргос, старый соперник Спарты, сохранял нейтралитет; Беотия и Фессалия присоединили, хотя и неохотно, свои войска к союзной армии. Сильная на море Керкира обещала помощь, но устроила так, что ее флот опоздал к сражению. Властитель восточной Сицилии, Гелон, поставил свое содействие в зависимость от невыполнимых условий: он готов был подчиниться царю, если бы последнему досталась победа в предстоявшей войне, что казалось очень вероятным.

Даже в государствах, решившихся на борьбу за свободу, настроение было весьма невеселое, надеялись больше на помощь богов, чем на собственные силы. Однако необходимые приготовления делались. Еще осенью 481 г. депутаты союзных эллинов собрались на Истме. Прежде всего в Элладе провозглашен был всеобщий мир и этим положен конец войне между Афинами и Эгиной. В Афинах и, вероятно, также в других государствах были возвращены политические изгнанники. Главное начальство досталось, конечно, лакедемонянам. Решено было прежде всего защищать Темпейское ущелье, через которое протекает между Олимпом и Оссой река Пеней, впадающая в Фермейский залив, и проходит военная дорога из Фессалии в Македонию. С этой целью весной 480 г. отправлен был туда отряд из 10 000 гоплитов. Однако, ввиду подозрительного поведения фессалийцев, эта

позиция представлялась слишком рискованной; кроме того, Темпейское ущелье можно было обойти со стороны северного склона Олимпа, а боевых сил эллинов было недостаточно, чтобы защищать все эти переходы. Поэтому при приближении персидской армии греки без кровопролития очистили эту позицию. Фессалия теперь открыто перешла на сторону неприятеля, которому богатая область служила отличным базисом для военных действий.

Второй оборонительной линией представлялись теперь Фермопильские теснины, на границе между Фессалией и Средней Грецией, в том месте, где лесистые предгорья Эты близко подходили к Малийскому заливу. Это тесное ущелье можно было с небольшим войском защитить против большой армии, при том условии, если бы защитник владел морем и был в состоянии запереть также горные тропинки, по которым можно было обойти позицию с левого фланга. Полагаясь на естественную неприступность ущелья, пелопоннесцы послали сначала только один корпус из 4000 гоплитов под предводительством лакедемонского царя Леонида; к нему присоединились отряды окрестных областей Беотии, Локриды и Фокиды, так что в общем при Фермопилах собралось для встречи неприятеля около 7000 тяжеловооруженных воинов. Остальная часть союзной армии должна была подоспеть, как только окончатся Карнейские и Олимпийские празднества, отложить которые не решились из религиозных соображений. В то же время флот расположился у северного берега Эвбеи, вблизи храма Артемиды Просео и в области Гистиеи, чтобы отрезать неприятелю вход в греческие воды. Начальство принадлежало номинально лакедемонскому наварху Эврибиаду, в действительности же — афинскому стратегу Фемистоклу, так как 127 кораблей, выставленных Афинами, составляли почти половину всей греческой эскадры.

Приблизительно в середине августа персидская армия, подкрепленная своими новыми фессалийскими союзниками, подошла к Фермопилам. Нападения на ущелье с фронта были отбиты с большим уроном для варваров; но в то время, как внимание греков было сосредоточено здесь, Ксерксу

удалось через один из горных проходов Эты послать отряд в тыл неприятеля. Греческое войско, подвергшись нападению одновременно и спереди, и сзади, было уничтожено; Леонид и большая часть его воинов пали смертью героев.

Между тем персидский флот также отплыл на юг вдоль берегов Магнесии. Тут его застигла сильная буря с северо-востока, от которой на скалистом, лишенном гаваней берегу негде было укрыться. По преданию, погибло 400 кораблей, треть всей эскадры; весь берег от Мелибеи до мыса Сепии, на протяжении 70 км, покрылся обломками и трупами. Однако и после этой потери персидский флот численностью далеко превосходил греческий. Как только море успокоилось, варвары вошли в Эвбейский залив и заняли позицию при Афетах, на южном берегу Магнесии, напротив Артемисия, где стоял греческий флот. Еще в тот же вечер началось сражение, которое с переменным успехом продолжалось оба следующих дня. Только когда пришло известие, что Леонид пал и Фермопилы взяты, греки покинули свою позицию, которую они до тех пор мужественно отстаивали, несмотря на численный перевес неприятеля.

Города Беотии, Локриды и Фокиды поспешили теперь заключить мир с победителем; те, которые не сделали этого, как Феспия и Платея, были сожжены. Поведение оракула еще до прихода персов заставляет предполагать, что Дельфы также подчинились; во всяком случае Ксеркс должен был пощадить эту святыню во внимание к своим фессалийским союзникам. При таких условиях нечего было думать о защите Аттики. По предложению Фемистокла решено было покинуть страну; мужчины, способные носить оружие, сели на корабли, а женщины, дети и движимое имущество были переправлены на Саламин, Эгину и Пелопоннес. Теперь Ксеркс мог беспрепятственно вступить в Афины. Только в Акрополе остался небольшой гарнизон, который через несколько дней пал под натиском персов; в отместку за разрушение Сард победитель сжег храмы кремля.

Чтобы сделать возможным отступление жителей Аттики и в то же время прикрыть Мегару и Эгину, греческий флот был сосредоточен у Саламина. Новыми подкреплениями бы-

ли с избытком пополнены потери, понесенные при Артемиде, так что теперь под начальством Эврибиада находилось свыше 300 кораблей. Между тем неприятельский флот, не тратя времени на покорение Эвбеи, плыл в прямом направлении через Эврип и три дня спустя прибыл в Фалеронскую бухту, гавань Афин. Грекам предстоял теперь выбор — принять битву при Саламине или отступить к Истму, где было собрано для охраны полуострова пелопоннесское союзное войско. Пелопоннесцы высказались, разумеется, за последнее, тогда как афиняне, эгинцы и мегарцы стояли, конечно, за выжидание при Саламине. В пользу своего мнения они указывали на то обстоятельство, что в узком проливе между островом и берегом Аттики персы не сумеют развернуть свои превосходные силы; с другой стороны, однако, было очевидно, что в случае несчастного исхода морского сражения флот при Саламине обречен на верную гибель, тогда как при Истме в худшем случае могло бы служить оплотом сухопутное войско. Решающее значение имело то обстоятельство, что афинская эскадра — 110 военных кораблей — сама по себе превосходила все пелопоннесские эскадры, вместе взятые; это придавало мнению Фемистокла в военном совете такой вес, что Эврибиад по необходимости должен был подчиниться.

Итак, флот остался при Саламине, и вскоре нападение персов положило конец всяким колебаниям. Ксеркс надеялся одним ударом уничтожить греческий флот и, таким образом, быстро окончить войну, что представлялось тем более желательным, что благоприятное время года приближалось к концу. Главную часть своего флота он поместил вблизи небольшого острова Пситталии, при входе в пролив, отделяющий Саламин от материка; другая эскадра получила приказание обойти Саламин с юга, с целью запереть узкий морской пролив между островом и мегарским берегом. Свои передвижения персы произвели ночью, чтобы неприятель не мог воспользоваться темнотою для бегства к Истму; когда рассвело, греки убедились, что они окружены со всех сторон и что без битвы для них нет спасения. Поэт Эсхил, который сам сражался в этот решающий день древней греческой ис-

тории, оставил нам описание битвы; вот оно:

Уж ясный день объял собой всю землю, —
Вдруг шумный крик от эллинов пронесся,
Как песни звук, и громко в то же время
Им эхо скал откликнулось в ответ...
Труба у них все к битве пробудила!
И дружно вдруг они морские волны
Ударом весел вспенили своих,
И скоро всех их видеть мы могли.
Их правое крыло шло впереди,
Порядок соблюдая, а за ним
Весь флот спешил, и слышен в то же время
Был громкий крик: „Вперед, сыны Эллады,
Спасайте родину, спасайте жен,
Детей своих, богов отцовских храмы,
Гробницы предков: бой теперь—за все!“
Навстречу им неслись и персов крики,
И медлить дольше было невозможно:
Один корабль ударил медным носом
В другой, и начал эллинский корабль
Сраженье, сбивши с судна финикийцев
Все украшенья. ...Всюду бой кипел.
Сперва стояло твердо войско персов;
Когда же скучились суда в проливе,
Дать помощи друг другу не могли
И медными носами поражали
Своих же — все тогда они погибли,
А эллины искусно поражали
Кругом их. ...И тонули корабли,
И под обломками судов разбитых,
Под кровью мертвых — скрылась гладь морская.
Покрылись трупами убитых скалы
И берега, и варварское войско
В нестройном бегстве все отплыть спешило¹

Количественно персидский флот все еще был, по меньшей мере, равен греческому; но он уже потерял уверенность в победе. Ксеркс не решился возобновить сражение. О на-

¹ Эсхил. Персы. 386—423. (Персы: трагедия Эсхила /пер. В.Г.Ап-пельрот. М., 1888. С.136—138).

ступательном движении против Пелопоннеса через неудобные горные проходы Герата без помощи флота нечего было и думать, тем более что пелопоннесцы отлично укрепили Истм. Таким образом, теперь ничего другого не оставалось, как возвращаться назад. Флот через несколько дней после сражения ушел к Геллеспонту для охраны мостов; сухопутное войско вернулось в Фессалию и расположилось там на зимние квартиры. Главное начальство поручено было шурина царя, Мардонию. Сам Ксеркс отправился дальше, к Геллеспонту, куда прибыл в середине ноября после тяжелого перехода через суровую Фракию. Всю зиму он оставался в Сардах, чтобы быть близко к месту военных действий. Греки не решились помешать отступлению неприятеля. Они ограничились тем, что совершили набег на восточные Киклады, которые и теперь еще оставались верными союзниками персов; затем армия и флот были распущены. Население Аттики вернулось в свое разоренное отечество.

В продолжение зимы и следующей весны Мардоний старался путем переговоров разъединить союзных греков и особенно посредством выгодных предложений привлечь на свою сторону Афины; но афиняне были достаточно благоразумны, чтобы не пойти на эту приманку. Итак, в середине лета 479 г. персы опять вступили в Аттику, и так как пелопоннесцы, вследствие своей обычной медлительности, не пришли вовремя, то население принуждено было, как и в предыдущем году, покинуть страну, которая теперь во второй раз была страшно разорена неприятелем. Сам город Афины был сожжен. Между тем пелопоннесское союзное войско начало собираться на Истме, и Мардоний счел неблагоразумным дожидаться атаки в гористой Аттике, где он мог лишь в ограниченных размерах воспользоваться своим лучшим родом оружия, конницей. Кроме того, недостаток в съестных припасах делал невозможным продолжительное пребывание в опустошенной стране. Поэтому персидский главнокомандующий вернулся через Киферон и расположился укрепленным лагерем на Беотийской равнине, между Фивами и Платеей, на берегу Асопа. Он имел под своим начальством еще около 50—60 тыс. человек азиатского войска, к

которым затем присоединились отряды его греческих союзников.

Союзная греческая армия последовала за неприятелем и заняла позицию напротив него, на предгорьях Киферона, где тракт из Афин в Фивы выступает из гор. Она состояла из 20—25 тыс. гоплитов и такого же числа легковооруженных воинов. Таким образом, по количеству она была почти равна неприятелю; невыгода заключалась лишь в том, что у греков почти вовсе не было кавалерии, тогда как неприятель имел в своем распоряжении, кроме азиатских всадников, еще и превосходные беотийские и фессалийские эскадроны. Главное начальство поручено было спартанцу Павсанию, который был регентом за своего малолетнего племянника Плистарха, сына Леонида.

Некоторое время обе враждебные армии стояли друг против друга в бездействии. Греки из страха перед неприятельской конницей не решались спуститься на равнину, а Мардоний боялся атаковать высоты, где он не мог развернуть своей конницы. Наконец, греки решились передвинуться навстречу неприятелю до правого берега Асопа. Но эта позиция оказалась слишком рискованной, и Павсаний вынужден был вернуть свое войско к Платее. При этом передвижении отдельные части армии разъединились, и этот момент персидский полководец счел благоприятным для сражения. Его нападение на лакедемонян, стоявших на правом крыле греческого войска, встретило жестокий отпор; и здесь, как при Марафоне, беспорядочные массы легковооруженных азиатов оказались бессильными против сомкнутых рядов закованных в железо воинов. Сам Мардоний был убит, и его смерть послужила сигналом к бегству варварского войска. В то же время на левом крыле афиняне отбили беотийских гоплитов. Затем греки перешли к атаке персидского лагеря, который после жестокой и очень кровопролитной битвы был взят; победителям досталась несчетная добыча. Однако большей части неприятельского войска, по преданию, 40 тыс. человек, удалось, под начальством Артабаза, отступить в полном порядке; ввиду персидской конницы греки не могли думать о преследовании, и Артабаз имел возможность

отвести свое войско обратно в Азию почти без всяких потерь.

В продолжение десяти дней победители оставались на поле битвы, занятые погребением павших и разделом добычи. Из десятой части были посланы жертвенные дары в Дельфы, Олимпию и на Истм и воздвигнут на поле битвы алтарь Зевсу-Освободителю, у которого через каждые четыре года праздновались игры в память о победе. Платейцам от имени союзных государств была обеспечена неприкосновенность их области. Затем войско двинулось против Фив, которые после двадцатидневной осады принуждены были сдаться. Предводители персидской партии, Тимагенид, Атагин и их сотоварищи, были выданы Павсанию, который приказал казнить их на Истме как предателей отечества; Бетийский союз, во главе которого до тех пор стояли Фивы, был расторгнут. Отряды войска были отпущены каждый на свою родину. Эллада могла, наконец, вздохнуть свободно; опасность со стороны персов миновала. В продолжение двух веков после этих событий ни один внешний враг не ступил на греческую землю.

В то же время началось и освобождение родственных племен по ту сторону моря. Весной собрался у Эгины греческий флот, 110 кораблей, под начальством спартанского царя Леотихида II и афинского стратега Ксантиппа. Отсюда флот пошел сначала к Делосу, где он, в ожидании неприятеля, некоторое время оставался в бездействии. Но о персидском флоте ничего не было слышно, а между тем с Хиоса и Самоса их настойчиво звали в Ионию, где все было готово для восстания. Поэтому греки отплыли к Самосу, приблизительно в то самое время, когда происходила битва при Платее. Персы не думали встретиться с неприятелем на море. Большая часть их кораблей рассеялась по родным гаваням; остальные стояли у северного берега Латмийского залива, напротив Милета, недалеко от мыса Микале. В этом месте персы были застигнуты греками и разбиты наголову, а флот их сожжен. Следствием этой победы было отпадение всей Ионии; поставленные персами тираны были всюду изгнаны, острова Самос, Лесбос и Хиос примкнули к греческому сою-

зу; с городами на материке, охрану которых пелопоннесцы не хотели взять на себя, афиняне заключили особый союз. Затем греческий флот отплыл дальше к Геллеспонту, где Абидос и большинство других греческих городов тотчас перешли на его сторону; понтонные мосты, разрушение которых составляло цель этой экспедиции, оказались уже сломанными. Так как уже наступила осень, то пелопоннесцы вернулись домой; афиняне же перешли к наступательным действиям против лежащего напротив Абидоса Сеста, который был занят персидским гарнизоном. Осада этого хорошо укрепленного пункта затянулась до поздней зимы; наконец, голод принудил город сдаться. Теперь Геллеспонт был всецело в руках греков и заперт для персов.

Весной 478 г. пелопоннесский флот снова выступил в море, на этот раз, впрочем, в количестве только 20 триер, под начальством победителя при Платее, Павсания. К нему примкнуло 30 аттических кораблей и флоты освобожденных в предыдущем году ионийцев и лесбосцев. Заставив острова по карийскому берегу отложиться от персов, флот беспрепятственно подошел к Кипру, отнял у персов большую часть острова и затем вернулся в геллеспонтские воды, где после продолжительной осады взял Византию, последнюю крепость, которая еще оставалась здесь в руках персов.

До сих пор афиняне и на море добровольно подчинялись спартанской гегемонии, хотя они одни выставили больше кораблей, чем все пелопоннесцы, вместе взятые; это подчинение было единственным средством, которое делало возможной совместную деятельность пелопоннесского и аттического флотов. Но с тех пор как к союзу примкнули ионийцы, в пелопоннесцах больше не нуждались, тем более что они уклонялись от всякой сколько-нибудь значительной жертвы для морской войны; те 20 кораблей, которые пришли с Павсанием, легко можно было заменить другими. И разве не было безрассудством оставлять флот под команду офицеров, которые в продолжение всей своей жизни служили только на суше? Кроме того, суровые военные нравы спартанцев были очень несимпатичны азиатским грекам; а Павсаний, при своем крутом и высокомерном обращении, был

менее всего способен расположить союзников к Спарте. Таким образом, после взятия Византии дело дошло до открытого мятежа на флоте. Ионийцы отказались подчиняться распоряжениям спартанского адмирала и предложили начальство в морской войне афинянам, которые, разумеется, не заставили долго просить себя (477 г.). По получении в Спарте известия об этих событиях Павсаний был отозван; но и его преемник, наварх Доркис, встретил у союзников не лучший прием. Спартанцам ничего другого не оставалось, как примириться с совершившимся фактом; они отозвали из флота пелопоннесские корабли и, в сущности, были очень довольны тем, что избавились от ведения дорогостоящей морской войны. Однако в Византии остался пелопоннесский гарнизон под начальством эретрийца Гонгила, которого Павсаний назначил комендантом города.

Теперь афиняне приступили к организации своего нового союза. Было очевидно, что война с Персией затянется еще надолго; нужно было, следовательно, заранее принять меры, чтобы обеспечить себе необходимые финансовые средства. Кроме Афин, только очень немногие из участвовавших в союзе государств располагали годным флотом; поэтому мелким государствам разрешено было откупаться от обязанности выставять корабли ежегодным денежным взносом — *форосом*, что значительно сокращало расходы городов и освобождало их от тяжелой военной повинности. Определение величины этих взносов было поручено Аристиду, который, благодаря своей незапятнанной честности, лучше всякого другого подходил для этого дела; общая сумма была определена в 460 аттических талантов. Казна должна была помещаться на острове Делос, при храме Аполлона — общей святыне ионийского племени, и находиться в заведовании 10 аттических чиновников, „казначеев эллинов“ (элленотамии); там же собирался и союзный совет для обсуждения общих дел. Предводительство на войне принадлежало афинянам.

Тяжелы были налоги, которыми союз обложил своих членов, и еще сильнее чувствовалось ограничение автономии отдельных государств, обусловленное союзной организацией. Но горький опыт иноземного владычества не прошел

даром; даже этому народу, насквозь пропитанному партикуляризмом, стало, наконец, ясно, что только путем единения можно было сохранить только что приобретенную свободу. Поэтому к союзу примкнули все города, освобожденные от персидского ига и, кроме того, Эвбея и Западные Киклады, которые хотя и оставались независимыми, но очень близко видели опасность со стороны персов. Объединение облегчалось тем, что большинство этих государств, как и сами афиняне, были ионийского происхождения и, прямо или косвенно, считали себя афинскими колониями.

Самой настоятельной задачей для нового союза было — очистить южное побережье Фракии от находившихся еще там персидских гарнизонов. С этой целью союзный флот под начальством молодого Кимона, сына Мильтиада, двинулся к Эйону, при устье Стримона, и после упорного сопротивления овладел крепостью (476 г.). Этот первый военный успех союза исполнил афинян законного сознания своих сил. Теперь Афины посредством основания здесь аттической колонии обеспечили за собой этот важный пункт, на который они предъявляли притязания еще со времен Писистратидов. Из остальных фракийских крепостей также были изгнаны персидские гарнизоны; только Дориск, недалеко от устья Гебра, держался еще несколько лет.

Вскоре после падения Эйона Кимон овладел небольшим островом Скирос, который до тех пор служил притоном для морских разбойников; теперь он был разделен между аттическими клерухами (475 г.). Карист, единственный город на о. Эвбея, сохранивший до сих пор свою независимость, также был принужден присоединиться к союзу. Восстание наксосцев было подавлено, и остров поплатился потерей своей автономии. Это был первый случай восстания союзного государства против Афин — опасный симптом того, что единодушие между союзниками начало колебаться.

Приблизительно в это же время афиняне завоевали Византию. При своем отозвании Павсаний, как мы знаем, оставил здесь гарнизон; потом он без приказа своего правительства вернулся в Византию, чтобы на свой страх принять участие в войне с Персией, или скорее, по крайней мере так

говорили тогда, чтобы завязать тайные сношения с персидским царем. Основательно ли было это подозрение или нет, но оно дало афинянам желанный предлог для вмешательства. Они осадили Византию и заставили Павсания очистить этот важный пункт. Спартанское правительство не протестовало, так как усиление платейского победителя на Геллеспонте было для него, по меньшей мере, так же нежелательно, как для афинян.

До сих пор персидский царь безучастно следил за событиями на Эгейском море и даже не сделал попытки остановить оружием успехи афинян. Наконец в Сузе встрепнулись. Был снаряжен флот из 200 триер, и сильная армия отправлена в поход против Греции. Но Кимон предупредил нападение. Неприятельский флот был уничтожен при устье Эвримедонта в Памфилии; затем афинский полководец высадил свои войска на берег и еще в тот же день разбил персидскую сухопутную армию (около 470 г.). Благодаря этой победе бóльшая часть Карики присоединилась к Делосскому морскому союзу; Ликия и греческая колония Фаселис также принуждены были согласиться на уплату дани. Большинство городов на Кипре были уже в 478 г. освобождены Павсанием; если они еще до сих пор не присоединились к Афинам, то это должно было случиться теперь, после битвы при Эвримедонте. Теперь союз обнимал собою все острова Эгейского моря, за исключением Мелоса, Феры и Эгины, — все греческие города на южном побережье Фракии, от Олимпа до Босфора, и все побережье Азии от Босфора до Памфилии. Число союзных государств равнялось приблизительно двумстам. Афины заняли место в ряду первоклассных держав, и нет ничего удивительного, что это чрезвычайное развитие их могущества внушало серьезные опасения государственным людям Спарты. Если добрые отношения между обеими державами пока еще и не были нарушены, то легко было предвидеть, что уже в ближайшем будущем разрыв неизбежен.

В то время, как в греческой метрополии было победоносно отражено нашествие персов, освобождены братья по ту сторону моря и образовался политический союз из освобожденных городов, — сицилийские колонии развивались

совершенно аналогичным образом. Только здесь объединительное движение исходило от тирании, которая около начала V века была на греческом западе господствующей формой государственного правления. Так, Анаксилай из Регия (494—476 гг.) завладел расположенным напротив городом Занклой, который он заселил новыми поселенцами и назвал Мессеной, в память того, что его собственный род был мессенского происхождения. Еще большего могущества достиг Гиппократ, который в начале V столетия наследовал своему брату Клеандру в тирании над Гелой. Он покорил южные племена сикелов и халкидские колонии Наксос, Каллиполь и Леонтины. В большой битве при реке Гелоре он победил сиракузцев и принудил их отказаться от Камарины, которой он дал теперь новую организацию как колонии Гелы. Последствием этого поражения было то, что олигархия землевладельцев (гаморов) в Сиракузах была низвергнута восстанием демоса и крепостных сицилийских крестьян, так называемых киллириев; гаморы искали убежища в сиракузской колонии Касменах.

Гиппократ между тем пал во время похода против города сикелов Гиблы; тирания перешла к начальнику его конницы Гелону, сыну Дейномена, из знатного гелийского дома, одаренному выдающимися военными и политическими способностями. Новый правитель возобновил предприятие своего предшественника против Сиракуз, и при анархии, господствовавшей теперь в этом городе, легко достиг своей цели. Демос открыл ему ворота, и Гелон основал в Сиракузах свою резиденцию. Гаморы были теперь возвращены, но прежний строй уже не был восстановлен; киллирии сохранили свою свободу. Такое же положение дел, как в Сиракузах, господствовало и в соседней Мегаре; и здесь крепостные свергли олигархию гаморов, конфисковали их имения и сами взяли в свои руки управление государством. Поэтому Гелон мог без труда подчинить себе и этот город; Мегара была разрушена, гаморам даровано сиракузское право гражданства, а прежние крепостные, по преданию, проданы в рабство. Той же участи подверглась и халкидская колония Эвбея. Граждане Камарины и большинство граждан Гелы

также были переселены в Сиракузы, которые, таким образом, стали самым большим городом Запада, да и вообще всего греческого мира.

Подобным же образом тиран Акраганта Ферон (приблизительно с 488 г.) распространил свое владычество на соседние города. Даже Терилл, тиран Гимеры, был изгнан, и эта община соединена с Акрагантом, так что владения Ферона простирались теперь поперек середины острова от Ливийского до Тирренского моря. Со своим могущественным соседом на востоке он вступил в самые тесные отношения; он выдал свою дочь Дамарету замуж за Гелона, и сам женился на племяннице Гелона, дочери его младшего брата Полизела.

Карфаген не мог оставаться равнодушным зрителем объединительного движения сицилийских греков, так как ему еще за несколько лет перед тем пришлось отразить новое нападение греков на финикийские колонии в западной части острова. Сводный брат царя Клеомена, Дорией, не желая быть вторым в Спарте, задумал основать себе на западе особое государство. Он отправился сначала на северное побережье Ливии и основал здесь колонию в плодородной местности при устье Кинипса, неподалеку от нынешнего Триполи. Но уже спустя три года он был вынужден вследствие нападений карфагенян вернуться в Пелопоннес. Здесь он снарядил новую экспедицию (около 510 г.), целью которой было покорение западной оконечности Сицилии, области около горы Эрикса, завоеванной некогда, по преданию, его предком Гераклом. Но и это предприятие постигла неудача. Финикийцы и элимийцы опять действовали сообща, как некогда против Пентаола. Сам Дорией пал; остатки его войска под предводительством спартиата Эврилеона завладели селинунтским поселением Миноей, которая теперь получила название Гераклеи. Эврилеону удалось даже подчинить себе и сам Селинунт; но скоро он был убит во время одного восстания, Селинунт вернул себе свободу, а Гераклея, вероятно, Фероном была подчинена господству Акраганта.

В Карфагене считали необходимым предупредить опасность нового нападения со стороны греков. Когда Ферон из-

гнал Терилла, тирана Гимеры, и последний обратился в Карфаген с просьбой о помощи, решено было начать войну. Близ Панорма высадили сильное войско; здесь были карфагенские граждане, рекруты из ливийских подданных, лигурийские и иберийские наемники. Анаксилай из Регия, зять Терилла, заключил союз с варварами; к коалиции примкнул также Селинунт, который видел для себя опасность в успехах Ферона. Карфагенский полководец Гамилькар перешел к наступательным действиям и начал осаду Гимеры.

На противной стороне Гелон с большим войском явился на помощь своему тестю. Под стенами Гимеры произошло сражение, и карфагеняне были разбиты наголову (около 480 г.). Свобода западных греков была спасена; эту победу справедливо ставили наряду с битвой при Саламине. Продолжать войну было не в интересах Гелона, так как все, что удалось бы завоевать в карфагенской Сицилии, досталось бы одному Ферону; притом, ввиду нашествия персов на Грецию, необходимо было возможно скорее покончить конфликт с Карфагеном. Поэтому Гелон даровал побежденным мир на условиях сохранения каждым своих владений, получив, по преданию, 2000 талантов контрибуции. Анаксилай и селинунтцы также поспешили примириться с победителем, причем принуждены были заключить с ним союз, обязывавший их выставлять войско в случае войны. Таким образом, вся греческая Сицилия соединялась под властью Гелона.

Гелон только на несколько лет пережил свою великую победу. Когда он в 478 г. умер, оставив малолетнего сына, — власть перешла к его брату Гиерону, который до тех пор управлял Гелой. При Гиероне сиракузская тирания достигла своего высшего расцвета. Богатая добыча, взятая при Гимере, доставила средства для великолепных построек и блестящих празднеств. Лучшие греческие поэты: Симонид, Пиндар, Бакхилид, Эсхил, Ксенофан, Эпихарм — были привлечены ко двору и соперничали между собой в прославлении правящего дома. Внешняя политика Гиерона также представляла непрерывный ряд успехов. Большая часть Нижней Италии подпала под сиракузское влияние. Здесь ахейские города в продолжение второй половины VI века

страдали от тяжелых внутренних раздоров. Цветущий Сирус не устоял против коалиции между Кротонем, Сибарисом и Метапонтием (вскоре после 550 г.); город был разрушен, и место его оставалось пустынным в течение целого столетия. Затем кротонцы двинулись против эпизефирских локрийцев, но, несмотря на значительный численный перевес, потерпели страшное поражение при реке Сагре, недалеко от Кавлонии. В это время стали портиться также добрые отношения между Кротонем и Сибарисом; между тем как в Кротоне руководство государственными делами перешло к секте пифагорейцев (выше, с.220), в Сибарисе захватил власть тиран Телис, и эта противоположность политических форм привела к войне между соседними городами. Победа досталась Кротону; Сибарис пал и был разрушен до основания (около 510 г.). В настоящее время его развалины похоронены глубоко под наносами Кратиса, и мы даже не в состоянии указать место, на котором некогда возвышался богатейший город греческого запада. Те граждане, которые спаслись от катастрофы, искали убежища в своих колониях Скидре и Лаосе на берегу Тирренского моря; когда неприятель и здесь напал на них (около 476 г.), Гиерон прислал им подкрепление. Точно так же он защитил италийских локрийцев против Анаксилая Регийского. Но самым знаменитым его подвигом было спасение греков Кампании от опасности порабощения их этрусками. Еще в конце VI века Кумы были в состоянии собственными силами обороняться от нападений италийских варваров; мало того, они даже открыли наступательные действия против этрусков и помешали им подчинить своей власти Лациум. Затем победоносный военачальник этого похода, Аристодем, низверг старое аристократическое устройство города и провозгласил себя тираном; пока он правил, Кумы сохраняли свое могущество и славу. Когда, наконец, противникам Аристодема удалось его свергнуть, город не мог больше противостоять этрускам. Тогда за притесненных собратьев вступился Гиерон; близ Кум его флот нанес этрусскому поражение, от которого последний уже никогда не оправился (474 г.). Греческие колонии Кампании были еще

раз спасены. Для упрочения успеха на Исхии была заложена сиракузская колония.

Таким образом, менее чем в одно десятилетие совершенно изменилось политическое положение при Средиземном море. Мечта персов о всемирном господстве рушилась, Карфаген был возвращен в свои пределы. Ни один вчерашний враг не угрожал более независимости Греции, и никто не решался оспаривать у греков господство на море. Наряду с пелопоннесским союзом Спарты, из беспорядочной массы мелких греческих государств возникли две новые великие державы: на востоке — морской союз Афин, на западе — сиракузская военная монархия. Судьба мира зависела теперь от того, какие отношения установятся между этими державами.

ГЛАВА XII

Экономический расцвет после Персидских войн

Кто-то сказал, что все культурное развитие приняло бы иное направление, если бы персы одержали победу при Саламине, так что благами современной цивилизации мы в последнем итоге обязаны Фемистоклу и его закону о флоте. Это суждение слишком поверхностно. Судьбы народов не зависят от таких случайностей; иначе Эллада своим спасением от персидского ига была бы обязана заслугам Фемистокла ничуть не более, чем последний — той буре, которая разбила такую большую часть флота Ксеркса на берегу Магнесии. Напротив, греки вышли победителями из борьбы с Персией именно потому, что они стояли выше своих врагов по нравственному и интеллектуальному развитию. Но даже если бы Ксерксу удалось покорить греческий полуостров, эллинская культура ни в каком случае не погибла бы от этого удара, так как главным средоточием ее была тогда еще Иония, которая ведь уже более полувека находилась под персидским владычеством. Кроме того, не может быть никакого сомнения, что Греция очень скоро вернула бы себе независимость.

Но нельзя отрицать, что победы над варварами значительно ускорили развитие греческой культуры. Не то чтобы сама война привела к этому расцвету: война не создает, — она только разрушает культурные блага, и добыча, отнятая у неприятеля, не могла идти в сравнение с потерями, которые понесло благосостояние Эллады вследствие персидского нашествия. Но война освободила одну половину греческого мира от гнета иноземного господства, а другой половине обеспечила внешнюю независимость; она внушила грекам гордое сознание, что они первый народ в мире. Дни Саламина и Гимеры нанесли также решительный удар финикийской торговле; с этих пор Греция в течение двух столетий играла такую же роль, какую в настоящее время играет Англия. Не последнее место между причинами материального подъема занимает также освобождение всех духовных сил народа,

вызванное демократическим движением, которое после побед над персами охватило почти все греческие государства.

Конечно, не все области Греции принимали равное участие в этом подъеме. Если до сих пор первое место по образованности и богатству, по промышленному и торговому значению занимали азиатские колонии, то теперь, вместе с руководящей ролью в политическом отношении, к греческой метрополии перешло и экономическое господство. Уже первое персидское завоевание нанесло Ионии глубокие раны; некогда цветущая Фокея сохраняла с тех пор еще только тень своего прежнего значения. Еще более пагубные последствия имело восстание при Дарии; Милет, который до того времени был первым торговым и промышленным городом греческого мира, никогда уже не оправился после разгрома в 494 г., да и остальные города тяжело пострадали под рукою победителя. Сражение при Микале и следовавшие за ним битвы, хотя и имели последствием освобождение от иноземного господства, но в то же время политически разъединили побережье от внутренней страны. Пока продолжалась Персидская война, до так называемого „Кимонова мира“, сообщение между ионийскими гаванями и внутренней частью Малой Азии было, вероятно, чрезвычайно затруднено; да и позже, при натянутых отношениях, какие существовали между Афинами и сардскими сатрапами, прежняя связь не могла быть восстановлена. Это парализовало жизненный нерв ионийских городов; и, очевидно, именно эти материальные интересы привели к тому, что азиатские греки, в конце концов, без большого сопротивления вернулись под персидское владычество.

Между тем как персидский восток отчасти закрылся для греческой торговли, западные колонии достигли цветущего состояния благодаря неисчерпаемым богатствам их девственной почвы. Поэтому торговые сношения с ними приобретали все возрастающее значение, тем более что в то же время и италийские народы развивались в культурном отношении и представляли вследствие этого важный рынок для сбыта греческих промышленных и сельскохозяйственных продуктов. А для сношений с западом гавани греческой метрополии

имели, благодаря своему положению, громадное преимущество перед Ионией. Особенно Коринф являлся естественным посредником в этой торговле, не только как единственный порт восточной Греции, из которого можно было попасть в Сицилию, не объезжая опасного мыса Малей, но и потому, что первый город Сицилии был коринфской колонией и что коринфяне находились в близком племенном родстве с большинством западных греков. Но даже портовые города Саронического залива были все еще на два или три дня пути ближе к Сицилии, чем Милет или Митилена, между тем как для езды в Египет или к Понту они занимали не менее удобное положение, чем ионийские гавани.

Благодаря этим преимуществам Коринф и Эгина ко времени Персидских войн сделались первыми торговыми городами греческого мира. Но скоро у них самих явился опасный конкурент в заложенной Фемистоклом новой морской гавани Афин, Пирее. Верфи и доки для первого флота Греции, построенные здесь, постепенно привлекли массу народа; скоро и торговля перешла из старого незащищенного рейда Фалера в превосходную гавань Пирея, а могущественное положение Афин во главе морского союза довершило остальное. Конкуренция Эгины была в значительной степени сломлена покорением острова около 457 г. и окончательно уничтожена изгнанием эгинских граждан в 431 г. Таким образом, Пирей уже к началу Пелопоннесской войны был тем, чем он с тех пор оставался до македонского периода, — первым торговым пунктом греческого мира, где выгружали свои товары корабли с Понта, из Финикии, Египта, Кирены, Сицилии и Италии и где можно было найти все, что производил Восток и Запад. Еще в начале IV века, когда Афинское государство уже распалось и Афины страдали от тысячи ран, нанесенных им продолжительной войной и революцией, сумма годового ввоза и вывоза превышала 2000 талантов¹;

¹ Пошлина в 2%, взимавшаяся с ввозимых и вывозимых товаров в Пирее, вскоре после 400 г. давала чистого дохода 30—36 тал. что соответствует стоимости оплаченных товаров в 1500—1800 тал. Если мы прибавим к этому расходы по взиманию пошлин, контрабанду, предметы,

до войны она была, без сомнения, значительно выше. Что значила такая сумма по условиям того времени, мы можем видеть из того, что торговый оборот всех остальных портов Афинского государства около 414 г. равнялся приблизительно 30—40 тыс. талантов¹ План нового города был составлен первым архитектором того времени, Гипподамом Милетским; трудно представить себе больший контраст, чем широкие, пересекавшиеся под прямыми углами улицы Пирея в сравнении с узкими и запутанными улицами старых Афин.

Вместе с торговлей из Ионии перешла в метрополию и промышленность. Правда, здесь и прежде не было недостатка в промышленной деятельности, и продукты ее отчасти уже в VII, еще больше в VI столетии находили себе сбыт за границей; но настоящая вывозная промышленность развилась на западной стороне Эгейского моря только со времени Персидских войн. Вследствие этого теперь начали ввозить в города при Сароническом заливе большие партии невольников. Около середины V века в Эгине насчитывалось, по преданию, 70 тыс., в Коринфе 60 тыс. рабов, а в Аттике при начале Пелопоннесской войны было до 100 тыс. невольников, так что во всем промышленном округе европейской Греции работало тогда свыше 250 тыс. рабов, и несвободное население было по числу почти равно свободному, а в отдельных городах, как, например, в Коринфе и Эгине, значительно превосходило его. Напротив, в остальных частях греческого полуострова, население которых продолжало заниматься земледелием, скотоводством и мелкой промышленностью, в это время еще почти совсем не было рабов, разве только для личного услужения богатых людей; здесь по-прежнему преобладал свободный или, как в Лаконии и Фессалии, полусвободный труд.

ввозимые беспошлинно и т.п., то получим, по меньшей мере, вышеприведенную сумму.

¹ Афиняне постановили тогда заменить подать 5 % пошлиной с ввоза и вывоза и ждали от этой реформы увеличения своих доходов. Подати в это время составляли приблизительно 1000 тал., причем нужно принять во внимание, что Хиос, Лесбос, Самос и большинство клерухий вообще не платили никаких податей.

Также и свободное население из окрестных мест, отчасти даже из областей, лежащих по ту сторону моря, стекалось в центры промышленности и торговли, где новых пришельцев принимали с распростертыми объятиями. Особенно Афины, верные традициям клисфенова времени, были в первые десятилетия после Персидских войн чрезвычайно либеральны в отношении предоставления прав гражданства, пока Перикл в 451—450 гг. не уступил настояниям толпы, которая хотела одна пользоваться соединенными с аттическим правом гражданства материальными выгодами, и не установил более строгих условий для приема чужестранцев в подданство. Но даже и не принятый в число граждан мог, тем не менее, совершенно так же свободно заниматься своим делом, как и сами граждане, и наравне с ними пользовался защитой законов; выражение Гомера о „бесправном чужестранце“ потеряло в это время свое значение. Только права приобретать недвижимую собственность неграждане были лишены, если и это право не предоставлялось им в виде специальной привилегии; но так как они в громадном большинстве принадлежали к сословию ремесленников, то практически это ограничение имело ничтожное значение. Таким образом, в больших городах рядом с гражданами появился многочисленный класс оседлых иностранцев, так называемых метеков, число которых, например в Афинах, при начале Пелопоннесской войны доходило, по меньшей мере, до 30 тыс. душ, при количестве граждан, приблизительно, в 100 тыс. человек. В значительной степени это было, конечно, следствием положения Афин во главе морского союза; в Коринфе и Хиосе относительное число метеков было, без сомнения, гораздо меньше, а в консервативной Спарте правительство даже старалось путем периодических изгнаний ограничить по возможности прилив иностранцев. Однако, весьма характерно, что и здесь была надобность в подобных мероприятиях.

Таким образом, теперь образовались городские центры, оставившие далеко позади себя все, что видел в этой области VI век. Во время падения тирании Афины едва ли насчитывали свыше 20 тыс. жителей (выше, с.198); восемьдесят

лет спустя, при начале Пелопоннесской войны, население города и его гаваней возросло почти до 100 тыс. С Афинами соперничали Сиракузы, главный город Сицилии. Небольшой остров Ортигия, на котором некогда поселились коринфяне, уже под конец VI века оказался слишком тесным для населения, и оно основало на противоположном берегу сицилийского материка предместье, которое посредством плотины, возбуждавшей в свое время всеобщее удивление, было тесно соединено с островом. Впоследствии, при Гелоне, это предместье, названное Ахрадиной, сделалось центральной частью Сиракуз, к которой затем примкнули с севера и с запада новые предместья Тиха и Теменит. В это время Сиракузы, бесспорно, были величайшим городом всего греческого мира. Правда, этот рост был достигнут отчасти искусственными средствами, как, например, переселением целых общин и водворением тысяч выслуживших свой срок наемников; но и после падения Дейноменидов и распадаения их царства Сиракузы все-таки оставались метрополией запада и в эпоху Пелопоннесской войны едва ли уступали Афинам по количеству населения. Кроме Сиракуз, в Сицилии было еще несколько крупных городов, как Гела и особенно Акрагант. В Италии богатый и цветущий Сибарис был под конец VI века разрушен Кротонем (выше, с.320); с этих пор последний занимал там первое место, хотя никогда не достиг того значения, которое имел Сибарис. На греческом полуострове первые места после Афин принадлежали Коринфу и Эгине; около 450 г. они имели приблизительно по 60 тыс. жителей. Затем следовали Спарта, Аргос, Фивы, Сикион, Мегара, Керкира — города с 20—30-тысячным населением. Знаменитые в старину торговые пункты на Эврипе, Эретрия и Халкида, пришли теперь в упадок, отчасти вследствие политических условий, отчасти благодаря расцвету Афин. Наоборот, в западной части Пелопоннеса, где до того времени почти вовсе не было городских центров, вскоре после Персидских войн был основан город Элида.

О сравнительном значении городов Аттического государства мы можем судить по величине податей, которые они уплачивали Афинам. При нормировке этих налогов решаю-

щее значение имела, конечно, финансовая сила города, хотя во многих случаях принимались в расчет и другие условия¹. Во всяком случае податные списки представляют чрезвычайно важный источник для ознакомления с экономическим положением Греции в V веке; поэтому мы считаем нужным привести здесь следующую таблицу.

Взносы	Общины
30 тал.	Эгина, Фасос
16 ¹ / ₃	Парос
15 “	Абдеры, Византия
12	Лампсак
10	Энос, Халкида (?), Перинф
9	Калхедон, Кима, Кизик
7	Эритры
6 ² / ₃	Наксос
6 “	Андрос, Эфес, Ялис, Камейр, Линд, Потидея, Самофракия, Скиона, Теос, Торона
5	Карист, Кос, Менда, Милет, Селимбрия, Сермилия
4	Абидос, Кеос
3	Энея, Аканф, Херсонес в Карию, Гефестея, Книд, Кифн, Метона, Пепарефы, Фаселис, Проконнес, Сифн, Тенедос, Тенос
2 ¹ / ₂	Термера (?)
2 “	Арисба, Олинф, Фокея, Синг, Спартол
1 ² / ₃	Галикарнас
1 ¹ / ₂	Астипалея, Галепс, Калидна, Керам, Клазомены, Колофон, Маронея, Мирина на Лемносе

Самос, Хиос и Лесбос были свободны от податей, иначе они были бы помещены в начале списка или тотчас после Эгины и Фасоса. Что касается Эретрии, то цифра ее вноса

¹ Первая разверстка податей была произведена Аристидом, который ей именно и обязан своей славой справедливого. Притом, члены союза вступили в него добровольно; очевидно поэтому, что вначале размер взносов определялся исключительно финансовым состоянием каждого союзника. Впоследствии первоначальная оценка была в отдельных случаях несколько изменена, но до 425—424 гг. все-таки удержалось в общем старое аристидовское распределение податей.

за 425—424 гг. случайно не сохранилась. Все остальные города платили по 1 таланту или менее.

При первом взгляде на эту таблицу бросается в глаза значение городов, лежавших на водном пути Геллеспонта и Пропонтиды, а также колоний южного берега Фракии. Один из Кикладских островов, Парос, был в V веке, по всей вероятности, таким же важным торговым центром, как Делос в эллинистический период и Сира в наше время. Напротив, ионийские города заметным образом отходят на задний план; особенно характерны невысокие податные суммы Милета и Фокеи, двух наиболее выдающихся торговых городов Ионии в VI веке.

Быстрый рост городов, по крайней мере в европейской Греции, заставляет предполагать, что и общая сумма народонаселения значительно увеличилась в этом периоде. Правда, распространение греческой расы по берегам Средиземного моря приостановилось с конца VI века, встретив преграду на востоке в Персидском царстве, на западе в могуществе карфагенян. Но недостатка в поселенцах никогда не было. Где только в пределах греческого мира представлялась возможность приобрести собственный земельный участок, они устремлялись туда тысячами; так было при основании Фурий и Гераклеи у Тарентского залива, Этны и Калакты в Сицилии, Амфиполя во Фракии, Гераклеи Трахинской в самой Греции. Замечательно, что еще в IV столетии политическая наука, касаясь вопроса о народонаселении, останавливается только на опасности перенаселения; и когда, наконец, рушилось персидское господство, западная Азия покрылась густой сетью греческих колоний.

Особенно густо был населен, разумеется, промышленный округ у Истма и Саронического залива. Здесь, на протяжении 2500 кв. км, которые занимала Аттика, в начале Пелопоннесской войны жило около 250 тыс. человек¹, т.е. почти 100 на одном квадратном километре. Так же густо была

¹ По указаниям Фукидида относительно боевых сил Аттики в 431 г., количество граждан должно было составлять тогда около 30 тыс. следовательно, все гражданское население — около 100 тыс. человек; сюда нужно прибавить 30 тыс. метеков и, круглым числом, 100 тыс. рабов.

населена, вероятно, и соседняя Мегарида (470 кв. км), — и в Арголиде (4200 кв. км) с ее многочисленными торговыми и промышленными городами, как Коринф, Сикион, Эгина и сам Аргос, относительное количество населения едва ли было значительно меньше. Таковую же, а отчасти, может быть, еще большую густоту населения представляли некоторые большие острова, как Керкира, Хиос и Самос. Зато в областях преимущественно земледельческих относительное количество жителей было, разумеется, гораздо меньше. Так, Беотия, занимавшая приблизительно такую же площадь, как Атика, вряд ли имела более 150 тыс. жителей (около 60 на 1 кв. км), а население всего Пелопоннеса (22 тыс. 300 кв. км) около 430 г. можно принять, круглым числом, в 1 млн. Фессалия со смежными областями, при своем большом протяжении (около 16 тыс. кв. км), должна была иметь очень большое абсолютное народонаселение, хотя благодаря отсутствию значительных городских центров и печальным социальным условиям густота населения была здесь, без сомнения, значительно меньше, чем в Беотии. Очень мало были населены горные области северо-западной части Греции, от озольской Локриды вверх до северной Македонии; население было здесь разбросано по открытым поселкам, отделенным друг от друга большими пространствами леса. Таким образом, народонаселение всего греческого полуострова вместе со смежными островами составляло во второй половине V века около трех, самое большее — 4 млн человек.

Из колониальных областей Сицилия занимала почти такую же площадь (25 тыс. 600 кв. км), как Пелопоннес; но вследствие более юной культуры острова и преобладания земледелия и скотоводства население было здесь, конечно, менее густо, так что для конца V века его можно определить приблизительно в 800 тыс. человек. Таково же было приблизительно число жителей в италийских колониях. Очень густо были населены области при Геллеспонте, Иония и острова, лежащие у западного побережья Малой Азии, но по недостатку материала мы не в состоянии определить в цифрах количество народонаселения этих колоний; то же самое отно-

сится к колониям у Понта, на Кипре и в Ливии. Во всяком случае, можно предположить, что народонаселение колоний, включая сюда и туземных подданных, было в V веке почти равно по количеству народонаселению метрополии, так что все вообще народонаселение всех греческих государств должно было равняться в это время приблизительно 7—8 млн человек.

Уже во время Персидских войн Греция должна была часть потребных для нее съестных припасов ввозить из-за границы. При постоянном росте населения этот импорт в течение V столетия принимал все большие размеры. В особенности промышленные города всячески старались способствовать ввозу хлеба и поддерживать низкие цены. Больше всего ввозилось из плодородных равнин на севере Понта, теперешней южной России, затем из Сицилии и Египта. О количестве ввезенного хлеба мы имеем сведения, впрочем, лишь из IV столетия. Тогда ежегодный ввоз в Пирей равнялся приблизительно 800 тыс. медимнов (около 400 тыс. гектолитров или 300 тыс. метрических центнеров), из которых половина доставлялась с Понта; а так как Афины перед Пелопоннесской войной имели не меньшее число жителей, чем во времена Демосфена, то и импорт в V веке не мог быть меньше. Правда, ни один другой греческий город не нуждался в таком большом количестве привозного хлеба; однако общий ввоз в гавани Эгейского моря все-таки должен был равняться нескольким миллионам медимнов.

Местному земледелию было тем труднее бороться с этой конкуренцией, что оно пользовалось еще довольно примитивными средствами. Плуг в общем сохранял еще ту же форму, какую он имел в гомеровские времена, с той разницей, что теперь он всегда был снабжен металлическим сошником. Точно так же зерно по-прежнему молотили на току посредством скота. Старая переложная система, по которой поля засеивались хлебом лишь год через год, еще в начале IV века применялась повсеместно даже в Аттике. Если какой-нибудь интеллигентный сельский хозяин делал попытку ввести у себя более рациональное хозяйство, люди только качали головами. Впрочем, громадные расходы по

перевозке действовали как род покровительственной пошлины, так что хлебопашество, несмотря на все эти невыгодные условия, оставалось прибыльным занятием. Во времена Александра ежегодное производство Аттики равнялось 400 тыс. медимнов (около 200 тыс. гл), почти исключительно ячменя, между тем как плодородный остров Лемнос производил ежегодно 300 тыс. медимнов.

Лучший доход приносила культура более нежных растений — виноделие и приготовление оливкового масла. В этом отношении побережья Эгейского моря еще не боялись конкуренции; напротив, масло Аттики, вино Ионии и южного побережья Фракии служили даже предметом значительного вывоза. Ввоз живого скота морем на далекие расстояния был при тогдашнем состоянии мореплавания почти совершенно невозможен; зато соленое мясо, сыр, сало и другие животные продукты ввозились из колоний в большом количестве и играли важную роль в народном пропитании.

Старое натуральное хозяйство теперь исчезло или удержалось еще только в наиболее отдаленных частях греческого мира. Так, например, Сиракузы до самого падения своей самостоятельности вимали со своих сицилийских подданных десятую часть урожая натурой; между тем в Афинах солоновские цензы были, как кажется, около времени Персидских войн переведены на деньги. Пентакосиомедимном теперь считался уже не тот, кто ежегодно получал со своих полей 500 мер хлеба, а тот, чье имущество равнялось одному таланту. Очень характерно для переворота, происшедшего в экономических условиях, то, что при этом принималось во внимание уже не исключительно поземельное владение, но и движимое имущество. Сообразно с этим налоги, которые еще при Писистратидах вимались натурою, теперь уплачивались деньгами; точно так же податная организация Афинского морского союза, созданная Аристидом, всецело основывалась на денежной системе и исключала всякие натуральные повинности¹

¹ Остатки натурального хозяйства сохранились, впрочем, и в Аттике до поздних времен, особенно в эксплуатации храмовых имуществ. Так,

При этих условиях центры монетной чеканки в Греции должны были обнаруживать в V веке очень оживленную деятельность. Области, которые до тех пор не имели собственной монеты, как Фессалия, Элида, Крит, Сицилия, теперь также начали чеканить серебряную монету. Только консервативная Спарта упорно держалась своей старой железной монеты; странным образом, отказывались чеканить монету также промышленный город Мегара и ее колонии Византия и Калхедон. С другой стороны, политическое и экономическое превосходство Афин заставило Киклады, а с 446 г. также и города Эвбеи прекратить чеканку. Эгина со времени потери своей независимости в 457 г. лишь немного чеканила, пока, наконец, после изгнания эгинских граждан и замены их аттическими клерухами в 431 г., этот некогда важнейший монетный центр европейской Греции совершенно прекратил свою деятельность. Таким образом, начиная с середины V века, аттические тетрадрахмы сделались господствующей монетой в области Эгейского моря, и Афины были достаточно благоразумны, чтобы чеканить только полновесную монету из чистого серебра. Даже при самой крайней финансовой нужде во время Пелопоннесской войны Афины ни разу не прибегли к ухудшению своей серебряной монеты. Напротив, из золота в европейской Греции даже в V веке почти вовсе не чеканили, хотя персидские дарейки и кизикские статеры из электра были в обращении в большом количестве.

Необходимый для чеканки благородный металл доставлялся отчасти восточной торговлей, отчасти рудниками самой Греции. Серебряные рудники близ Лавриона, на южной оконечности Аттики, приносили в эпоху Персидских войн очень большие доходы; еще более доходны были рудники, находившиеся на Фасосе и на противоположном материке, на границе между Фракией и Македонией. Впрочем, большая часть запасов металла не попадала в обращение, а скоплялась в сокровищницах. Почти каждый храм имел свою каз-

оратор Гиперид заплатил Элевсинскому храму за аренду Рарийской равнины натурой 619 медимнов хлеба.

ну; и если она состояла обыкновенно только из серебряной утвари весом в несколько мин, то все-таки, при большом количестве храмов, общая сумма сокровищ была очень велика. Так, при начале Пелопоннесской войны в храмах Аттики было жертвенных приношений на сумму 500 талантов. Сверх того, они владели еще очень значительными наличными суммами, из которых государство в первые 10 лет войны заняло около 800 талантов, не говоря уже о тех деньгах, которые были взяты из сокровищницы Афины Паллады — самого богатого из всех этих храмовых казнохранилищ. Делос и Олимпия также владели крупными богатствами. Дельфийский храм около 360 г. имел, по преданию, 10 тыс. талантов, большая часть которых находилась здесь, вероятно, уже в V веке; эта цифра едва ли очень преувеличена, так как впоследствии фokeйцы из этих денег покрыли издержки десятилетней войны, для которой они пользовались большими наемными армиями. Затем сюда же нужно отнести и афинскую союзную казну, которая, включая храмовые сокровища страны, располагала по временам 10 тыс. талантов и еще в начале Пелопоннесской войны заключала в себе 6 тыс. талантов.

Тем не менее количество поступавшего в обращение благородного металла было достаточно велико, чтобы вызывать значительное повышение цен. Мера ячменя, стоившая в Афинах во время Солона одну драхму, обходилась в конце V и начале IV столетия вдвое дороже; мера пшеницы стоила 3 драхмы. Еще более повысились цены на скот, так как в этой отрасли торговли не было заморской конкуренции, а в самой Греции, вследствие роста народонаселения, скотоводство все более уступало место земледелию. Между тем как около 600 г. можно было в Афинах купить овцу за драхму, спустя два столетия цена ее поднялась до 10—20 драхм; бык в это время стоил около 50—100 драхм. Напротив, в богатой скотом Сицилии „хороший теленок“ даже после Персидских войн стоил только 10 литров, или 2 аттических драхмы.

Увеличение количества находившегося в обращении благородного металла должно было иметь последствием то, что в V веке гораздо легче было, например, достать займы

талант серебра, чем в VI веке. То же самое касается большинства остальных товаров, которые доставлялись теперь на рынок в гораздо большем количестве, чем прежде, отчасти местной промышленностью, отчасти ввозной торговлей. Правда, около 400 г. мера пшеницы, в переводе на серебро, стоила гораздо дороже, чем во время Солона, но только потому, что запасы серебра возросли еще быстрее, чем производство сельскохозяйственных продуктов. Зато теперь можно было в неурожайные годы привозить иностранный хлеб почти в неограниченном количестве, и крестьянин, нуждавшийся в хлебе для посева и для пропитания своей семьи до ближайшего урожая, мог теперь гораздо легче достать нужное ему количество хлеба, чем раньше, когда ему приходилось в таких случаях обращаться к богатому соседу. Вследствие этого ссуды — как натурою, так и деньгами — можно было теперь получать на более выгодных условиях, чем прежде, — другими словами, такса процентов должна была понижаться. Впрочем, этому процессу противодействовал сильный подъем промышленности и торговли, вызвавший большой спрос на капиталы. Поэтому процент и теперь еще остается сравнительно очень высоким. Если в эпоху Солон при хорошем обеспечении платили средним числом 18% (выше, с.206), то в IV столетии в Афинах платили около 12%; за ссуды, соединенные с риском, и во времена, когда чувствовался недостаток в деньгах, взимались, конечно, гораздо более высокие проценты. Какого-нибудь определенно-го закона относительно максимального процента, по крайней мере в Афинах, не было, хотя и здесь, как повсюду, общественное мнение осуждало ростовщиков, которые пользовались нуждою ближних для наживы, и этим все же производило некоторое моральное давление.

Такой размер процента указывает на значительную прибыльность промышленности, т.е. на высокий уровень цен и низкий уровень заработной платы. Действительно, цены промышленных продуктов, дошедшие до нас от V и IV веков, например, платья и оружия, очень высоки по сравнению с ценами на хлеб. Но, что важнее всего, существование рабства давало возможность капиталу безжалостно экс-

платировать рабочую силу. Сильный раб, какой нужен был на рудниках, мог быть куплен за 100—150 драм и давал ежедневно чистой прибыли один обол; следовательно, считая в году только 300 рабочих дней, деньги, уплаченные за него, приносили от $33\frac{1}{3}$ до 50%, куда входит, впрочем, и погашение затраченного капитала. Опытные фабричные мастера (*χιροΓέχαι*) приносили, разумеется, гораздо больший доход — ежедневно два обода и более, зато и покупная цена их была соответственно выше, до 5 — 6 мин. 32 — 33 кузнеца, которых отец оратора Демосфена имел на своей фабрике, приносили в год 30 мин чистого дохода, т.е. около 100 драм на человека; 20 столяров, работавших у того же фабриканта, приносили только 12 мин, т.е. по 60 драм, что составляет несколько более одного обода в день, — однако и этот доход равнялся 30% на затраченный капитал, так как они стоили по 2 мины каждый.

В морской торговле капиталы также могли приносить очень высокие проценты; но здесь размер прибыли стоял в прямом отношении к величине риска. Действительно, мореплавание все еще находилось в первобытном состоянии, хотя и сделало значительные успехи с гомеровских времен. Самые большие военные корабли V столетия, триеры, представляли собою только большие лодки с неглубокой осадкой, которые при малейшем волнении на море теряли способность маневрировать и по прибытии в гавань вытаскивались на берег. Из торговых кораблей самые большие могли поднять, по-видимому, около 10 тыс. талантов (360 тонн). Если теперь и решались чаще, чем прежде, на путешествия по открытому морю, то все же обыкновенно держались по возможности близко к берегу, так что, например, корабль, направлявшийся из Греции в Сицилию, сначала поднимался к Керкире и Таренту, а затем вдоль берега нынешней Калабрии снова спускался на юг. Да и теперь еще более или менее продолжительные морские путешествия предпринимались только в благоприятное время года. Сюда присоединилось отсутствие всяких вспомогательных средств, без которых мы теперь едва можем представить себе сообщение по морю, — морских карт, компаса, маяков, знаков, указывающих фарва-

тер, и т.п.; и особенно опасность со стороны пиратов, от которых даже морское господство Аттики не было в состоянии совершенно очистить Эгейское море. Следовательно, шансы на прибыль должны были быть очень велики, если морская торговля все-таки существовала. При поездках в дальние моря, как, например, в Понт или пользовавшуюся дурной славой Адриатику, эта прибыль доходила часто до 100% и более; но и при поездках по Эгейскому морю можно было заработать 20—30%. Величине этой прибыли соответствовал и размер вознаграждения за капиталы, которые отдавались в ссуду под так называемый „морской процент“, причем кредитор делил риск с судовладельцем.

Землевладение, было, конечно, менее прибыльно: не говоря уже о связанных с ним социальных выгодах, оно представляло в это время почти единственное вполне верное вложение капитала. Тем не менее, земельная рента была все-таки очень высока по нашим понятиям. Так, в первой половине IV столетия аренда поместий в Аттике составляла около 8% дохода, и приблизительно так же высока была, по видимому, доходность домов.

Если земельная рента и проценты за капитал поглощали такую значительную часть дохода, приносимого национальным трудом, то доля рабочих в этом доходе должна была быть соответственно очень невелика. Раб получал лишь то, что было безусловно необходимо для его существования, а конкуренция массы рабов, в свою очередь, понижала заработную плату свободных работников. Не было, может быть, более тяжелой и неприятной работы, чем служба гребца на галере, даже помимо опасности в случае морского сражения или кораблекрушения; и однако во время Пелопоннесской войны нашлись десятки тысяч людей, которые были готовы взять на себя эту работу за ежедневную плату в 3 обола¹. За ежемесячное жалованье в один дарейк персидские сатрапы могли найти сколько угодно наемников, притом людей, которые были в состоянии вооружиться на собственный счет.

¹ При экспедициях в далекие моря плата была, конечно, выше; так, в 415 г. афиняне платили каждому гребцу снаряженного в Сицилию флота драхму в день.

При вознаграждении в 2—3 обола за каждое заседание афинские ремесленники и рабочие стремились к исполнению должности присяжных. Это вознаграждение соответствовало, приблизительно, поденной плате за черную работу, тогда как труд ученых ремесленников оплачивался, разумеется, лучше. Так, например, пильщики камней и каменщики при постройке Эрехтейона в Афинах в последние годы Пелопоннесской войны получали по драхме в день. Греческий рабочий вел, конечно, очень умеренный образ жизни, да иначе и невозможно было прожить на три обола. При таких условиях нельзя было особенно осуждать рабочее сословие, если оно всякий раз, когда власть попадала в его руки, стремилось улучшить свое положение при помощи государства. Однако эти попытки всегда начинались не с того конца, с которого следовало начинать. Вместо того, чтобы приняться за корень социальных бед, за рабство, рабочие добивались пособий из государственных средств, в форме ли вознаграждения за отправление функций верховной власти, или в виде подачек деньгами и хлебом, или, наконец, в виде даровых развлечений; последствием этих мер была только все большая и большая деморализация рабочего класса. Еще пагубнее влияли насильственные перевороты в области собственности, которые иногда производились после революции, — всеобщая отмена долгов и новый раздел поземельной собственности; впрочем, в V столетии к таким крайним мероприятиям прибегали лишь изредка.

Умственный труд, не требовавший больших знаний, оплачивался не выше, чем труд технически образованного ремесленника. Так, архитектор при постройке Эрехтейона получал только драхму в день, т.е. столько же, сколько пильщик камней; жители Эпидавра также платили архитектору при постройке храма Асклепия только одну эгинскую драхму (около $1\frac{1}{2}$ аттических драхм). Жалованье субалтерно-офицера было обыкновенно лишь вдвое больше жалованья простого солдата; жалованье низших правительственных чиновников также было невелико, — например, в Афинах члены Совета получали по драхме в день. Высшие должности всегда отправлялись за честь, и только сопряженные с

ними расходы возмещались государством. Зато выдающиеся заслуги на поприще умственной деятельности оплачивались очень щедро. Так, по Геродоту, врач Дамокад из Кротона во второй половине VI столетия получал на о. Эгине годовой оклад в один талант, позже в Афинах — 100 мин и впоследствии у самосского тирана Поликрата — два таланта. Если даже эти данные преувеличены, они все-таки доказывают, что врачи, пользовавшиеся известностью, получали во время Геродота очень высокие оклады, из которых они, впрочем, должны были содержать свою клинику, платить своим помощникам и выдавать лекарства. Знаменитые поэты, как Симонид и Пиндар, получали за свои песни крупные гонорары, поэты, произведения которых ставились на сцене, также получали вознаграждение от государства. Точно так же и музыканты, и выдающиеся актеры зарабатывали большие деньги. Когда, затем, в середине V века, начал пробуждаться в обществе интерес к философии и риторике, учителя этих наук тоже получали сравнительно очень высокую плату. Однако известие, будто Протагор и Горгий брали по 100 мин за курс учения, крайне преувеличено; напротив, после смерти Горгия осталось лишь очень умеренное состояние, а Исократ, самый знаменитый оратор своего времени, хотя и был довольно состоятельным человеком, вовсе не был очень богат. Плата за полный курс риторики, продолжавшийся, однако, несколько лет, равнялась в IV столетии трем, четырем и, в исключительных случаях, десяти минам.

Относительно величины народного богатства мы имеем точные данные только для Афин, да и здесь лишь из начала IV столетия. В 378—377 гг. произведена была перепись всей движимой и недвижимой собственности в Аттике, и общая сумма была определена в 5750 талантов. Сюда не вошло государственное имущество, равно как и имущество беднейшего класса граждан, которое было освобождено от прямых налогов. Ни то, ни другое не могло представлять крупной ценности; зато нужно принять во внимание, что всякая податная оценка далеко ниже действительной стоимости имущества. Полстолетия назад, до начала Пелопоннесской войны, экономическое положение Афин было гораздо лучше;

однако сомнительно, чтобы народное имущество, выраженное в деньгах, было тогда значительнее, так как покупательная сила драгоценных металлов в этот промежуток времени, вероятно, упала. Впрочем, в 431 г. многие афинские граждане владели поместьями вне Аттики, которых они лишились вследствие войны. Так как Афины, начиная с середины V столетия, были самым богатым городом европейской Греции и остались им также в следующем веке, несмотря на удар, нанесенный им Пелопоннесской войной, то мы с полной уверенностью можем сказать, что народное богатство не достигло даже приблизительно такой высоты ни в одной другой греческой области равного протяжения, исключая разве малоазиатские колонии.

В отношении распределения собственности отдельные части греческого мира представляли большие различия. В Лаконии и Фессалии, с их крепостным сельским населением, преобладало крупное землевладение. Долина Эвроты и почти вся Мессения, площадью почти в 5000 кв. км, принадлежали, за исключением государственных имений, лишь 1500 собственникам, так называемым спартанским „равным“ (*гомеи*): но и между ними, наряду с немногими владельцами латифундий, огромное большинство было таких, которые владели только небольшим „ликурговым“ участком. Громадные богатства фессалийских аристократических фамилий вошли в поговорку; некоторые из фессалийских помещиков были в состоянии на собственные средства снарядить целый отряд войска. В этой области, занимающей около 10 тыс. кв. км, было, по преданию, 6000 человек, которые могли на собственные средства служить в коннице, — больше, чем во всей Греции к югу от Фермопил, взятой вместе. Вследствие этого среднего сословия не существовало, и Фессалия могла выставить лишь небольшое, сравнительно с ее величиной, число гоплитов. В Беотии крупное землевладение также было, по-видимому, очень распространено, если эта область могла выставить 1000 всадников; но так как беотийские крестьяне остались свободными, то рядом с крупными собственниками здесь существовал также многочисленный класс средних землевладельцев, которые были в состоянии вооружаться на

собственный счет. Такие же условия господствовали в Македонии и Сицилии; Сиракузы, например, выставили в Пелопоннесской войне такое же количество всадников, как Беотия, а Филипп и Александр своими победами были обязаны не столько фаланге, сколько македонской коннице. Напротив, в Аттике земельная собственность была очень раздроблена. Уже по конституции Солона к первому классу принадлежал каждый гражданин, получавший со своих земель 500 мер хлеба, и законодательство старалось предупредить скопление в одних руках больших земельных участков. Поэтому во время Пелопоннесской войны участок земли ценою в один талант считался уже большим, и даже поместья старинных аристократических фамилий редко превышали 300 плефров (30 га), тогда как меньшие участки ценою до нескольких сот драхм упоминаются очень часто. В конце V столетия из общего числа граждан, доходившего в то время приблизительно до 20 тыс. человек, безземельных было, по преданию, только 5000. Когда после Персидских войн приступили к увеличению конницы, это оказалось возможным только под тем условием, что государство давало большие субсидии отдельным рекрутам; зато почти половина граждан была в состоянии отправляться на войну в собственном вооружении. И как в Аттике, так и в большей части остальных областей греческого полуострова, граждане, обязанные по своему имущественному положению нести службу в тяжелом вооружении, т.е. главным образом средний класс, составляли очень значительную часть населения.

О размерах богатства отдельных граждан в это время мы имеем сведения только для Афин. Состояние в 8—10 талантов считалось здесь во время Пелопоннесской войны очень большим; более богатых людей было немного. Конон, который происходил из старинного аристократического рода и в продолжение своей долгой службы в звании полководца неоднократно имел случай обогатиться, оставил, умирая (392—391 гг.), около 40 талантов; его сын Тимофей, унаследовавший из них 17 талантов, с этим состоянием считался одним из богатейших людей Афин. Сын Никия Никерат, „почти первый афинянин по знатности и богатству“, будучи

казнен по приговору Тридцати, оставил после себя не более 14 талантов. Его фамилия понесла, вероятно, крупные потери во время войны; но если в Афинах говорили, что Никий имел 100 талантов, то это лишь новое доказательство того, что толпа во все времена склонна преувеличивать большие состояния. То же самое относится и к известию, будто Каллий, сын Гиппоника, имел состояние в 200 талантов. Правда, он был богатейшим человеком в Афинах времен Перикла; но для этого достаточно было иметь 50 талантов. Его внук, того же имени, впрочем, известный мот, под конец жизни имел не более двух талантов.

Как ни малы, по нашим понятиям, эти состояния, даже сравнительно с ценами на хлеб в V столетии, — не следует забывать, с другой стороны, что капиталы приносили в то время почти втрое больший доход, чем теперь, и что грек, не исключая афинянина, был гораздо менее требователен в смысле комфорта, чем мы. Частные дома были еще очень невзрачны, строились обыкновенно из дерева, прутьев и глины, самое большее — с одним верхним этажом. Если, тем не менее, на 585 гектарах, заключенных между укреплениями Афин и Пирея, помещалось до 100 тыс. жителей¹, т.е. около 170 на одном гектаре, — густота почти такая же, какую представляет в настоящее время Берлин с его многоэтажными домами, — то это показывает, как скученно жило население греческих городов в эту эпоху. Жить в собственном доме было еще правилом, особенно у состоятельных семейств; но в больших городах этого времени, как Афины и Керкира, мы находим уже многочисленные наемные дома. Известный банкир Пасион имел такой дом ценою в 100 мин, — высшая стоимость дома, дошедшая до нас из IV столетия. Даже такой богатый человек, как Демосфен, отец оратора, довольствовался домом стоимостью в 30 мин, и это здание заключало в себе, кроме квартиры, еще обширные фабричные помещения. Семьи, принадлежавшие к среднему сословию, довольствовались, конечно, еще гораздо меньшими

¹ Афины имели предместья за стенами города, как, например, внешний Керамейк, но зато очень значительная часть окруженной стенами площади, особенно в Пирее, оставалась незастроенной.

жилищами, и источники показывают, что в Афинах существовали дома стоимостью до 5 и даже до 3 мин. В других греческих городах цена недвижимой собственности была, вероятно, еще ниже. Напротив, сельские дома богатых афинян перед Пелопоннесской войной были лучше построены и роскошнее отделаны, чем городские жилища. Внутреннее убранство дома было, большею частью, весьма скудно; только очень богатые люди имели мебелировку стоимостью больше 1000 драхм.

В одежде, под влиянием демократического движения, обнаруживается стремление к простоте. Ниспадавший до земли льняной хитон, пурпурные плащи, золотые „цикады“ в волосах, бывшие в употреблении у богатых граждан Афин и Ионии еще во время Персидских войн, теперь выходят из моды, и во всей Греции получает распространение короткая шерстяная рубашка пелопоннесцев. Затем следовало верхнее платье, без которого не показывался публично ни один мужчина из хорошего общества; оно представляло четырехугольный кусок шерстяной материи, который, как показывают дошедшие до нас статуи, перекидывался через левое плечо и затем протягивался под правой рукою, так что последняя оставалась свободной. Такая верхняя одежда стоила во время Пелопоннесской войны около 16—20 драхм; блуза, какую носили рабочие, стоила около 10 драхм. Женский костюм обходился, вероятно, дороже; в особенности украшения женщин представляли часто значительную ценность, — в знатных домах, может быть, до 5000 драхм. Много тратили также на благовонные мази, которые привозились с Востока, но приготавливались и в самой Греции и стоили, сравнительно, очень дорого.

Как и все южане, греки вели очень умеренный образ жизни. Главною пищей служили зерновые продукты, которые мололись обыкновенно дома и употреблялись или в виде каши, или в форме плоских лепешек; затем стручковые плоды и всякого рода овощи. Приправой служили оливки, сыр, винные ягоды и особенно соленая рыба, привозимая в больших количествах из Понта, а в прибрежных областях, конечно, и свежая рыба. Для однодневного пропитания

взрослого человека считался достаточным один хойникс (около 1 литра) ячменной муки, который в Афинах стоил приблизительно $\frac{1}{4}$ обола. Таким образом, при дневном заработке в 3 обола рабочая семья могла во всяком случае прожить; но когда цены на хлеб поднимались, нужда была, конечно, очень велика. Впрочем, на такую жизнь была осуждена лишь небольшая часть гражданского населения Афин, так как большинство семейств, как мы видели, владело земельными участками и ремесленный труд лучше оплачивался.

Высшие слои общества тратили, разумеется, гораздо больше. Солидный, но довольно простой стол гомеровских времен с его чудовищными жаркими из говядины и свинины давно уступил место более тонкому столу; приготовление яств сделалось даже настоящим искусством, которое находилось в руках специальных поваров и уже в V столетии траговалось в особых учебниках. Но даже в богатых семьях мясо, за исключением дичи, лишь редко употреблялось в пищу; первое место занимали морские рыбы, любимое кушанье аттических гастрономов, в приготовлении которого на пиршествах обнаруживали большую роскошь. Такой обед стоил тогда, вероятно, до 100 драхм; во столько же обходились и тонкие вина, которые пили при этом. Впрочем, это были исключения; вообще же даже знатный афинянин тратил на пищу не более 3—4 оболов в день. Еще более простой образ жизни вели в Спарте, где древний стол был искусственно сохранен в сисситиях, естественным последствием чего было то, что, попадая за пределы своего государства, спартанцы тем охотнее поддавались соблазнам чужеземной роскоши. Напротив, дома фессалийской аристократии, а также богатых граждан в западных колониях славились своей изысканной кухней; правда, и жизнь там была несравненно дешевле, чем в Афинах.

Для ознакомления с экономическим состоянием страны особенно поучительно бросить взгляд на ее финансовую систему. В древности, при несложных условиях тогдашней жизни, расход на общественные нужды ограничивался содержанием царя и жертвоприношениями бессмертным бо-

гам. Эти издержки покрывались доходами с государственных имуществ. Для ведения войн и сооружения общественных построек привлекался весь народ, причем отдельный гражданин не получал за эту службу особенного вознаграждения. Все это должно было измениться, когда, начиная с VII века, функции государства расширились, когда натуральное хозяйство стало все более вытесняться денежным и вследствие усложнения социальных условий сделалось невозможным привлекать граждан к обязательным работам. Таким образом, уже в период тирании, в VI столетии, государственные нужды значительно возросли, и обнаружилась необходимость приступить к взиманию правильных податей, которые вскоре сделались главным источником государственных доходов (выше, с.269).

Демократия пошла дальше по этому пути. Правда, расход на содержание царского двора был устранен; но чтобы сделать возможным активное участие в управлении государством для тех классов, которые должны были личным трудом добывать себе дневное пропитание, необходимо было отказаться от старого принципа, что каждый гражданин обязан безвозмездно служить государству в качестве чиновника. Поэтому уже Клисфен постановил, чтобы постоянная секция Совета, пританы, содержалась в Пританее на общественный счет; позднее, вероятно, только после Персидских войн, каждому из 500 членов Совета было положено ежедневное жалованье в одну драхму, что составляло ежегодный расход почти в 30 талантов. Еще больше денег поглощало жалованье судей, с тех пор как Эфиальт расширил компетенцию народных судов и Перикл заставил союзников обращаться за разрешением своих тяжб к афинским судам. Каждый присяжный получал по два обола за заседание, пока Клеон во время Пелопоннесской войны не повысил жалованье до полудрахмы. А так как, при массе накопившихся процессов и многочисленности судей, ежедневно было занято несколько тысяч присяжных, то расход на них едва ли мог быть меньше 60-ти, а со времени повышения жалованья — 90 талантов в год; впрочем, большая часть этой суммы покрывалась судебными издержками. В остальных демократических госу-

дарствах расход на Совет и особенно на суды был, конечно, гораздо ниже, а в олигархиях оба эти расхода или совершенно отсутствовали, или были ничтожны.

Расходы на культ и на все связанные с ним потребности также постоянно возрастали, не потому, что люди становились религиознее, а потому, что народ требовал все более роскошных жертвенных пиров и все более блестящих зрелищ. Кроме того, с повышением цен на скот поднялась и стоимость жертв. Впрочем, часть этих расходов храмовые кассы покрывали из собственных средств; так, например, Делосский храм в течение трех лет (376—374 гг.) издержал около шести талантов на устройство празднеств в честь Аполлона. Но и государства давали значительные пособия — Афины уже со времени Солона. Даже при стесненных финансах во время Декелейской войны, в 410 г., ассигновано было 6 талантов на устройство Больших Панафиней, правда, главного праздника Афин, который справлялся только раз в четыре года. Сюда присоединялись еще издержки отдельных граждан, которые занимали на празднестве почетные должности и особенно должны были заботиться о подготовке хоров, участвовавших в драматических и музыкальных представлениях. Даже небольшие деревни тратили крупные суммы на свои празднества; например, Плофея в Аттике, которая едва ли насчитывала более ста граждан, под конец V столетия расходовала на игры от 2 до 3 тыс. драхм ежегодно.

Но как ни велики были издержки на культ, они были ничтожны в сравнении с расходами на постройку храмов. В этой области главная работа, как мы видели, была сделана уже в VI веке, но и в V веке было воздвигнуто немало количество храмов. Особенным оживлением отличалась эта строительная деятельность в Афинах, где приходилось восстановить храмы, разрушенные персами, и где в то же время располагали большими финансовыми средствами, чем в каком бы то ни было другом месте. Одни только постройки Перикла на Акрополе обошлись в 2012 талантов.

Тем менее тратили на другие общественные работы, за исключением сооружений для войска и флота. Ни афинянам,

ни какой-либо другой из греческих общин этого времени ни разу не пришла мысль воздвигнуть хотя бы монументальное здание Совета. Для народного просвещения государство еще ничего не делало, если не считать гимнастических заведений (палестры, гимнасии), которые основывались и содержались на общественный счет, или государственных призов, которые выдавались победителям на гимнастических состязаниях. Расходы по ведомству иностранных дел ограничивались очень умеренным содержанием (около 2—3 драхм в день), которое получали посланники, отправляемые в чрезвычайных случаях за границу. Государственный кредит был еще очень мало развит, и поэтому расходы на общественный долг в эту эпоху еще не составляли особой статьи в нормальных бюджетах греческих государств. Наконец, взимание косвенных налогов всюду сдавалось на откуп частным предпринимателям, между тем как прямые подати, как земельная и имущественная, собирались органами самоуправления, так что государственный бюджет заключал в себе только чистые доходы.

Военное дело первоначально требовало лишь очень небольших издержек, так как каждый воин обязан был вооружаться и содержать себя на собственный счет. Даже регулярная армия Спарты ничего не стоила государству как таковому; издержки по ее содержанию всецело покрывались взносами отдельных граждан. Но с VIII или VII века вошло в обыкновение в случае войны принимать на службу наемников, которым, конечно, приходилось платить из государственной казны; уже в „Илиаде“ отношения троянцев к их союзникам представляются иногда в таком виде. Затем, тираны отчасти даже в мирное время содержали наемные войска, правда, в незначительном количестве; так, например, постоянное войско Поликрата состояло, по преданию, только из 1000 стрелков из лука. Этот обычай удержался, по крайней мере в более крупных государствах, и после падения тирании. Так, Афины в V веке имели полицейский отряд из 1000 скифских стрелков, купленных государством на невольничьих рынках у Понта. Около этого же времени Афины организовали отряд конницы, который постепенно был

доведен до 1200 лошадей; расходы на его содержание составляли в первой половине IV столетия 40 талантов, и в V веке, вероятно, не менее. Позже Афинам пришлось, для пополнения флота, снабдить на государственный счет тяжелым вооружением большое число граждан из класса фетов. Другие государства, как Аргос, Элида, Сиракузы, содержали отборные корпуса гоплитов, которые были особенно тщательно вооружены и обучены и всегда готовы к походу. Наконец, с тех пор, как войны сделались более продолжительными и велись нередко в отдаленных областях, оказалось необходимым принять содержание действующей армии на счет государства. В конце V века платили пехотинцу приблизительно 3 эгинских (=около 4 аттических) обол в день, всаднику — вдвое или даже вчетверо больше. Крупных расходов требовали также укрепления, особенно такие громадные сооружения, как стена, возведенная Фемистоклом вокруг Пирея, или Длинные стены, которыми Перикл соединил Афины с их гаванями; впрочем, в мирное время об укреплениях часто заботились меньше, чем следовало, так что они приходили в полный упадок.

На содержание флота приходилось тратить гораздо больше, чем на сухопутное войско; поэтому в течение V века, с тех пор как все военные флоты состояли из триер, большинство греческих государств вовсе не держало собственных флотилий. Сооружение триеры в V столетии обходилось, по-видимому, в один аттический талант, экипаж состоял приблизительно из 200 матросов и солдат, из которых каждый получал в день по 3 оболы (выше, с.337), так что расход на отправляющий свою службу военный корабль доходил почти до половины таланта в месяц. Впрочем, в мирное время одни только Афины держали на море летучие эскадры. Постройка арсеналов в Пирее, по преувеличенному, впрочем, указанию, обошлась в 1000 талантов. По числу кораблей Афины со времени Персидских войн занимали первое место между всеми греческими государствами; в начале Пелопоннесской войны они имели свыше 300 годных к плаванию триер, не считая флота союзных островов Лесбос и Хиос, из которых последний один владел 60 триерами. Си-

ракузский флот, который при Гелоне состоял, по преданию, из 200 триер, после падения тирании пришел в упадок, но ко времени Афинской экспедиции 415 г. все еще состоял из 80 боевых судов. Флот Эгины, заключавший в себе более 70 триер, был уведен афинянами после покорения острова (457 г.); та же участь постигла в 439 г. самосский флот, который по числу кораблей, вероятно, не уступал эгинскому. Таким образом, в начале Пелопоннесской войны Керкира со своими 120 триерами занимала второе место в ряду греческих морских держав; за нею следовал Коринф, снарядивший в 432 г., с напряжением всех своих сил, 90 триер, к которым присоединилось еще 38 триер от его колоний на западном побережье Греции. Мегара имела 40 триер; флоты всех остальных греческих государств были незначительны.

При таких условиях войны, особенно морские, должны были обходиться сравнительно очень дорого. Правда, сухопутные войска, благодаря дороговизне вооружения гоплитов, были немногочисленны, даже первая сухопутная держава Греции, Пелопоннесский союз, была в состоянии выставить на войну не более 25 тыс. человек, да и это войско она могла содержать лишь несколько недель. Беотия располагала приблизительно 8 тыс. гоплитов и 1 тыс. всадников; Аргос, который в V веке еще не держал конницы, — 7 тыс. гоплитов, Афины в начале Пелопоннесской войны имели 13 тыс. годных для военной службы граждан-гоплитов, кроме того, 1200 всадников и 1600 пеших стрелков; однако, при чрезвычайной обширности Аттического государства эту армию невозможно было сосредоточить в одном пункте, и еще менее — держать под оружием в течение продолжительного времени. Напротив, экипажи на флотах были очень значительны. Так, например, Афинская эскадра, отправленная в Сицилию, заключала в себе 40 тыс. человек; не менее велики были, вероятно, и экипажи обоих флотов, стоявших в Геллеспонте летом 405 г. Величине эскадр соответствовали и расходы на их содержание. Так, двухлетняя осада Потидеи афинянами (с 432 г. до 430 г.) потребовала 2400 талантов, осада Самоса, продолжавшаяся несколько более 9 месяцев (440—439 гг.), — свыше 1200 талантов, оборона Сиракуз в течение

415—413 гг. — далеко больше 2 тыс. талантов. Первые 10 лет Пелопоннесской войны (431—421 гг.) стоили афинской казне, по приблизительному расчету, около 1200 талантов.

Эти расходы должны были покрываться почти исключительно налогами, так как из прежних государственных имуществ к V веку уцелело лишь немногое. Царские домены при уничтожении монархии обыкновенно оставались в руках царских фамилий или распались на мелкие участки; а в более крупных государствах, образовавшихся путем синойкизма, как Аттика и Элида, каждая из самостоятельных прежде общин сохранила свое земельное владение. И впоследствии в Афинах земельные участки, переходившие к государству вследствие конфискации или другим путем, продавались с публичных торгов, и вырученные деньги употреблялись на текущие потребности. Напротив, критские города владели обширными имениями, доходы с которых шли на покрытие издержек по устройству общих обедов для граждан; очень значительно также было еще в IV столетии государственное имущество Македонии. Большое значение имели рудники. Серебряные рудники Лавриона на южной оконечности Аттики Эсхил называет „сокровищницей страны“; и действительно, они дали Фемистоклу средства для сооружения флота. Однако доход с них сильно уменьшился уже в V столетии. Финансы Фасоса и македонских царей также опирались главным образом на доходы с горных промыслов. Но это и были единственные греческие государства, располагавшие такими естественными вспомогательными средствами.

Прямые налоги взимались с граждан еще в гомеровские времена в форме натуральных повинностей при исключительных обстоятельствах, и Солон своим подразделением граждан на классы имел в виду столько же урегулировать податную систему, сколько установить градацию политических прав. Во время тирании эти налоги сделались регулярными; так, например, Писистрат и его сыновья взимали в Аттике ежегодно 5% с дохода земельной собственности. Демократия снова вернулась к старой системе и взимала такие подати только в случаях особенной нужды, преимущест-

венно в военное время, так как греки во всяком прямом обложении видели ограничение личной свободы, — характерный контраст с нашей новейшей демократией, которая в этом отношении еще не отрешилась от воззрений физиократов. Членские взносы, взимаемые Афинами с союзных городов, вовсе не были прямой податью в точном смысле этого слова, потому что отдельным государствам предоставлялось добывать потребные на это суммы посредством косвенных налогов или из дохода со своих доменов.

Таким образом, все хозяйство греческих государств держалось в это время, собственно говоря, на косвенных налогах. Они еще в значительной степени носили характер уплат, которые, впрочем, иногда достигали уже таких размеров, которым совершенно не соответствовали взаимные услуги государства. Первое место между ними занимали пошлины, т.е. плата за пользование гаванями. Они развились из подарков, которые иноземные купцы подносили царям за право заниматься торговлей. По преданию, жители Крисы, гавани Дельф, еще в 600 г. притесняли пошлинами паломников, которые шли к этой святыне; о Периандре также рассказывают, что он покрывал государственные расходы не прямыми налогами, а исключительно доходами с портовых и рыночных пошлин. Какова бы ни была достоверность этих показаний, во всяком случае греческая торговля была в этом периоде достаточно развита, чтобы взимание пошлин представлялось выгодным. Трудно также понять, на чем ином могло основываться регулярное государственное хозяйство Афин во время Солона, как не на подобных повинностях. В V веке они должны были существовать повсюду; пошлина была, впрочем, очень умеренная, от 2% до 5% стоимости, притом безразлично для всех товаров, для ввоза и вывоза. А в Пирее, до занятия Декелей лакедемонянами, пошлина составляла даже только 1%. При таких условиях было мало соблазна для контрабанды, и греческие государства не имели надобности окружать себя замкнутыми таможенными линиями. На сухопутных границах, по-видимому, вообще не взимали никаких пошлин. Настоящую финансовую пошлину представляла десятина, которую во время Пелопоннесской

войны афиняне взимали во фракийском Босфоре с судов, входивших в Понт и приходивших из него. Несмотря на низкие ставки, таможенные доходы были сравнительно велики. Так, 2-процентная пошлина в Пирее в первые годы после Пелопоннесской войны, когда экономическое значение Афин низко пало, все-таки давала чистого дохода 30 с лишком талантов; а когда афиняне после взятия Декелеи заменили подати 5-процентной пошлиной с ввоза и вывоза в портах союзных государств, они ожидали от этой меры увеличения своих доходов, хотя еще за несколько лет сумма податей была повышена почти до 1000 талантов.

Рыночная торговля также была обложена пошлиной; в Афинах во время Пелопоннесской войны дошли даже до того, что стали взимать эту пошлину у городских ворот и, таким образом, придали ей характер потребительного налога. Далее, пошлине подлежали все запродажные сделки, которые заключались в присутствии должностных лиц, следовательно, главным образом продажа недвижимостей. Налогов на промыслы обыкновенно не было, так как с граждан вообще не взимали никаких прямых податей; но некоторые профессии, требовавшие особого полицейского надзора, как занятия фокусников, предсказателей и публичных женщин, были привлечены к уплате налогов. Сюда же относилась и подать, которую должны были платить оседлые иностранцы за защиту, оказываемую им государством. С тяжущихся взимались очень высокие судебные издержки. Наконец, довольно постоянное место в бюджете греческих государств занимал доход с продажи конфискованных имений несостоятельных государственных должников или политических преступников: самый слабый пункт во всем финансовом строе, открывавший полный простор бесчисленным злоупотреблениям.

При небольших размерах большинства греческих государств в ту эпоху общая сумма всех этих доходов не могла быть велика. Геродот рассказывает, что Фасос в V столетии получал в год 300 талантов дохода, и считает это, очевидно, большой суммой, да и это указание, вероятно, преувеличено. Общая сумма всех доходов, которые получали Афины со

своего обширного государства, перед началом Пелопоннесской войны не превышала 600 талантов; а в Греции не было другого государства, которое располагало бы хотя приблизительно такими же финансовыми средствами. Например, Пелопоннесский союз, как целое, не получал никаких доходов, а финансовое положение отдельных государств, входивших в его состав, также было очень незавидно, исключая разве Коринф и Сикион. Сиракузы, в правление Дейноменидов, когда они стояли во главе большей части Сицилии, должны были получать сравнительно большие доходы; после падения тирании их главным финансовым источником являлась, наряду с косвенными налогами, десятина от сельских произведений подданных им сикелов, и хотя величина этого дохода и вошла в пословицу, но в данную эпоху он едва ли мог превышать 200 тыс. медимнов (около 100 тыс. гл), что по аттическим рыночным ценам составляло около 100 талантов, а по сицилийским, конечно, гораздо меньше. Фессалийский союз также некогда взимал дань с подчиненных ему областей; но со времени Персидских войн центральная власть пришла в упадок, и зависимость соседних областей существовала еще лишь номинально.

Не следует, однако, забывать, что еще и теперь греческие государства в самых широких размерах привлекали своих граждан к бесплатным почетным должностям. Даже в демократических государствах никто из высших чиновников не получал жалованья, а многие из этих почетных должностей были сопряжены с значительными расходами. Такова была, например, хорегия, или обязанность снабдить хор всем необходимым для театральных представлений, позаботиться об его обучении, платить ему жалованье и кормить его в продолжение всего времени, какое понадобится для этого; или гимнасиархия, возлагавшая подобные же обязанности по отношению к участвующим в гимнастических состязаниях. Издержки колебались между несколькими сотнями и несколькими тысячами драхм, смотря по роду игр и по доброй воле лица, бравшего на себя эту обязанность. Гораздо дороже обходилась триерархия, т.е. обязанность снарядить построенный государством военный корабль и в продолжение

всей кампании содержать его в боевой готовности, за что исполнявшему эту обязанность предоставлялась честь командовать кораблем. Триерархия во время Пелопоннесской войны стоила около 50 мин, — сумма достаточная, чтобы расстроить, а при частом повторении — совершенно истощить даже крупное состояние. Поэтому уже рано начали прибегать к раскладке издержек по содержанию одного корабля на двух граждан, за исключением тех случаев, когда дело шло об очень богатых людях; но и теперь распределение этой повинности оказывалось чрезвычайно неравномерным. Триерархия и была одной из главных причин, обусловивших разорение стольких знатных афинских фамилий во время Пелопоннесской войны.

Таким образом, податная система греческих государств оставляла, конечно, желать многого, да и вообще в их экономическом устройстве было немало недостатков. И все-таки V век в отношении народного хозяйства, как и во многих других отношениях, представляет собой период расцвета в истории греческого народа. Это объясняется в значительной степени тем, что пятидесятилетие после Платеи и Микале было для греческой нации в общем эпохой мира, которая уже не повторилась впоследствии до времен римского владычества.

ГЛАВА XIII

Демократия

Поколение, выросшее под впечатлением Персидских войн, всю жизнь лелеяло в душе идеал свободы. Заменявши в области мысли прежнюю веру в авторитет свободным исследованием, стараясь всюду провести разумное право вместо так называемого исторического права, оно и в области политики стремилось уничтожить существовавшие преграды. Люди, шедшие во главе нации на поприще науки и литературы в течение большей части V века, почти все без исключения отличались демократическим образом мыслей. Эмпедокл занимал одно из первых мест между основателями демократии в своем родном городе Акраганте; Горгий за свои демократические убеждения должен был удалиться в изгнание; Еврипид был решительным противником как монархии, так и олигархии; Демокрит предпочитал жить бедняком в демократической стране, чем в „так называемом благополучии“ при дворе царя; старый Геродот восторгался свободой и равенством еще в то время, когда образованное юношество в громадном большинстве держалось совершенно иных взглядов. Протагор первый сделал попытку теоретически оправдать демократию. Для того, чтобы вообще могло существовать человеческое общество, — говорит он, — необходимо, чтобы каждый из нас уважал права другого; кто этого не делает, должен быть удален из государства, как больной член. А обладание общественными добродетелями — справедливостью и добросовестностью — делает человека вполне способным участвовать в обсуждении общественных дел. Следовательно, для осуществления политических прав не нужно никакого другого ценза, кроме этих нравственных качеств, и совершенно нелепо требовать для этого особой технической подготовки.

VI век значительно подготовил почву для практического осуществления этих требований. В большей части греческого мира преимущества по происхождению были уничтожены, и их место заняли привилегии по имущественному по-

ложению. Теперь, ввиду нового направления общественной мысли, и эти последние не могли удержаться или, по крайней мере, должны были быть значительно ограничены. Обыкновенно реформа достигалась законодательным путем, с помощью всеобщей подачи голосов, которая сохранилась от периода царей и снова приобрела реальное значение после падения господства знати. Благодаря этому движение почти повсюду ограничилось политической областью и не вызвало никаких переворотов в экономическом строе. Правда, не было недостатка и в подобных стремлениях. Так, Фалеас Калхедонский требовал, чтобы все граждане владели равным имуществом и получали одинаковое воспитание, а комедия Аристофана „Женщины в народном собрании“ показывает, что в период, следовавший за Пелопоннесской войной, нередко обсуждались даже коммунистические учения. Впрочем, дальше теории дело не шло. Но где существовавший раньше порядок вещей был изменен путем насильственной революции, как в Сицилии по смерти Гиерона, там нельзя было, разумеется, избежать коренных перемен и в экономических отношениях. Когда затем неимущая масса сделалась руководящим фактором в государстве, она не преминула, конечно, извлечь из этого положения и материальные выгоды, и вытекавшее отсюда притеснение состоятельных классов немало способствовало падению демократии. Впрочем, эти злоупотребления начали резко обнаруживаться лишь под конец века.

В политической области греческая демократия этого времени также еще далеко не достигла абсолютного равноправия всех граждан государства. Даже в Афинах граждане третьего имущественного класса, зевгиты, лишь в 457 г. добились доступа к архонтату, формально все еще высшей государственной должности, а граждане низшего класса, феты, и теперь не были допущены к нему. В стратеги могли быть избираемы только землевладельцы, а доступ к высшим финансовым должностям по-прежнему был открыт только пентакосиомедимнам. Нетрудно было понять, что только имущественный достаток представлял необходимое обеспечение за добросовестность в отправлении столь ответственных

должностей. Притом, пассивное избирательное право по отношению к таким должностям не имело бы для неимущих классов никакого практического значения. Стремления демократов были направлены преимущественно к тому, чтобы по возможности ограничить полномочия чиновников. Все сколько-нибудь важные правительственные дела должны были поступать на разрешение Народного собрания или, по крайней мере, его постоянной комиссии, Совета; в области суда должностным лицам предоставлялось только руководство процессом, а приговор произносился присяжными, избранными по жребию из народа, если, как это бывало в важных государственных процессах, не являлось судьей само Народное собрание. Против возможных превышений власти гарантировала обязанность отдавать отчет по истечении служебного года; кроме того, Народное собрание имело право во всякое время лишить должности провинившегося чиновника.

Во время Персидских войн мы встречаем в Греции демократическую форму правления почти только в Аттике и в некоторых соседних областях; в Малой Азии и Сицилии господствовала тирания, на значительно большей части греческого полуострова — олигархия или аристократия. Но чрезвычайно важные последствия имело то обстоятельство, что во главе союза, который образовали освобожденные от персидского ига морские государства для своей взаимной защиты, стали демократические Афины. Само собой разумеется, что пример руководящей державы должен был сильно влиять на союзников. Когда во время изгнания персов была свергнута тирания в азиатских городах, многие из них изменили свою конституцию по образцу афинской, и Милет, например, пошел в этом отношении так далеко, что перенял даже названия клисфеновых фил. Часто также подобные реформы предписывались из Афин, особенно при вторичном подчинении отпавших союзников; в самом деле, было очевидно, что общее демократическое устройство государств является наилучшею связью между членами союза. Впрочем, Афины умели соблюдать меру в демократической пропаганде. Так, в важнейшем союзном городе, в Самосе, оли-

гархия землевладельцев (геоморов) удержалась до восстания 440 г., а в Митилене еще в 428 г. господствовала умеренно олигархическая форма правления. Однако с течением времени афинская гегемония неизбежно должна была привести к господству демократии на островах и побережьях Эгейского моря.

В западной части греческого мира распространению демократического движения мешали прежде всего обе великие военные монархии, Сиракузы и Акрагант. Чтобы упрочить свое могущество, еще Гелон даровал право сиракузского гражданства тысячам отставных наемников; его преемник Гиерон пошел дальше по этому пути. В 476 г. жители Катаны были переселены в Леонтины, а покинутый город превращен в военную колонию под именем Этна. Кроме того, всегда стоял наготове сильный отряд наемников и в арсенале находился многочисленный военный флот. Таким образом, Сиракузы были похожи на большую казарму. Все это терпели, пока карфагеняне угрожали национальной независимости; победитель при Гимере пользовался громадной популярностью, и еще долго после его смерти народ сохранял о нем благодарное воспоминание. Но уже при Гиероне отношения между правителем и народом начали расстраиваться; характерно, что тиран принужден был учредить тайную полицию и не пренебрегал даже услугами агентов-провокаторов. Само по себе это начинающееся недовольство, правда, не имело бы большого значения ввиду военных сил, которыми располагало правительство, и его успехов во внешней политике. Гораздо опаснее было то, что после смерти Гелона стало обнаруживаться разногласие между членами самого царствующего дома. Дело в том, что форма правления, господствовавшая в Сиракузах при Дейноменидах, была не монархией в настоящем значении этого слова, а скорее главенством одного рода над всеми остальными, причем верховная власть всегда находилась в руках старейшего члена, а остальные делили между собой прочие отрасли управления, — совершенно так, как это было в Афинах в правление Писистратидов и вообще во многих тираниях того времени, когда солидарность родов еще не была поколеблена.

Поэтому по смерти Гелона ему наследовал не сын, а брат — Гиерон; третий брат, Полизел, получил начальство над наемными войсками. Но вскоре между братьями произошло столкновение; Полизел должен был бежать из Сиракуз и искать защиты у своего тестя, Ферона Акрагантского. Эта ссора едва не привела к войне между обеими великими военными державами Сицилии; но Гиерон не решился довести дело до крайности и согласился, наконец, вернуть брата в Сиракузы. Однако, когда Ферон через несколько лет умер и престол перешел к его сыну, Фрасидею, война все-таки вспыхнула. Хотя Фрасидей имел в своем распоряжении очень значительную армию, по преданию, 20 тыс. человек, но в решительном и очень кровопролитном сражении победу одержал Гиерон. После этого народ в Акраганте и Гимере восстал против ненавистного тирана; Фрасидей принужден был удалиться в изгнание, и в обоих городах было восстановлено республиканское устройство. Они признали себя зависимыми союзниками Гиерона (около 473 г.).

Падение монархии в Акраганте неминуемо должно было повлиять на Сиракузы. Правда, пока жил Гиерон, все было спокойно; но как только старый тиран закрыл глаза (467 г.), вспыхнула революция. Раздоры в царской семье благоприятствовали ей. Так как Полизела уже не было в живых, то верховная власть перешла теперь к Фрасибулу, последнему из четырех сыновей Дейномена; но при дворе существовала сильная партия, желавшая доставить престол вместо него молодому сыну Гелона. Это вызвало восстание народа в Сиракузах, из других городов государства пришли подкрепления, и спустя короткое время тиран со своими наемниками оказался запертым во внутренней части города Сиракуз — в кварталах Ортигия и Ахрадина, между тем как повстанцы расположились в предместьях. Разбитый на море и на суше, Фрасибул принужден был, в конце концов, капитулировать под условием свободного отступления, на одиннадцатом месяце своего царствования (466 г.). Но междоусобная война в Сиракузах продолжалась. Коренные граждане вступили в борьбу с наемниками, поселенными в городе Гелоном; Ортигия и Ахрадина снова подверглись осаде, и

лишь после продолжительного сопротивления ветераны были побеждены. Теперь победоносная демократия обратила свое оружие против Этны, военной колонии Гиерона, правителем которой последний сделал своего сына Дейномена; после продолжительной борьбы наемники принуждены были уйти и отсюда, и прежние обитатели вернулись в свой родной город (около 461 г.), опять получивший теперь имя Катана, которое он сохраняет до настоящего времени. Повсеместно на острове введено было демократическое устройство, изгнанники водворены на своих старых местах; Камарина, население которой Гелон переселил в Сиракузы, вновь была отстроена. Однако за свою свободу Сиракузам пришлось заплатить потерей своего господствующего положения на острове; отдельные города государства вернули себе независимость, какой они пользовались до Гелона.

Прошло еще, разумеется, много времени, прежде чем новое положение дел упрочилось. В Сиракузах один влиятельный гражданин, Тиндарид, опираясь на неимущую чернь, сделал попытку провозгласить себя тираном; когда правительство хотело его арестовать, произошла уличная свалка, в которой претендент и многие из его приверженцев были убиты (около 454 г.). Чтобы предупредить повторение подобных событий на будущее время, сиракузская демократия ввела у себя учреждение, подобное аттическому остракизму, — петализм, названный так потому, что голосование производилось при помощи оливковых листьев. Действительно, впоследствии попытки восстановить тиранию, кажется, не повторялись; но как сильна была еще и теперь партийная борьба, об этом свидетельствуют многочисленные процессы военачальников, разбиравшиеся в Сиракузах в течение ближайших лет.

Демократическое движение захватило и соседнюю Италию. В Регии и Мессене вскоре после падения Дейноменидов было свергнуто владычество сыновей Анаксилая. В Таренте тяжелое поражение в войне с япигами (около 473 г.) послужило поводом к замене старого монархически-аристократического строя демократией. В ахейских городах нынешней Калабрии, где тайному союзу пифагорейцев уда-

лось захватить в свои руки управление государством (выше, с.212), — этому полуаристократическому, полутеократическому режиму был положен теперь кровавый конец; последователи секты были умерщвлены или изгнаны. В Кумах, как нам известно, тирания Аристодема была свергнута уже несколько лет назад (выше, с.320). Таким образом, и в италийских колониях почти повсюду установилась демократия; старая аристократическая форма правления удержалась только в Локрах.

Одновременно с этим движением и, хотя не им вызванная, но под сильным его влиянием, стала обнаруживаться среди туземцев Италии национальная реакция против эллинизма, притом — в одинаковой степени у племен полуострова и Сицилии. Началом ее является упомянутое кровавое поражение, нанесенное япигами тарентийцам. Скоро затем луканцы в нынешней Базиликате, — народ, лишь впервые теперь упоминаемый, — начинают беспокоить города при Тарентском заливе. Около того же времени самниты спускаются в так называемую с тех пор Кампанскую равнину, завоевывают этрусскую Капую и приходят благодаря этому в непосредственное соприкосновение с Кумами, которым вскоре суждено было подпасть под их владычество.

Менее успешна была национальная реакция в Сицилии, где туземцы со всех сторон были окружены греческими колониями и отрезаны морем от своих единоплеменников на материке. Здесь во главе движения стал Дукетий, царь Мен (Минсо у Калтаджироне). В качестве союзника сиракузской демократии он принял участие в походе против сына Гиерона, Дейномена из Этны, и значительно способствовал успеху экспедиции. Вскоре после этого ему удалось покорить важный город Моргантию, и результатом этого успеха было сплочение всей сицилийской нации в одно государство под главенством Дукетия. У священного озера Палики, недалеко от Мен, в том месте, где Герейское плоскогорье спускается к плодородной Катанской равнине, была основана столица нового государства, названная в честь упомянутых национальных божеств Паликой.

Теперь Дукетий обратил свое оружие против остатка

тех ветеранов, которых Гиерон поселил в Катане и которые удалились в Инессу и заложили здесь новую Этну; это укрепленное место было взято, и вместе с тем окончательно уничтожено владычество Дейноменидов. Теперь сицилийский царь чувствовал себя достаточно сильным, чтобы начать освободительную войну против греков. Ему действительно удалось разбить в открытом сражении акрагантийцев и их союзников, сиракузцев, и взять акрагантийскую пограничную крепость Мотион; но продолжительная борьба с греческими городами оказалась ему не по силам. Следующей весной Дукетий потерпел от сиракузян тяжелое поражение. Мотион был снова взят акрагантийцами, и царь, покинутый своими приверженцами, принужден был, наконец, сдаться сиракузянам на капитуляцию (около 450 г.). Его царство распалось; южная часть, плодородная Катанская равнина с Моргантией, Менами и Инессой, отошла к Сиракузам, северные области, долина Верхнего Симефа и Небродские горы, сохранили свою независимость, так что каждый город снова, как прежде, представлял собой небольшое самостоятельное государство. Дукетий был сослан в Коринф; отсюда он через несколько лет вернулся на родину и основал на северном берегу острова город Калакту (Каронию). Он все еще надеялся поднять национальное восстание против греков, но скоро смерть разрушила эти планы. Участь сицилийской нации была решена. Тщетно восстал против Сиракуз Пиак, один из крупнейших сикелийских городов; это движение осталось изолированным, и после храброго сопротивления город был покорен (около 440 г.).

Около того же времени, когда пала монархия в Сицилии, была свергнута в Кирене династия Баттиадов, которая правила городом со времени его основания. Вследствие раздоров в царской семье здесь уже в середине VI столетия, при Батте III Хромом, была произведена реформа в демократическом духе; мантинеец Демонакс, призванный в законодатели по указанию Дельфийского оракула, дал государству новую организацию, при которой царю были предоставлены лишь немногие почетные права. Когда позже сын Батта, Аркесилай, сделал попытку восстановить прежний порядок вещей,

его лишили царского звания, и он принужден был уйти в изгнание на остров Самос; здесь он обещанием нового раздела земли привлек к себе многочисленных приверженцев и, вернувшись на родину, при их помощи снова овладел престолом. Наконец, он был убит в Барке киренскими изгнанниками, и Баттиады снова были изгнаны из Кирены. На этот раз они обратились в Египет, который с недавнего времени входил в состав персидской монархии; верховную власть Персии признавала, как мы видели, и Кирена (см. выше, с.256). Действительно, персидское войско вернуло сыну Аркесилая, Батту Красивому, престол его предков, на котором он и удержался до самой смерти; после него власть перешла к его сыну Аркесилаю. Но когда, после смерти Ксеркса, персидское владычество на Ниле пало и страна была занята афинянами, Кирена снова восстала против ненавистной династии. Аркесилай был убит, и вместе с тем окончательно прекратилось господство Баттиадов, продолжавшееся почти два века. Кирена обратилась в демократическую республику.

Более значительные препятствия встретило демократическое движение на самом греческом полуострове. Экономическое и умственное развитие еще не достигло здесь той высоты, как в Ионии или Сицилии; еще важнее было то, что здесь консервативные элементы находили твердую опору в Спарте, которая всей силой своего военного могущества и нравственного авторитета вступалась за существующий порядок вещей. Однако демократические идеи и здесь одержали ряд побед. События 479 г. сокрушили в Фивах господство аристократии, антинациональная политика которой привела государство на край гибели. Павший строй сменила демократия, и отчасти этот пример, отчасти влияние соседних Афин способствовали торжеству демократии и в остальных городах Беотии. Около того же времени в Аргосе были уничтожены последние остатки монархического строя и установлен демократический образ правления. За Аргосом последовала соседняя Мантинея; с помощью аргивян обитателей соседних деревень принудили переселиться в город, и, таким образом, был создан сильный центр для аркадской демократии. Отсюда движение распространилось по всей

стране; Аркадия отпала от Спарты и примкнула к Аргосу. С помощью своих новых тегейских союзников аргивяне покорили небольшие соседние города, Микены и Тиринф, прославленные эпосом центры древнейшей греческой культуры; эти города были разрушены, и их жители изгнаны. Около этого же времени установилась демократия и в Элиде, которая после Коринфа была самым значительным государством Пелопоннесского союза. Старый родовой строй был уничтожен, и государство разделено на 10 фил, очевидно, по образцу клисфеновой реформы в Афинах. Здесь, как и в Мантинее, с преобразованием был соединен синойкизм; на берегу Пеня, у подножия древнего кремля Оксила, была заложена новая столица, которая, впрочем, в первое время оставалась неукрепленной (471 г.). Вскоре после этого элейцы предприняли поход на юг и завоевали все города Трифилии вплоть до мессенской границы.

Спарта принуждена была оставаться безучастной зрительницей всех этих событий, потому что у нее было достаточно дела дома, где ей самой грозило революционное движение. В самом деле, нигде не накопилось столько горючего материала, как здесь, где над большей частью населения тяготело крепостное право без всякой гарантии хотя бы только личной безопасности; где другая значительная часть населения, обитатели областных городов, если и пользовалась личной свободой и известной долей самоуправления, то в политическом отношении всецело зависела от Спарты; где, наконец, между гражданами самой столицы господствовало величайшее неравенство имуществ и всеми правами гражданства пользовались только состоятельные, да и это меньшинство распалось на множество партий. Царская власть была с течением времени значительно ограничена, но ореол, которым все еще был окружен престол, огромные богатства царских домов, их родственные связи с знатнейшими фамилиями города и главным образом право верховного начальства на войне, которого не могла отнять у царей никакая реформа, — все это составляло такую силу, которая в руках способного человека легко могла сделаться губительной для свободы государства. Таким образом, между двумя высши-

ми властями в государстве — между престолом и эфоратом — беспрестанно шла тайная борьба, и нужен был лишь ничтожный повод, чтобы она прорвалась наружу. Мы видели (с.303), что Спарта перенесла такой кризис непосредственно перед началом Персидских войн; в течение короткого времени царь из одного дома был лишен власти, а царь из другого дома — брошен в темницу и там убит. Если эти события нанесли тяжелый удар авторитету царской власти, то успехи 479 г. должны были, в свою очередь, снова упрочить ее. Удачная война всегда доставляет полководцу политическое влияние; естественно, что победители при Платее и Микале, Павсаний и Леотихид, приобрели в государстве такое значение, какого не имел ни один царь со времени падения Клеомена. Можно ли удивляться тому, что они постарались воспользоваться удобной минутой? Начальство над греческим союзным флотом, вверенное Павсанию в 478 г., дало ему в руки те средства, в которых он нуждался для осуществления своих целей. В эту минуту отпадение Ионии (с.313) свергло Павсания с его высоты. Он был отозван в Спарту, и его враги воспользовались случаем, чтобы обвинить его в изменнических сношениях с персидским царем. Однако Павсаний вышел из процесса победителем, и хотя правительство не имело в виду продолжать войну, тем не менее оно не решилось воспрепятствовать регенту, когда он на собственный риск снова отправился к Геллеспонту. Но прежнего положения ему уже не удалось занять; изгнанный афинянами из Византии, он удалился в Колоны в Троаде. Отсюда он будто бы вступил в сношения с персами, хотя мы не можем понять, какой помощи он мог ожидать от державы, которая не в состоянии была защитить от афинян даже свои собственные владения. Вскоре он снова был отозван эфорами в Спарту. Он задумал добиться своей цели революционным путем и начал подстрекать илотов к мятежу обещанием свободы и гражданских прав. Только теперь эфоры решили открыто напасть на регента; мнимые сношения с Персией представляли для этого удобный предлог. Павсаний знал, что предстоит ему на этот раз, и уклонился от ареста, бежав в храм Афины Халкиойкос; но эфоры велели замуро-

вать вход, и победитель при Платее умер от голода (около 470 г.). Приблизительно в одно время с Павсанием пал и его товарищ по власти, Леотихид II (469 г.). Он был послан с пелопоннесским войском в Фессалию, чтобы наказать за сочувственную персам политику знатную фамилию Алевадов, которая господствовала над Ларисой и другими городами. Но несмотря на то, что он достиг значительных военных успехов, он ограничился заключением договора, который, в общем, оставлял за Алевадами их прежние права. За это он был привлечен к суду, признан виновным в лихоимстве и лишен царского достоинства; он умер изгнанником в Тегее.

Таким образом, эфрат одержал победу в борьбе с царской властью; герои Персидских войн были устранены. Престол занимали теперь двое юношей — внук Леотихида, Архидам, и сын Леонида, Плистарх; значит, с этой стороны существующему строю не грозило никакой опасности. Прошло еще два столетия, прежде чем спартанский царь решился восстать против могущества эфоров.

Только теперь Спарта могла снова подумать о том, чтобы упрочить свою колеблющуюся гегемонию в Пелопоннесе. Лакедемонское войско вступило в Аркадию и при Тегее наголову разбило соединенных аргосцев и тегейцев. Под впечатлением этой победы Мантиней снова примкнула к Спарте, за что последняя согласилась признать синойкизм и демократическую конституцию Мантиней. После второй большой победы спартанцев при Дипее у южного склона Мэнала подчинились и все остальные аркадские города. Гегемония Спарты в Пелопоннесе была восстановлена в том же объеме, какого она достигла в эпоху Персидских войн; в продолжение поколения с лишним, вплоть до великой войны с Афинами, пелопоннесские союзники не сделали уже ни одной попытки свергнуть с себя эту зависимость.

Между тем волнение среди илотов не прекращалось, несмотря на энергичные меры правительства, которое не стеснялось извлекать виновных и подозрительных даже из храмов, пренебрегая правом убежища. В это время в Спарте произошло сильное землетрясение, которое разрушило почти все общественные и частные здания и похоронило под

развалинами значительную часть населения (около 464 г.). Илоты воспользовались катастрофой, чтобы начать давно подготовлявшееся восстание. В самой Лаконии мятеж не мог широко распространиться, так как перизекские города остались верны Спарте; тем больший успех имел он по ту сторону Тайгета: старая Мессения, вся как один человек, поднялась против спартанского владычества. Но если в первые минуты смятения илоты и одержали здесь несколько побед, то продолжительное сопротивление спартанцам, ввиду их превосходной военной дисциплины, было невысказано. Мятежники принуждены были покинуть долины и удалиться на гору Итому, которая, подобно крепости, возвышается в центре Мессении и уже однажды, более двух веков назад, послужила убежищем их предкам в войне со Спартой. Здесь, где все выгоды позиции были на их стороне, они с успехом отбивали приступы спартанцев. Война затягивалась, и при исконном неумении спартанцев вести осады невозможно было предсказать, сколько времени еще пройдет, прежде чем восстание будет подавлено. Между тем мешкать было опасно, потому что пока мессенцы держались на Итоме, спартанцы ничего не могли предпринять вне государства. Поэтому они решили не только пустить в ход против мессенцев все силы Пелопоннесского союза, но и просить помощи у союзных Афин.

Здесь в первые годы после Саламинской битвы самым влиятельным из государственных людей был Фемистокл. Он руководил восстановлением города после удаления персов, и он же закончил укрепление Пирея, которое начал когда-то в звании архонта; нет сомнения, что и организация морского союза была в значительной степени делом его рук. Но именно это положение во главе государства не позволяло ему надолго покинуть Афины и взять на себя руководство военными действиями против персов, с тех пор как театр войны был перенесен в Азию и Фракию. Таким образом, слава саламинского победителя постепенно меркла перед свежими лаврами Кимона. Сюда присоединялось еще то обстоятельство, что добрые отношения со Спартой, установившиеся во время персидского нашествия, естественно, начали колебаться,

с тех пор как Афины, благодаря основанию морского союза, заняли место рядом со Спартой, как равная ей держава. Понятно, что в Спарте причину этой перемены искали не в новом положении Афин, а в политике государственного человека, руководившего Афинами; и действительно, такой проныцательный политик, как Фемистокл, должен был раньше всякого другого прийти к убеждению, что мир между Афинами и Спартой не может долго продолжаться. Вследствие этого спартанцы употребили все свое влияние в Афинах на то, чтобы свергнуть Фемистокла, а это влияние все еще было могущественно. Участь Фемистокла была решена, когда к его противникам примкнул молодой, увенчанный военной славой Кимон. Он считал себя вправе занять первое место в государстве и видел единственный исход для Эллады в тесной связи Афин со Спартой. Эта коалиция все сильнее и сильнее оттесняла Фемистокла. Наконец, по-видимому, в 471 г. дело дошло до остракизма, и осужденным оказался Фемистокл. Основатель афинского могущества принужден был удалиться в изгнание в Аргос.

Но он и здесь не нашел убежища. Лакедемоняне обвинили его перед афинянами в том, что он принимал участие в измене Павсания; и действительно, очень вероятно, что он был не совсем чужд планам, направленным к ниспровержению господствующего порядка в Пелопоннесе. Партия, которая в это время стояла в Афинах у кормила власти, с радостью ухватилась за этот предлог, чтобы окончательно погубить своего врага. В Аргосе потребовали выдачи Фемистокла и затем гнались за ним по всей Греции, пока он не сделался наконец тем, чем хотели его сделать противники, и не обратился к единственному средству спасения, какое еще осталось ему на свете, — к защите персидского царя (465—464 гг.). Артаксеркс I, только что унаследовавший от своего отца Ксеркса престол Ахеменидов, ласково принял Фемистокла и пожаловал ему княжество Магнесию на Меандре.

После изгнания Фемистокла Кимон был, бесспорно, первым человеком в Афинах, тем более что Аристид и Ксантипп около этого времени умерли или, по крайней мере, покинули политическое поприще. Настоящий „юнкер“ с голо-

вы до ног, с рыцарским характером, но несколько ограниченным умом, преданный вину и любви, может быть, более, чем следовало бы, он был обязан своею популярностью столько же своей приветливости в обращении с людьми, хотя бы стоящими неизмеримо ниже него по общественному положению, и почти безграничной щедрости, какую дозволяло ему его княжеское богатство, сколько своим военным подвигам. Заслуживает ли он имени выдающегося полководца, — невозможно решить, потому что ему никогда не случалось выступать против других врагов, кроме персов и отпавших союзников; как бы то ни было, все его предприятия были увенчаны успехом. Именно теперь его влияние должно было еще более усилиться благодаря блестящей победе при Эвримедонте (выше, с.316). Но для государства эта победа имела тот результат, что дружественные отношения между Афинами и их союзниками начали теперь расстраиваться: опасность со стороны персов казалась надолго отсроченной, поэтому подчинение Афинам уже не являлось теперь такой настойчивой необходимостью, тогда как Афины, с другой стороны, начали сильнее затягивать поводья. И вот в 465 г. восстал Фасос, самый могущественный из союзных городов в северной части Эгейского моря. Но восстание осталось изолированным; Спарта, на поддержку которой рассчитывали фасосцы, не прислала помощи, потому что все силы государства были заняты борьбой с восставшими в это время илотами. Кимон без труда разбил фасосский флот, затем осадил город и на третьем году после отложения принудил его к сдаче. Фасос должен был отказаться от своих континентальных владений с их богатыми золотыми рудниками, скрыть свои укрепления, уплатить военные издержки и обязаться платить постоянную дань. Владычество Афин на фракийском берегу было снова упрочено, но попытка основать колонию на нижнем Стримоне, где позже возник Амфиполь, потерпела неудачу: окрестные фракийские племена взялись за оружие и уничтожили большую часть афинского войска. Сам Кимон был по возвращении с Фасоса привлечен к суду, обвиненный в том, что дал подкупить себя македонскому царю Александру I, который, очевидно, заступался за

фасосцев; в качестве обвинителя выступил молодой Перикл, но процесс окончился, как и следовало ожидать, полным оправданием Кимона.

Таково было положение дел в Афинах, когда Спарта обратилась к афинянам с просьбой о помощи против илотов, занявших Итому. Если с формальной стороны Афины едва ли были обязаны оказать ей эту поддержку, то не могло быть сомнений, что отказ с их стороны повлечет за собой разрыв со Спартой, которого Афины во что бы то ни стало должны были избегать, пока еще продолжалась борьба с персами. Так же несомненно было и то, что Спарта и собственными силами рано или поздно справится с мессенцами. Но и помимо всех этих соображений, личные симпатии Кимона к Спарте должны были побуждать его пустить в ход все свое влияние, чтобы склонить афинян к исполнению просьбы спартанцев. Тщетно противился этому Эфиальт, вождь демократической партии; решено было послать вспомогательный отряд, и сам Кимон двинулся в Мессению во главе 4 тыс. гоплитов (около 462 г.).

Но результаты не соответствовали ожиданиям спартанцев. Перед итомскими скалами оказалось бессильным и прославленное осадное искусство афинян. Далее, в афинском войске было немало людей, которые разделяли убеждение Эфиальта, что для Афин ничего не может быть выгоднее победы мессенцев. Как бы то ни было, в Спарте возникло подозрение против афинских союзников, и так как для простого оцепления неприятельской позиции было достаточно и пелопоннесской армии, то спартанцы дали знать Кимону, что более не нуждаются в его услугах.

Это оскорбление вызвало полный переворот в политической жизни Афин. Негодование, охватившее общество, естественно обратилось против виновника итомской экспедиции и против партии, вождем которой он был. Кимон потерял свое руководящее положение, которое он занимал со времени изгнания Фемистокла. Союз со Спартой был расторгнут, и во главе государства стал Эфиальт.

С тех пор, как — четверть века назад — было введено замещение должности архонтов посредством жребия, демо-

кратическое движение в Афинах приостановилось. Народ был пока доволен достигнутым; притом все его внимание было поглощено Персидской войной. Но существующий строй не мог долго держаться. Обширные полномочия, которые Солон предоставил Ареопагу и которых не решился отнять у последнего и Клисфен, оправдывались тем соображением, что эта коллегия состоит из лучших людей государства, — из тех, кто безукоризненно исполнил высшую государственную должность; но они сделались нелепостью, с тех пор как жребий открыл всем без исключения доступ к званию архонта и сама эта должность потеряла вследствие этого последние остатки своего прежнего значения. И помимо этого предоставление столь широких полномочий учреждению, члены которого оставались в своем звании всю жизнь и, следовательно, фактически были свободны от всякой ответственности, противоречило самому духу конституции. И вот Эфиальт предложил ограничить компетенцию Ареопага уголовной юрисдикцией, которой у него невозможно было отнять из сакральных соображений; все же политические функции Ареопага должны были быть переданы Совету, Народному собранию и, особенно, суду присяжных (гелизе), которые, как мы знаем, избирались по жребию из всех афинских граждан, достигших 30-летнего возраста. Большое число судей — в важных случаях до 1500 — и перемена их состава для каждого нового дела ручались за то, что решение гелизи будет соответствовать общественному мнению.

Понятно, что Кимон и его приверженцы должны были оказать этим планам сильнейшее противодействие. Их влияние все еще было так велико, что дело пришлось решить остракизмом. Народ высказался против Кимона; победитель при Эвримедонте принужден был уйти в изгнание, и предложения Эфиальта получили силу закона (461 г.). Напрасно консерваторы прибегли к последнему средству — к убийству. Правда, Эфиальт пал, запечатлев смертью идею, которой посвятил свою жизнь; но его дело пережило его, и народные суды оставались с тех пор палладиумом афинской свободы.

Руководство партией и вместе с тем управление государством перешли теперь к Периклу, сыну Ксантиппа из Хо-

ларга, победителя при Микале. Он был еще сравнительно молод, лет тридцати или несколько старше, и еще ни разу не имел случая отличиться на войне, да и вообще не обладал выдающимся военным талантом. Можно даже сомневаться в том, был ли он великим государственным человеком; по крайней мере, мы напрасно стали бы искать в его деятельности каких-нибудь действительно творческих идей. Ему не удалось также удержать Афинскую державу на той высоте, на которую возвели ее Фемистокл и Кимон, и, сходя с политической сцены, он оставил в наследство Афинам войну, которая в конце концов привела их к гибели. Но он был, как мы сказали бы теперь, великим парламентским деятелем. Как никто из его современников, он умел силою своей речи руководить массами и увлекать их за собой, и очень тонко чувствовал, чего требует общественное мнение. Семейные связи открыли ему путь к власти, и они же определили его положение в борьбе партий. Его мать Агариста была племянницей великого Клисфена, основателя афинской народной свободы; таким образом, Перикл был воспитан в традициях партии Алкмеонидов и во вражде к Кимону, и это должно было заставить его примкнуть к демократической партии, даже если бы он не понял, что ей принадлежит будущее.

Итак, Перикл продолжал дело, начатое Эфиальтом. Чтобы демократизация народных судов не осталась мертвой буквой, надо было дать беднейшим классам населения материальную возможность принимать участие в заседаниях гелиэи. По предложению Перикла было решено выдавать присяжным жалованье в размере двух оболов за каждое заседание — вознаграждение, приблизительно равное низшему дневному заработку афинянина в V столетии. Эта мера была тем более необходима, что иначе было бы невозможно собрать нужное число судей, которое сильно возросло с тех пор, как в афинских судах стали разбираться и важнейшие процессы союзников. Результатом было то, что значительная часть афинского населения скоро отвыкла от всякого производительного труда и начала смотреть на судейское жалованье как на свой главный источник пропитания.

Отсюда было уже недалеко до мысли, что государство вообще должно заботиться о пропитании своих граждан. Громадные общественные постройки, возведенные в Аттике в правление Перикла (см. выше, с.346), были предприняты отчасти именно с целью дать заработок беднейшему классу. Нередко также гражданам раздавали хлеб. Но что важнее всего, — политическое положение Афин давало возможность наделять землю за пределами Аттики тысячи афинских граждан. Если некоторые из этих так называемых клерухий были основаны главным образом с целью обеспечить надежными гарнизонами важные стратегические пункты, то большею частью при устройстве колоний на первом плане стояли социально-политические интересы, как, например, при нарезке земельных участков афинским гражданам в Халкиде и Эретрии после усмирения Эвбеи в 446 г., или на Лесбосе в 427 г., потому что большинство граждан, получивших эти наделы, оставались жить в Афинах, отдавая свои участки в аренду туземцам. Далее, неспособные к работе граждане получали из казны пенсию, правда, очень скудную, — всего по оболу в день, т.е. ровно столько, сколько было необходимо для покрытия самых насущных потребностей¹. Дети павших на войне граждан также до совершеннолетия содержались на счет государства.

Но этого мало. Уже тираны считали своим долгом увеселять народ роскошными зрелищами, и в этом отношении демократия не отставала от них. Празднества, которые устраивались в Афинах во время правления Перикла, по количеству и великолепию обстановки оставляли за собой все, что до тех пор видели греки.

Насколько остальные современные демократы следовали в этом отношении примеру Афин, мы не знаем, как не знаем и того, не подражал ли сам Перикл в своей политике другим городам. Во всяком случае можно думать, что остальные государства, ввиду ограниченности своих финансовых средств, тратили гораздо меньше на помощь „обездо-

¹ Позже пенсия была увеличена, очевидно, потому, что в IV веке цены возросли и на один обол невозможно было прожить.

ленному“ классу. Не следует также забывать, что и в самих Афинах правительство заботилось только о гражданах, т.е. о сравнительно небольшой части населения Аттики, причем средства для этих расходов доставлялись союзниками. Следовательно, и эта радикальная демократия фактически сводилась к эксплуатации большинства меньшинством.

Но все-таки демократическая идея была достаточно сильна, чтобы отразиться и на положении неполноправной и даже юридически бесправной части населения. Мы видели, что в общем чужеземцы пользовались в Афинах той же защитой законов и такой же свободой, как и граждане, и что они даже без большого труда могли приобретать право гражданства, пока, около середины века, величина материальных выгод, связанных с правом аттического гражданства, не заставила положить конец расширению привилегированного класса. Даже рабы пользовались в Афинах свободой, которой могли позавидовать небогатые граждане многих олигархических государств. Никто не имел права обидеть чужого раба, раб не должен был избегать гражданина на улице, и в одежде не было никакой разницы между свободным рабочим и рабом. Раб, с которым его господин дурно обращался, находил убежище в Тесейоне и других храмах и мог требовать, чтобы его продали другому господину. Что могли позволять себе рабы в доме, показывает комедия. Затем, рабы, знавшие какое-нибудь ремесло, обыкновенно получали право работать самостоятельно под условием уплаты господину умеренной подати; такие рабы фактически пользовались свободой и при некоторой бережливости легко могли добиться полного освобождения. Тем не менее, положение рабов в Афинах было, разумеется, очень печально; их участь все-таки была в руках господина, а перед судом можно было вынуждать у них показания пыткой.

И в Греции находились люди, которые требовали уничтожения всего института. „Бог всех нас создал свободными; природа никого не сделала рабом“, — говорит оратор Алкидам, ученик Горгия, у которого он, несомненно, заимствовал этот взгляд, представляющий логический вывод из учения софистов о превосходстве естественного права над челове-

скими законами. Правда, это радикальное требование не могло рассчитывать на успех в такую эпоху, когда промышленность основывалась почти исключительно на рабском труде, — тем более что большая часть рабов в греческих государствах состояла из варваров, которых считали низшими существами, самой природою обреченными на рабство. Но в одном отношении агитация в пользу человеческих прав не осталась безуспешной. То жестокое военное право, которое обращало врага в раба победителя, начало терять почву в общественном мнении, по крайней мере поскольку дело шло о греках. Когда в 427 г. отложившийся союзный город Митилена снова покорился Афинам, то в первую минуту ожесточения народ постановил казнить взрослых граждан города, а женщин и детей продать в рабство, но на другой же день отменил это решение и оставил митиленцам жизнь и свободу. Спартанский адмирал Калликратид после взятия Метимны в 406 г. не лишил свободы ни одного из граждан города. Так же поступил в следующем году Лисандр, взяв Лампсак. Правда, эти начала далеко еще не достигли всеобщего признания, но первый шаг к выработке более гуманного военного права был сделан.

Демократическое движение должно было отразиться и на положении женщин. Совершенно неправильно думать, что положение греческой женщины в классическую эпоху было унижительно или даже ухудшилось со времени Гомера. Напротив, мы уже видели, что в VII веке покупка невесты вышла из употребления и что, наоборот, невесту стали снабжать приданым. Но до V столетия обращали внимание только на законное происхождение невесты и не придавали никакой цены тому, пользовалась ли семья ее матери правом гражданства в государстве. Как у Гомера микенец Агамемнон предлагает свою дочь в жены фтиотийцу Ахиллу, как Гектор женится на девушке из мисийских Фив, так еще мать Клисфена была родом из Сикиона, а мать Кимона — дочью фракийского князя, и, однако, никому не приходило в голову оспаривать принадлежность того или другого к числу полноправных афинских граждан. Теперь дело изменилось. В 451—450 гг. по предложению Перикла было постановлено, что правом афинского гражданства должен пользоваться только тот, чьи

отец и мать были полноправными гражданами; такие же законы были изданы и в остальных греческих государствах, так что с этих пор нужны были особые договоры, чтобы браки между гражданами различных государств могли считаться законными.

Если в некоторых отношениях эти законы и носят реакционный характер, то, с другой стороны, они свидетельствуют о том, что женщина стала пользоваться большим уважением. Действительно, в Спарте женщины задавали тон в обществе, и значительная часть имущества находилась в их руках. Свободное обращение между полами, которое господствовало здесь, представляло большой соблазн для греков из других областей. В Афинах, в Ионии и вообще в большей части Греции деятельность женщин ограничивалась преимущественно домашним хозяйством; но в этой области они отлично умели отстаивать свое господство, и не одна из них держала мужа под башмаком. Кто женился на богатой женщине, тот не раз имел случай убеждаться, что потерял свою свободу. В резком противоречии с этими фактическими отношениями стояла юридическая зависимость женщины от мужчины, и это противоречие сильно давало себя чувствовать. Многие сознавали необходимость эмансипировать женщин, и этот вопрос, очевидно, часто обсуждался в Афинах, если Аристофан мог сделать его предметом своей прелестной пародии в „Женщинах в народном собрании“. Просвещенные люди понимали, что прежде всего необходимо преобразовать систему женского воспитания, потому что именно то новое образование, которое распространяли софисты, способствовало увеличению пропасти между полами. Характерно, что V столетие уже не произвело ни одной выдающейся поэтессы. Правда, это требование легче было поставить, чем осуществить, потому что при господствовавших социальных предрассудках греческая девушка не имела никакой возможности приобрести высшее образование, если не хотела переступить границ общепринятой морали, — шаг, которого ни одна женщина не может сделать безнаказанно.

Однако находились женщины, которые имели достаточно мужества, чтобы пренебречь этими предрассудками и

вступать в школы софистов; общество смотрело на них, конечно, как на гетер, и в известном смысле они обыкновенно оправдывали это название. Мужчины были, разумеется, очарованы этим новым явлением; здесь они находили то, чего напрасно искали дома — развитое и интересное женское общество. Таким образом, эти гетеры сделались оживляющим элементом греческого и в особенности афинского общества; в их приемных собиралась не только „золотая молодежь“, но и великие философы, художники и государственные люди; даже сам Сократ не пренебрегал их знакомством. Конечно, мы не должны прилагать к этим женщинам мерки общепринятой морали; они действительно были эмансипированы во всех отношениях; но не следует также забывать, какое могущественное влияние они имели на культурное развитие Греции. Они впервые снова показали грекам идеал образованной женщины, и если гречанка эллинистической эпохи снова сделалась подругой и сотрудницей мужа, то это была опять-таки заслуга гетер; раз эта цель была достигнута, их руководящая роль в обществе должна была кончиться.

Самой знаменитой из этих эмансипированных женщин V века была красивая и талантливая милетянка Аспасия. Она переселилась в Афины между 450 и 440 гг. Здесь она сумела настолько привязать к себе правителя государства, Перикла, что он ради нее бросил свою знатную жену. Дело, конечно, не обошлось без большого скандала, и комедия беспрестанно возвращалась к этой благодатной теме; но Перикл все-таки добился того, что большая часть афинского общества признала Аспасию равной себе и что даже женщины из лучших фамилий города не стеснялись посещать ее собрания. Правда, при господствующих предрассудках это подвергало опасности их доброе имя, и обвинение, которое позже предъявил против Аспасии Гермипп, основывалось отчасти именно на том, что она склоняла свободных афинянок к безнравственному образу жизни. Во всяком случае Перикл не мог сделать ее своей законной женою, потому что между Афинами и Милетом не существовало эпигамии; но сын, которого родила ему Аспасия, был позже признан законным и, несмотря на

сильное противодействие, достиг высшей должности в государстве — стратегии.

Характерно, с какой легкостью Перикл переступил границы общепринятой морали. Он действовал в этом отношении совершенно в духе своего времени; перед естественным правом любви должны были отступить все права брака, основанные на человеческих законах. Вообще основное стремление этого века — освободиться от всякого принуждения, в какой бы форме оно ни проявлялось, и, может быть, никогда более этот идеал не был осуществлен в такой степени, как в Афинах IV века. Здесь господствовала, прежде всего, неограниченная свобода слова; афиняне справедливо гордились ею и предоставляли ее отчасти даже метекам и рабам. Даже на сцене долгое время можно было поносить и осмеивать любого гражданина, каково бы ни было его общественное положение; закон 440 г., ограничивший эту свободу, был отменен уже через три года. Но позже (426 г.?) было запрещено, по крайней мере, выводить на сцену под собственными именами магистратов, еще находящихся в должности; в общем же комедия по-прежнему сохраняла право критиковать существующие порядки. И вообще закон лишь настолько вмешивался в частную жизнь граждан, насколько это было безусловно необходимо. Вольность, которая вытекала отсюда, имела, конечно, и дурные стороны, но она была во всяком случае несравненно лучше мелочной полицейской регламентации олигархических государств, не говоря уже о военной дисциплине Спарты.

Несмотря на все это, власть, даже в Афинах, еще долго оставалась в руках знати. На должность стратегов до начала Пелопонесской войны избирались почти исключительно знатные, хотя доступ к этому званию был открыт для каждого гражданина, который имел детей от законного брака и недвижимое имущество. Точно так же обстояло дело в остальных греческих демократиях, например в Сиракузах. И могло ли быть иначе, когда крупные богатства заключались еще главным образом в земле и сосредоточивались в руках знатных фамилий?

Этот порядок вещей, конечно, вызывал против себя оп-

позицию. Геродот насмехается над логографом Гекатеем, который в одном месте своего сочинения перечислял своих 15 предков, включая и божественного родоначальника своего рода. Еврипид не упускает случая доказать всю нелепость притязаний знати, а софист Ликофрон полагает, что красота знати очень сомнительна, а ее влияние основывается только на предрассудке.

Успеху этой агитации значительно содействовало экономическое развитие, которое поставило богатства, приобретенные посредством торговой или промышленной деятельности, наравне с землевладением. Кроме того, политические бедствия последних десятилетий V века способствовали обеднению значительной части знати, причем каждый мог собственными глазами видеть, чего стоит „благородное“ происхождение без богатства. И вот в 425 г. кожевник Клеон достигает в Афинах той самой должности, которую раньше занимали Кимон и Перикл. Афинской аристократии и ее приспешникам это казалось началом конца — не потому что Клеон был неспособным государственным человеком: он не был им, или по крайней мере в гораздо меньшей степени, чем его аристократический противник Никий, — а потому, что он собственными силами выбился из народа. Но ничто не помогло — ни язвительные насмешки, которыми комедия беспрестанно осыпала Клеона, ни даже то, что его политика, наконец, потерпела полную неудачу при Амфиполе. Когда он пал, его место заняли другие люди из народа, и со времени попытки олигархической реакции 404—403 гг. знать была почти совершенно устранена от правления государством. С этих пор в Афинах существует только противоположность между зажиточным и неимущим классом, и то же самое наблюдается во всех греческих государствах, которые усвоили демократический строй или прошли через школу демократии. Каждый образованный и состоятельный человек претендует, по выражению той эпохи, на имя благородного человека (*колос кагаток*) или знатного (*гноримос*). Этим была завершена демократизация греческого общества.

ГЛАВА XIV

Период политического равновесия

Во времена Дария и Ксеркса Спарта была единственной великой державой Греции; никто не пытался оспаривать у нее предводительство в борьбе с персами, и даже на море афиняне добровольно подчинились ее начальству, несмотря на превосходство своего флота. Это положение вещей изменилось со времени основания Делосского союза. Спарта скоро заметила, какую большую ошибку она сделала, отказавшись от дальнейшего участия в Персидской войне, а вместе с тем и от господства на море; и по крайней мере одна партия настойчиво требовала, чтобы Спарта исправила свою ошибку, пока еще не поздно. Удобный случай для этого представился в ту минуту, когда могущественный Фасос восстал против Афин и обратился за помощью к Спарте. Действительно, есть известие, что спартанцы готовились уже двинуть войско в Аттику, когда восстание илотов принудило их употребить все силы на защиту своей собственной страны.

Таким образом, до поры до времени мир между обоими передовыми государствами Греции оставался ненарушенным; мы видели, что афиняне отправили даже войско против засевших в Итоме мессенцев, и только оскорбление, которое нанесли им спартанцы, отослав обратно их вспомогательный отряд, заставило Афины изменить свою политику. Крайняя демократическая партия, в руки которой перешло теперь управление государством (см. выше, с.370), объявила расторгнутым союз со Спартой, заключенный во время Персидских войн, и вместо того вступила в союз с заклятыми врагами Спарты, аргосцами. К Афинам и Аргосу вскоре примкнула и Фессалия, где еще жива была память о походе Леотихида.

От слов тотчас перешли к делу. Между Мегарой и Коринфом, которые оба были в союзе со Спартой, из-за пограничных споров вспыхнула война; так как Спарта не хотела или не могла подать помощь Мегаре, то последняя отложи-

лась от Пелопоннесского союза и обратилась к Афинам, с которыми ее связывала не только общность демократического устройства, но и экономические интересы. Аттические гарнизоны заняли главный город области и порт Паги на Коринфском заливе; сам город, отстоявший от моря приблизительно на $1\frac{1}{2}$ км, был соединен со своей гаванью Нисеей двумя рядами укреплений, чем предотвращена была опасность быть запертым с суши.

Таким образом, война между Коринфом и Мегарой превратилась в войну между Коринфом и Афинами. Коринф заключил союз с городами арголидского побережья, Эпидавром, Гермией и Галикою. Попытка афинян высадиться в области Галики на южной оконечности Арголиды была отбита; зато афиняне одержали морскую победу при небольшом острове Кекрифалия вблизи Эпидавра. Теперь на сторону Коринфа перешла и Эгина, старая соперница Афин. Однако, несмотря на испытанное морское искусство эгинетов и хотя 200 триер Афин и их союзников были заняты в Египте борьбой с персами, — афиняне и на этот раз одержали верх. Неподалеку от Эгины пелопоннесский флот был разбит наголову и победителям досталось 70 триер; с этого дня значение Эгины как морской державы падает. Афиняне тотчас же отправили войско на остров и осадили его столицу. Коринфяне, которые попытались отвлечь их набегом в Мегариду, были отбиты с большим уроном (458 г.).

Спарта не могла долее оставаться безучастной зрительницей афинских побед. Итома все еще держалась; но мятежники были уже настолько ослаблены, что, по крайней мере, часть пелопоннесских сил можно было употребить на какое-нибудь другое предприятие. В 457 г. около половины союзной армии — 11 тыс. 500 тяжеловооруженных — двинулось в Среднюю Грецию. Команду вручили брату Павсания, Никомеду, который был в это время регентом за своего малолетнего племянника, сына Павсания, Плистоанакта, только что сменившего на престоле Агиадов своего двоюродного брата, Плистарха. Пока мессенское восстание не было окончательно подавлено, Спарта хотела избежать открытой войны с Афинами; поэтому предложением для вторжения в Сред-

нюю Грецию была выставлена распря между дорийцами, жившими в долине Кефиса, и фокейцами. Дориду удалось отстоять без единой битвы, потому что фокейцы были слишком слабы, чтобы противостоять такой армии. Теперь стали обнаруживаться истинные цели спартанской политики. Никомед перешел беотийскую границу и стал лагерем близ Фив, которые встретили его с открытыми объятиями. Он находился в сношениях с представителями олигархической партии в Афинах и ждал повода для набега.

Афиняне поняли опасность и решили предупредить ее. Все гражданское ополчение было призвано к оружию, из Аргоса, Фессалии и городов морского союза были вытребованы вспомогательные отряды. Несмотря на то, что значительная часть аттических сил находилась в Египте и на Эгине, образовалось войско в 14 тыс. гоплитов, по количеству почти равное соединенной армии пелопоннесцев и фиванцев. Афиняне решили действовать наступательно. Враги встретились между Танагрой и Фивами; здесь афиняне и лакедемоняне впервые померились силами в открытом поле. Битва была очень кровопролитна, и победа осталась за пелопоннесцами, — как говорили афиняне — вследствие измены фессалийской конницы, которая во время сражения перешла на сторону врагов. Однако побежденным удалось отступить из Беотии без больших потерь, а сами пелопоннесцы были настолько ослаблены, что Никомед не решился вторгнуться в Аттику. Афинские олигархи тщетно ждали обещанной помощи. Победители удовольствовались тем, что принудили областные города Беотии возобновить свой союз с Фивами, расторгнутый двадцать лет назад, после битвы при Платеях. При этом имелось в виду создать противовес для Афин, который впредь мешал бы последним действовать наступательно против Пелопоннеса. Отсюда Никомед двинулся на юг через Мегариду и проходы Герании; отрезать ему отступление афиняне не решились.

Таким образом, Средняя Греция была снова предоставлена самой себе, и Афины не замедлили воспользоваться удобным моментом. Как только разбитое при Танагре войско оправилось, афиняне, под предводительством Миронида,

снова перешли беотийскую границу. Основанный недавно союз не был в состоянии собственными силами выдержать натиск, против которого только с трудом устояли пелопоннесцы. При Энофитах афиняне наголову разбили беотийское союзное войско, на 62-й день после битвы при Танагре. Последствием этого удара было распадение союза. За Фивами снова осталась только их собственная область, а все остальные города Беотии вступили в тесный союз с Афинами; их примеру последовали Фокида и Опунтская Локрида, первая — добровольно, вторая — по принуждению. Таким образом, вся область от Истма до Фермопил, за исключением одних только Фив, подчинилась афинской гегемонии. Зато попытка овладеть и Фессалией, сделанная афинянами в следующем году, осталась безуспешной.

Другим последствием битвы при Энофитах была капитуляция Эгины, осада которой не была прервана, несмотря на опасность, угрожавшую самой Аттике. Условия сдачи были очень тяжелы: Эгина принуждена была выдать афинянам свой военный флот, срыть стены и вступить в морской союз, причем обязывалась вносить ежегодно по 30 талантов, сколько не платил в это время ни один из городов союза. Соседний Трезен также перешел теперь на сторону афинян.

Около этого же времени было исполнено громадное предприятие, которое должно было завершить оборонительную систему Афин: город был соединен со своими гаванями двойной линией укреплений. Это была грандиозная постройка, какой до тех пор не существовало в Греции; достаточно сказать, что расстояние от Афин до Пирея было равно сорока, до Фалер 35 стадиям, т.е. в первом случае 7-ми, во втором 6 км. Теперь Афинам при всяких обстоятельствах было обеспечено сообщение с морем, хотя бы в Аттику вторгся сильнейший неприятель; в этом случае уже не пришлось бы покидать город и искать убежища в Пирее — отчаянное средство, к которому думал прибегнуть еще Фемистокл.

Впрочем, опасность неприятельского нашествия казалась пока надолго отсроченной. Напротив, теперь сами афиняне, получив благодаря падению Эгины и завоеванию Бео-

тии полную свободу действий, решили перейти в наступление. Под начальством Толмида был отправлен флот к берегам Лаконии, очевидно, с целью отвлечь внимание спартанцев от мессенцев, которые все еще держались на высотах Итомы. Действительно, Толмиду удалось разрушить спартанский арсенал в Гифее и овладеть Метоной на мессенском берегу, однако, когда явились спартанцы, Метону пришлось оставить. Таким образом, главная цель похода не была достигнута. Толмид предоставил мессенцев их собственной участи и обратился в Этолию, где овладел коринфской колонией Халкидой и сильным Навпактом в области озольских локрийцев (456 или 455 г.). Около этого же времени примкнула к Афинам и Ахея.

Дольше мессенцы не могли держаться на Итоме; после десятилетнего сопротивления всем военным силам Спарты они капитулировали в 455 г. на условии свободного пропуска. Афиняне отвели им места для поселения в только что завоеванном Навпакте. Чтобы упрочить афинское влияние в этих областях, Перикл в следующем году (454) предпринял из Паг в Мегариде экспедицию по Коринфскому заливу и осадил крепкие Эниады, расположенные среди болот у устья Ахелоя; но город оказал мужественное сопротивление, и Перикл принужден был уйти ни с чем.

Между тем Персидская война шла своим порядком. Радикальная демократия, сменившая Кимона в правлении государством, была не менее убеждена в необходимости энергичной наступательной войны против персидского царя, чем сам Кимон. И как раз в то время, когда в Афинах совершался политический переворот, представился для этого необыкновенно благоприятный случай. В 465 г. умер Ксеркс, и его сыну Артаксерксу I только после долгих неурядиц удалось упрочить за собой престол. В это время, как некогда после смерти Дария, в Египте вспыхнуло восстание (463 г.). Во главе движения стал ливиец Инар, князь Марей (вблизи позднейшей Александрии). Сатрап Ахеман, дядя царя, потерпел сильное поражение при Папремиде, в западной части Дельты, и сам пал в битве. Нижний Египет был освобожден от персидского владычества; но Инар хорошо понимал, что

только в союзе с Афинами он мог надеяться удержать за собой страну и совершенно очистить ее от персов. В это время 200 триер афинян и их союзников стояли на якоре близ Кипра; по приглашению египетского царя этот флот вошел в Нил (около 460 г.) и очистил реку от персидских кораблей. Затем была занята столица государства, Мемфис; только в сильно укрепленной цитадели, в „белом замке“, еще держались остатки неприятельской армии.

Теперь Артаксеркс I сделал попытку побудить лакедемонян к войне с Афинами; но хотя его посол Мегабиз не жалел денег, Спарта не решилась вступить в союз с национальным врагом. Между тем было снаряжено новое персидское войско под начальством Мегабиза, сына того Зопира, которому Дарий был обязан завоеванием Вавилона; и на этот раз счастье оказалось более благоприятным. Египтяне и их греческие союзники были разбиты в открытом поле (456 г.), Мемфисская крепость освобождена, греки заперты на нильском острове Просопитид в западной части Дельты и после восемнадцатимесячной осады принуждены к сдаче (весной 454 г.). Только жалкие остатки войска спаслись в Ливию и через Кирену вернулись в отечество. Вспомогательный флот в 50 триер, посланный из Кипра, пришел слишком поздно и сам большею частью попал в руки победителей. Царь Инар был взят в плен и распят; Египет снова покорился персидскому царю.

Такого поражения еще никогда не терпела ни одна греческая армия; неудивительно, что оно произвело глубокое впечатление на весь греческий мир. До сих пор Персидская война была непрерывным рядом побед; теперь, казалось, Греции грозила опасность снова потерять все то, что было добыто ценой стольких усилий. В первую минуту смятения собрание афинских союзников, по предложению Самоса, решило перенести союзную казну с открытого Делоса в Афинский Акрополь. Сами афиняне поспешили вернуть из изгнания Кимона; это был не только испытанный полководец, который не потерпел ни одного поражения от персов, но и единственный человек, который мог устроить мир со

Спартой, в чем Афины теперь так сильно нуждались ввиду грозной опасности с Востока.

Страх перед персами подействовал и на Спарту. Военные действия против Афин были прекращены, и Кимону удалось, наконец, добиться перемирия на пять лет (451 г.). Этим Спарта показала, что она вовсе не склонна признать современное положение дел в Греции окончательным, но хочет дать Афинам время отразить персидское нашествие. Оставляя за собой, таким образом, свободу действий по отношению к Афинам, Спарта заключила в то же время тридцатилетний мир с Аргосом, чем разрушила коалицию, с которою ей приходилось бороться в последние годы. Так дорого обошлось Афинам перемирие.

Однако Греция не подверглась персидскому нашествию. Даже Египет был еще не вполне покорен; мятежники еще держались на ливийской границе под предводительством Псамметиха, сына Инара, и в болотах у берегов Дельты — под начальством Амиртея. Греческие города на Кипре также отказывались признать персидское владычество. Таким образом, войско и флот великого царя были пока заняты на Востоке; но Кимон лучше всякого другого понимал, что необходимо приложить все усилия, чтобы не дать персам овладеть этими передовыми постами греческого мира. Как только перемирие со Спартой окончательно вошло в силу, он двинулся к Кипру с флотом в 200 триер. Здесь, при осаде финикийского города Кития, он заболел и умер. Между тем с восточной стороны подошел к острову персидский флот и высадил на берег сильный отряд войска. Узнав об этом, афиняне сняли осаду Кития и двинулись морем навстречу неприятелю. У кипрского Саламина произошла последняя битва Персидской войны, и снова победа, как на море, так и на суше, осталась за греками. По размерам и важности эта победа была почти равна эвримедонтской; афиняне захватили 100 неприятельских кораблей, отомстили за поражение в Египте и блистательно доказали, что Афины все еще являются первой морской державой мира.

Но войны с варварами они не продолжали. Со смертью Кимона управление государством снова перешло в руки Пе-

рикла, а он держался того взгляда, что Афины нуждаются прежде всего в спокойствии, которое дало бы им возможность собраться с силами для неизбежной войны с пелопоннесцами. Войны последних лет до крайней степени истощили военные силы государства. Случайно сохранившийся список павших в битве граждан одной из десяти фил, на которые делилось население Аттики, от 458 г., когда афииняне воевали при Мегаре, Эгине и в Египте, содержит 177 имен; если потери остальных фил были так же велики, то один этот год обошелся государству в 1700 человек, тогда как общее число мужчин, способных нести оружие, едва ли превышало 25—30 тыс.

Еще значительнее были, вероятно, потери, понесенные афиинянами при Танагре и в египетской экспедиции; и несмотря на все эти жертвы, египетский поход окончился полной неудачей. Было ясно, что Афины не в состоянии вести войну одновременно на два фронта — против Пелопоннеса и Персии, и перед этим фактом должны были умолкнуть все другие соображения. Перикл отозвал флот от Кипра и вступил в переговоры с персидским царем.

Привели ли эти переговоры к формальному миру между Афинами и Персией, это открытый и, в сущности, праздный вопрос. Во всяком случае враждебные действия между обеими державами с этих пор прекращаются. Афины отказываются от попыток отнять у персидского царя Кипр и Египет, а царь не оспаривает у Афин верховной власти над греческими городами азиатского побережья. В течение ближайших пятидесяти лет ни один персидский флот не входил в Эгейское море.

Опасения Перикла насчет новых осложнений в Греции после окончания пятилетнего перемирия были вполне оправданы событиями. Движение началось среди самих членов Афинского союза. То обстоятельство, что после победы при Энофитах афиинянам не удалось подчинить своему влиянию и Фивы, оказалось роковым для Афин. Фивы представляли собой неприятельскую область внутри Афинского союза и естественный центр для всех элементов, стремившихся к ниспровержению существующего порядка. И Фивы были

тем опаснее, что демократия, установившаяся здесь со времени Персидских войн, вследствие битвы при Энофитах, пала и ее место заняла олигархия; таким образом, было устранено последнее препятствие к союзу между Фивами и олигархами, изгнанными из беотийских и эвбейских демократий. Пока продолжалось перемирие между Афинами и Спартой, все оставалось спокойным; но как только его срок окончился, немедленно начались военные действия. Изгнанники заняли Херонею и Орхомен (446 г. до Р.Х.); афинское войско под начальством Толмида, которое тотчас же вступило в Беотию, овладело Херонеей, но от Орхомена было отбито и на обратном пути совершенно уничтожено в битве при Коронее у Копайдского озера. Сам Толмид пал; чтобы выкупить многочисленных пленных афинян, принуждены были очистить всю Беотию. Теперь повсюду был введен олигархический образ правления и возобновлен старый союз с Фивами; только Платей остались верны Афинскому союзу. Локрида и Фокида также отпали от Афин.

Отпадение Беотии было сигналом для восстания Эвбей и Мегары; афинские гарнизоны удержались только в портовых городах Нисее и Пагах. И в эту минуту, когда перемирие только что окончилось, пелопоннесское союзное войско, под предводительством молодого царя Плейстоанакса, при котором, в качестве военного советника, находился опытный военачальник Клеандрид, двинулось через Истм, и перейдя границы Аттики, проникло до Элевсина. Ввиду неприятеля Перикл с гражданским ополчением Аттики занял горные высоты, отделяющие Элевсинскую равнину от Афинской. До битвы дело не дошло, потому что Перикл был готов купить мир хотя бы ценою тяжких жертв. Афины отказались от Мегары и от всех своих владений в Пелопоннесе: Ахея и Трезен были отпущены из Афинского союза, Нисея и Паги очищены от гарнизонов; за это пелопоннесцы признали морскую гегемонию Афин. На этих условиях был несколько позже заключен тридцатилетний мир между Афинами и Спартой (зимой 446—445 гг.).

Таким образом, хотя и дорогой ценою, непосредственная опасность была предотвращена. Перикл мог теперь об-

ратиться против Эвбеи, и во главе 5000 гоплитов он без большого труда принудил ее к повиновению; остров был жестоко наказан за свою измену. Жители Гитеи были изгнаны, и область роздана аттическим переселенцам; остальные общины, правда, остались на своих местах, но также принуждены были уступить значительную часть своей земли и были поставлены в полную зависимость от Афин.

Если положение Перикла было поколеблено уже египетской катастрофой, то теперь оно пошатнулось еще гораздо сильнее: по его вине Афины утратили свое влияние на греческом материке. Противная партия не замедлила извлечь выгоду из этого обстоятельства. Во главе оппозиции стоял теперь, после смерти Кимона, его родственник Фукидид, сын Мелесия из Алопеки, происходивший из знатной семьи, превосходный оратор и — что, как известно, нечасто встречалось между государственными людьми Греции — человек, личная безукоризненность которого признавалась всеми, — по свидетельству Платона и Аристотеля, один из лучших граждан, которых произвели Афины. Правда, лишенный ореола военной славы, он не мог заменить своей партии Кимона; но при современном положении вещей и Фукидид был для Перикла чрезвычайно опасным противником.

Однако большинство населения Аттики не поддалось реакции. Весной 445 г. Фукидид подвергся остракизму; теперь Перикл не имел соперников в управлении государством. Из года в год его избирали стратегом; в Совете и Народном собрании его слово было законом. Таким могуществом не пользовался ни один афинский гражданин со времен Гиппия, и оппозиция не замедлила провести параллель между ними. Это была, как говорит историк Фукидид, „...демократия только по имени, — в действительности же Перикл правил государством самовластно“ Но эта власть основывалась исключительно на добровольном подчинении граждан. Для тирании Периклу недоставало преданного ему лично войска; поэтому, когда он потерял доверие народа, достаточно было одного голосования, чтобы свергнуть его с высоты величия.

При том глубоком мире, который — впервые после по-

хода Ксеркса — господствовал теперь повсюду, Перикл мог посвятить все свое внимание укреплению морского союза. Если последний первоначально представлял собой основанную на добровольном соглашении федерацию вполне самостоятельных государств для совместной защиты против персов, то уже вскоре самый ход событий должен был усилить значение руководящей державы. Было естественно, что у мятежных членов союза — у Наксоса, Фасоса, Халкиды, Эретрии — после их усмирения отнимали возможность повторить восстание. Они должны были выдать свои военные корабли, скрыть свои стены и вместо военных отрядов, которые они до сих пор поставляли, вносить дань в союзную казну. Если в таком городе господствовала олигархия, она заменялась теперь демократическим образом правления.

Обыкновенно он лишался и известной части своей земли, которую часто раздавали гражданам Аттики. В особенно тяжелых случаях изгоняли все население возмущившегося города; впервые так поступил Перикл с Гестиеей, а во время Пелопоннесской войны эта мера применялась очень часто. Изгнанное население заменялось аттическими гражданами, которые для заведования местными делами составляли отдельную общину, но во всех остальных отношениях по-прежнему принадлежали к Афинскому государству. Точно так же поступали иногда и при завоевании областей, ранее не принадлежавших к союзу, например, после покорения Кимоном Скироса; уже во время восстания ионийцев варварское туземное население Лемноса и Имброса было изгнано и замещено афинскими поселенцами. Эти „клерухии“ являлись, конечно, самыми надежными опорными пунктами афинского владычества.

Но и кроме восстаний, было немало поводов для вмешательства руководящей державы во внутренние дела союзных городов. При частых неисправностях в уплате дани приходилось взыскивать ее в исполнительном порядке; для этой цели Афины держали на Эгейском поре постоянные эскадры. При столкновениях союзных государств между собой, равно как и при партийных раздорах внутри отдельных городов, Афины являлись естественным посредником, и сла-

бая сторона действительно почти всегда обращалась к ним с просьбой о помощи или вмешательстве. Для поддержания внутреннего порядка Афинам в таких случаях нередко приходилось посылать в союзные города военные отряды, и начальник гарнизона приобретал, конечно, руководящее влияние на внутренние дела города; впрочем, в большинстве случаев Афины довольствовались посылкой гражданских комиссаров.

Но главным образом вмешательство Афин вызывалось несовершенством судебных порядков. Если мы вспомним, в каком положении находилось судопроизводство в самих Афинах, то нам легко будет составить себе представление о характере юрисдикции в средних и небольших городах союза, из которых лишь немногие насчитывали 10 тыс. жителей. Судопроизводство неизбежно должно было обращаться в орудие личных и политических интересов, и, следовательно, повсюду, где управление находилось в руках враждебной Афинам партии, друзья Афин были беззащитны против произвола своих противников. Чтобы положить конец этим беспорядкам, существовало при тогдашних условиях только одно средство: лишение союзных государств права высшей уголовной юрисдикции и передача всех процессов этого рода на суд афинских присяжных. Впервые эта мера была применена к некоторым отпавшим союзным городам, как, например, к Халкиде, после усмирения Эвбеи в 446 г., но постепенно принудительная юрисдикция была распространена на большую часть союзных государств. Так как афинские присяжные руководились, конечно, аттическими законами, то эта мера привела прежде всего к объединению большей части союза в отношении уголовного права, но и помимо этого успеха, решение чужих судей — по крайней мере там, где не были замешаны в дело политические интересы Афин — без сомнения, гораздо вернее обеспечивало справедливость приговора, чем суд сограждан. Правда, судебные издержки союзников сделались благодаря этому очень велики: тяжущиеся принуждены были совершать далекое путешествие в Афины и здесь, ввиду огромного накопления дел в судах, ждать решения иногда по целым месяцам. И если мы

вспомним, как смотрели на народные суды образованные люди в самих Афинах, то мы легко поймем, какие чувства должна была возбуждать в союзниках принудительная юрисдикция этих судов.

Чем больше государств приходило, таким образом, в зависимость от Афин, тем ничтожнее должно было становиться значение союзнического совета; с того времени, как казна была перенесена в Афинский Акрополь, собрания союзников происходили все реже и реже и, наконец, прекратились совсем. Теперь Афины управляли делами союза совершенно по своему произволу; вопросы о войне и мире решались в Афинском народном собрании, и его постановления были обязательны для всех союзных государств. Величина взносов определялась афинскими податными комиссиями; если какой-нибудь город был недоволен раскладкой, он должен был обращаться со своей жалобой в Афинский народный суд, который и решал дело в последней инстанции. Пока во главе государства стоял Перикл, размеры податей оставались в общем те же, какие были установлены еще Аристидом; только уже финансовые затруднения во время Пелопоннесской войны принудили афинян удвоить и утроить союзнические взносы, пока, наконец, не было решено совершенно оставить старую податную систему и заменить дань портовыми пошлинами. С целью упорядочить сбор податей союз был в 442 г. разделен на пять округов: Ионию, геллеспонтские области, Фракию, Карию и „острова“ (т.е. Киклады, Эгина, Эвбея, Лемнос и Имброс).

Относительно способов употребления союзных денег также самовластно решало Афинское народное собрание. Перикл не постеснялся открыто заявить, что в этом отношении Афины не обязаны отдавать союзникам никакого отчета, раз они исполняют взятые ими на себя обязанности — защищать союзников против Персии и поддерживать порядок на море. Естественно, что с течением времени все бóльшая и бóльшая часть союзных денег тратилась на удовлетворение чисто афинских нужд. Жалованье судьям, насколько не хватало для этого доходов самого суда, — содержание конницы, дорогие постройки, которыми Перикл украсил Афины, —

все эти расходы покрывались из союзнических взносов. Для финансовой силы союза эта система имела роковые последствия: тогда как до сих пор, несмотря на войны, казна постоянно возрастала, теперь, в мирное время перед Пелопоннесской войной, она уменьшилась на целую треть, с 9700 до 6000 талантов.

Но всячески урезывая права союзных государств и превращая союз в Афинскую державу — *архе*, Афины не делали ничего, чтобы внутренне связать с собою союзников. Только с трудом добилась Эвбея права эпигамии, которое Афины все равно должны были бы даровать ей ввиду многочисленности поселившихся на острове афинских граждан. Но ни Кимон, ни Перикл, ни какой-либо другой государственный человек Афин не имели в виду даровать союзникам или, по крайней мере населению Эвбеи и Киклад, которое находилось в таком близком родстве с афинянами, право аттического гражданства. Эта мысль возникла только после сицилийской катастрофы, когда было уже поздно приводить ее в исполнение. Страх перед персами, который первоначально заставил союзников сплотиться вокруг Афин, с течением времени все более ослабевал; и если демократический режим, введенный в большинстве союзных городов, обеспечивал Афинам симпатии неимущей части населения, то он возстал против них образованные и состоятельные классы, и эта вражда все более усиливалась, по мере того как возрастали злоупотребления демократии и общественное мнение в Греции все громче требовало ограничения необузданного народовластия. Союзники с горечью сравнивали собственную участь со свободным положением пелопоннесских союзников Спарты и ждали только благоприятной минуты, чтобы свергнуть ненавистное владычество Афин. Даже демократы не могли найти в себе мужества, чтобы энергично действовать в пользу Афин, которые поработили их город; поэтому отложение союзных городов лишь в редких случаях встречало противодействие со стороны демоса.

В Афинах хорошо понимали, что только грубая сила держит союзников в покорности. Нерешительный образ действий Перикла в начале Пелопоннесской войны был обу-

словлен главным образом уверенностью в том, что поражение тотчас повлечет за собой отпадение союзных государств, и Клеон открыто заявляет у Фукидида, что Афины стоят к союзникам в таком же отношении, в каком стоит тиран к своим подданным. Естественно, что Афины систематически стремились к обезоружению союзников; это удалось им без труда, потому что невоинственные обитатели островов и азиатского побережья с самого начала предпочли платить дань, чем поставлять на флот корабли. Насколько было возможно, союзные города лишили стен. Около 440 г. из всех союзных государств только три могущественных острова — Самос, Хиос и Лесбос — сохраняли еще полную независимость, не платили дани и сами поставляли суда на флот. Здесь-то и произошло первое восстание, которое подвергло серьезной опасности существование союза.

Самос с самого начала занимал первое место между государствами Афинского союза. Здесь в 479 г. вспыхнуло восстание Ионии против персидского владычества, и основание морского союза было преимущественно делом самосцев. Это был самый могущественный из союзных городов; кроме собственного острова, он владел Аморгом и значительной областью на ионийском материке. Из-за этих-то континентальных владений Самос в 440 г. объявил войну соседней Триене, к которой вскоре примкнул Милет. Так как Самос и теперь был гораздо сильнее своих противников, то Милет принужден был обратиться к посредничеству Афин. Действительно, предупреждение столкновений между членами союза составляло если не формальное право, то нравственную обязанность Афин. Но Перикл полагал, что простого посредничества недостаточно. Во главе эскадры в 40 триер он неожиданно явился перед Самосом, овладел городом с помощью демократической партии и заменил олигархическую конституцию, которая до тех пор господствовала на острове, демократической. Это было, может быть, самое вопиющее нарушение автономии союзного государства, какое до сих пор позволили себе Афины, и оно не осталось безнаказанным. Как только отплыл афинский флот, новооснованная демократия пала, и на Самосе началось откры-

тое восстание. Вскоре к Самосу примкнула Византия и несколько карийских городов. Сатрап Сард, Писсуфн, прислал помощь и обещал снарядить вспомогательный финикийский флот.

Афинам снова предстояла опасная война, и никто не мог сказать, какие размеры она примет. Только быстрые и энергичные действия могли предотвратить катастрофу; и действительно, тотчас по получении известия о восстании на Самосе Перикл вышел в море с 60 триерами. Самосцы, которые с 70 кораблями двинулись было против Милета, теперь, при приближении афинского флота, немедленно вернулись обратно. Тщетно Перикл пытался перерезать им путь, надеясь кончить войну одним ударом; при небольшом острове Трагее между Милетом и Самосом самосцы прорвали неприятельскую линию. Значительные подкрепления из Афин, из Хиоса и Лесбоса скоро дали Периклу возможность запереть город Самос и с моря, и с суши.

Не было сомнения, что восстание Самоса, если только оно останется изолированным, постигнет такая же участь, как и все прежние возмущения союзников против афинского владычества. Надежда на общее восстание членов союза не оправдалась; Хиос и Лесбос, единственные значительные морские державы, остались верны Афинам; здесь страх перед персами еще превозмогал опасения перед возрастающим могуществом Афин. Оставалась надежда только на государства, не принадлежавшие к союзу, — на Спарту и Персию. Действительно, в Спарте, тотчас по заключении тридцатилетнего мира, власть перешла к военной партии. Она добилась того, что виновники мира, царь Плистоанакт и его советник Клеандрид, были обвинены в подкупе со стороны Перикла и осуждены; Плистоанакт и Клеандрид отправились в изгнание, первый — в Аркадию, второй — в только что основанные Фурии; освободившийся престол занял сын свергнутого царя, Павсаний. Восстание Самоса представляло, по-видимому, удобный случай наверстать то, что было упущено 6 лет назад. Но на собрании пелопоннесских союзников, которое было созвано для решения вопроса о войне или мире, коринфяне так энергично воспротивились разрыву

с Афинами, что Спарта принуждена была отказаться от всяких военных планов, тем более что, вероятно, и в самой Спарте многие не решались нарушить только что заключенный мир без вызова с противной стороны.

Теперь самосцам оставалась одна надежда — на персов, но и ей не суждено было осуществиться. Правда, сардский сатрап поддержал восстание против Афин; но действительную помощь мог доставить только финикийский флот. Обе стороны ожидали, что персидский царь воспользуется случаем, чтобы нанести удар Афинскому морскому союзу. Ввиду этой опасности Перикл решился разделить флот и с 60 кораблями пойти навстречу финикийцам, оставив 65 триер перед Самосом. Этим моментом воспользовались самосцы; под предводительством своего полководца Мелисса, который был известен и как философ, они неожиданно бросились на эскадру, осаждавшую город, и принудили ее снять блокаду. Самос снова мог заpastись провиантом. Но это был минутный успех. Ожидаемый финикийский флот не явился; Перикл, получив известие о поражении осадного флота, тотчас вернулся к Самосу, а из Афин, Лесбоса и Хиоса подоспели подкрепления. Теперь, когда Перикл имел в своем распоряжении 200 кораблей, об открытой морской битве нечего было и думать; самосцам не оставалось ничего другого, как запереться в своих стенах. Город держался до последней возможности; наконец, ниоткуда не получая помощи, он принужден был сдаться после восьмимесячной осады (439 г.). Самос потерял свою самостоятельность и господство над Аморгом; демократия была восстановлена, зачинщики восстания изгнаны, военный флот выдан афинянам и стены города срыты. Военные издержки — 1200 талантов — Самос обязался уплатить по частям.

Афины победили; но своей победой они были обязаны главным образом лояльности пелопоннесцев и вялости персидской политики. Притом, восстание самосцев повлекло за собой тяжкие потери для морской державы, Афин. Правда, Византия покорила тотчас после падения Самоса; но множество союзных городов на азиатском материке — особенно Анза в Ионии, где утвердились самосские изгнанники, и ряд

общин в Карию — с помощью персов удержали свою независимость. Ликия также с этих пор перестала платить дань; остатки Карийского податного округа были теперь включены в Ионийский округ. Тем не менее, в общем могущество Афин вышло из борьбы невредимым, и Перикл имел полное основание быть довольным победой, которая упрочивала как его собственное положение в Афинах, так и авторитет Афин среди союзных государств.

Вне союза мир обеспечивался добрым согласием с пелопоннесцами, которое только что счастливо выдержало тяжелый искуc; и если дружественные отношения с персидским царем во время Самосской войны на минуту поколебались, то в конце концов и Персия не решилась предпринять против Афин какого-либо серьезного шага. Таким образом, ничто не мешало Периклу искать на севере вознаграждения за те потери, который союз понес в последние годы в Греции и Малой Азии. Фракийский Херсонес уже в 447 г. был заселен аттическими клерухами; теперь (437 г.) удалось занять и область нижнего Стримона, которую тщетно пытался покорить уже Кимон. В том месте, где река выступает из Керкнитидского озера, аттические и халкидские поселенцы основали колонию Амфиполь, новую столицу афинской Фракии (437 г.). Новая крепость господствовала над единственной дорогой, которая вела из Македонии в гелеспонтские области; золотые рудники соседнего Пангея сделались для Афин крупным источником доходов. Около этого же времени сам Перикл предпринял экспедицию в Понт; в Синопе и Амисе на Пафлагонском берегу были основаны афинские колонии; важнейшие из греческих поселений на северном берегу Черного моря были включены в состав союза и обложены данью.

Еще несколько ранее Афины начали распространять свое владычество на запад. В 453 г. потомки бежавших сибаритов сделали попытку восстановить свой город, но через 5 лет (448 г.) были изгнаны кротонцами. Они обратились за помощью к Греции, приглашая всех, кто пожелает, поселиться в их стране. Слух о плодородности равнин Кратиса и Сируса скоро привлек сюда множество колонистов со всех

концов Эллады; Афины стали во главе предприятия, и на высотах вблизи разрушенного Сибариса возникла колония Фурии (445 г.). Впрочем, сами сибариты скоро принуждены были отказаться от надежд, которые они возлагали на основание города; новые поселенцы вовсе не были склонны признать за старыми владельцами страны права на лучшие участки земли и вообще на привилегированное положение в общине. Это привело к междоусобной войне, и сибариты снова были изгнаны из отечества. Они поселились у подошвы Треиса (Трионто), на границе владений Кротоны и Фурий; но новый Сибарис никогда не достиг большого значения.

Понятно, что близость Фурий не могла быть по сердцу ни Кротоне, ни Таренту, ни туземным луканцам, и новой колонии пришлось вынести долгую борьбу за существование. Тарентинцы удержали за собой Сиритиду и в 433 г. основали здесь колонию Гераклею. По отношению к Афинам Фурии также отстаивали свою полную независимость; и действительно, афинские граждане составляли едва десятую часть населения, тогда как пелопоннесцы и беотийцы — добрую треть. Даже почетное звание метрополии города не было признано за Афинами; Дельфийский оракул, который был избран третейским судьей в этом деле, объявил, что основателем города должен считаться сам Аполлон (434 г.).

Больших успехов добилась афинская политика в Сицилии и в халкидских городах Италии. С элимийцами Сегесты и Галикии Афины уже около 450 г. вступили в дружественные сношения; в 433 г. были заключены союзные договоры с Леонтинами и Регием. Неаполь (в Кампании) также примкнул к Афинам и был усилен аттическими колонистами. В своем дальнейшем развитии эта политика неизбежно должна была привести Афины к столкновению с Сиракузами; точно так же и пелопоннесцы, которые на востоке уже были окружены владениями Афинского союза, не могли безучастно относиться к стремлению Афин распространить свое влияние и на запад. Таким образом, в поводах для войны не было недостатка, и она не заставила долго ждать себя.

В 435 г. между Коринфом и Керкирой вспыхнула война

из-за обладания их совместной колонией Эпидамном. В начале победа осталась за керкирцами; у мыса Левкимма коринфский флот потерпел тяжелое поражение, и одновременно Эпидамн сдался осаждавшему его керкирскому войску. Коринф не мог примириться с этим поражением, которое грозило подорвать все его влияние на Ионическом море. С величайшим напряжением сил он начал готовиться к войне, и через два года мог выставить внушительный флот в 150 военных кораблей, из которых сам Коринф снарядил 90, колонии у Амбракийского залива — 38, соединенные государства Мегара и Элида — 22. Керкира не чувствовала себя в силах противостоять такому врагу, и так как Коринф не хотел и слышать о мирном соглашении, то керкирцам не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к единственному государству, которое могло оказать им деятельную поддержку, — к Афинам. Керкира делала этот шаг очень неохотно, потому что она тем самым отказывалась от своей политической независимости, которую ей до сих пор удавалось сохранить при всех превратностях судьбы; но она не имела другого выбора. С другой стороны, для Афин было чрезвычайно важно воспрепятствовать переходу Керкиры под коринфское владычество, потому что морская сила Керкиры — первая в Греции после афинской и пелопоннеской — сделалась бы тогда опасным орудием в руках Коринфа. Не менее важно было обладание Керкирой и с точки зрения отношений Афин к Италии и Сицилии. Ввиду этих выгод все другие соображения должны были отступить на задний план. Афинское народное собрание, хотя и после оживленных споров, приняло предложение керкирцев, но, чтобы не раздражать пелопоннесцев, стороны ограничились заключением оборонительного союза (летом 433 г.). К Керкире тотчас была послана эскадра из 10 триер; очевидно, думали, что нравственной поддержки Афин будет достаточно, чтобы удержать Коринф от продолжения военных действий.

Формально Афины, без сомнения, имели полное право заключать союз с Керкирой, и пелопоннесцы позже сами признали это, не включив этого договора в число поводов к войне. Но так как Керкира воевала с Коринфом, то фактиче-

ски заключение союза являлось нарушением тридцатилетнего мира, и именно в этом смысле оно было истолковано в Коринфе. Тем не менее, коринфяне не отказались от своего решения продолжать войну. Весной 432 г. коринфский флот вышел в море. Керкирцы ожидали врага при входе в пролив, отделяющий их остров от материка, у Сиботских островов; против 150 коринфских кораблей стояло 110 кораблей Керкиры и 10 афинских триер. В происшедшей здесь битве афиняне оставались вначале праздными зрителями; но когда численный перевес врагов заставил керкирцев отступить, афиняне сочли нужным вмешаться в сражение, чтобы не дать возможности победителям высадиться на союзный остров. Правда, при малочисленности афинских судов их вмешательство могло принести мало пользы, но как раз в эту минуту подоспело из Афин подкрепление в 20 триер, появление которых заставило коринфян прекратить битву и направиться обратно к матерiku. Таким образом, это морское сражение, величайшее из всех, какие до сих пор происходили между греками, осталось нерешенным; впрочем, керкирский флот понес гораздо большие потери, чем коринфский.

На следующее утро соединенный керкиро-афинский флот попытался возобновить битву с пелопоннесцами. Численный перевес все еще оставался на стороне последних, но они не решились вступить в сражение, так как афиняне, благодаря подкреплению, располагали более свежими силами. С другой стороны, афинские военачальники были связаны своей инструкцией, согласно которой они должны были ограничиться защитой керкирских владений, по возможности избегая враждебных столкновений с коринфянами. Поэтому пелопоннесский флот мог беспрепятственно совершить отступление; он ушел, заявив протест против нарушения мира афинянами. Керкира была спасена.

Как бы то ни было, со времени заключения тридцатилетнего мира это была первая битва между афинянами и пелопоннесцами; можно было спорить о том, на кого падает ответственность за нарушение мира, но никто не мог отрицать, что мир, если не формально, то фактически был нарушен. В Афинах хорошо понимали, что Коринф не оставит их

вызова без ответа, потому что усиление афинского влияния в Керкире грозило опасностью самым жизненным интересам Коринфа. Перикл решил предупредить удар.

На плоском перешейке, соединяющем плодоносный полуостров Паллену с Халкидикой, коринфяне во времена Перяндра основали колонию Потидею (см. выше, с.184). Стены тянулись от моря к морю, от Фермейского до Торонейского залива и, таким образом, совершенно отделяли Паллену от материка. Благодаря выгодам своего географического положения Потидея скоро заняла первое место между городами этой области. Она одна во Фракии решилась тотчас после Саламинской битвы примкнуть к защитникам национального дела, не испугавшись несметных полчищ персидского царя, которые тщетно пытались взять город осадой. Затем Потидея вступила в Афинский морской союз, потому что собственными силами она не могла бы изгнать персидские гарнизоны из фракийских укреплений. Тем не менее, она не порвала своих связей с метрополией и по-прежнему ежегодно получала из Коринфа своего высшего чиновника, „эпидемиурга“ Понятно, что вследствие осложнений между Афинами и Коринфом двойственное положение Потидеи сделалось крайне ненормальным, и теперь Перикл решил, что настало время положить ему конец. Постановлением Афинского народного собрания потидейцам было приказано изгнать из города коринфского эпидемиурга и срыть стену, обращенную к Паллене.

Трудно было придумать более действительное средство, чтобы побудить потидейцев к восстанию. Невоинственные и предоставленные самим себе города Ионии без сопротивления подчинились аналогичному требованию Афин и сдали свои укрепления; население Потидеи было иного характера, и, кроме того, она могла опереться на Коринф и на македонского царя Пердикку II, который недавно вступил в войну с афинянами. Поэтому, когда попытка Потидеи склонить Афины к отмене их требований осталась безуспешной, она заявила о своем выступлении из союза. Ее примеру последовали соседние боттийцы и халкидцы. Они покинули свои небольшие приморские города и переселились в Олинф (ле-

том 432 г.); это событие положило основание позднешему могуществу Олинфа.

Афиняне были так уверены в успехе, что известие об отложении Потидеи застало их совершенно врасплох. Флот из 30 триер с командой в 1000 гоплитов, посланный ими в Македонию, был слишком мал, чтобы одновременно действовать и против Пердикки, и против мятежных городов Халкидики; с такими ничтожными силами невозможно было даже предпринять блокаду Потидеи, как ни очевидна была необходимость не дать городу времени приготовиться к осаде. Пришлось ограничиться набегами на македонское побережье; Фермы были взяты, Пидна осаждена. Только теперь — это было уже в конце лета — прибыли подкрепления из Афин, 2000 гоплитов и 40 триер под начальством стратега Каллия. Но и этих сил оказалось недостаточно. Не оставалось ничего другого, как заключить мир с Пердиккой, чтобы можно было сосредоточить все внимание на Потидее. Между тем на помощь мятежникам подоспели 1600 пелопоннесских гоплитов, наемники и коринфские добровольцы, так что силы противников были почти равны, тем более что Пердикка, тотчас по удалении афинян из его страны, порвал недавно заключенный договор и отправил на помощь халкидцам отряд конницы. В открытой битве перед стенами Потидеи афиняне одержали победу, но их наличных сил хватило только на то, чтобы запереть город с севера; южная сторона, обращенная к Паллене, осталась пока открытой, и только новое подкрепление в 1600 гоплитов, прибывшее следующей весной (431 г.), дало возможность афинянам оцепить город и с этой стороны. Теперь перед Потидеей стояло 5000 афинских гоплитов, множество союзников и 70 триер; такого войска Афины еще никогда не высылали в заморскую экспедицию. Численный перевес афинян заставил Пердикку снова заключить с ними мир; он получил обратно Фермы и за это выставил отряд против халкидцев (летом 431 г.).

Между тем коринфяне еще и в другом направлении действовали против Афин. С самого начала было ясно, что восстание Потидеи может рассчитывать на успех только в том случае, если город получит из Пелопоннеса значительную

помощь; и Потидея, действительно, отложила лишь после того, как спартанские эфоры обещали ее послам такую поддержку. Теперь надо было добиться ратификации этого обещания Спартанским народным собранием. Это было нелегко, потому что, как ни велики были опасения, которые возбуждало в Спарте могущество Афин, как ни сильно было желание оказать Коринфу просимую помощь, но тридцатилетний мир с Афинами еще не кончился, и спартанцы не решались нарушить свои клятвы. На защиту мира выступил не кто иной, как престарелый царь Архидам, по своему положению и личному авторитету самый влиятельный человек в Спарте.

При таких условиях Народное собрание едва ли поддержало бы военные замыслы эфоров, если бы сами Афины не дали к тому желанного повода. Как раз в это время Афинское народное собрание, по предложению Перикла, постановило запретить мегарцам пребывание в Аттике и какие бы то ни было сношения с портами всего Афинского союза. Эта мера, наносившая смертельный удар мегарской торговле, была мотивирована небольшими злоупотреблениями мегарцев, в каких никогда не бывает недостатка между соседями, находящимися во враждебных отношениях; истинной же причиной ее была злоба против Мегары, накоплявшаяся в Афинах со времени восстания 446 г. и усиленная участием Мегары в коринфской экспедиции против Керкиры. Как бы основательно ни было это чувство само по себе, но очевидно, что принятие „мегарской псефисмы“ было со стороны афинян крайне несвоевременным поступком. Мегара принадлежала к Пелопоннесскому союзу, и хотя договор 446—445 гг. не содержал никакого прямого постановления относительно сношений между обеими договаривающимися сторонами, но во всей Греции считалось несомненным, что сам факт мира обеспечивает свободу сношений. То обстоятельство, что афиняне до сих пор не решались отнять у Мегары право торговли с Афинским союзом, лучше всего доказывало, что и они сами держались такого взгляда. „Мегарская псефисма“ решила дело. Спарта не могла не вступить за свою союзницу Мегару, если не хотела потерять свое руко-

водящее положение в Пелопоннесе. Это соображение, вместе со значением могущественного Коринфа, заставило сначала Спартанское народное собрание, а затем и Пелопоннесский союзный совет объявить, что Афины нарушили мир (осенью 432 г.). Правда, это еще не было объявлением войны, но в случае дальнейшего упорства Афин война становилась неизбежной.

В Афинах как раз около этого времени положение Перикла начало заметно колебаться. С тех пор, как он освободился от соперников в управлении государством, он перестал считаться исключительно с интересами неимущей части населения. Демагогия всегда была для него только средством к достижению власти; теперь, когда цель была достигнута, его политика приняла более умеренный характер. Этот поворот привлек к нему симпатии состоятельных и образованных классов; даже такой консервативный человек, как историк Фукидид, не задумывается отозваться о правлении Перикла с восторженной похвалой. Зато среди масс Перикл потерял значительную долю своей популярности. Здесь все более распространялось убеждение, что в борьбе за расширение народных прав самый плод борьбы был постепенно утрачен. Можно ли было даже назвать демократией государство, в котором одному и тому же человеку из года в год предоставлялось неограниченное право распоряжаться военной силой и финансами и по собственному усмотрению руководить отношениями к союзникам и другим державам?

Во главе оппозиции снизу стоял богатый кожевник Клеон из городского дема Кидафенея, человек без всякого серьезного образования и по грубости характера настоящий выскочка, но в то же время одаренный энергией, не останавливавшейся ни перед чем, и тем природным красноречием, которое вдохновляет массы и увлекает их за собой. Сама по себе эта оппозиция была бы не очень опасна, но она нашла многочисленных сторонников среди состоятельного класса, который никогда не мог простить Периклу того, что он первый сделал демос руководящей силой в государстве и приучил его жить и веселиться на общественный счет.

Сюда присоединялось еще то, что Перикл обращал на

религиозные и социальные предрассудки своих сограждан меньше внимания, чем это было разумно в его положении. Он был приверженцем нового умственного направления и находился в тесных сношениях с его корифеями; а большинство афинян, и не одна только чернь, относилось к этим людям с величайшим недоверием, не без основания опасаясь, что они разрушат старую веру в богов. Еще бóльший соблазн представляли отношения Перикла к Аспасии, в которой общественное мнение видело только гетеру и которая, кроме того, также принадлежала к кружку просветителей. Против этого-то кружка и были направлены первые нападения врагов; сам Перикл стоял слишком высоко, чтобы прямая борьба с ним могла обещать какой-нибудь успех. Престарелый философ Анаксагор был привлечен к суду по обвинению в безбожии и принужден был покинуть Афины. В том же преступлении и, сверх того, в совращении свободных женщин к безнравственному образу жизни была обвинена Аспасия, и, только пустив в ход все свое влияние, Перикл мог спасти ее от обвинительного приговора. Затем очередь дошла до Фидия. Обвиненный в утайке части золота и слоновой кости при изготовлении статуи богини Афины, он был заключен в темницу, где умер еще до суда. Метек Менон, который донес на него, был постановлением Народного собрания освобожден от податей, что было равносильно осуждению Фидия. В то же время это был удар и против Перикла, который, в качестве комиссара, руководил постановкою статуи и, следовательно, был ответствен за израсходованные на нее суммы; но до формального обвинения Перикла дело на этот раз еще не дошло.

Перикл чувствовал, что почва под его ногами колеблется, и решил отклонить приближающуюся грозу наружу. Первым его шагом в этом направлении было заключение союза с Керкирой в 433 г. С тех пор он систематически стремился к разрыву с пелопоннесцами; осада Потидеи и „мегарская псефисма“ были открытыми вызовами Спарте и ее союзникам. И когда, вслед затем, в Афины прибыло спартанское посольство, которое должно было заявить протест против нарушений договора, Перикл всем влиянием своего

все еще безграничного авторитета и своего должностного положения воспротивился тому, чтобы Спарте была сделана хотя бы малейшая уступка. При тогдашней группировке партий в Спарте отмены „мегарской псефисмы“ было бы достаточно, чтобы предотвратить грозящую бурю, потому что остальные требования спартанцев — именно, чтобы афиняне отказались от Потидеи и дали свободу Эгине—едва ли имели серьезный характер и формально были совершенно незаконны, так что сами спартанцы скоро оставили их. Четырнадцать лет назад Афины купили мир гораздо более дорогой ценою, и все-таки их могущество не потерпело ущерба; если теперь Перикл заявлял, что достоинство государства не позволяет отменить „мегарскую псефисму“, то это была только фраза. Но этот язык был отлично рассчитан на страсти толпы, и в Афинах ему почти всегда был обеспечен успех. Требования Спарты были, по предложению Перикла, отвергнуты; зато Афины выразили готовность передать спорные вопросы на рассмотрение третейского суда. Этим они с формальной стороны становились вполне на почву договоров, но после всего, что произошло, ответ афинян должен был показаться пелопоннесцам насмешкой. Где можно было найти третейского судью, если вся Греция делилась на сторонников той или другой из враждующих партий? Переговоры были прерваны, и Пелопоннес начал готовиться к войне.

Несомненно, что война между двумя передовыми державами Греции, между демократией и олигархией, рано или поздно должна была сделаться неизбежной. Но то, что она вспыхнула именно в эту минуту, было делом рук Перикла. Нельзя сказать, чтобы момент был выбран удачно. Как раз теперь Афины были совершенно изолированы; единственное государство, на поддержку которого они могли бы рассчитывать, — Аргос — было еще на десять лет связано договором со Спартой. Кроме того, целая треть афинского сухопутного войска была занята во Фракийской войне. И помимо всего этого, каждый лишний год мира был бы неоценимым благодеянием для Афин и Эллады. Все это Перикл знал, конечно, не хуже всякого другого; если он все-таки стремился

к войне, то к этому побуждали его, очевидно, соображения внутренней политики, и общественное мнение Греции очень ясно сознавало это¹ Перикл никогда не отличался разборчивостью в выборе средств, и как в начале своей карьеры он содействовал возбуждению социальной борьбы в Афинах, так он теперь зажег в Греции междоусобную войну.

Ближайшая цель Перикла была достигнута; теперь все зависело от того, сумеет ли он провести войну с успехом. Сам он говорил об этом в Народном собрании с большой уверенностью, и, без сомнения, таково было его искреннее убеждение; он не довел бы дела до войны, если бы не был уверен в победе. Действительно, Афины все еще располагали огромными силами. Их власть распространялась на все острова Эгейского моря к северу от Крита, исключая лишь Мелос и Феру; на фракийском берегу им еще и теперь, после отпадения Потидеи и Олинфа, была подчинена большая часть Халкидики и все греческие города от Стримона до Босфора, затем почти все греческие города Азии от Калхедона до Книда. На западе в союзе с Афинами были Закинф, Керкира, мессенское население Навпакта, акарнанцы и амфилохийцы, Регий и Неаполь в Италии, Леонтины и Сегеста в Сицилии. Ежегодный доход государства составлял около 600 талантов — сумма, какой, за исключением Персии и, может быть, Карфагенской республики, не получало в то время ни одно государство. Из остатков бюджета образовался запасный капитал в 6000 талантов. В арсеналах Пирея на-

¹ Так думали уже Аристофан, Андокид и позже Эфор. По моему мнению, другими мотивами невозможно объяснить политику Перикла. Высказанное недавно мнение, будто Перикл вызвал войну с целью приобрести Мегару, напоминает рассказ о том крестьянине, который поджег свой дом, чтобы прогнать из него клопов; разница лишь в том, что крестьянин по крайней мере избавился от клопов, а Афины все-таки не приобрели Мегары. Поклонники Перикла, культ которого до сих пор процветает, не могут, конечно, допустить, чтобы великий государственный человек Афин вызвал Пелопоннесскую войну ради своих личных интересов. Фукидид был менее щепетилен; он считал вполне естественным, что государственный человек руководится эгоистическими мотивами, и сообразно с этим приписывал подобные побуждения даже людям, наиболее возбуждавшим его удивление, например Брасиду, Никию, Фриниху.

ходило 300 триер; кроме того, Афины располагали флотами Лесбоса, Хиоса и Керкиры; и еще важнее, чем количество кораблей, были испытанные достоинства афинского флота, с которым в этом отношении не мог сравниться ни один флот в мире. Менее значительны были сухопутные силы Афин. Правда, по количеству населения Афинская держава превосходила Пелопоннесский союз более чем вдвое, и те 13 тыс. гоплитов и 1000 всадников, которых выставляли сами Афины, могли смело выдержать сравнение с любой греческой армией, исключая, может быть, лишь спартанскую и фиванскую. Зато население малоазиатских и островных городов было крайне невоинственно и, что было еще важнее, — совершенно ненадежно в политическом отношении. Следовательно, главной сухопутной силой Афин являлась их собственная милиция и отряды их клерухов с Лемноса, Имброса, Скироса и Орея; они не имели никакой возможности выставить тяжеловооруженное войско, которое если не качественно, то хотя бы только количественно могло бы сравниться с армией Пелопоннесского союза.

Перикл был так твердо убежден в превосходстве Спарты на суше, что с самого начала отказался от мысли защищать Аттику. Его план состоял в том, чтобы перевести все население вместе с его движимым имуществом в Афины, заблокировать флотом Пелопоннес и беспрестанно тревожить его высадками. При несомненном морском перевесе Афин и неприступности их укреплений этот план обещал, казалось, верную победу. Вопрос был только в том, кто дольше выдержит. Вред, который афинский флот мог причинить Пелопоннесу, опустошая его берега, был ничтожен в сравнении с разорением всего сельского населения Аттики — неизбежным последствием вторжения в нее пелопоннесцев; ядро неприятельской силы было неуязвимо для Афин. Затем, как ни велик был запасный фонд, накопленный Периклом, но несколько лет войны должны были истощить его, и тогда Афины были бы принуждены повышать союзнические взносы и, следовательно, подвергать тяжкому испытанию верность союзников. Можно ли было рассчитывать с уверенностью, что они выдержат это испытание? И что должно было

бы произойти, если бы Афины постигло какое-нибудь непредвиденное несчастье? Но даже в том случае, если бы предположения Перикла вполне осуществились, если бы Афины удержали все свои владения и война с течением времени утомила пелопоннесцев, лучшим результатом военного плана Перикла был бы гнилой мир на условии сохранения обеими державами своих прежних владений. Стоила ли эта награда таких огромных жертв?

Между тем Пелопоннес деятельно готовился к войне. Он заключил союз с Беотией и тем не только значительно увеличил свои наличные военные силы, но главным образом приобрел прочный опорный пункт для предположенного ближайшим летом вторжения в Аттику. Точно так же теперь примкнули к пелопоннесцам Локрида и Фокида, которые в 446 г., одновременно с Беотией, освободились от афинского владычества. От западных пелопоннесских колоний, которым завоевательная политика Афин грозила не меньшею опасностью, чем самому Пелопоннесу, ожидали помощи кораблями. Аргос еще на десять лет был связан тридцатилетним миром, заключенным в 451 г. Вообще симпатии большей части нации были всецело на стороне Спарты, победа которой должна была освободить афинских союзников от рабства, а остальные греческие государства — от страха, в свою очередь, подпасть под иго Афин. И действительно, афиняне в течение войны почти ничего не достигли политической пропагандой, тогда как пелопоннесцы были обязаны последней своими главными успехами. Выразителем этого взгляда явился Дельфийский оракул, который объявил, что пелопоннесцы одержат победу, если будут настойчиво вести войну, и что во всяком случае им обеспечена помощь богов.

Неудивительно, что пелопоннесцы шли на войну с воодушевлением и уверенностью в победе. Они были убеждены, что посредством опустошения Аттики им удастся в два три похода сломить могущество Афин, и вполне естественно, что после легких успехов 446 г. будущее должно было представляться им в розовом свете. Впрочем, опытные воины, как, например, старый царь Архидам, не разделяли этих надежд; они предвидели, что предстоящая война будет очень

продолжительна, и понимали, что для того, чтобы сокрушить силу Афин, надо победить их в их собственной стихии — на море. А такая война требовала прежде всего огромных денежных средств, каких сам Пелопоннес не мог доставить. Правда, богатые храмы Дельф и Олимпии лежали в пределах Пелопоннесского союза, но лакедемоняне были слишком благочестивы, чтобы решиться тронуть священные сокровища. Далее, был ли Пелопоннесский союз внутренне настолько прочен, чтобы он мог перенести все превратности долгой войны? Он и теперь был тем же, чем был столетие назад при своем основании, т.е. непрочным соединением независимых государств, которых не связывало со Спартой ничто другое, кроме их доброй воли и страха перед ее военным превосходством. Уже однажды, после Персидских войн, союз распался, и только после долгой борьбы удалось сплотить его снова. Военный энтузиазм, охвативший теперь Пелопоннес, должен был с течением времени остынуть; если бы тогда Спарта подверглась серьезной опасности, — кто мог поручиться за верность союзников? Как бы то ни было, но пелопоннесцы все-таки имели гораздо больше оснований надеяться на успех, чем афиняне, потому что флот могли в несколько лет создать себе и пелопоннесцы, а Афины никогда не могли бы выставить сухопутную армию, равную пелопоннесской. Если, несмотря на это, прошло еще 27 лет, прежде чем Афинская держава была разрушена, то причину этого надо искать, главным образом, в неспособности спартанских государственных людей или, вернее, в негодности спартанского строя, который соединял в себе все недостатки монархии и олигархии и как будто с умыслом был рассчитан на то, чтобы преграждать талантливым людям путь к власти. И этой же причиной объясняется то, что, достигнув наконец цели, Спарта была не в состоянии удержать плоды своей победы.

ГЛАВА XV

Пелопоннесская война

Итак, война была решена; в Пелопоннесе приготовления приближались к концу, и летом 431 г. союзное войско должно было вторгнуться в Аттику. В Греции господствовало то томительное затишье, которое обыкновенно предшествует большим катастрофам. Суеверная толпа повсюду теснилась вокруг прорицателей; землетрясение на Делосе, священном острове Аполлона, — первое на памяти людей — считали многозначимым предзнаменованием, и даже просвещенный историк этой эпохи счел нужным сообщить потомству об этом событии.

Военные действия начались в Беотии. Здесь, как мы уже знаем (выше, с.287), Платея еще до Персидских войн отделилась от остальных городов этой области и вступила в тесный союз с Афинами, которому она впоследствии оставалась верна при всех превратностях судьбы. Эта аттическая крепость внутри Беотии, на расстоянии не более двух часов пути от Фив, постоянно угрожала последним; тем опаснее было это соседство теперь, накануне войны. Поэтому решено было завладеть городом еще до начала войны. Олигархическая партия в самой Платее предложила свое содействие для осуществления этого предприятия; с ее помощью в дождливую ночь, приблизительно в начале марта 431 г., проник в город отряд из 300 фиванских гоплитов. Но громадное большинство граждан не хотело и слышать о присоединении к Беотийскому союзу. Подкрепление из Фив опоздало, и на рассвете фиванские гоплиты были побеждены и принуждены сдаться. Пленники, числом 180, и между ними люди, принадлежавшие к лучшим фамилиям Фив, были тотчас умерщвлены; отмена казни пришла из Афин слишком поздно. Виновники этого кровавого дела впоследствии страшно поплатились за него.

На нарушение мира Афины ответили заключением под стражу всех находившихся в Аттике беотийцев; аттическое войско перешло через Киферон, поставило Платею в оборо-

нительное положение и перевело неспособную к войне часть населения в Афины, где она была в полной безопасности. Однако от наступательных действий против Беотии афиняне воздержались; сознавая, что он вызвал войну, Перикл именно поэтому всеми силами старался свалить формальную ответственность за начало военных действий на противников.

Спустя два месяца после нападения на Платею, в мае, царь Архидам II собрал на Коринфском перешейке пелопоннесские союзные войска, две трети способного к войне населения, — приблизительно 20—25 тыс. гоплитов. Прежде, чем выступить в поход, он сделал еще последнюю попытку предотвратить войну; он надеялся, что в Афинах ввиду неприятельской армии еще в последнюю минуту одержит верх партия мира. По-видимому, Перикл опасался чего-то в этом роде; он даже не впустил в город лакедемонского посла и тотчас отослал его под военным конвоем к границе.

Теперь Архидам двинулся со своей армией и, подкрепленный приблизительно 5000 беотийских гоплитов, вступил в Аттику. Верный своему решению строго держаться оборонительного образа действий, Перикл еще за несколько недель до нашествия пелопоннесцев послал отряд из 1600 гоплитов в Потидею (выше, с.402). Он не хотел даже двинуться в Мегариду, чтобы завладеть теснинами Герании и, таким образом, отрезать пелопоннесцам путь в Аттику; правда, в военном отношении эта операция была бы опасна, так как в тылу находились беотийцы. Но и в самой Аттике он не оказал неприятелю ни малейшего сопротивления, несмотря на то, что высоты, отделявшие Афинскую равнину от Элевсинской, представляли превосходную оборонительную линию. Он знал, как многого оставляла желать дисциплина его гражданского ополчения, и боялся быть против воли вовлеченным в открытое сражение, которое, при вдвое большей численности неприятеля, непременно повело бы к поражению афинян.

Таким образом, Архидам мог беспрепятственно подвигаться вперед и опустошать поля, на которых только что созрел хлеб. Между тем сельское население устремилось в главный город; возы с домашним скарбом, стада быков и

овец теснились на улицах. Немногие нашли пристанище у родных и друзей; громадное же большинство расположилось в храмах или в бараках, которые были построены на всех свободных площадях города. Нетрудно представить себе, какое настроение господствовало между беглецами. Когда затем пелопоннесцы подошли к Ахарнам, находящимся приблизительно на расстоянии 10 км от города, и начали на глазах граждан опустошать поля и сжигать деревни, в Афинах едва не дошло до открытого мятежа. Годная к войне часть населения бурно требовала, чтобы ее повели против врага. Но Перикл твердой рукою правил государством. С тех пор как неприятель находился в Аттике, он пользовался диктаторскими полномочиями; деятельность Народного собрания и суда была временно приостановлена, и народ был, следовательно, лишен возможности принять какое-нибудь недуманное решение. Видя, что противник уклоняется от битвы, Архидам покинул свою позицию при Ахарнах и, перейдя через Парнет, двинулся мимо Оропа, через Беотию, к Коринфскому перешейку, где и распустил свою армию. Весь поход продолжался меньше месяца.

Между тем Перикл отправил против Пелопоннеса флот в 300 триер с 1000 гоплитов. С такими ничтожными силами, конечно, нельзя было достигнуть серьезных успехов. Некоторые прибрежные области были опустошены, но ввиду подкреплений, которые подходили из глубины страны, афинянам каждый раз приходилось поспешно удаляться на свои корабли. Впрочем, афинянам удалось присоединить к своему союзу важный остров Кефаллению и овладеть небольшой коринфской колонией Соллион в Акарнании.

Таким образом, результаты военных действий были очень скудны; зато Перикл постарался удовлетворить самолюбие народа иным путем. Беззащитные жители Эгины были изгнаны из своего города по обвинению в том, что они вступили в изменнический союз со Спартой; их землю поделили между собой аттические клерухи. Лакедемоняне дали изгнанникам убежище в Фирее, на аргосской границе. Осенью Перикл со всем афинским ополчением предпринял поход в Мегариду, чтобы отомстить врагу; афиняне сильно

опустошили открытую страну, но не сделали даже попытки завладеть укрепленным городом.

В общем, Перикл все же мог быть доволен результатами этого первого похода. Если военные успехи и не были велики, то по крайней мере дело обошлось без сколько-нибудь серьезных неудач. Неприятельское нашествие ограничилось северными округами Аттики; подойти к стенам столицы или, оставив Афины в стороне, пройти в Паралию — для этого у неприятеля не хватило смелости. Но, что было важнее всего, ввиду внешней опасности затихли всякие раздоры внутри государства; теснее, чем когда-либо, граждане сплотились вокруг того, кто в данную минуту стоял во главе государства. Но Периклу скоро пришлось убедиться, как опасна была игра, которую он затеял.

Следующей весной (430 г.) царь Архидам во главе союзной пелопоннесской армии снова перешел через границу Аттики. Если он в предшествовавшем году шадил неприятеля, чтобы с самого начала не сделать разрыв непоправимым, то теперь он решил действовать энергично. Целых 40 дней оставалось его войско в Аттике, которую оно совершенно разорило до крайней южной границы. Но Перикл и теперь твердо держался своего плана — избегать сражения, и предоставил южную часть Аттики на произвол судьбы, как в предыдущем году — северную.

Как ни силен был удар, нанесенный Афинам этим опустошением, он был ничтожен сравнительно с тем бедствием, которое произвела в городе чума. Эпидемия уже давно опустошала Египет и области Передней Азии; затем она была занесена в Лемнос, и к тому времени, когда пелопоннесцы вторглись в Аттику, появилась в Пирее, откуда вскоре перешла в верхнюю часть города. Большой греческий город той эпохи уже сам по себе представлял очень благоприятную почву для распространения заразы благодаря тесным, немощеным улицам и отсутствию простейших гигиенических приспособлений¹ Но вдвойне благоприятную почву пред-

¹ Улица служила отхожим местом; в Фивах, изобиловавших садами, по преданию, подле каждого дома лежала навозная куча.

ставляли теперь Афины, где в тесных и нездоровых жилищах скучилось все сельское население Аттики — вместе с населением самого города почти 200 тыс. человек. При таких условиях чума должна была производить страшные опустошения; за три года (430, 429, 426), в которые эпидемия появлялась в Афинах, она унесла почти четверть всего населения Аттики. Под потрясающим впечатлением этого несчастья общественный порядок минутами, казалось, готов был рухнуть. На улицах и даже в храмах лежали непогребенные трупы; народом овладело тупое отчаяние; надежда на богов, которые не посылали никакого спасения, начала исчезать. Как всегда бывает в таких случаях, наряду с великодушным самопожертвованием и любовью к ближнему обнаруживался, с другой стороны, самый бессердечный эгоизм.

Узнав о появлении чумы в Афинах, неприятель удалился, и действительно, болезнь пощадила Пелопоннес. Господствовавшее военное положение оказалось самым действительным карантинном, так как пелопоннесцы беспощадно убивали каждого афинянина или афинского союзника, который попадал в их руки. Между тем Перикл, чтобы дать исход возбуждению народа, предпринял большую экспедицию против Пелопоннеса. Но чума, принесенная войском, парализовала всякий успех. В конце концов афинские военачальники сделали почти невероятную ошибку, передвинув войско от Пелопоннеса к Потидее, благодаря чему зараза была, конечно, занесена и в осадный отряд. Впрочем, они и здесь ничего не успели и принуждены были вернуться в Афины, напрасно потеряв более 1000 гоплитов.

Негодование против Перикла, грозившее разразиться два года назад, вспыхнуло теперь с удвоенной силой. В самом деле, его политика привела Афины к войне и, значит, косвенно была ответственна также за появление чумы. Все классы населения, зажиточные и чернь, соединились, чтобы низвергнуть правителя. При выборах в стратеги на 430—429 гг., произведенных тотчас после отступления пелопоннесцев, Перикл не был избран, после того как в течение пятнадцати лет непрерывно занимал эту должность. Фактиче-

ски неизбежно было равносильно отставке. Личный режим был устранен. Предъявленное вслед затем против Перикла обвинение в растрате общественных денег имело целью обеспечить победу оппозиции и навсегда закрыть Периклу доступ к политической деятельности. При господствовавшем настроении нельзя было сомневаться в исходе процесса; присяжные признали Перикла виновным и присудили его к большому штрафу. Немногого недоставало, чтобы произнесен был смертный приговор над человеком, который еще вчера почти единовластно управлял половиной Греции.

Итак, ближайшая цель оппозиции была достигнута; но скоро обнаружилось, что настоящие затруднения начинались лишь теперь. Попытка прийти к соглашению со Спартой не удалась; ход событий превзошел самые смелые ожидания пелопоннесской военной партии, и было вполне естественно, что она соответственно этому повысила свои требования. А между тем Афины и теперь еще отнюдь не были склонны принять мир на каких бы то ни было условиях, поэтому ничего другого не оставалось, как продолжать политику Перикла, за которую еще недавно на него роптали. Но результаты были очень неутешительны. Правда, Потидея после двухлетней геройской обороны сдалась в течение зимы 430—429 гг., доведенная до крайности голодом; начальники афинского отряда разрешили гражданам свободное отступление. Земля была роздана аттическим клерухам, и Потидея сделалась с этих пор главным оплотом Афин на фракийском побережье. Но радость по поводу этого успеха была омрачена тяжким поражением, которое ближайшею весной (429 г.) потерпело под Спартолом только что освободившееся осадное войско в сражении с халкидцами. Эта битва интересна в военно-историческом отношении тем, что аттические гоплиты, одержав верх над неприятельскими гоплитами, были разбиты халкидскими всадниками и легковооруженными; это был один из первых признаков того, что древняя тактика гоплитов, которой афиняне были обязаны победами при Марафоне и Платее, пережила себя.

В это время афиняне получили неожиданную помощь. С тех пор как Фракия освободилась от персидского владычест-

ва, одрисы, жившие в плодородной долине Гебра, стали распространять свою власть над соседними племенами; при царе Ситалке, около начала Пелопоннесской войны, их владения простирались от Абдеры и верхнего Стримона до Истра и Черного моря, на протяжении почти 130 тыс. кв. км. Греческие города вдоль побережья Понта также должны были признать их владычество и согласиться на уплату дани; годовой доход царя при преемнике Ситалка, Севте I, равнялся, по преданию, 800 талантам серебра, кроме значительных натуральных повинностей¹ В 431 г. Ситалк вступил в союз с афинянами, и отчасти его влиянию нужно приписать переход македонского царя Пердикки II с пелопоннесской стороны на афинскую. С тех пор фракийский царь ничего больше не сделал для афинян; теперь падение Потидеи пробудило его наконец от бездействия. Но осень настала раньше, чем он выступил в поход со своим войском. Это была огромная армия, а молва еще безмерно преувеличила ее численность; в Греции говорили, что Ситалк ведет с собой 100 тыс. пехотинцев и 50 тыс. всадников. Перейдя через горы у верхнего течения Стримона, он вступил с севера в Македонию, царь которой, Пердикка, хотя находился в мире с Афинами, поссорился с Ситалком. Последний завладел Идоменой при реке Аксию и разорил всю низменность до Пеллы, в Фессалии начали уже опасаться вторжения фракийцев и делали приготовления к их встрече. Однако для осады укрепленных мест варвары были совершенно непригодны, и Ситалк двинулся в Халкидику, куда афиняне обещали прислать ему в помощь флот. Но варвар-союзник стал, по-видимому, возбуждать опасения и в Афинах; во всяком случае флот не был послан. Недостаток в съестных припасах и наступление зимы принудили Ситалка вернуться, спустя 30 дней после вступления в Македонию. Вся эта экспедиция не имела никакого успеха, и владения афинян на Халкидике по-прежнему ограничивались полуостровами Палленой, Сифонией и Актой и городами Энеей, Аканфом и Стагирой.

¹ Это государство обнимало приблизительно нынешнюю Болгарию с Восточной Румелией и турецкий вилайет Адрианополь.

Деятельность врагов Перикла за то короткое время, которое прошло со времени его падения, как нельзя лучше доказала, что без него невозможно было обойтись. Как бы плоха ни была система Перикла, она все же была наименьшим из зол, между которыми приходилось выбирать. И вот весной 429 г. в общественном мнении произошла реакция. Противоестественная коалиция, которая год назад свергла Перикла, теперь распалась. Демос снова соединился вокруг своего старого вождя, и Перикл вновь был избран в стратеги на 429—428 гг.

Но силы его были надломлены ударами последних лет. К этому присоединилось семейное горе; оба его законных сына, Ксантипп и Парал, один за другим в короткое время пали жертвами чумы. Едва он в середине лета 429 г. вступил в отправление должности стратега, как болезнь сразила и его, и он умер в августе или сентябре этого года. Кто мог занять освободившееся место? В Афинах, как и везде, единвластие дало возможность возвыситься только посредственностям; помощники Перикла были в умственном отношении ничтожествами, совершенно неспособными к личной инициативе. Таков был, например, Лисикл, „скотопромышленник“, как его называет комедия, — человек, который в последние годы стоял, может быть, ближе всех к Периклу и заботам которого он, умирая, поручил свою Аспасию. К тому же он уже осенью 428—427 гг. погиб в походе против Кари. Руководство демосом перешло теперь к Клеону, который, как мы знаем, оказывал когда-то сильную оппозицию политике Перикла и был одним из главных виновников его падения, а теперь держался того мнения, что раз война начата, нужно употребить все усилия, чтобы довести ее до конца. Но общественное положение кожевника было таково, что он не мог рассчитывать на избрание в стратеги; да он и сам был еще пока очень далек от таких честолюбивых мыслей. Таким образом, он мог иметь лишь косвенное влияние на управление государством и особенно на ход войны. Вообще же смерть Перикла должна была способствовать усилению мирной партии. Во главе ее стоял теперь Никий, сын Никерата из Кидантидского округа. Человек во всех отношениях

достойный уважения и, подобно большинству членов высокой аттической знати, искренно преданный существующему порядку, притом очень дельный офицер, он был, однако, лишен выдающихся военных и государственных способностей. Его влияние основывалось главным образом на его огромном богатстве, в котором с ним могли сравниться лишь немногие афиняне. Ничто, может быть, не свидетельствует лучше о том недостатке в талантах, который ощущался в это время в Афинах, чем то обстоятельство, что такой человек мог занять руководящее положение в государстве и с небольшими перерывами удержать его до смерти. Нечего и говорить, что при таких условиях нельзя было и думать о твердой и целесообразной политике как вне, так и внутри государства.

В 429 г. пелопоннесцы не повторили своего вторжения в Аттику; там уже больше нечего было разорять, а все еще свирепствовавшая чума заставляла их быть осторожными. Вместо этого царь Архидам предпринял поход в область Платеи, и так как попытки убедить город добровольно перейти на сторону Спарты не увенчались успехом, то началась осада. Хотя платейцы и отбили все приступы, однако рано или поздно голод должен был бросить город в руки беотийцев и пелопоннесцев. Такой результат похода далеко нельзя было назвать блестящим. Лучших успехов ожидали от другого предприятия, которое было осуществлено во второй половине лета. Предшествовавшей зимой (430—429 гг.) афиняне, наконец, сделали то, что им следовало бы сделать уже в самом начале войны, именно послали в Навпакт эскадру, которая заперла вход в Крисейский залив и тем парализовала всю морскую торговлю Коринфа. Поэтому снаряжен был сильный пелопоннесский флот для прекращения этой блокады, и в то же время послан отряд из 1000 гоплитов в Амбракию, чтобы, в соединении с войсками союзников из той области, заставить Акарнанию отложиться от Афин. Но при Стратосе акарнанцы принудили пелопоннесско-эпирскую союзную армию к отступлению, между тем как в то же самое время аттический стратег Формион в двух сра-

жениях при Навпакте разбил наголову далеко более многочисленный пелопоннесский флот.

Война продолжалась уже три года, не приводя ни к какому окончательному результату. Но Афины сумели сохранить свое положение лишь при помощи очень тяжелых жертв, тогда как силы противника оставались почти нетронутыми. Военная казна, на которую главным образом опиралось морское превосходство Афин, была уже в значительной степени исчерпана. Чума похитила гораздо больше способных к военной службе людей, чем самые кровавые поражения. Еще несравненно опаснее был тот ущерб, который благодаря всем этим событиям потерпел несравненный авторитет Афин в глазах союзных государств. Поэтому, хотя пелопоннесцы и не могли похвастать ни одним решительным военным успехом и не были даже в состоянии предотвратить потерю Потидеи, — хотя их попытки одолеть Афины на море окончились полной неудачей, — тем не менее отношение сил воюющих сторон значительно изменилось в их пользу. Аттическое государство колебалось в своих основах; приближался кризис.

Весной 428 г. пелопоннесцы снова вторглись в Аттику. Непосредственно вслед за этим против Афин восстал Лесбос, — кроме Хиоса, единственный остров на Эгейском море, сохранивший свою автономию и самостоятельный флот. Опасность была страшная, во-первых, потому, что Лесбос располагал значительными морскими силами и богатыми финансовыми средствами; во-вторых, кто мог сказать, какие размеры примет восстание? Но Афины оказались на высоте своего положения. Сильный флот с сухопутным войском, отправленный под командой стратега Пахеса к Лесбосу, разбил неприятеля в морском сражении и запер главный город острова, Митилену, с суши и с моря. Таким образом удалось локализовать восстание. В то же самое время предприняли с сотней триер демонстрацию против Пелопоннеса, которая, действительно, произвела впечатление на лакедемонян; после потерь, причиненных чумой, они уже не считали Афины способными на такие предприятия. Вследствие грозившего истощения государственной казны теперь — впервые в те-

чение этой войны — наложена была на население самой Атики прямая имущественная подать в 200 талантов, которой хватило, впрочем, лишь на удовлетворение самых неотложных потребностей.

Между тем лакедемоняне продолжали действовать со своей обычной медлительностью. В продолжение всего лета 428 г. и следующей зимы Митилена была предоставлена собственным силам; наконец, весной 427 г. туда был отправлен вспомогательный флот из 42 триер, тогда как сухопутное войско одновременно предприняло обычное вторжение в Аттику. Но было уже слишком поздно. Когда съестные припасы в Митилене стали истощаться, в городе вспыхнул мятеж, результатом которого была сдача города афинянам на полную их волю. После этого мелкие города на Лесбосе и митиленские владения в Троаде подчинились без сопротивления. Пелопоннесский флот уже пришел в Ионию, где он распространил всеобщий страх; возможно, что быстрым движением к Митилене удалось бы отнять этот город у афинян. Но спартанский наварх Алкид не хотел и слышать о таком рискованном предприятии и поспешно отплыл домой.

Таким образом, кризис, вызванный восстанием Лесбоса, благополучно миновал, правда, не столько благодаря заслугам самих афинян, сколько благодаря вялому и неумелому образу действий их противников. Авторитет Афин снова был упрочен, и теперь можно было спокойнее смотреть в глаза будущему. Чтобы на будущее время отбить у союзных государств охоту к подобным попыткам, Клеон предложил примерно наказать покоренную Митилену: все взрослое мужское население казнить, женщин и детей продать в рабство, а землю разделить между аттическими клерухами. И так велико было в Афинах озлобление против вероломного города, что Клеону удалось провести свое предложение. Но как только был отослан соответствующий приказ генералу, командовавшему митиленским отрядом, афиняне сами устрашились своего поступка. Очень многие из тех, которые в Народном собрании дали себя увлечь красноречию Клеона, пришли теперь к сознанию, что они собирались совершить жестокость, беспремерную в греческой истории, — что по-

головное избиение граждан одного из величайших и знаменитейших городов Эллады вызовет во всей нации взрыв негодования и лишит Афины последних симпатий, которыми они еще пользовались. И разве лесбосцы заслужили такую страшную участь? В продолжение пятидесяти лет они бок о бок с афинянами сражались против варваров и эллинов, и если они теперь отложились, то ведь вина падала на правящие классы, а не на народную массу, которая никогда не переставала быть преданной Афинам и в конце концов принудила знатных к сдаче города. Правительство воспользовалось этой переменной в настроении общества, чтобы на следующий день еще раз поднять в Народном собрании вопрос о Митилене; но и теперь лишь с большим трудом удалось добиться отмены принятого накануне решения. Участь, постигшая Лесбос, была и без того достаточно тяжела: автономия была отнята, стены городов разрушены, флот уведен в Афины, земля конфискована и разделена между 2700 аттическими клерухами; все те, кто во время восстания чем-либо скомпрометировал себя и не спасся бегством, числом свыше 1000 — были казнены. Только Метимна, которая одна из всех городов острова осталась верной Афинам, сохранила свою прежнюю независимость.

Весьма понятно, что во время лесбосского восстания, которое потребовало напряжения всех сил, Афины в самой Греции строго придерживались оборонительного образа действий. Даже для спасения Платеи, которую с лета 429 г. осаждали пелопоннесцы и беотийцы (выше, с.419), они не сделали ни малейшего усилия, несмотря на то, что нужда достигла там крайней степени. Летом 427 г. вскоре после падения Митилены, город должен был сдаться. Половина гарнизона уже в течение зимы пробилась через неприятельские линии. Остальных, 200 платейцев и 25 афинян, победители казнили в отместку за избиение фиванских пленников, совершенное платейцами в начале войны. Город был разрушен, а область его перешла к Фивам.

В это самое время афиняне едва не лишились своего важнейшего союзника на западе, Керкиры. Против воли и только под давлением тяжелой необходимости остров в

433 г. присоединился к Афинам; теперь, когда опасность миновала и в то же время могущество Афин было сломлено войной с Лесбосом, состоятельные классы решили воспользоваться удобным моментом, чтобы порвать заключенный тогда союз и снова занять нейтральное положение по отношению ко всем эллинским делам, составлявшее традиционную политику Керкиры. Из-за этого вопроса вспыхнула междоусобная война между зажиточными классами и демосом. Несколько дней продолжался ожесточенный уличный бой, во время которого часть города сделалась жертвой пламени; победа клонилась уже на сторону толпы, когда прибытие из Навпакта аттической эскадры в 12 триер положило конец междоусобице. Четыреста олигархов было заключено в тюрьму, прежний оборонительный союз с Афинами заменен наступательно-оборонительным. Но все эти успехи едва не были уничтожены благодаря появлению пелопоннеского флота, который только что вернулся из экспедиции к Лесбосу и был увеличен подкреплениями до 55 триер. В виду города произошло морское сражение, в котором пелопоннесцы без большого труда одержали победу над совершенно расстроенным керкирским флотом; аттическая эскадра была слишком слаба, чтобы предотвратить поражение. Лакедемонский адмирал имел возможность высадить свое войско на берег и завладеть Керкирой; но у неспособного Алкида и теперь не хватило силы для решительного шага. Между тем на высоте Левкады показался аттический флот в 60 триер, и пелопоннесцам ничего другого не оставалось, как поспешно удалиться. Керкира была спасена для Афин. Под защитой аттических кораблей керкирские демократы произвели жестокую расправу над своими противниками; все олигархи, взятые в плен, были казнены или сами лишили себя жизни; 500 граждан из побежденной партии бежали на материк и отсюда продолжали борьбу с демократией.

Для Афин было тем важнее упрочить свою власть в Керкире, что как раз теперь наступили события, делавшие необходимым их вмешательство в Сицилии. Дело в том, что как только демократическое устройство пустило глубокие корни в Сиракузах, последние начали возвращаться к поли-

тике Дейноменидов и стремиться к восстановлению своей гегемонии над островом. Тотчас после свержения Дукетия вспыхнула из-за этого война с Акрагантом (около 446 г.), в которой принял участие весь остров, одни за Сиракузы, другие против них; при реке Гимере акрагантинцы были разбиты, понеся большой урон, и принуждены просить мира. Сиракузы опять сделались самой могущественной державой греческого запада; поэтому халкидским городам, если они хотели сохранить свою независимость, не оставалось ничего другого, как броситься в объятия афинян (выше, с.398). Теперь настало время, когда афиняне должны были исполнить те обязательства, которые они взяли на себя. В Сицилии вспыхнула всеобщая война. На одной стороне стояли халкидские города Наксос, Катана, Леонтины, Регий, дорийская Камарина и значительная часть туземных сикелов; на другой стороне — Сиракузы, Гела, Селинунт, Мессена, Гимера, Липара и Эпизефирские Локры; Акрагант, по-видимому, сохранял нейтралитет. Сиракузцы имели большой перевес над своими противниками, и Афины принуждены были осенью 427 г. отправить на помощь своим западным союзникам эскадру в 20 триер под начальством стратега Лахеса из дема Айксоны. Несмотря на незначительность своих сил, афиняне достигли крупных успехов и, что самое главное, заставили Мессену перейти на свою сторону. Если в начале войны пелопоннесцы рассчитывали на содействие своих западных колоний, то осуществление этих надежд было теперь надолго отсрочено.

Неудачи, которые постигли пелопоннесское оружие, не могли остаться без влияния на внутренние дела Спарты. Надежда принудить Афины к миру посредством опустошения их территории не оправдалась. Рассчитывали на восстание афинских союзников, — но Потидея пала, а лесбосское восстание осталось изолированным и скоро было подавлено. Все попытки одолеть афинян на море вели только к позорным поражениям. Надежда на внутренний переворот в Афинах тоже обманула спартанцев. Перикл был свергнут, а его противники продолжали его политику; даже его смерть не изменила положения дел. При таких условиях и в Спарте

стали подумывать о прекращении войны. Внешним выражением этого настроения было возвращение царя Плистоанакта (426 г.), который 19 лет назад был лишен своего сана и изгнан за то, что он увел обратно свое войско от границы Аттики, не разорив страну, и тем побудил афинян купить мир со Спартой ценой самых тяжелых жертв. События последних лет блестяще оправдали тогдашнюю политику. Плистоанакт старался теперь восстановить старые отношения с Афинами. Весной 426 г. пелопоннесцы не произвели обычного вторжения в Аттику и переговоры были возобновлены. Главное требование Спарты состояло в возвращении эгинцев на их остров.

Никий и его друзья были готовы принять эти условия; но, к сожалению, они сами все более и более теряли почву под ногами. Как ни велики были их заслуги перед Афинами во время митиленского кризиса, они оказались совершенно неспособными одержать какие-нибудь решительные победы над пелопоннесцами. Как раз те самые обстоятельства, которые обескураживали военную партию в Спарте, должны были способствовать усилению военной партии в Афинах. Сознание, что государство нуждается в энергичном руководителе, проникало все в более широкие круги населения, и благодаря этому влияние оппозиции должно было усиливаться. Уже при обсуждении участи Митилены правительство лишь с большим трудом воспрепятствовало принятию предложений Клеона. Последний, будучи в это время членом Совета, обнаруживал неутомимую деятельность в добывании необходимых для войны средств, нисколько не смущаясь тем озлоблением, которое вызывала в состоятельных классах его неумолимая строгость при взыскании податных недоимок. На следующий год (427—426) он был избран союзническим казначеем и благодаря этому приобрел руководящее влияние на управление союзными финансами. Оппозиция с успехом выступила против правительства и в суде. Даже такой человек, как Пахес, завоеватель Митилены, был привлечен к суду и только посредством самоубийства избег обвинительного приговора. Точно так же и отправку вспомогательного флота в Сицилию, без сомнения, нужно при-

писать инициативе Клеона; завоевание Запада и впоследствии всегда было излюбленным планом афинских радикалов. При выборах на 426—425 гг. перемена в общественном мнении обнаружилась с полной силой. Почти ни один из бывших тогда на службе стратегов не был вновь избран; их место заняли представители военной партии, и между ними племянник Перикла, Гиппократ из Холарга.

Новое правительство вступило в должность в середине лета 426 г.; было уже слишком поздно, чтобы оно могло еще в этом году предпринять какой-либо серьезный шаг. Поэтому сколько-нибудь значительные военные действия произошли только в северо-западной части Греции. Афинский стратег Демосфен из Афидны потерпел здесь полное поражение при попытке вторгнуться в Этолию из Навпакта; но не лучшая участь постигла и пелопоннесцев, когда они осенью этого года, опираясь на Амбракию, попытались отвлечь Акарнанию от союза с Афинами. Демосфен блистательно расплатился здесь за поражение, которое он понес в Этолии; потери Амбракии были так велики, что только поспешным заключением мира с Акарнанией она могла спастись от гибели. В следующем году (425) акарнанцы и афиняне завладели также коринфской колонией Анакторием; прежние жители принуждены были покинуть город и были заменены акарнанскими поселенцами. Впрочем, благодаря основанию Гераклеи Трахинской у северного выхода Фермопил спартанцам удалось приобрести точку опоры в Средней Греции, — слишком ничтожный, правда, результат целого года войны.

Между тем в Сицилии сиракузцы постепенно снова взяли верх; оказалось, что оперировавшая там афинская эскадра была слишком слаба для возложенной на нее задачи. Поэтому решено было весной 425 г. отправить на запад подкрепление еще из 40 триер. В то же время афиняне втайне готовили удар по Пелопоннесу. Демосфен, только что вернувшийся в Афины во всем блеске своих недавних акарнанских побед, был прикомандирован к экспедиции с полномочием пользоваться по своему усмотрению эскадрой во время ее плавания мимо пелопоннесских берегов. Он верно угадал

самое уязвимое место враждебной державы. На мессенском берегу открывается к западу Пилосская бухта (Наварино), защищенная от волн Ионического моря узким и длинным островом Сфактерией, — лучшая естественная гавань на всем полуострове. Спартанцы, которым принадлежала эта отдаленная область, мало заботились о ней; берег был покрыт обширными лесами; кругом на большом пространстве не было ни одного поселения. Таким образом, Демосфен мог беспрепятственно осуществить свой план. У северного входа в гавань сооружено было небольшое укрепление, для защиты которого здесь оставили пять триер под начальством Демосфена; к ним присоединился еще мессенский разбойничий корабль из Навпакта с 40 гоплитами. Из этого пункта надеялись поднять восстание илотов в древней Мессении. Остальная часть флота отплыла дальше, в Сицилию.

Как раз в это время союзное пелопоннесское войско опять вторглось в Аттику под предводительством сына Архидама, Агиса, который в 427 г. унаследовал от своего отца престол Эврипонтидов; известие о событиях в Пилосе заставило армию поспешно вернуться на родину. В то же время был отозван и послан в Пилос флот в 60 триер, который отплыл было к Керкире. Афиняне были окружены с моря и с суши; чтобы отрезать им выход со стороны моря, отряд из 400 лакедемонских гоплитов занял остров Сфактерия. Положение Демосфена было очень опасно, так как наскоро сооруженное укрепление едва удовлетворяло самым элементарным требованиям. Тем не менее Аттическому и Мессенскому гарнизонам удалось удержать позицию, пока подоспел отправленный в Сицилию флот, который между тем благодаря подкреплениям увеличился до 56 триер. Афиняне проникли в гавань, воспользовавшись тем, что неприятель оставил вход в нее незапертым; несмотря на свой численный перевес, пелопоннесский флот был разбит, а остров Сфактерия с находившимся на нем гарнизоном отрезан от материка.

Как ни незначителен был этот успех с чисто военной точки зрения, его было достаточно, чтобы радикально изменить все положение дел. Те 400 человек, которые находились на Сфактерии, составляли почти десятую часть всех

гоплитов Спарты, и лакедемоняне были готовы для их спасения принести всякую жертву, совместимую с достоинством государства. Если до сих пор все попытки к восстановлению мира исходили от Афин, то теперь переговоры были начаты лакедемонянами. По их настоянию заключено было пока перемирие, на время которого афинянам был передан весь пелопоннесский флот, собранный перед Пилосом; афиняне взамен разрешили снабдить съестными припасами сфактерийский гарнизон.

Афиняне имели теперь возможность заключить выгодный мир; лакедемоняне готовы были вести переговоры даже на условиях возвращения к тому положению, которое существовало до тридцатилетнего мира. Но Клеон не хотел и слышать о мире, пока гарнизон Сфактерии не будет в руках афинян; и несмотря на все сопротивление состоятельных классов, его предложения были приняты большинством Народного собрания. После этого переговоры были прерваны.

Афиняне, конечно, не были так наивны, чтобы возвратить пелопоннесский флот, раз он уже находился в их руках; скоро нашли и благовидный предлог, чтобы оправдать нарушение договора. Но надежда голодом принудить гарнизон Сфактерии к сдаче совершенно не оправдалась; неприятель нашел средства доставлять на остров съестные припасы через блокирующий флот. Конец хорошего времени года все более приближался, а с наступлением зимы невозможно было бы продолжать блокаду, и гарнизон мог бы беспрепятственно уйти на континент. Было ясно, что при том плане действий, которого держались до сих пор, нельзя было ничего добиться и что единственную надежду на успех обещала высадка на остров. И Демосфен ни минуты не сомневался в этом; он готов был сделать этот рискованный шаг, как только получил бы из Афин необходимые подкрепления. Но высшая военная администрация не хотела и слышать о таком смелом плане. Выборы, происшедшие весной 425 г. под впечатлением неудач, которые до сих пор постигали все предприятия военной партии, имели неблагоприятный результат для последней; Гиппократ и большинство его политических друзей были побеждены, и Никий снова приобрел руководя-

щее влияние на военные дела. Вскоре после прекращения мирных переговоров Никий вступил в отправление своей новой должности, а он был слишком твердо убежден в непобедимости спартанцев, чтобы решиться высадкой на Сфакторию подвергнуть риску свою славу полководца. Напротив, Клеон из всех сил настаивал на решительных мероприятиях, утверждая, что если бы стратеги действовали энергично, Сфакторию можно было бы взять в 20 дней. В увлечении спора Никий поспешил предложить своему противнику лично принять начальство над пилосским флотом, в полной уверенности, что предприятие окончится неудачей и что благодаря этому Клеон навсегда лишится влияния на политические дела. Клеон ни разу в жизни не командовал войском, и неудивительно, что он боялся принять это опасное поручение; но у него не оставалось выбора. Ведь на нем лежала ответственность за то, что в Афинах отвергли мирные предложения лакедемонян. Не медля долго, он во главе потребованных Демосфеном подкреплений отправился в Пилос и по прибытии туда тотчас открыл атаку, ведение которой он благоразумно предоставил Демосфену. На второй день после прибытия Клеона, приблизительно в начале августа, рано утром афиняне высадились на берег. Демосфен и Клеон имели под своим начальством около 10 тыс. человек, и хотя большая часть войска состояла из гребцов, почти негодных для военного дела, однако 1000 гоплитов и 1000 пелтастов и стрелков из лука уже сами по себе представляли подавляющий перевес над 400 лакедемон. Но дело не дошло до рукопашной. Демосфен оставил своих гоплитов в резерве и ограничился тем, что приказал стрелкам из лука и пельтастам обстреливать врага. Против этого оружия спартанцы в своем тяжелом вооружении были совершенно беспомощны; после тяжелых потерь им ничего другого не оставалось, как отступить в свой укрепленный лагерь, где они, запертые со всех сторон, принуждены были наконец сдаться; оставалось в живых еще 292 гоплита. Клеон блестяще исполнил свое обещание; в течение 20 дней он завладел Сфактерией и привел ее гарнизон в Афины пленным.

Теперь он пожал плоды своего успеха. Правда, заслуга военного руководства при нападении на Сфакторию принад-

лежала Демосфену, но подкрепления, сделавшие возможной эту атаку, были приведены Клеоном, и общественное мнение справедливо чествовало его как победителя. Он был награжден высшими почестями, какие государство могло оказать гражданину: пожизненным правом обедать в Пританее и почетным местом в театре. В Совете и в Народном собрании его слово имело теперь решающее значение; его противник Никий своим вялым образом действий в пилосском деле сам лишил себя всякого влияния, и ему мало помогло, что он теперь вдруг воспрянул от своей прежней бездеятельности. Высадка на Истме, предпринятая им непосредственно вслед за взятием Сфактерии, повела лишь к бесплодной победе над коринфским ополчением, и если следующей весной (424) Никий отнял у лакедемонян остров Кифера, то это был, правда, блестящий успех, но сам собой напрашивался вопрос, почему Никий не сделал этого уже давным-давно.

Клеон предоставил своему противнику эти дешевые лавры, а сам всецело посвятил себя административным делам. Главное затруднение, с которым приходилось бороться Афинам в последние годы, заключалось в недостатке денежных средств: с тех пор как казна почти истощилась, регулярных доходов государства оказывалось далеко недостаточно для энергичного ведения войны. Под свежим впечатлением победы при Сфактерии, которая снова упрочила авторитет Афин на протяжении всей державы, Клеон увеличил теперь налоги больше чем вдвое против прежнего и довел этим доходы почти до 1000 талантов. Небольшую часть добытых таким путем средств он употребил на упрочение своей популярности в Афинах, повысив вознаграждение судьям с двух обол в день до трех — мера, которая, впрочем, может быть оправдана вздорожанием всех съестных припасов в Афинах, вызванным войной.

При таких условиях избрание Клеона на должность стратега весной 424 г. было обеспечено, несмотря на усилия противной партии. Даже солнечное затмение, случившееся перед выборами, не произвело впечатления на толпу. Конечно, и второй победитель при Пилосе, Демосфен, попал в число новых стратегов; точно так же и Гиппократ из Холар-

га, побежденный на выборах предыдущего года, был теперь снова избран. Таким образом, афиняне могли возлагать большие надежды на военные действия ближайшего лета. И действительно, правительство обнаружило замечательную энергию. Тотчас по вступлении в должность Гиппократ и Демосфен с ядром аттической армии, 4600 гоплитов и 600 всадников, двинулись против Мегары, где они вступили в переговоры с вождями демократической партии о выдаче города афинянам. В длинных стенах, соединявших город с морем, были отперты ворота для афинян, пелопоннесский гарнизон был отброшен в Нисейскую гавань и здесь заперт со всех сторон; на следующий день он капитулировал на условиях свободного отступления. Сама Мегара, раздираемая партийной борьбой, была неспособна к какому-либо серьезному сопротивлению и, казалось, без труда должна была достаться афинянам.

Между тем и у пелопоннесцев на этот раз нашелся подходящий человек. Потеря Пилоса и Киферы разбудила, наконец, лакедемонян от бездействия. Опыт семи лет показал, что постоянно повторявшиеся вторжения в Аттику не приводили ни к какому результату; кроме того, мысль об участии сфактерийских пленников удерживала спартанцев от нового похода против Афин, так как там было решено казнить пленных, как только пелопоннесская армия перешагнет через границу Аттики. Афины можно было обессилить только ударами, направленными против их союзников, и нетрудно было понять, кого из последних следовало выбрать для этой цели. При безусловном господстве афинян на море острова и Иония были недоступны для нападения пелопоннесцев; в пределах Афинского союза была только одна область, куда могла попасть сухопутная пелопоннесская армия, — побережье Фракии. И вот пелопоннесцы, наконец, решились на тот шаг, который им следовало предпринять еще до сдачи Потидеи, — именно на поход во Фракию. Но и теперь для этого предприятия было командировано не более 700 вольноотпущенных илотов и 1000 аркадских наемников. Впрочем, малочисленность войска вознаграждалась достоинствами полководца: во главе отряда стал Брасид, сын Теллиса,

самый способный из спартанских офицеров, человек, который уже в подчиненных должностях оказал государству очень важные услуги.

Брасид как раз находился на Коринфском перешейке, занятый сбором и организацией своей небольшой армии, когда пришло известие о нападении афинян на Мегару. Он тотчас собрал в соседних городах, Коринфе, Сикионе и Флиунте, 3700 гоплитов и повел это войско вместе со своим собственным отрядом через Геранию. В то же время с севера спустились через Киферон 2200 беотийских гоплитов с 600 всадников и под Мегарой соединились с Брасидом, который теперь имел под своим начальством около 8 тыс. человек и, следовательно, по численности войска значительно превосходил афинян. Последние действительно не решились вступить в сражение, на которое вызывал их Брасид, и, таким образом, Мегара была спасена для пелопоннесцев. Вожди демократии спаслись бегством в Афины, изгнанники вернулись, и в городе было введено олигархическое устройство. Однако Нисея осталась в руках афинян.

Брасид окончил свои приготовления и в конце лета двинулся во Фракию. Форсированным маршем он прошел Фессалию, жители которой хотя бóльшую часть держали сторону афинян, однако не оказали пелопоннесскому войску никакого серьезного сопротивления. Как только Брасид перешел через македонскую границу, царь Пердикка открыто примкнул к пелопоннесцам; его примеру тотчас последовали города Афинского союза, Аканф и Стагира. Затем, уже в начале зимы, Брасид направился против Амфиполя, главного города афинской Фракии. Жители последнего, среди которых афиняне составляли только незначительное меньшинство, были отчасти склонны к отпадению, отчасти мало расположены сражаться из-за аттических интересов. Нападения в это время года так мало ожидали, что афинский стратег Фукидид из Галимунта, начальник этой области, отправился со своей эскадрой из семи триер в Фасос. Хотя при известии о появлении Брасида под Амфиполем он поспешно вернулся, но было уже поздно: Амфиполь уже сдался пелопоннесцам. Только крепость Эйон при устье Стримона, некогда отнятую

у персов Кимоном, Фукидиду удалось спасти для Афин, которые, таким образом, сохранили по крайней мере точку опоры для будущих предприятий против Амфиполя.

В то время, как Брасид наносил эти удары афинскому могуществу во Фракии, афинское оружие потерпело тяжелое поражение также в Беотии. Исходя из верной мысли, что на успешное окончание войны можно надеяться только в том случае, если бы удалось отвлечь беотийцев от союза с Пелопоннесом, Гиппократ завязал сношения с демократической партией в Беотии. Предполагалось напасть на страну одновременно с трех сторон: беотийские изгнанники должны были овладеть Херонеей; Демосфен, который после взятия Нисеи отправился с 40 триерами в Навпакт, должен был высадиться с акарнанским отрядом около Сиф, в области Феспий, а сам Гиппократ в то же самое время должен был во главе всего аттического ополчения вторгнуться в Беотию с востока. Этот план, вероятно, казался его творцам образцом стратегического искусства и, действительно, был очень хорош в теории, но, к сожалению, он был слишком сложен, чтобы даже только с некоторою вероятностью можно было рассчитывать на успех. Прежде всего, при большом количестве участников, невозможно было сохранить тайну; беотийское правительство узнало о неприятельских замыслах и приказало занять намеченные заговорщиками пункты, Херонею и Сифы. Благодаря этому предполагавшееся восстание демократии расстроилось. Да и афинские стратеги действовали недостаточно аккуратно; Демосфен слишком рано пришел в Сифы и вследствие этого без большого труда был отбит беотийцами. Таким образом, когда Гиппократ через несколько дней перешел границу у Оропа, его встретило все войско Беотийского союза: 7000 гоплитов, 1000 всадников и около 11 тыс. легковооруженных. По количеству гоплитов и всадников афинское войско было почти равно, а по количеству легковооруженных даже значительно превосходило неприятеля. Тем не менее Гиппократ хотел избежать решительного сражения; он ограничился тем, что окружил укреплением храм Делийского Аполлона, на берегу Эвбейского пролива, в области Танагры, и оставил там гарнизон, главную же

часть своего войска повел обратно к границе. При этом он подвергся нападению беотийцев и после непродолжительного сражения был совершенно разбит, потеряв 1000 человек. Сам Гиппократ пал, и только ночь спасла войско от полной гибели. Через несколько дней сдалось и укрепление при Делии. Это было самое страшное поражение из всех, которые до сих пор потерпели Афины в течение этой войны.

Сицилийский поход также не принес тех плодов, каких ожидали от него в Афинах. Осенью 426 г. Лахес был отозван и замещен Пифодором; по возвращении в Афины Клеон возбудил против отрешенного от должности полководца процесс, который, однако, окончился оправданием последнего. Его преемник уже весной 425 г. принужден был уступить Мессену сиракузцам, которые теперь стали оспаривать у афинян господство над проливом. 40 триер, отправленных под начальством Софокла и Эвримедонта в подкрепление флоту, который действовал в сицилийских водах, были задержаны пилосскими событиями на большую часть лета и только осенью пришли в Регий. Теперь здесь был собран внушительный флот. Но именно это обстоятельство возбудило в сицилийцах основательное подозрение, что намерения афинян не ограничиваются защитой их халкидских союзников. Ввиду опасности, которая угрожала независимости всего острова со стороны Афин, внутренние раздоры прекратились; весной 424 г. в Геле заключен был между воюющими сторонами мир на условии сохранения каждою из них своих наличных владений. Афинянам ничего другого не оставалось, как покориться обстоятельствам и вернуться домой.

Таким образом, все предприятия военной партии потерпели крушение, и единственным успехом, которого она достигла со времени падения Никия, было взятие Нисеи. Мало пользы было от того, что несчастных стратегов одного за другим привлекали к суду и присуждали к тяжелым наказаниям, — прежде всего начальников посланного в Сицилию флота, Эвримедонта, Софокла и Пифодора, — затем Фукидида, благодаря оплошности которого афиняне потеряли Амфиполь. Такие процессы могли способствовать только

тому, чтобы поколебать доверие войска к его начальникам, и за это очень скоро пришлось поплатиться.

Под впечатлением делейского поражения и потерь во Фракии общественное мнение начало отворачиваться от военной партии. Легко представить себе, в каком привлекательном свете должен был являться теперь в сравнении с этими людьми Никий, который не проиграл ни одного сражения, которому, казалось, удавалось все, за что он ни брался, и который тем не менее не переставал в течение многих лет хлопотать о мире. В обществе все более распространялось убеждение, что вся эта война принесла очень мало пользы и что Перикл был прав, когда уже в самом начале считал высшею целью, к которой нужно стремиться, сохранение прежних владений. И действительно, восьмилетний опыт доказал каждому, кто только не закрывал глаз перед действительностью, что с теми средствами, которыми располагали Афины, невозможно было подорвать в корне могущество Спарты.

Итак, переговоры между воюющими державами были возобновлены. Правда, до мира дело еще не дошло; но друг Никия, Лаксес, весной 423 г. добился, по крайней мере, перемирия на год, и заключение окончательного мира казалось теперь еще только вопросом времени.

Что мир теперь не был заключен, это была вина Брасида. Взятие Амфиполя нанесло смертельный удар влиянию Афин во Фракии; всюду города спешили отложиться от них. Прежде всего перешли на пелопоннесскую сторону эдонийский город Миркин и фасосские колонии Галепс и Эсима; вскоре за ними последовали небольшие афонские города, кроме Саны и Диона, и важный пункт Торона на полуострове Сифония. Наконец, восстание распространилось даже на полуостров Паллена, несмотря на то, что он был совершенно отрезан от остального материка укреплениями аттической колонии Потидеи и был доступен только с моря. В то самое время, когда в Афинах и Спарте заключалось перемирие, здесь Скиона перешла на сторону Брасида.

Теперь афиняне потребовали, чтобы этот город был им возвращен, но Брасид, разумеется, не хотел выдавать своих

новых союзников. Таким образом, только что заключенное перемирие уже было нарушено, и Клеон приложил все усилия, чтобы увеличить разрыв. По его предложению афиняне отказались от третейского суда, предложенного лакедемонянами. Он требовал, чтобы Скиона была покорена с помощью оружия и чтобы все ее население, в наказание за измену, было казнено. Во Фракию немедленно была отправлена под начальством Никия эскадра в 50 триер с 1000 гоплитов и большим количеством легковооруженных.

Никий обратился прежде всего против Менды — города, расположенного по соседству со Скионой, который между тем также успел отложиться от Афин. С помощью демократов этого города он без труда завладел им; затем он явился под Скионой, пелопоннесский гарнизон которой оказал энергичное сопротивление, так что Никий должен был решиться на правильную осаду. Эти успехи побудили македонского царя Пердикку, который незадолго перед тем поссорился с Брасидом, снова перейти на сторону афинян; это было важное приобретение для Афин, так как македонский царь преградил путь лакедемонским подкреплениям, которые уже находились на пути к Брасиду. Таким образом, последний должен был довольствоваться собственным небольшим войском да вспомогательными отрядами своих халкидских союзников.

Между тем в самой Греции, несмотря на военные действия во Фракии, покой оставался ненарушенным. Но переговоры о мире были при этих обстоятельствах, конечно, безуспешны, и даже перемирие, срок которого окончился весной 422 г., не было продолжено. Каково было настроение в Афинах, показывает избрание Клеона в стратеги на ближайший служебный год 422—421; а план Клеона состоял в том, чтобы силою оружия вырвать у Брасида его завоевания. На этот раз он лично принял начальство; в конце лета 422 г. он во главе 1200 афинских гоплитов, 300 всадников и многочисленных союзников на 30 кораблях отправился во Фракию. Начало, казалось, оправдывало самые смелые ожидания: Торона и Галепс были взяты штурмом и подготовлено нападение на Амфиполь. Но во время рекогносцировки города, ко-

торуую Клеон предпринял со всем своим войском, на него неожиданно напал Брасид; афинское войско было разбито и обращено в беспорядочное бегство; 600 афинян и сам полководец легли на поле битвы. Пелопоннесцам эта победа стоила только семи человек; но между этими семью был Брасид. Благодарные жители Амфиполя поставили ему памятник на рынке своего города и воздавали ему, как освободителю, геройские почести.

Битва при Амфиполе нанесла тяжелый удар военной партии в Афинах. Мало того, что она лишилась своего вождя Клеона, единственного действительно способного человека, который был в ее рядах; гораздо важнее было то, что на памяти Клеона тяготела вся ответственность за неудавшийся фракийский поход. Таким образом, управление государством естественно должно было перейти к Никию, и он мог теперь беспрепятственно стремиться к той цели, к которой он был так близок уже два года назад. Ведь сам его противник доказал, что при теперешних условиях силою оружия ничего нельзя сделать во Фракии и что возвращение Амфиполя может быть достигнуто только путем примирения со Спартой.

В Спарте также имели полное основание желать мира. В среде пелопоннесских союзников начали обнаруживаться опасные симптомы. Мантинейя распространила свое господство на южные области Аркадии до лаконской границы и при этом вступила в войну с Тегеей; кровопролитное сражение, происшедшее между ними зимой 423 г., не привело ни к какому результату. Необходимо было водворить здесь порядок и вернуть Мантинейю в ее прежние границы. Кроме того, Спарта находилась в натянутых отношениях с элейцами из-за того, что спартанцы во время одного спора между Элидой и подвластным ей городом Лепреем приняли сторону последнего и послали для его защиты Лакедемонский гарнизон. Все это было бы не очень важно, если бы тридцатилетнее перемирие с Аргосом не приближалось теперь к концу; а Аргос требовал, в награду за возобновление договора, возвращения Кинурии, которая сто лет назад была отнята у него Спартой. Последняя, конечно, не могла согласиться на это

требование; поэтому было чрезвычайно важно прийти к соглашению с Афинами раньше, чем начнется война с Аргосом. К этому присоединилось еще желание освободить сфактерийских пленников.

Правда, теперь, после побед при Делие и Амфиполе, спартанцы отнюдь не были склонны купить мир ценой значительных уступок. Возвращение к тому положению, в котором обе стороны находились до войны, было крайним условием, на которое они готовы были согласиться, и так как именно теперь решительный успех был на стороне пелопоннесского оружия, то это была во всяком случае уже крупная уступка. Ведь заключить мир на таких условиях значило для Спарты отказаться от той смелой программы, с которой она десять лет назад начала войну,— освобождения эллинов от афинского господства. Более того: Спарта обязывалась этим выдать Афинам те эллинские города, которые, доверяя спартанской клятве, решились отпасть и примкнуть к Пелопоннесскому союзу.

Таким образом, враждебные действия были приостановлены и переговоры снова начались. Но, несмотря на доброе желание обоих правительств, к концу зимы мир еще не был заключен. Наконец, весной лакедемоняне поставили ультиматум и, чтобы придать ему больше силы, приказали в то же время союзникам готовиться к походу в Аттику. Эта мера подействовала: Никий принял условия лакедемонян, Совет и народ дали свою ратификацию. 25 или 26 элафеболia (в апреле) 421 г. заключен был мир или, как говорили греки, перемирие на 50 лет между афинянами и лакедемонянами и их обоюдными союзниками.

В основу мира положено было возвращение к тому территориальному положению, которое обе воюющие стороны занимали до начала войны. В силу этого соглашения афиняне должны были возвратить Пилос и Киферу, а лакедемоняне — Амфиполь. Скиона, которая все еще держалась, была предоставлена мести афинян, и только для Пелопоннесского гарнизона было выговорено свободное отступление. В вознаграждение за Платею, которую беотийцы отказались вернуть, афиняне должны были удержать Нисею. Халкидские

города, которые отпали от Афин до заключения перемирия — во время потидейского восстания или позднее, во время похода Брасида, и еще не были опять покорены: Олинф, Аканф, Стагира, Аргил, Стол, Спартол, Сана и Синг, — сохраняли свою независимость, но обязывались платить Афинам дань, установленную некогда Аристидом. Наконец, обе стороны должны были обменяться пленниками.

Состоятельные классы Афин и их вождь, Никий, добились того, к чему они так давно стремились: программа Перикла была блестяще осуществлена; Афинская держава вышла из борьбы в общем невредимой. Уничтожить Спарту, опору консервативного элемента в Греции, эта партия не могла желать в собственных интересах, даже если бы это было возможно. Совсем другого мнения была, конечно, радикальная партия. С ее точки зрения, заключение мира должно было казаться большой ошибкой именно теперь, когда срок перемирия между Аргосом и Спартой истекал через несколько месяцев и когда в обоих демократических государствах, Мантинее и Элиде, возбуждение против Спарты достигло такой степени, что с уверенностью можно было ожидать кризиса в самом Пелопоннесском союзе.

Способ, которым были осуществлены условия мира, дал этой оппозиции новую пищу. Спартанское правительство действительно было готово исполнить обязательства, которые оно приняло на себя по договору, так как для него самого было очень важно получить обратно Пилос, Киферу и сфактерийских пленников. Поэтому в Спарте немедленно освободили афинских пленников и послали Клеариду, который по смерти Брасида заменил его во Фракии, приказ передать афинянам Амфиполь. Но Клеарид вовсе не хотел сыграть роль предателя по отношению к союзникам, освобождению которых от афинского ига он сам содействовал. Оправдываясь невозможностью сделать что-либо со своими слабыми силами против воли халкидцев, он ограничился тем, что ушел со своим войском из Фракии и вернулся в Пелопоннес. Таким образом, самое важное для афинян условие мира осталось мертвою буквой, и вследствие этого они, в свою очередь отказа-

лись очистить Пилос и Киферу или хотя бы только отпустить на волю сфактерийских пленников.

Немало затруднений причинили Спарте также ее собственные союзники. Ни одному государству эта война не стоила бóльших жертв, чем Коринфу, морская торговля которого в течение стольких лет была парализована афинской блокадой. А теперь мир не принес ему ни одной из тех выгод, ради которых он взялся за оружие: Потидея и Керкира оставались во власти Афин, и даже колонии Анакторий и Соллий не возвращались Коринфу акарнанцами. Поэтому коринфяне отказались принять мир и нашли поддержку у халкидцев во Фракии, которые решили ни в каком случае не давать согласия на уступку Амфиполя, ни снова платить дань афинянам. Беотийцы также не хотели слышать о мире и согласились только на перемирие с Афинами под условием заявлять о разрыве договора за 10 дней вперед.

Ввиду этого кризиса в недрах собственного союза Спарта не находила другого исхода, кроме еще большего сближения с Афинами. Здесь она встретила со стороны Никия полное сочувствие. Казалось, идеал Кимона был осуществлен; между обеими первенствующими державами заключен был оборонительный союз. Афины не могли дольше отказывать в выдаче сфактерийских пленников, и, таким образом, по крайней мере главное требование спартанцев было удовлетворено.

Эта перемена в лакедемонской политике только ускорила катастрофу в Пелопоннесе. Союз распался. Элида, Мантинея, Коринф, фракийские халкидцы отпали от Спарты и вступили в союз с Аргосом. Попытка привлечь и Тегею к этому союзу окончилась, правда, неудачей, и спартанцам удалось даже отнять у Мантинеи господство над Паррасией в южной части Аркадии; но в общем Спарта была теперь изолирована в Пелопоннесе. С Афинами также не удалось установить искренних отношений, несмотря на только что заключенный союз. Там отказывались — и с полным правом — очистить Пилос и Киферу, пока спартанцы не вернут Амфиполь и пока Коринф, Беотия и халкидцы не признают мира; между тем Спарте, при том опасном положении, в кото-

ром она находилась теперь, было не до того, чтобы силой оружия принудить эти государства к принятию афинских требований. Таким образом, переговоры с Афинами не повели ни к чему или, вернее, единственным результатом их было еще большее отчуждение между обеими союзными державами.

При таких условиях ближайшие выборы эфоров в Спарте поставили у кормила правления отчасти людей, принадлежавших к военной партии. Следствием этого было возобновление старого союза между Спартой и Беотией. Теперь и в Афинах снова усилилась оппозиция. Во главе ее стоял теперь Гипербол из Периозд, подобно Клеону принадлежавший к торговому классу и игравший уже в течение нескольких лет видную роль в Народном собрании и суде. После Клеона это был самый ненавистный человек для состоятельных и образованных классов, и позже он пал жертвою этой ненависти во время олигархической реакции 411 г. Рядом с ним стоял человек совсем иного рода, Алкивиад, сын Клиния из дема Скамбонид, близкий родственник Перикла, в доме которого он воспитывался, рано лишившись отца. Его знатное происхождение, большое богатство, красивая наружность и замечательные умственные способности скоро сделали его „львом“ афинского общества, в котором он задавал тон и которое всегда было готово подчиняться его прихотям. Перед ним открывался путь к блестящей политической карьере, какая выпадает на долю немногих; но при всех своих выдающихся военных и дипломатических талантах он был слишком своенравен и легкомыслен для роли государственного человека, и его политическая деятельность не имела прочного успеха и не принесла счастья его родному городу. Как раз теперь ему исполнилось тридцать лет, и он, следовательно, вступил в тот возраст, когда имел право добиваться высшей государственной должности — стратегии. Следуя традициям своей семьи, он примкнул к крайней демократии, и при недостатке военных талантов в рядах последней его приняли здесь, разумеется, с распростертыми объятиями, как мало он ни был похож на народного вождя.

И действительно, на выборах стратегов весной 420 г.

мирная партия потерпела поражение. Никий не был вновь избран, и его место занял Алкивиад. Это дало новое направление политике Афин. Непосредственно после выборов был заключен оборонительный союз с Аргосом и его союзниками Мантинеей и Элидой, что, конечно, имело последствием новое сближение между Коринфом и Спартой. Чтобы укрепить союз между Аргосом и Афинами, оба государства в следующем году напали на Эпидавр, которому, в свою очередь, оказала поддержку Спарта. Таким образом, военные действия между Афинами и Спартой возобновились; в Афинах по предложению Алкивиада было объявлено, что лакедемоняне нарушили мир (зимой 419—418 г.).

Такое решение было почти равносильно объявлению войны. Ввиду этого состоятельные классы напрягли все свои силы, и им действительно удалось на ближайших выборах стратегов (весной 418 г.) снова отдать власть в руки Никия и его друзей. Алкивиад не был вновь избран — доказательство, что большинство населения и теперь было настроено против политики приключений.

Теперь Спарта считала своевременным выйти из того выжидательного положения, которое она занимала до сих пор. Как только власть в Афинах перешла к новому правительству, в середине лета 418 г., царь Агис II двинулся во главе всего лакедемонского ополчения в Аркадию, увеличил здесь свое войско союзными отрядами, посредством искусного маневра обошел позицию аргосцев и их пелопоннесских союзников при Мефидрии и в Флиунте соединился с беотийцами и войсками союзных городов Коринфского перешейка. Он имел теперь под своим начальством около 20 тыс. гоплитов и далеко превосходил неприятеля как численностью, так и качеством своего войска. Но укрепленную позицию аргосцев на вершине прохода, через который ведет дорога из Немей в Аргос, невозможно было взять нападением с фронта; поэтому Агис, поручив беотийцам следить за врагом, сам с лакедемонянами и аркадцами двинулся из Флиунта, перешел по неприступным тропинкам через гору и долиной Инаха спустился на Аргосскую равнину. Он находился теперь в тылу неприятеля, и это заставило аргосцев

покинуть Немейский проход; но так как беотийцы не преследовали противника, то Агис оказался между стенами Аргоса и аргосским войском в такой опасности, что счел нужным заключить с аргосским стратегом Фрасиллом перемирие на четыре месяца и под его защитой удалиться из Аргосской области. Оба войска были очень недовольны этим исходом дела, так как на обеих сторонах были уверены в победе; аргосцы едва не забросали Фрасилла камнями и приговорили его к лишению имущества, а в Спарте Агис лишь с трудом избег тяжелого наказания.

Только теперь, когда все было кончено, высадились у Аргоса 1000 афинских гоплитов и 300 всадников под начальством стратегов Лакхеса и Никострата. Но чтобы по возможности ослабить дурное впечатление, которое должна была произвести в Аргосе эта медлительность, к войску прикомандировали в качестве посла Алкивиада, как человека, который до сих пор вел все переговоры с Аргосом и пользовался там большими симпатиями. Это был опасный выбор; Алкивиад превысил данные ему полномочия и начал действовать на собственный риск. Под его влиянием союзники, не обращая внимания на только что заключенное перемирие, перешли к энергичным наступательным действиям против лакедемонских союзников в Аркадии, и афинские стратеги тем менее могли уклониться от участия в их предприятии, что в план действия не входило нападение непосредственно на спартанскую территорию. И действительно, Орхомен после непродолжительной осады вынужден был присоединиться к Аргосу. Между тем элейцы потребовали, чтобы войска были двинуты к Лепрею, и когда их предложение не было принято, 3000 выставленных ими гоплитов покинули союзное войско и вернулись домой. Этот раскол имел роковое значение для дела союзников. Лакедемоняне, при известии о взятии Орхомена, выступили в поход со всем своим войском, соединились с отрядами Тегеи и остальных южно-аркадских округов и двинулись к Мантинее. На равнине, под стенами этого города, дано было сражение, величайшее из всех, какие происходили между греками в течение долгого времени. Оба войска были, вероятно, по количеству приблизительно

равны; но аргосцы и афиняне не выдержали натиска спартанских гоплитов, после чего и мантинейцы на правом крыле, сражавшиеся вначале с успехом, были увлечены общим бегством. Союзники потеряли 1100 человек, и между ними обоих афинских стратегов, Лахеса и Никострата; потери победителей доходили, по преданию, приблизительно до 300 человек. Пятно поражения при Сфактерии было смыто, и военный авторитет Спарты в Греции снова упрочен.

Аргос заключил теперь мир и союз со Спартой и порвал свой союз с Афинами; вскоре после этого здесь произведена была реформа государственного устройства в олигархическом духе. Мантинея принуждена была согласиться на тридцатилетний мир со Спартой, отказавшись от всех притязаний на гегемонию в Аркадии. Ахея, в которой до сих пор одна только Пеллена была в союзе со Спартой, теперь вся вступила в Пелопоннесский союз. Элида также заключила мир и отказалась от притязаний на Лепрей, не возобновляя, однако, своего прежнего союза со Спартой. Никогда до сих пор гегемония Спарты в Пелопоннесе не достигала таких размеров.

Таким образом, теперь Афины были изолированы в Греции больше, чем когда-либо; все, чего достигла политика Алкивиада в последние годы, было потеряно. Правда, значительная доля ответственности за это падала на самого Алкивиада; но настоящим виновником всех бед являлся Никий, отказавший союзному Аргосу во всякой деятельной поддержке. Его противники поспешили воспользоваться этим положением дел для своих целей. По предложению Гипербола народ решил весной 417 г. прибегнуть к остракизму. Вождь демоса рассчитывал на то, что эта кара падет на Никия и что последний будет изгнан из Афин на десять лет; но даже если бы эта надежда не оправдалась, самому Гиперболу, по-видимому, нечего было бояться. Ведь ясно было, что приверженцы Никия подадут голоса не против Гипербола, а против Алкивиада — единственного человека, который был действительно опасен для мира и, как думали многие, также для свободы Афин. Действительно, при той нужде в покое, какую чувствовали состоятельные классы, и при все еще

безграничном влиянии Никия, можно было с большим вероятием ожидать неблагоприятного решения для Алкивиада. Но последний не имел никакой охоты подвергать себя опасности. Он порвал свою связь с крайней демократией и перешел в лагерь Никия; оба они соединили голоса своих приверженцев против Гипербола. Таким образом, случилось то, чего никто не ожидал; народ признал Гипербола виновным в стремлении к тирании в Афинах и присудил его к изгнанию. Он отправился в Самос, и больше ему уже не суждено было видеть свою родину. Этот случай обратил институт остракизма в посмешище, и хотя формально он не был отменен, но оставался с тех пор лишь мертвой буквой.

Теперь господами положения были Никий и Алкивиад. Непосредственно после остракизма оба были избраны в стратеги и утверждены в должности также на следующий год (416—415). Однако Алкивиад после своего разрыва с крайней демократией занимал по отношению к Никию положение зависимого союзника. Как и следовало ожидать, Афины стали теперь обнаруживать желание остаться с Пелопоннесом в возможно лучших отношениях, к чему побуждало их и общее состояние дел. Впрочем, Спарта не сумела удержать то положение, которое доставила ей победа при Мантинее. Уже в середине лета следующего года (417) демос в Аргосе восстал против олигархического правительства, и так как лакедемоняне медлили с подачей помощи, то была восстановлена демократия, которая тотчас отказалась от союза со Спартой и снова примкнула к Афинам. Правда, лакедемоняне зимним походом помешали попытке соединить Аргос с морем посредством параллельных стен и даже завладели небольшим аргосским городом Гисиями; но это не произвело никакой существенной перемены в политическом положении.

Между тем Никий задумал снова подчинить Халкидику. Взятие Скионы было там единственным успехом, которым могли похвалиться афиняне со времени заключения мира. После ухода Пелопоннесского гарнизона город принужден был сдаться летом 421 г. граждане были казнены как мятежники, а земля роздана платейцам. В свою очередь, хал-

кидцы завладели несколькими мелкими пунктами, которые еще держали сторону Афин. Теперь, летом 417 г., Никий во главе афинского флота предпринял поход против Амфиполя; но так как Пердикка Македонский успел уже снова переменить фронт и перейти на сторону халкидцев, то это предприятие не имело успеха, и Афины должны были ограничиться блокадой македонских гаваней.

Зато удалось теперь завоевать Мелос, единственный остров на Эгейском море, который до сих пор не принимал афинской гегемонии. Осада началась летом 416 г., а следующей зимой голод принудил город к сдаче. Хотя Мелос никогда не принадлежал к Афинскому союзу, однако афиняне поступили с его населением по варварскому военному праву, которое они в последние годы начали применять к отпавшим союзникам: взрослые мужчины были казнены, остальное население продано в рабство. Место прежних обитателей заняла аттическая клерухия в 500 человек.

Таково было положение дел в Элладе, когда Афины предприняли тот роковой поход против Сицилии, которому суждено было в самой Греции произвести перетасовку всех политических сил и который, наконец, дал возможность пелопоннесцам осуществить давно намеченную ими цель — уничтожить Афинскую державу и вместе с ней демократию. Но прежде, чем перейти к этим событиям, мы должны рассмотреть работу тех духовных сил, которые подготовили почву для этого переворота.

ГЛАВА XVI

Расцвет поэзии и искусства

В эпоху Персидских войн первое место в ряду общественных интересов все еще занимали поэзия и пластическое искусство; к ним обращался каждый, кто чувствовал в себе призвание к духовному творчеству. Работа VI столетия устранила главнейшие технические трудности и порвала те узы традиционализма, которые до тех пор задерживали развитие художественной деятельности. Теперь ее путь был свободен; а экономический расцвет, в течение продолжительного периода мира, который следовал за Персидской войной, дал возможность как государствам, так и частным лицам тратить на художественные цели более чем когда бы то ни было раньше. Таким образом, все условия благоприятствовали тому, чтобы искусство достигло в эту эпоху такого расцвета, какой уже более не повторялся в истории человечества. Произведения этого периода, даже в тех скудных обломках, в которых они дошли до нас, служат для нас неиссякаемым источником эстетического наслаждения; они представляют прочную и непоколебимую основу, на которой зиждется поэзия и пластическое искусство всех позднейших времен. Таким образом, эпоха Перикла является нашему духовному взору в светлом ореоле золотого века.

Наиболее благоприятную почву для своего развития художественная деятельность нашла в тех двух городах, которые благодаря борьбе с варварами сделались средоточиями могущественных держав, — в Афинах и Сиракузах; наряду с ними — также в Арголиде, достигшей цветущего состояния благодаря торговле и промышленности. Напротив, Спарта, которая до Персидских войн была любимым местопребыванием муз, теперь отошла на задний план; борьба с революцией заставила это государство оградить себя китайской стеной от всяких новых течений в области мысли и в то же время изо всех сил стремиться к сохранению старины. Азиатская Греция также отстала в этом отношении от метрополии и западных колоний — отчасти вследствие экономиче-

ской катастрофы после неудавшегося восстания против Дария, от которой она лишь медленно оправлялась, отчасти и главным образом потому, что ее лучших людей уже начала привлекать только что народившаяся наука. Потому что по своему духовному развитию Иония все еще стояла на полвека впереди остальной Греции.

Афины уже во время господства Писистратидов сделали центром умственной жизни греческого народа. Здесь жили в эту эпоху Лас из Гермियोны и Симонид из Кеоса (ок. 558—468 гг.), основатели эллинской классической музыки. Достойным преемником их был ученик Ласа, фиванец Пиндар (520—440 гг.). Этим художникам обязана своим совершенством хоровая поэзия. Изящество языка, обилие глубоких идей, красота ритмов и искусная инструментовка соединились в их произведениях в одно гармоническое целое, какого еще не видел свет и которое вызывало безграничное удивление в современниках. Многочисленные внешние знаки отличия и щедрое материальное вознаграждение выпадали на долю поэтов: куда бы они ни приходили, им везде был готов радушный прием, и самые знатные люди нации наперерыв добивались чести быть воспетыми в их песнях. А Симонид, благодаря своим близким отношениям ко дворам сиракузского и акрагантского тиранов, имел даже возможность влиять на политические дела и однажды избавил Сиракузы от грозившей ей войны.

Таким образом, греческая лирика достигла высшего расцвета, какой был возможен для нее в эту эпоху. И, может быть, Пиндар со своими вычурными ритмами и темным языком, который делал текст при музыкальном исполнении почти непонятным для слушателей, уже переступил надлежащую границу. К тому же большая часть его стихотворений была написана по заказу — по столько-то сот драхм за песню; откуда же могло явиться здесь поэтическое вдохновение? Эпоха Персидских войн создала еще целый ряд талантливых поэтов в таком же роде, например, родосца Тимокреона и племянника Симонида, Бакхилида; но ни один из них не сравнился с великими художниками предшествующей эпохи. Около середины V столетия хоровая лирика в духе

Симонида и Пиндара вообще пришла в упадок, отчасти под влиянием демократического направления эпохи, которое шокировала хвалебная песнь в честь отдельной личности и которое заставило искусство обратиться к служению всему обществу.

Таким образом, при своем дальнейшем развитии греческая поэзия и музыка вступили в связь с культом. Исходной точкой здесь был дифирамб, хоровая песнь, которую пели в праздники Диониса в честь этого бога. Великие музыканты конца VI и начала V века, Лас, Симонид и Пиндар, писали и клали на музыку тексты для таких представлений; однако мы совершенно лишены возможности составить себе понятие о сущности этого рода поэзии, так как от той эпохи не уцелело ни одного сколько-нибудь значительного отрывка дифирамба. По-видимому, предводитель хора декламировал отрывок из мифа о Дионисе, а хор пением и танцами выражал свои чувства по поводу слышанного.

От дифирамба оставался один шаг к драме. Предводитель хора был противопоставлен хору как актер, и таким образом сделалось возможным представление, которое, конечно, соответствовало характеру сатиров, составлявших хор. Эта так называемая сатирическая драма возникла в городах, расположенных на Истме, — прежде всего в Сикионе, который с древних времен был одним из главных мест поклонения Дионису; здесь около конца VI столетия жил первый великий представитель ее, Пратин из Флиунта.

Преобразование этих фарсов в серьезную драму произошло в Аттике и приписывается сказанием Феспису из округа Икарии, где также процветал культ Диониса. Первые пьесы такого рода он исполнил, по преданию, при Писистрате, в 534 г., на учрежденном незадолго до того празднестве Больших Дионисий в Афинах. Сюжеты заимствовались из героических сказаний, на которые народ смотрел как на историю; в этом смысле Эсхил и назвал свои пьесы крохами со стола Гомера. Несколько позже, под впечатлением потрясающих событий Персидских войн, была сделана попытка выводить на сцену также случаи из современной истории, — впервые, вероятно, Фринихом в его „Падении Милета“; од-

нако этот ложный прием вскоре был оставлен. Хор, конечно, перестал теперь маскироваться сатирами; удержалось только название — песнь козлов, трагедия. Лирические партии компонировались большею частью по образцу Стесихора, а текст писался тем самым смешанным из эпического и дорийского наречий языком, которым со времени Стесихора пользовалась вся хоровая лирика; напротив, диалог писался трохеическими тетраметрами и ямбическими триметрами, которые впервые ввел в употребление Архилох, и на родном аттическом языке. Но вначале центр тяжести пьесы лежал всецело в песнях и танцах хора, наряду с которыми действию уделялось лишь незначительное место, так как хору противопоставлялся только один актер. Однако уже рано стали вводить и второго актера, благодаря чему сделался возможным диалог без участия хора; и уже Эсхил в своих последних пьесах выводил трех актеров — число, которое впоследствии осталось обязательным для греческой трагедии. Поэтому хоровые партии все более и более уступали место диалогу и превратились, наконец, в музыкальные вставки, не имеющие прямого отношения к ходу действия. С течением времени стали также все шире пользоваться соло и дуэтами актеров; тем не менее античная трагедия никогда не решилась совершенно сбросить с себя узы хора.

Первый великий представитель трагедии — Эсхил (ок. 525—456 гг.) из аттического дема Элевсина. Он был современником Персидских войн, и в его пьесах отражается мировоззрение того поколения, которое сражалось при Маратоне и Саламине. У него все возвышенно и торжественно; поэт проводит перед нашими глазами существа из высшего мира; мы удивляемся им, но они слишком далеки от нас, чтобы мы могли принимать в их судьбе действительное участие. Действие растянуто уже благодаря бесконечным хорам с их напыщенным и часто до непонятности вычурным потоком слов, которого не выносило уже ближайшее поколение. Поэтому Эсхил был принужден делить каждый из служивших ему сюжетами мифов на три пьесы (так называемая трилогия), которые давались одна за другой и заканчивались сатирической драмой. Но внимание публики не выносило

такого большого напряжения, и хотя впоследствии обычай, по которому каждый поэт выступал сразу с тремя трагедиями и одной сатирической драмой, остался в силе, но у преемников Эсхила между этими пьесами не было никакой внутренней связи.

Второй великий трагик, Софокл (ок. 496—406 гг.), из предместья Колона, жил в эпоху Перикла, с которым он сам находился в близких отношениях. Он первый уделяет должное место действию на счет хора; с неподражаемым искусством он умеет завязать драматический узел и развязать его без натяжек. Его действующие лица уже не герои, а люди; но, по собственному выражению поэта, это не такие люди, какими они бывают в действительности, а какими они должны быть, — совершенные образцы добродетели или совершенные злодеи, поскольку это допускало содержание мифа. Кто смотрел его пьесы, тот не имел надобности особенно напрягать свою мысль и возвращался домой с сознанием, что провел день с большим удовольствием. Таким образом, как поэт он приходился по душе и образованным, и необразованным людям; еще молодым человеком он вытеснил Эсхила из расположения публики, и пока он был жив, никто не сумел затмить его. Но потомство было отчасти другого мнения — и с полным правом: как велик ни был Софокл, за ним следовал еще более великий поэт.

Еврипид (ок. 480—406 гг.) — последний в блестящем трехзвездии аттических трагиков. Хотя он был моложе Софокла менее чем на двадцать лет и умер в один год с ним, однако он принадлежит к совсем иной эпохе: его уже захватило то умственное движение, которое во второй половине V столетия радикально преобразовало весь эллинский мир. Он первый в Афинах стал проповедовать со сцены идеи нового времени, точно так же, как он впервые воспользовался в своих пьесах художественными приемами только что нарождавшейся риторики, а для композиции лирических партий — музыкальными нововведениями дифирамбиков. В построении действия он, правда, уступает Софоклу; зато он значительно превосходит его в обрисовке характеров. Вместо героев и идеальных личностей он вывел на сцену живых

людей и первый воспользовался, как сюжетом для драмы, любовью. Поэтому его действующие лица возбуждают в нас гораздо более глубокое участие, чем действующие лица Эсхила или Софокла. Правда, чувства его персонажей иногда совершенно противоречат героической маске, в которую автор, по обычаю той эпохи, принужден был наряжать их. Комедия, конечно, подметила и осмеяла это противоречие; и вообще Еврипид не избег той участи, которая постигает почти всех новаторов, — участи не быть понятым большинством своих современников. Всю жизнь приходилось ему бороться с самыми ожесточенными нападками; на его долю выпали лишь немногие первые награды, и даже такое образцовое произведение, как „Медея“, не было оценено по достоинству. Но именно эти беспрестанные нападки комедии показывают, как хорошо вся образованная публика знала драмы Еврипида. Комедии Аристофана полны скрытых намеков на отдельные стихи Еврипида; следовательно, поэт был уверен в том, что его слушатели поймут эти намеки, — конечно, за исключением черни, которая занимала большую часть мест в театре. И сам Аристофан, никогда не упускавший благодарной темы — посмешить толпу на счет Еврипида, находится, однако, всецело под его влиянием. Точно так же трагики конца V столетия, как Агафон и Критий, были ревностными последователями направления, созданного Еврипидом, и оно осталось господствующим в греческой трагедии на все позднейшее время. Пьесы самого Еврипида удержались на сцене еще в течение многих веков; да и до нас дошло от него больше, чем от всех остальных трагиков вместе. Кроме Гомера, ни один греческий поэт не имел такого сильного влияния на потомство, как Еврипид.

Из того же корня, из которого развилась трагедия, и в одно время с нею, возникла комедия, „песнь веселых кутил“ Она была продуктом столичной жизни, сосредоточившейся после Персидских войн в Афинах и Сиракузах. А так как Сиракузы стали большим городом еще несколько раньше, чем Афины, то там прежде всего комедия и достигла художественного развития. Ее основатель, Эпихарм, родившийся в сицилийской Мегаре, должен был, после разрушения по-

следней Гелоном, переселиться вместе со своими согражданами в Сиракузы, где он получил права гражданства. Начало его поэтической деятельности относится к царствованию Гиерона; но так как он умер, по преданию, девяноста лет от роду, то он дожил, вероятно, еще до эпохи Пелопоннесской войны. Платон называет его величайшим комическим поэтом Греции и ставит наряду с Гомером; и еще мы в немногих дошедших до нас отрывках удивляемся обилию глубокомысленных изречений, хотя о достоинстве его драм, как цельных произведений, мы не в состоянии судить. Так как при Гиероне свобода слова в Сиракузах была стеснена, то Эпихарм принужден был отказаться от политических сюжетов и обратиться к комедии нравов; раз избранному направлению он остался верен и позднее, во время демократического правления. При этом он охотнее всего разрабатывал философские проблемы, подобно своему младшему современнику Еврипиду.

Эпихарм имел, конечно, немало последователей в Сиракузах, но ни один из них не заслуживает быть упомянутым рядом с ним самим. Наиболее блестящего развития достигла комедия в Афинах, где приблизительно с 465 г. начали ставить комедии на государственный счет. Первым великим представителем комедии здесь был Кратин, современник Перикла; из бесчисленного множества его последователей замечательны Эвполид (ок. 445—411 гг.) и Аристофан (ок. 445—385 гг.), которые довели эту так называемую „древнюю“ аттическую комедию до совершенства. При свободной конституции Афин поэты брали здесь сюжеты главным образом из области политики и подвергали беспощадной критике как существующие порядки, так и руководящих лиц. Да и вообще ничто не могло уберечься от их насмешки, до бессмертных богов включительно, которых, впрочем, вывел на сцену уже Эпихарм. При этом комедия говорила без обиняков; соответственно разгульному веселью праздника Диониса, она называла каждую вещь ее настоящим именем, не останавливаясь перед самыми непристойными выражениями и жестами. Но все это дышит той несравненной прелестью, которою отличаются все художественные произведения этой

эпохи; и, может быть, с чисто эстетической точки зрения древняя аттическая комедия является прекраснейшим из созданий греческой поэзии.

Постановка греческой драмы произвела бы на нас, конечно, очень странное впечатление. Так как играли днем и под открытым небом перед десятками тысяч зрителей, то актер носил на лице маску, которая давала возможность узнавать его на далеком расстоянии; это остаток древнего маскирования на Дионисовых праздниках, сохранившийся до сих пор в карнавале. Таким образом, все искусство актера ограничивалось дикцией и жестикуляцией. Остальные части театрального костюма также были раз навсегда установлены: сапоги с подошвами на колодках и высокими каблуками, длинный, доходивший до земли хитон, подушки для увеличения объема тела — наряд, в котором актеры показались бы нам живыми куклами. Представления давались исключительно в дни Дионисовых празднеств. Поэтому в Афинах в древнейшее время трагедии ставились только один раз в год, — весной, во время Больших Дионисий, но зато по несколько одна за другой, так как всякий раз в состязании участвовало три поэта, из которых каждый ставил по три трагедии и по одной сатирической пьесе. Комедии давались, кроме этого праздника, еще зимой во время Леней, причем также состязались несколько поэтов, но каждый только с одной пьесой. Но так как ставились почти исключительно новые пьесы, то спрос на драмы был очень велик; ему соответствовало и производство, тем более что государство старалось поощрять его назначением материальных вознаграждений авторам. Для одной только афинской сцены в период от Персидских войн до конца Пелопоннесской войны было написано около 900 трагедий и сатирических драм и несколько сот комедий. Правда, некоторые из поэтов этой эпохи отличались поразительной плодовитостью; Эсхил, например, написал 90 драм, Софокл — 123, Еврипид — 92, Аристофан — 40, так что почти третья часть всех трагедий и сатирических драм, нужных для Афинского театра, поставлялась в V столетии только тремя великими трагиками. Комедия, выросшая всецело на афинской почве, разрабатывалась, конечно,

почти исключительно афинянами; напротив, между трагедиями, которые ставились на афинской сцене, были также произведения целого ряда иногородних поэтов, как Иона из Хиоса, Ахея из Эретрии, Неофронта Сикионского, тегейца Аристарха, Каркина из Акраганта. Следовательно, трагедии ставились, вероятно, также в этих и в других городах. В этом отношении мы имеем более подробные сведения только о Сиракузах: для их сцены Эсхил в царствование Гиерона написал своих „Этнеянок“; что трагедии давались здесь и позже, в эпоху Пелопоннесской войны, на это указывает пример Дионисия, который мог сделаться трагиком только в своем родном городе, и притом, очевидно, в молодом возрасте, прежде чем он стал во главе государства. Впрочем, все эти сцены имели только местное значение; настоящую славу трагик мог приобрести лишь в том случае, если ему удавалось получить награду на состязании в Афинах. Что касается комедии, то для нее вообще не было почвы в провинциальных городах.

Драма в V веке далеко отодвинула на задний план все остальные роды поэзии. Древний народный эпос давно умер, хотя на празднествах рапсоды все еще пели песни Гомера; а попытки создать искусственный эпос никогда не имели большого успеха. Со старым Гомером не мог соперничать ни один из эпических поэтов этого времени. Так, например, Паниассис Галикарнасский, дядя историка Геродота, в начале этого столетия воспел подвиги Геракла и основание ионийских колоний; Ксенофан из Колофона написал эпическое стихотворение об основании Элеи в Италии. Больших успехов достигла элегия, которою в эту эпоху занимались очень усердно, между прочим, и такие выдающиеся поэты, как Симонид, Эсхил, Еврипид; но и в этой области не ушли далеко сравнительно с предыдущим периодом, пока под конец века Антимах из Колофона в своей „Лиде“ не дал нового направления элегической поэзии. Но именно поэтому нам приходится отложить оценку этого предшественника александрийцев до соответствующего отдела II тома.

Еще бóльшие успехи, чем в области поэзии, были достигнуты в области пластического искусства. Лишь теперь,

под впечатлением великой освободительной войны, греческое искусство сбросило с себя последний остаток унаследованной от Востока робости; лишь теперь оно вполне овладело техникой дела.

Сравнительно меньше всего усовершенствований требовала архитектура. В этой области, соответственно религиозному настроению эпохи, все еще преобладала постройка храмов, доведенная до высокого совершенства уже в VI столетии. Теперь здания в своих отдельных частях сделались стройнее, и к двум существовавшим стилям, дорическому и ионическому, присоединился третий — коринфский, с капителью в виде аканфа, который, однако, в эту эпоху применялся лишь изредка, притом всегда в соединении с другими стилями. Вообще же и теперь дорический стиль является преобладающим в европейской, ионический — в азиатской Греции.

Развитие музыки и драмы поставило новые задачи архитектуре. Первое сооруженное для таких целей здание, о котором до нас дошли сведения,— так называемая Скиас („Тенистая галерея“) в Спарте; как показывает название, она была покрыта крышей и поэтому служила, без сомнения, для музыкальных представлений. Строителем ее называют Феодора из Самоса, современника Поликрата; таким образом, она была сооружена, вероятно, еще до Персидских войн. Таким же целям служил Одеон, построенный Периклом в Афинах у подошвы Акрополя; это здание, имевшее форму полукруга, с шатрообразной крышей, поддерживаемой многочисленными колоннами, было окончено около 446 г. Каменные театры строились в V веке лишь изредка. Даже в Афинах существовала только построенная при Писистратидах каменная Орхестра, но все еще не было каменной сцены, и — как, по крайней мере, утверждают компетентные люди — места для зрителей также делались еще из дерева. Напротив, Сиракузы уже в эпоху Пелопоннесской войны имели свой театр; впоследствии он считался самым красивым в Сицилии. В некоторых аттических демах, например во Форики и Пирее, уже в V веке существовали постоянные здания театров; такое здание имел и Коринф в 392 г. Но громадное

большинство греческих театров было построено только в IV веке и позже.

Если греческие государства издерживали в этот период громадные суммы на постройки, служившие потребностям культа — а к числу таких строений, по понятиям того времени, относились и театры, — то на украшение общественных зданий светского характера они тратили очень мало (выше, с.346). А частные дома также были в эту демократическую эпоху малы и невзрачны, самое большее в два этажа. Таким образом, здесь архитектуре не предъявлялось никаких требований, которые могли бы вызвать в ней художественное творчество. Новых городов в V столетии также было основано мало. При этом прокладывали улицы под прямыми углами, придерживаясь той правильной планировки, которая под влиянием Востока вошла в обыкновение еще с VII столетия; по такому плану милетский архитектор Гипподам построил Пирей и основанную в 445 г. в Италии колонию Фурри. Городские укрепления вроде тех, которые были возведены Фемистоклом и Периклом в Афинах и их гаванях, не имеют ничего общего с архитектурой как пластическим искусством.

Наибольшим оживлением отличалась в это время строительная деятельность в Афинах, где приходилось сызнова отстраивать весь город после разрушения его Ксерксом. Средства для того, чтобы осуществить эту задачу достойным образом, были доставлены персидской военной добычей, а позже данью союзников. Фемистокл должен был ограничиться, конечно, только самым необходимым — укреплением города и Пирея. Затем Кимон положил основание храму Афины-Девственницы (*Парфенону*) на Акрополе, построил храм Тесея, после того как останки этого героя были перевезены со Скироса в Афины, украсил рынок и основал Гимнасий в роще Академа. Но только постройки Перикла сделали Афины самым красивым городом Греции. На Акрополе была окончена архитекторами Иктином и Калликратом по расширенному плану постройка Парфенона, начатая Кимоном; это было величественное здание в дорическом стиле, самый совершенный в художественном отношении из всех греческих

храмов. Рядом с ним возвышался Эрехтейон, посвященный герою Эрехтею и богине-покровительнице города (*Афине Палладе*), в ионическом стиле, со священным оливковым деревом, которое некогда вызвала из земли сама богиня; постройка его была начата при Перикле и окончена только в последние годы Пелопоннесской войны. Вход к Акрополю был украшен колоннадой, Пропилеями, которую построил Мнесикл в 437—432 гг. У подошвы Акрополя, недалеко от священного судилища, Ареопага, на холме, который возвышался над городским рынком, был воздвигнут почти одновременно с Парфеноном тот величественный храм в дорическом стиле, который мы привыкли называть Тесеионом и который, вероятно, был посвящен Гефесту; это единственный из всех греческих храмов, почти вполне уцелевший до нашего времени. Таким образом, здесь возник ряд зданий, равных которым свет не видел ни раньше, ни впоследствии, и один из современников Перикла мог с полным правом сказать:

Да, ты чурбан, когда Афин не видел,
Осел, коль, видя их, не восторгался,
Когда ж охотно кинул их, — верблюд.

Остальные части Аттики также украсились новыми постройками. В Элевсине было воздвигнуто великолепное здание храма для мистерий. На мысе Суний, южной оконечности Аттического полуострова, построен был храм Афины, колонны которого еще в настоящее время видны на далеком расстоянии с моря. В Рамне рядом с древним святилищем, разрушенным персами, воздвигнут был новый храм Немесиды.

Конечно, здания храмов вне Аттики не могли сравниться с теми, которые построил Перикл, — уже по той причине, что там большею частью не было такого строительного материала, какой Афины имели в мраморных ломках Пентеликона. Но и за пределами Аттики было создано несколько замечательных памятников. Так, например, в Эгине в первой половине этого столетия воздвигнут был храм Афины, ко-

лонны которого сохранились отчасти доныне. Древний храм Геры вблизи Микен после пожара 423 г. был восстановлен Эвполомом в больших размерах и более роскошном виде. Около начала Пелопоннесской войны Иктин, строитель Парфенона, построил храм Аполлона Эпикурия на уединенной горе, вблизи Фигалии, на границе между Аркадией и Мессенией. Около 460 г. элейцы приступили к постройке знаменитого храма Зевса в Олимпии. В Сицилии победа, одержанная над карфагенянами при Гимере, дала толчок к оживлению строительной деятельности. Гиерон воздвиг вблизи Сиракуз великолепный храм Деметре и Коре; приблизительно к тому же времени относится постройка храма Афины в Ортигии, превращенного позже христианами в собор, и храма олимпийского Зевса за городом, в западной части гавани. В Акраганте, вдоль южного края города, был воздвигнут в это время величественный ряд храмов, который еще теперь свидетельствует о том, что Пиндар был прав, назвав Акрагант прекраснейшим из городов, созданных смертными. Эти постройки были начаты, вероятно, еще Фероном; работы по сооружению колоссального храма Зевса еще продолжались, когда наступила катастрофа 406 г., сломившая могущество Акраганта.

Но если архитектура лишь продолжала разрабатывать то, что было создано в этой области уже VI веком, то для пластики Персидские войны знаменуют собой начало совершенно новой эпохи. Вместо грубых, как бы обтесанных плотничьим топором статуй предшествовавшего периода с их стереотипной улыбкой и яркой разрисовкой, мы видим в произведениях этой эпохи жизнь, движение и выражение. Дерево употребляется теперь для статуй только еще в исключительных случаях и скоро совершенно вытесняется мрамором и металлом; к ним, соответственно более значительным средствам, которыми теперь располагали, присоединяются, как материал для статуй, золото и слоновая кость. Чтобы правильно оценить эти сделанные из золота и слоновой кости изваяния, в которых скульптура V века достигла наибольшего совершенства, не следует забывать, что они помещались в полутьме святилищ, где они должны были

производить такое же впечатление, как мозаики на золотом фоне в абсидах древнехристианских базилик.

Центром пластического творчества в эту эпоху являются области, расположенные при Сароническом заливе, Арголида и Аттика. В Аргосе работал литейщик Агелад, в Сикионе Канах, оба — мастера, пользовавшиеся известностью во всей Греции; из них Агелад работал, между прочим, для Тарента и Навпакта, а Канах отлил для Милета медную статую Аполлона — самое знаменитое из его произведений, которое было увезено Ксерксом в Экбатану и впоследствии возвращено Селевком. В Эгине также находилась цветущая школа скульпторов, самым выдающимся представителем которой был Онат (ок. 465 г.). Фронтонные группы с храма Афины в Эгине, которые составляют теперь лучшее украшение мюнхенской глиптотеки, могут дать нам представление о характере произведений этих мастеров. Странно, что Коринф, самый богатый из всех городов Арголиды, бывший издревле центром оживленной художественной промышленности, в эту эпоху не принимал почти никакого участия в развитии скульптуры; впрочем, не более велико было его участие и в литературном движении. Как видно, интересы богатого коринфского купечества всецело сосредоточивались на материальной стороне жизни.

Зато в Афинах деятельность в области пластики отличалась необыкновенным оживлением. Здесь в эпоху Персидских войн работали Критий и Несиот; они отлили бронзовую группу тираноубийц Гармония и Аристогитона, которая по требованию народа была выставлена на рынке, вместо увезенного Ксерксом произведения Антенора. С эпохой Кимона и отчасти еще Перикла совпадает деятельность Каламиса и Мирона, которые превзошли всех своих предшественников живостью и правдивостью изображений; созданные ими фигуры животных считались даже позднейшими скульпторами за образцовые произведения. Но как ни были велики успехи, достигнутые этими мастерами, они еще не умели придать человеческому телу действительной красоты и вложить в черты выражение духовной жизни.

Только афинянин Фидий довел пластику до совершен-

ства. Самое знаменитое его произведение — колоссальная статуя Зевса из золота и слоновой кости, изваянная им около 450 г. для храма в Олимпии. Эта статуя в продолжение всей древности считалась величайшим произведением греческой скульптуры, и созданный Фидием идеал отца богов остался закономерным в искусстве на все времена. „Ласковый и кроткий, — говорит один писатель императорского времени, который удостоился еще видеть Фидиева Зевса, — он восседает на своем троне, покровитель мирной и единомышленной Эллады, спокойный и величественный, с улыбкой на устах, податель жизни и всякого блага, отец и спаситель людей. И я думаю, что даже тот, кто испытал в жизни много горя и несчастий, чье сердце исполнено забот и глаза не знают сна, — даже тот перед этим образом забыл бы все тягости, которые выпадают на долю человека; такое произведение создал ты, Фидий, — средство, как говорит поэт:

„Скорбь и печаль удалять и память минувших страданий“

Не менее знаменита была колоссальная статуя Афины из золота и слоновой кости, изваянная Фидием несколько позже (438 г.) для афинского Парфенона. Вообще, он был художественным советником Перикла при всех постройках, которые возвел последний, и в особенности под его руководством производилось скульптурное украшение храмов. Если произведения самого Фидия бесследно погибли для нас, то уцелевшие скульптурные украшения Парфенона дают еще и нам ясное понятие об его искусстве. Сравнение их с фронтовыми фигурами храма Зевса в Олимпии, которые старше лишь на несколько лет, показывает нам, какими громадными успехами скульптура обязана Фидию.

Несколько моложе Фидия был Поликлит из Аргоса. Его копыеносец был, по преданию, самым совершенным изображением человеческой фигуры, какое до тех пор было создано искусством. Но особенно он прославился колоссальной статуей Геры из золота и слоновой кости, изваянной им для храма Геры близ Микен (около 400 г.); по мнению древних, это была достойная пара к Зевсу Фидия. Правда, по возвы-

шенности мысли Поликлит уступал Фидию, принадлежа к той эпохе, когда вера в древних богов уже стала колебаться; но он, по преданию, превзошел Фидия грацией и совершенством в разработке деталей. Между ними было приблизительно такое же отношение, как между скульптурными украшениями Парфенона и рельефами на балюстраде храма Nike; таким образом, Поликлит знаменует собой уже переход к искусству следующего периода.

Третье из образовательных искусств, живопись, в VI столетии еще не могло претендовать на название самостоятельного искусства, так как оно служило еще исключительно для декоративных или промышленных целей. Первым великим живописцем был Полигнот из Фасоса, который при Кимоне переселился в Афины и украсил здесь своими картинами стены „пестрого портика“ и храмы Тесея и Диоскуров. Но самым знаменитым его произведением были большие картины в книдской „леске“ в Дельфах, изображавшие разрушение Трои и подземное царство. Фигуры были здесь расположены длинными рядами в виде фриза и нарисованы немногими красками — еще без художественного единства, без перспективы и теней; под каждой из них находилась пояснительная надпись, как под изображениями на вазах. Но и при этих простых средствах художник сумел придать своим фигурам живое выражение; его картины дышали таким величием, что еще Аристотель советовал подрастающему юношеству смотреть на них.

Дальнейшим успехом, составившим эпоху в истории живописи, последняя была обязана самосцу Агафарху, который работал для аттической сцены, вероятно, уже в эпоху Эсхила. Он должен был стремиться к тому, чтобы вызвать в зрителях иллюзию реальности, и, таким образом, он сделался основателем перспективной живописи. Еще дальше в этом направлении пошел в эпоху Пелопоннесской войны Аполлодор из Афин, применивший к фигурной живописи тот же принцип, который был изобретен Агафархом для декоративных целей. Он первый овладел искусством распределять свет и тени, и он же впервые наряду со стенными картинами стал рисовать картины на досках. С этих пор живо-

пись занимает равноправное положение в ряду родственных ей искусств.

Аполлодора вскоре затмили своими произведениями его младшие современники Зевксис из Гераклеи и Паррасий из Эфеса, из которых последний был, может быть, величайшим из всех греческих живописцев. Но нам эти имена ничего не говорят, и мы не имеем никакой возможности составить себе живое представление о характере их творчества.

Развитие живописи неизбежно должно было сильно отразиться на художественной промышленности, и прежде всего на керамике. Под конец VI века в Афинах возникает новый стиль живописи на вазах. Вместо того чтобы оставлять свободными от черного лака, которым покрывали поверхность вазы, всю площадь, занятую изображениями, теперь оставляют непокрытыми лаком одни только фигуры, так что они своим красным цветом глины выделяются на черном фоне сосуда. Что касается самих изображений, то рядом с мифологическими сценами все чаще начинают встречаться сцены из повседневной жизни. Рисунок становится свободнее, в композиции замечается больше единства; с течением времени научились правильно изображать глаз и при постановке фигуры в профиль, а затем и рисовать фигуры *en face* или вполуоборот. Из множества мастеров, известных нам по надписям на вазах, наиболее выдающимися в первой половине V столетия были Евфроний и позднее Бригес. С этими превосходными произведениями аттической керамики остальные области Греции, в которых процветало гончарное искусство, не могли выдерживать конкуренции; в этом отношении Афинам в V столетии принадлежало исключительное господство на всемирном рынке.

Более высокое эстетическое чувство, с одной стороны, демократическое направление, с другой, произвели в это время такой же переворот в греческом одеянии, какой вследствие подобных же причин произошел около конца XVIII и начала XIX столетия. Выработался тот костюм, который мы привыкли считать типичным для греков; одежда сделалась проще, и в то же время, под влиянием развития сношений, изгладились те различия, которые до сих пор существовали в

этом отношении между разными частями греческого мира. Соответственно второстепенному положению, которое занимала теперь Иония сравнительно с метрополией, длинный ионический льняной хитон был вытеснен коротким шерстяным хитоном пелопоннесцев; только в женском costume льняная материя и теперь удержалась наряду с шерстяной. Узорные ткани предыдущего периода выходят из употребления; пурпурное платье одевают еще лишь изредка и в торжественных случаях; его носили спартанские гоплиты на войне и афинские стратеги как знак отличия. Вообще же мужчины, принадлежавшие к высшим слоям общества, носили в эту эпоху простые белые ткани, тогда как бедное население в видах бережливости довольствовалось темными материями. Женщины все еще одевались в цветные платья, но обыкновенно без пестрых узоров, а лишь с узкой каймой другого цвета. Точно так же вышли теперь из моды неподвижные складки одежды, столь характерные для архаического периода; плащ падал с плеч свободными складками, вполне облекая стан. Искусственные головные прически предыдущей эпохи исчезли, волосы на голове и бороду свободно отпускали и время от времени подстригали почти так, как это делается теперь. Только спартанцы отращивали волосы, и в остальной Греции было немало франтов, которые подражали им.

Рассмотрим теперь, каково было нравственное влияние поэзии и искусства на греческую нацию в этом периоде их расцвета. Мы не должны ожидать в этом отношении слишком многого, потому что задача искусства состоит не в том, чтобы поучать нас, а в удовлетворении нашей эстетической потребности. Оно скрашивает нашу жизнь, заставляет нас на время забыть житейские страдания и заботы, но и только.

Наиболее облагораживающее влияние должна была иметь трагедия — самое возвышенное произведение греков в области искусства, соединившее в себе музыку и поэзию в одно несравненное целое. Об этом много писали в последнее время. Даже Грот говорит: „Мы не можем сомневаться, что эти произведения действовали в высшей степени благотворно, и мы должны признать, что такая школа должна была

значительно улучшить и возвысить вкус, чувство и уровень умственного развития афинского народа“ Так ли это было в действительности? Уже по существу кажется сомнительным, чтобы представления, которые давались только один раз в год, могли оказывать такое продолжительное влияние на зрителей, если масса не сумела даже познакомиться хотя бы с наиболее известными мифами. А как ничтожно было минутное действие, видно из того, в какой грубой форме публика выражала свое порицание; она шумела и неистовствовала и швыряла на сцену что попало. Театр наполнялся очень смешанным обществом, и чернь оставалась чернью, несмотря на все прекрасные стихи, которые она слышала здесь. Иначе как стала бы публика терпеть невероятные пошлости комедии и совершенно неприличные сцены сатирической драмы? Если трагедия и оказывала некоторое благотворное влияние, то оно должно парализоваться действием подобных представлений. Дело в том, что публика приходила в театр только для того, чтобы приятно провести время, — совершенно так же, как наша современная публика; она находила там то, что искала, но и ничего более. Поэтому Платон, осуждавший Гомера, считал и трагедию безнравственной.

Таким образом, в V столетии нравственность стояла в Греции в общем на довольно низком уровне. Характерно, что Фукидид объясняет деятельность всех своих современников исключительно эгоистическими мотивами, — даже тех, которым он больше всего удивляется, как Брасид, Никий, Фриних. Чтобы государственный человек был способен сделать что-нибудь вследствие других побудительных причин, — из одной только любви к отечеству, — этого Фукидид, кажется, совершенно не может себе представить. В таком же духе учили некоторые софисты. Именно эта неспособность жертвовать личною выгодой общему благу и была одной из главных причин политического распада Греции и гибели демократической свободы.

Чувство гуманности также было еще крайне мало развито. Так, например, в первое время Пелопоннесской войны спартанцы убивали экипажи всех купеческих кораблей, шедших из Афин или союзных с ними государств, которые

попадали в их руки. Не лучше поступили и платейцы в 431 г. с фиванскими пленниками, за что лакедемоняне отомстили им четыре года спустя, когда им удалось завладеть Платеей. После взятия Скионы и Мелоса афиняне казнили всех взятых в плен граждан этих городов; а жители Митилены, как мы выше видели, лишь с большим трудом были спасены от такой же участи. Беззащитные жители Эгины были в начале войны изгнаны со своей родины, несмотря на то, что они ничем не обнаружили враждебного отношения к Афинам, — исключительно потому, что их заподозрили в сочувствии лакедемонянам; и когда последние предоставили им для поселения город Фирею, их и здесь настигла ненависть афинян: город был взят и все пленники убиты. Когда сиракузцы принудили аттическое осадное войско к сдаче, оба полководца, Никий и Демосфен, были казнены, а солдаты, которым при капитуляции обещана была жизнь, заключены в каменоломни, где, подверженные всевозможным переменам погоды и при скудном продовольствии, они большею частью погибли медленной смертью. В сравнении с такой хладнокровной жестокостью кажутся почти извинительными те нечеловеческие мучения, которым в пылу партийной борьбы керкирские демократы подвергли своих побежденных противников — олигархов.

Обыкновенно повторяют слова Фукидида, что Пелопоннесская война деморализовала греков; только приведенные факты из первых лет войны доказывают, я думаю, противное. Война только дала волю страстям, которые во время предшествовавших мирных лет не имели случая проявиться. Напротив, не может быть никакого сомнения — и ниже это будет доказано, — что греки IV столетия были гораздо человечнее, чем современники Перикла. Это было следствием того научного движения, которое из скромных зачатков созрело в тиши со времени Персидских войн и около середины V столетия начало проникать в общество, чтобы через несколько десятков лет занять первое место в духовной жизни нации; потому что всякий культурный прогресс сводится в конце концов к прогрессу знания.

ГЛАВА XVII

Основание науки

Зачатки науки перешли к грекам из древних культурных стран Востока. Все греческое искусство первоначально копировало восточные образцы, как греческий алфавит был заимствован из письменности сирийских семитов, так и греческая математика и астрономия обязаны своим возникновением влиянию Вавилона и Египта. Сами греки охотно признавали это. Как ни мало правдоподобно сказание о путешествиях Фалеса и Пифагора в Египет, — характерно уже то, что оно могло возникнуть; и еще в V столетии греки считали Египет источником всякой мудрости. Даже такой человек, как Демокрит, гордился тем, что египетские геометры не превзошли его знаниями. Наконец, неслучайно же развитие греческой науки началось именно в то время, когда Псамметих II открыл страну фараонов для греков.

Но восточным народам никогда не удалось освободиться от уз традиции. Наблюдения над течением звезд, производившиеся халдеями в продолжение целых веков, а может быть, и тысячелетий, оставались, однако, в их руках мертвым знанием, которым они сумели воспользоваться лишь для основания мнимой науки астрологии; точно так же и геометрия, арифметика, астрономия служили в Египте исключительно практическим целям. Только греки сделали первый шаг к тому, чтобы привлечь эти знания на службу философскому мышлению; они первые стали доискиваться причин эмпирически познаваемых явлений. Таким образом, слава основателей науки принадлежит грекам.

Исходным пунктом этого движения была Иония или, вернее, вообще города малоазиатского побережья. Эта часть греческого мира исстари шла впереди остальной Эллады по пути культурного развития; здесь была колыбель национальной поэзии и музыки, здесь находился до VI века торговый центр Греции, особенно для сношений с Египтом и семитическим Востоком. В Ионии же возникла и греческая наука; почти исключительно здесь и в ионийских колониях

процветала она до тех пор, пока в эпоху Перикла, одновременно с политическим и экономическим господством, к Афинам перешло и главенство в области духовной жизни.

Во главе научного движения стоит Фалес из Милета, младший современник Солона, принадлежавший вместе с последним к числу семи мудрецов. Это — первый грек, который занимался разрешением математических и астрономических проблем; он возбудил большое удивление, предсказав наступление солнечного затмения. Если в этой области Фалес, несомненно, был учеником египтян и вавилонян, то его учение о происхождении Вселенной основывается еще всецело на мифологии или, пожалуй, на философии орфиков; рационализируя древний миф об Океане и Тефиде, он признавал воду первоначальным элементом, из которого развился весь мир. Впрочем, он не оставил после себя никаких писанных сочинений, так что все известия об его учении нужно принимать с большой осторожностью.

Но истинным основателем греческой математики и астрономии был, кажется, самосец Пифагор, самый ученый человек своего времени, по словам Гераклита. Впрочем, и он преподавал свое учение только устно, — поэтому мы не в состоянии сказать, какие из научных заслуг, составляющих славу его школы, принадлежат ему самому. Во всяком случае несомненно, что на путь точного исследования направил эту школу сам учитель. Пифагорейцы создали теорию математических рядов и пропорций. Между прочим, они обратили внимание на то, что при последовательном сложении нечетных чисел получается ряд квадратных чисел ($1+3=4=2^2$; $1+3+5=9=3^2$ и т.д.); а изучение свойств квадратных чисел привело их затем к открытию известной теоремы, которая до сих пор носит имя Пифагора. В самом деле, сумма квадратов 3 и 4 равна квадрату 5-ти ($9+16=25$); поэтому, если начертить треугольник, стороны которого относятся друг к другу, как 3:4:5, то площадь квадрата, построенного на более длинной стороне, будет равняться сумме квадратов, построенных на обеих коротких сторонах. Далее, пифагорейцы заметили, что отношение длины звучащей струны к высоте тона есть

постоянная величина, и на этом основали математическую теорию музыки.

Не менее велики их заслуги и в области астрономии. Пифагорейцы первые стали учить, что Земля шарообразна, — открытие, важность которого для культурного развития едва ли может быть преувеличена. Но на этом они не остановились; чтобы получить возможность объяснять все небесные явления действием одной только силы, они решились приписать Земле самостоятельное движение. В середине мироздания находится, по их учению, центральный огонь; вокруг него движется 10 мировых тел в направлении с запада на восток: на периферии — представлявшееся им в виде твердой сферы небо с неподвижными звездами, затем пять известных в то время планет, далее Солнце, Луна, Земля и десятое тело — Противоземля. Земля совершает свой путь вокруг центрального огня в течение одного дня и одной ночи, притом так, что ее обитаемая сторона никогда не обращается к центральному огню; поэтому последний, равно как и Противоземля, всегда скрыты от наших глаз. Свет центрального огня отражается солнцем; кроме того, все мироздание, для которого Пифагор, по преданию, первый употребил название „космос“, заключено в шарообразную огненную оболочку, так называемый Олимп. При своем вращении вокруг центрального огня небесные тела производят музыкальные тоны, „гармонию сфер“, которая, однако, для нас не слышна, так как мы от рождения привыкли к ней.

В самой Ионии также усердно занимались математикой, причем, без сомнения, происходил взаимный обмен знаниями с пифагорейцами. В частности же, наши сведения о достигнутых здесь успехах очень скудны. Анаксагор из Клазомен (ок. 500—430 гг.) занимался, по преданию, вопросом о квадратуре круга; его метод был вскоре после него усовершенствован Антифоном из Афин и Брисоном из Гераклеи. О знаменитом математике Энопиде из Хиоса, жившем в эпоху Перикла, мы не знаем почти ничего, кроме имени. Гиппократ, тоже родом из Хиоса, написал, приблизительно в эпоху Пелопоннесской войны, первый математический учебник. Кроме того, он обогатил математику и самостоятельными

исследованиями. Он доказал, что площадь круга пропорциональна квадрату его диаметра, и хотя он еще не умел решить задачу удвоения куба, но он, по крайней мере, указал путь к ее решению.

Но в то время как математические теории пифагорейцев скоро сделались достоянием всей нации, их астрономическое учение не было принято почти никем из современников. Даже учение о шарообразности земли нашло вначале последователей только в западной части греческого мира, особенно в лице Парменида из Элеи. Современники Пифагора, милетские философы Анаксимандр и Анаксимен, напротив, считали Землю диском умеренной толщины, носящимся в центре мироздания; и это представление осталось до конца V века господствующим в Ионии и вообще на всем греческом востоке.

Остальные мировые тела древние ионийцы считали огненными массами паров. Более правильный взгляд высказал Анаксагор. Он учил, что Луна, подобно Земле, покрыта горами и долинами и населена живыми существами; что Солнце и звезды суть раскаленные каменные массы, тогда как месяц получает свой свет от Солнца. Эти представления скоро были усвоены наукою, хотя не только толпе, но и большинству образованных людей — даже такому человеку, как Сократ, — они казались совершенно нелепыми и смешными. Многие считали их даже безбожными, и главным образом за свое астрономическое учение Анаксагор принужден был покинуть Афины.

Успехами математики и астрономии вскоре воспользовались для урегулирования времячисления. Солнечные часы, изобретение вавилонян, и вместе с ними разделение дня на 12 часов, перешли в Грецию еще в VI столетии; по преданию, первые такие часы устроил в Спарте Анаксимен Милетский. Теперь ученые стали работать также над тем, чтобы привести гражданский лунный год в соответствие с солнечным. Математик Энопид из Хиоса определил продолжительность солнечного года в 365 дней 8 часов 57 минут и соответственно этому вычислил период в 59 солнечных лет, равный 730 лунным месяцам. Это вычисление, выгравиро-

ванное на медной доске, он выставил в Олимпии. Еще большею точностью отличался девятнадцатилетний цикл, предложенный афинянином Метонем в 432 г.; его солнечный год был только на полчаса длиннее истинного (точнее — на 30'9"). Однако этот усовершенствованный календарь в первое время нигде не был введен официально; по-прежнему придерживались, насколько это было возможно, несовершенного восьмилетнего цикла.

Точно так же практические потребности должны были вызвать развитие земледелия. О научной разработке этой отрасли знания, конечно, еще не могло быть речи, пока не была признана шаровидность нашей планеты; но ионийцы уже очень рано сделали попытку воспользоваться тем географическим материалом, который накапливался у них благодаря торговым сношениям. Уже Анаксимандр в VI столетии начертил на основании этих известий географическую карту, а Гекатей из Милета около эпохи Персидских войн составил описание Земли, — древнейшее географическое сочинение, о котором до нас дошли сведения; оно сделалось впоследствии образцом для всех подобных работ древности. По этим исследованиям, населенная Земля (*ойкумена*) представляла круглый остров, омываемый со всех сторон морем, Океаном; в середине лежала Греция, и центром являлись, вероятно, согласно древнему мифологическому представлению, Дельфы. Средиземное море делило этот остров на северную половину, Европу, и южную, которая, в свою очередь, Нилом и Аравийским заливом делилась на два квадранта, Ливию и Азию. Замкнутость Средиземного моря была установлена, и его береговая линия известна в главных чертах; по крайней мере знали, что Малая Азия, Греция и Италия суть полуострова. В частности же, очертания берегов представляли себе, конечно, очень неверно и имели лишь весьма скудные сведения о внутренних странах континентов.

С тех пор, как был открыт доступ в Египет и заселено северное побережье Черного моря, греки должны были знать, что в северных странах господствует более холодный, в южных — более теплый климат. Точно так же они заметили, что характер флоры и фауны обуславливается климатом,

а некоторые ученые стали даже объяснять влиянием климатических условий различие между отдельными народами в отношении строения тела и умственных способностей. Конечно, объяснить причины, обуславливающие климатические различия, география не была в состоянии, пока она отказывалась принять учение о шарообразности Земли; высказанное Анаксагором и, вслед за ним, Геродотом мнение, будто зимние бури заставляют солнце удаляться на юг, представляет лишь жалкую попытку разрешить эту задачу. Правильное объяснение дал около этого же времени, исходя из космогонической теории пифагорейцев, Парменид в своем учении о поясах; но он зашел слишком далеко, предположив, что тропический и оба северных пояса совершенно необитаемы. Наконец, всеобщее признание шарообразности Земли должно было произвести полный переворот в области географии, всеми последствиями которого наука воспользовалась, впрочем, только в александрийскую эпоху.

Из биологических наук обыкновенно прежде всего начинают заниматься, ввиду ее практической пользы, медициной; это наблюдается даже у тех народов, которые вообще еще лишены понятия о науке. В древности Египет считался классической страной медицины, и уже „Одиссея“ прославляет египетских врачей. Между тем дошедшие до нас остатки египетской медицинской литературы вовсе не оправдали этой славы; напротив, они показывают, что египетская медицина представляла не что иное, как соединение темного суеверия с грубым опытом. Таким образом, греческая медицина еще в большей степени, чем астрономия или математика, является самостоятельным созданием греческого ума.

Первобытный человек видит в болезни действие сверхъестественных сил и соответственно этому старается охранить себя от нее также при помощи сверхъестественных средств — жертвоприношений, молитв и заклинаний. Введение к „Илиаде“ описывает нам чуму в греческом лагере: никому не приходит в голову обратиться за советом к врачам, а спрашивают прорицателя и по его приказанию стараются умилостивить гнев Аполлона. Страждущие искали облегчения преимущественно в храмах бога-целителя Аскле-

пия; больные ложились спать в храме, и по снам, которые посылал им бог, жрецы определяли природу болезни и назначали лекарства. Исцеленные обыкновенно вешали в храме дощечки, на которых была начертана история их исцеления.

Хотя и здесь не обходилось без грубого суеверия, но своим первоначальным развитием греческая медицина все-таки была обязана именно храмам Асклепия, особенно знаменитым святилищам Коса и Книда, где масса постоянно стекавшихся туда больных представляла обильный материал для наблюдения болезней. Как и все искусства в древнейшую эпоху греческой истории, искусство врачевания было наследственным в известных фамилиях, которые обыкновенно вели свое происхождение от самого бога-целителя Асклепия. Таких потомков Асклепия мы находим уже в „Илиаде“ в лице Махаона и Подалирия, врачей греческого войска, осаждавшего Троию. Анатомические познания греков уже в эту эпоху были довольно значительны, хотя заклинание волшебными формулами все еще составляло необходимую часть терапии. В течение следующих веков собран был богатый запас медицинских сведений, который посредством устной передачи переходил от учителя к ученикам. Таким путем врачебное искусство достигло сравнительно высокой степени развития. Уже царь Дарий имел у себя на службе греческого врача, Дамокада из Кротона, который своим искусством затмил знаменитых египетских врачей. Гиппократ также отзывается с большим уважением о заслугах своих предшественников. Со времени Персидских войн начала развиваться и медицинская литература, которая скоро достигла значительных размеров.

Между медицинскими школами, возникшими в эту эпоху, одной из самых выдающихся была кротонская, к которой, кроме упомянутого уже Дамокада, принадлежал пифагореец Алкмеон во второй половине V столетия. Затем следует книдская школа, самым знаменитым представителем которой был Эврифон, один из древнейших медицинских писателей; из нее же вышел и Ктесий, бывший в конце V и начале IV столетия лейб-медиком персидского царя Артак-

серкса. Но все другие школы затмила косская с ее великим представителем Гиппократом (460—377 г.). Сочинения, вышедшие из этой школы, легли в основание всего дальнейшего развития медицинской науки, и почти исключительно им мы обязаны нашими сведениями о греческой медицине V и IV веков.

Вера в сверхъестественные причины болезней была теперь совершенно оставлена врачами. В собрании сочинений гиппократовой школы нигде не упоминается о заклинаниях и волшебных средствах, нигде не встречается даже намек на посещение храмов Асклепия. До чего это суеверие потеряло всякий кредит также в глазах образованных людей, доказывает Аристофан, который в своей комедии „Плутос“, выставляет инкубацию на осмеяние зрителей. С большим тактом высказывается об этих вопросах Гиппократ при описании господствующей у скифов болезни, которую последние приписывали действию богов. „И мне, — говорит великий врач, — эта болезнь кажется божественного происхождения, точно так же, как и все остальные болезни; ни одна не зависит от бога или от человека в большей степени, чем другая, а все одинаково божественного происхождения. Но каждая болезнь имеет свою естественную причину, и без естественной причины вообще ничего не случается“ Даже на душевные болезни смотрели с этой точки зрения.

Основу всякой медицинской науки составляет знание человеческого тела. Правда, религиозные предрассудки были еще слишком сильны, чтобы допустить вскрытие человеческих трупов иначе как в исключительных случаях; тем не менее ученики Гиппократа обладали довольно обширными познаниями по анатомии и физиологии, хотя мы, конечно, не должны прикладывать к ним мерку современной науки. Так, например, они совершенно не знали, что ощущение и движение обуславливаются деятельностью нервов; мозг представлялся им, и даже еще Аристотелю, холодной массой, предназначенной для того, чтобы притягивать к себе излишнюю слизь, вырабатываемую в теле. Впрочем, единичные физиологи держались уже правильного взгляда, особенно кротонский врач Алкмеон, которому поэтому принадлежит

выдающееся место в истории медицины. Представления о сосудистой системе также были, конечно, очень несовершенны, да и вообще кровообращение осталось неизвестным древности.

При таких условиях и ввиду отсутствия всяких оптических и химических пособий не могло быть и речи о научном исследовании патологических процессов. В книдской школе господствовала запутанная казуистика, которая признавала бесчисленное множество болезней и для каждой имела специфическое средство. Гиппократ, напротив, полагал, что лучший врач — сама природа. Поэтому заботы учеников Гиппократа были направлены главным образом на то, чтобы поддерживать процесс естественного исцеления; но где было нужно, они не останавливались и перед энергичным вмешательством. „Чего не излечивают лекарства, то излечивает железо; чего не излечивает железо, то излечивает огонь, а чего не излечивает и огонь, то вообще неизлечимо“, — гласит известное правило этой школы. Действительно, хирургия достигла уже сравнительно высокого совершенства; только ампутаций еще не решались делать, так как перевязка сосудов, важнейшее из кровоостанавливающих средств, еще не была известна.

Напротив, остальные биологические науки существовали лишь в первых зачатках. Это относится особенно к ботанике. На растения обращали внимание лишь постольку, поскольку они были пригодны для медицинских целей, причем сплошь и рядом руководились грубыми суевериями. Поэтому теории философов этой эпохи о природе растений обыкновенно лишены всякого фактического основания; только Демокрит, который написал особое сочинение „О происхождении семян, растений и плодов“, по-видимому, внимательно изучал строение растений, и его, по всей вероятности, следует признать основателем научной ботаники.

Несколько выше стояла зоология, так как вскрытие человеческих трупов заменялось анатомическим исследованием животных. Первое место и здесь принадлежит Демокриту; его сочинение „О строении животных“ — древнейшее зоологическое произведение, о котором мы знаем; впрочем,

по немногим дошедшим до нас отрывкам мы не в состоянии составить себе понятия об объеме знаний автора.

Такова была сумма положительных знаний в области естественных наук, которую накопили греки до конца V столетия. Хотя большая часть этих знаний и была добыта именно в V веке, однако уже до Персидских войн наука достигла слишком больших успехов, чтобы богословско-космогонические воззрения, которые изложены у Гесиода и Ферекида, могли еще удовлетворять мыслящих людей. Поэтому теперь принялись за разрешение старых проблем на основании вновь приобретенных знаний; и хотя, конечно, и тогда не умели ответить на те вопросы, которые до сих пор остаются неразрешенными, но было нечто великое уже в самой попытке решить их. Освобождение мысли от уз предрассудков, впервые совершившееся в эту эпоху, имело решающее значение для всей дальнейшей истории человечества; и мы сами лучшим, что в нас есть, обязаны тем людям, которые решились тогда провозгласить природу свободной от вмешательства богов.

Пионером этого движения был милетянин Анаксимандр. Он первый, еще в VI веке, написал философское сочинение, в котором старался доказать, что основным началом (*архэ*) мироздания является „бесконечное“ (*апейрон*), т.е. беспредельная, бессмертная и находящаяся в вечном движении материя. Из нее произошло все сущее, и именно в этом отщеплении отдельных вещей от „бесконечного“ Анаксимандр видел грех, который последние должны искупить возвращением к первоначальной материи. Таким образом, наш философ стоит еще наполовину на почве мифологического мировоззрения; но первый шаг к естественному объяснению происхождения вселенной был сделан, и поэтому сочинение Анаксимандра составляет эпоху в истории человеческой мысли.

Анаксимандр не определил свойств своей основной материи. Его младший современник и соотечественник Анаксимен считал этой материей воздух, который, по-видимому, беспредельно окружает землю и находится в вечном движении и которому все обязано жизнью. Из него произошло все

остальное путем сгущения и разжижения, причем сгущение достигается охлаждением, а разжижение — нагреванием. Это учение развил в начале V столетия Гераклит из Эфеса. „Все обменивается на огонь, — учил он, — и огонь на все, подобно тому как товар обменивается на деньги и деньги — на товар“, ибо хотя Вселенная по своим свойствам едина, но это единое находится в постоянном движении, его отдельные части вечно борются между собой, и из этой борьбы все происходит, она „мать всего сущего“

Но в борьбе за существование господствует не слепой случай; она подчиняется вечным законам, которые философ называет Логосом, Зевсом или Судьбою: они поддерживают гармоничный порядок в мире. Со временем все превратится в огонь, после чего этот круговорот может возобновиться.

Несколько раньше Ксенофан из Колофона выступил с пантеистическим мировоззрением: все — едино, и это единое есть божество. Будучи безначальным, этот мировой бог также неизменен и неподвижен. Позже ученик Ксенофана, Парменид из Элеи, освободил это учение от теологической оболочки и развил его в последовательную философскую систему.

Парменид исходит из того положения, что „мыслить и существовать — одно и то же“; то, что может быть мыслимо, должно существовать, и, наоборот, то, что не может быть предметом мышления, не может и существовать. Между тем небытие немислимо; следовательно, есть только сущее. Но в таком случае сущее должно быть вечно; ибо оно не может ни произойти из небытия, ни перейти в небытие, так как небытия ведь нет. Далее, может существовать лишь *одна* материя, которая непрерывной массой равномерно наполняет Вселенную, так как ничто не может нарушить непрерывность бытия. А отсюда следует, что не может существовать ни движения, ни изменения.

Наряду с этим миром действительно сущего есть еще и мир явлений, с их возникновением и исчезновением и с бесконечным разнообразием их субстанций. На основании своих метафизических посылок Парменид заключил, что этот мир не существует в действительности, и строго логически

провел границу между миром реальных вещей (*алетейя*) и миром явлений (*докса*). Но вопрос о том, каким образом получается иллюзия, Парменид, по его собственному признанию, решал только гипотетически. Он полагал, что наши чувства, не будучи в состоянии познавать чистое бытие, разлагают его на два основных начала, на свет и тьму, из сочетания которых он и производил явления.

Это учение об единстве бытия и невозможности движения скоро получило широкое распространение и нашло искусных защитников в лице Мелисса Самосского, — вероятно, того самого, который в качестве стратега своего родного города одержал победу над афинским флотом в 440 г. (выше, с.396), — и особенно Зенона из Элеи; последний обнаружил при этом необычайную диалектическую проницательность, имевшую громадное влияние на все дальнейшее развитие греческой философии. Но система, которая стояла в таком резком противоречии с явлениями чувственного мира и в то же время была совершенно неспособна объяснить происхождение этих явлений, конечно, не могла удовлетворить метафизической потребности нации. Дальнейшие попытки в этом направлении не заставили себя ждать.

Такую попытку сделал около середины V столетия Эмпедокл из Акраганта. Он также исходит из того положения, что материя вечна; не существует ни возникновения, ни исчезновения в абсолютном смысле слова. Но он отрицает единство бытия, которое признавал Парменид; напротив, по его учению, материя состоит из четырех качественно различных элементов — земли, воды, воздуха и огня, которые получают движение от двух сил, притяжения и отталкивания, или, как поэтически выражается сам философ, от любви и ненависти. Таким образом, Эмпедокл положил начало учению, которое в течение двух тысяч лет господствовало в естествознании и, видоизмененное сообразно с требованиями современной науки, лежит в основе еще и нашей химии. Эта гипотеза дала ему возможность объяснить явления, освободив его от необходимости смотреть на них, подобно Пармениду, как на обман чувств. В своем философском стихотворении он рассказывает нам, что вначале все элементы были

равномерно смешаны между собой, образуя огромный и неподвижный шар (*сферос*); совершенно таким же образом представлял себе Парменид чистое бытие. Впоследствии борьба между любовью и ненавистью внесла движение в эту массу; воздух и огонь заняли наружные части шара, а в середине его из обоих остальных элементов образовалась Земля. Со временем этот мир будет разрушен силою ненависти, и элементы возвратятся в *сферос*, из которого затем произойдет новый мир; и так будет продолжаться в вечном круговороте. Особенно замечательно учение Эмпедокла о происхождении органических веществ. Все живущее кажется ему одинаковым; растения также имеют душу, подобно животным и людям; он подробно выясняет биологические аналогии между растением и животным. Сначала образовались растения, затем выросли из земли отдельные части животных, соединившиеся между собой как попало. Из происшедших таким образом организмов созданные нецелесообразно погибли, а созданные целесообразно сохранились. Таким образом, Эмпедокл высказывает здесь мысль, которая в наше время дала новое направление естествознанию и имела сильное влияние также на философские науки.

Заслуги Эмпедокла громадны, — больше, чем заслуги какого бы то ни было из его предшественников; его система — первая разумная попытка механического объяснения природы. Но и он, конечно, не мог объяснить, откуда исходил первый толчок, приведший в движение *сферос*, точно так же, как не мог доказать, что бесконечное разнообразие субстанций, представляющееся нам в чувственном мире, действительно произошло из его четырех элементов.

Его современник Анаксагор из Клазомен старался устранить это затруднение, допуская бесконечное множество качественно различных элементов, „семян вещей“, из смешения и разделения которых все происходит. В самом деле, раз мы отрицаем качественное единство материи, мы с таким же правом можем допустить существование 10 тыс. элементов, как четырех элементов Эмпедокла. Но самая нежная и чистая из всех материй — ум (*нус*), в котором Анаксагор видит движущую и созидающую силу вселенной:

„Какими должны были быть вещи и какими они сделались, каковы они теперь и какими станут, — все это установил ум“ Так введен был в науку телеологический принцип — призрак, существующий до сих пор, хотя уже и не в науке. Но „ум“, по представлению Анаксагора, начертал только план и дал толчок созданию мира, самый же процесс его образования Анаксагор представлял себе совершенно механическим; таким образом, его система, положившая основание дуалистическому мировоззрению, сама в своих главных чертах стоит еще на почве материализма.

Несовершенство теории элементов побудило около начала Пелопоннесской войны Диогена из Аполлонии вернуться к старому ионийскому представлению об единстве основной материи; этой материей Диоген, согласно с учением Анаксимена, считал воздух. Но он представляет себе воздух мыслящим существом, подобным „уму“ Анаксагора. К аналогичным выводам пришел около этого же времени самый выдающийся ученик Анаксагора, Архелай из Милета. Это был, конечно, анахронизм, вполне заслуживавший тех насмешек, которыми Аристофан в „Облаках“ осыпает систему Диогена. Ложным путем, но в другом направлении пошла и пифагорейская школа. Занятия математикой привели пифагорейцев к убеждению в реальном значении числовых отношений; отсюда они заключили, что числа вообще составляют сущность вещей. На этом принципе была построена мистическая числовая система, в которой главную роль играла священная цифра 10; второе место по значению занимала цифра 4, как первое квадратное число и потому, что сумма четырех первых цифр равна десяти. Эта школа, оказавшая так много услуг науке, как бы хотела доказать справедливость слов Гераклита, что простое многоведение еще не просвещает ума.

Более серьезного противника нашла теория элементов в Демокрите из Абдеры (ок. 460—370). Он был, без сомнения, величайшим ученым своего времени, и вообще до Аристотеля никто не обладал таким всесторонним образованием. В своих далеких путешествиях, которые привели его и в Египет, где он прожил долгое время, он глубоко изучил мир и

людей. Его многочисленные сочинения обнимают почти все отрасли науки того времени: математику, астрономию, географию, физику, медицину, естественную историю, музыку, филологию, этику. В некоторых из этих областей знания он проложил новые пути — особенно своей системой объяснения природы. Подобно Диогену, он думал, что допущение многих различных по существу элементов ничего не объясняет в природе; поэтому он признавал только одну субстанцию, но рядом с ней допускал еще существование пустого пространства, без которого он, как и Парменид, считал невозможным движение и деление материи. Но это деление должно иметь границу, потому что, если бы оно совершалось беспредельно, то в конце концов не осталось бы ни одной величины, т.е. вообще ничего. Сообразно с этим, материя должна состоять из мельчайших неделимых частиц, которые именно поэтому и называются атомами. Эти атомы вечно неизменны, одинаковы по качеству, но разнообразны по форме, по величине, а следовательно, и по весу. В силу своей весомости они падают книзу в пустом пространстве, — большие — быстрее, меньшие — медленнее; вследствие этого они сталкиваются, сцепляются и скучиваются в тела. Основные свойства тел, как вес и твердость, зависят от количества атомов, из которых состоит тело, и от степени их густоты; второстепенные свойства, как вкус и цвет, обуславливаются впечатлением, которое атомы производят на наши чувства, смотря по своей величине и форме. И так как на свете нет ничего, кроме атомов и пустого пространства, то и мышление, и ощущение производятся движением мельчайших атомов, рассеянных в нашем теле.

Так была решена задача, которая до сих пор занимала греческую философию: объяснить природу механическим путем, допуская только одну первоначальную материю. Демокрит не прибегает ни к полумифическим силам любви и ненависти, которыми Эмпедокл принужден был объяснять движение своих элементов, ни к „уму“, этому *deus ex machina* (богу из машины) системы Анаксагора, ни к мыслящему воздуху Диогена; в то же время он далек и от скептицизма элеатской школы, которая все явления признала за обман

чувств. Чтобы объяснить происхождение космоса, ему было достаточно одной эмпирически познаваемой силы природы — тяготения, и если он еще не был в состоянии найти причину этой силы, то с гениальной проницательностью вполне оценил ее значение. Правда, это учение в своей грандиозной простоте явилось преждевременно; Демокрит сам рассказывает, что во время его пребывания в Афинах никто не обращал на него внимания. Сократовская школа, которая вскоре приобрела здесь безусловное господство, отвернулась от системы Демокрита с тем высокомерием, с каким идеализм во все времена относился к материализму. Платон во всех своих сочинениях ни разу не упоминает о Демокрите, хотя в некоторых местах тайно намекает на него. Только благодаря Эпикуру атомистическая теория получила широкое распространение, а оценила ее по достоинству лишь наука Нового времени.

Ибо как раз в то время, когда Демокрит выступил со своей системой, общество, пресытившись естественной философией, начало обращаться к разрешению других задач. Уже Гераклит сказал, что глаза и уши — плохие свидетели; точно так же и Эмпедокл советует своим читателям не доверять чувственному восприятию; наконец, элеаты, как мы видели, совершенно отрицали реальность ощущений. Но первую научную теорию познания дал только Протагор из Абдеры, современник Перикла. Он выставил знаменитое положение, что „человек есть мера всех вещей — существующих, что они существуют, — не существующих, что их нет“ Другими словами, всякое познание относительно, все, что мы воспринимаем, существует для нас, — все, чего мы не воспринимаем, для нас, людей, не существует. Но так как вещи представляются каждому из нас различно, то чувственное восприятие свидетельствует только о том, что вещи существуют, но не о том, каковы они. Как мы видели, эти взгляды усвоил и Демокрит, который также приписывал чувственным ощущениям лишь относительную правильность; но он стремился проникнуть далее, до объективного познания. Другие пошли противоположным путем. Так, ученик Эмпедокла, Горгий из Леонтин (около 470—370 гг.), написал со-

чинение, в котором, исходя из положений элеатской школы, пытался доказать, что объективной истины вообще нет, а если что-нибудь действительно существует, то оно в своей сущности для нас непостижимо, и даже если бы мы могли его познать, то не могли бы передать этого познания другому.

Наконец, последователь Гераклита, Кратил, живший во времена Сократа, пришел к тому выводу, что вообще нельзя произносить суждений, потому что в каждом суждении содержится показание о каком-нибудь бытии, а последнее в своей сущности непознаваемо. Такие односторонние теории должны были в конце концов привести к тому, что исследование природы было совершенно оставлено как неразрешимая задача. Это имело роковые последствия для греческой науки; если философия углубилась в бесплодное умозрение, от которого не в силах был освободиться даже Аристотель, то это объясняется прежде всего пренебрежением к изучению природы.

Зато мысль обратилась теперь к тщательному изучению духовной жизни человека. Исходной точкой здесь была риторика. Греки искони высоко ценили красивую речь; уже авторы „Илиады“ относятся к хорошему оратору почти с таким же уважением, как к храброму воину, а мастерски владеть и оружием, и речью — идеал героя, по Гомеру. Поэтому речи занимают в эпосе много места, и некоторые из них сделали бы честь даже оратору более позднего времени. По мере того, как в Греции вырабатывались свободные политические учреждения, ораторский талант приобретал все большее значение. В этом отношении характерно появление с VII или VI века таких имен, как Эвагор, Пифагор, Аристарх, Стесагор, которые у Гомера еще не встречаются. Возрастающий интерес к красноречию нашел выражение и в драматической поэзии, в которой лирические части все более уступают место диалогу.

Если до сих пор красноречие было делом врожденного таланта и художественного чутья, то теперь начали доискиваться, на чем основывается влияние речи и нет ли средств заменить или усилить природный талант систематическим

обучением. Вопрос был так естественен, что после Персидских войн этим предметом одновременно занялись в различных частях греческого мира. В Сицилии Эмпедокл положил основание теории красноречия, которую позже развил его ученик Горгий из Леонтин. Последний прославился особенно благодаря своим торжественным речам; этим он поставил ораторское искусство во мнении нации наряду с поэзией и создал себе средство для проведения в общество своих политических и философских идей. В то же время в Сиракузах Коракс и его ученик Тисий создали теорию судебного красноречия, к чему внешним поводом послужило учреждение народных судов после падения тирании (466 г.); они же издали первые учебники риторики. Развитию искусства доказательства, диалектики — этой важнейшей составной части греческой риторики — большие услуги оказал ученик Парменида, Зенон, которого Аристотель называет даже творцом диалектики. В том же направлении и еще с большим успехом действовал в это же время Протагор. Он первый выставил положение, что о каждом предмете можно высказать два опровергающих друг друга мнения и что каждое из них можно защищать с тем же субъективным правом. Новое искусство скоро получило широкое распространение во всей Греции, особенно в Афинах, с тех пор как Афинский народный суд сделался высшею судебной инстанцией всего союза. Здесь учили Горгий, Протагор, Тисий, а вскоре и сами Афины стали производить таких выдающихся ораторов, как Антифон из Рамна, Критий, Андокид из Кидафенея и историк Фукидид.

Занятия риторикой скоро должны были привести к научному изучению орудия речи, языка. И в этой области первый шаг был сделан великим Протагором. Он первый различил части речи, определил род существительных, времена и наклонения глаголов и создал существующую до сих пор грамматическую терминологию. Он старался решить и вопрос о том, присущ ли язык человеку от природы, или он есть плод культурного развития, и с большой проницательностью высказался за последнее объяснение. Отсюда он делал вывод, что филолог имеет право исправлять аномалии

языка; впрочем, в этом отношении он слишком увлекся новизною предмета и высказал много неосновательных положений. Преемником Протагора был Продик из Кеоса, оказавший большие услуги особенно синонимике. В конце столетия Гиппий из Элиды и Демокрит из Абдеры занимались физиологией звука. Эти филологические исследования привели, в свою очередь, к научному изучению литературы, прежде всего — к критике и толкованию Гомера, которым также, по-видимому, положил начало уже Протагор. Он нашел вскоре многочисленных последователей, между которыми наиболее замечательны Стегимброт из Фасоса, философ Демокрит и поэт Антимак из Колофона. Около того же времени Главк из Регия дал в своем сочинении „О древних поэтах и музыкантах“ первый опыт историко-литературного исследования.

Еще раньше стали изучать политическую историю. Первоначально греческая историография была не чем иным, как продолжением генеалогического эпоса, стихотворная форма которого, стеснявшая свободу рассказа, была отброшена в конце VI столетия. В то же время пробудилась критика. Не то чтобы люди уже умели отличать миф от истории; но именно потому, что миф казался исторической правдой, писатель считал себя вправе устранять противоречия и нелепости предания, другими словами — рационализировать мифы. Так, Гекатей (около 500 г.) во введении к своим „Генеалогиям“ говорит: „Так говорит Гекатей из Милета: Я описываю это так, как считаю верным. Ибо рассказы греков, по моему мнению, большею частью смешны“ Такие же мифографические сочинения составили в течение V века Дионисий из Милета, Акусилай из Аргоса, Ферекид из Лероса, Гелланик из Митилены. Мировые события эпохи Персидских войн заставили обратиться к изучению исторического времени. Первую попытку в этом роде сделал, насколько нам известно, Харон из Лампсака, который около 450 г. в форме хроники своего родного города изложил всемирную историю с точки зрения гражданина Лампсака, вроде того, как в византийское время Малала из Антиохии писал свою всемирную хронику. Но это сочинение скоро затмила история Персид-

ских войн, которую вскоре после 430 г. издал Геродот из Галикарнаса, — первое широко задуманное и пространное историческое сочинение, которое вообще было написано. По представлению Геродота, Персидские войны были только одним из эпизодов многовековой борьбы между Европой и Азией, первым поводом к которой послужило похищение Ио из Аргоса финикийскими мореплавателями. Однако он с большим тактом оставляет в стороне мифический период и начинает свой рассказ с покорения ионийских городов царями Лидии; кончается его „История“ битвою при Микале и последовавшим вскоре после нее завоеванием Сеста, которые положили конец владычеству варваров над азиатскими греками. По композиции его труд еще совершенно напоминает эпос: действующие лица высказывают свои взгляды в прямой речи, многочисленные эпизоды дают случай вплести в рассказ важнейшие события древней истории Греции и Востока и изобразить нравы варварских народов, обитавших на восточном берегу прибрежья Средиземного моря. Свой материал Геродот собирал чрезвычайно тщательно; он предпринимал далекие путешествия — в Египет, Финикию, к Черному морю, может быть, даже в Вавилон. Широко пользовался он и существующей литературой. Но его мировоззрение — в общем еще гомеровское: он все сводит к прямому вмешательству богов и поэтому не старается естественным образом объяснить взаимную связь событий.

Младший современник Геродота, Гелланик из Митилены, о генеалогическом сочинении которого мы уже говорили, задался целью изложить всю историю греческого народа от мифических времен. При этом он обращал особенное внимание на хронологию, и его обыкновенно считают основателем этой отрасли исторической науки. Критическое отношение к своим источникам было ему так же чуждо, как и Геродоту; миф и для него был историей. В основу своей хронологической системы он положил список жриц храма Геры близ Микен, который в своей подлинной части, может быть, действительно восходил до сравнительно отдаленного времени, но произвольно был продолжен до глубокой древности. На основании этого списка Гелланик и мог сообщить,

например, что сикелы переселились на названный их именем остров в третьем поколении перед Троянской войной, когда Алкиона была 26-й год жрицею. Чтобы вставить в эту хронологическую рамку отдельные события, особенно мифического времени, он пользовался счетом по поколениям, с которым он должен был хорошо освоиться при своих генеалогических изысканиях. Таким образом, он определил год возвращения Гераклидов — 1149, разрушения Трои — 1209, вступления на престол Кекропса — 1606, — даты, которые в общем остались руководящими для греческой хронологии позднейшего времени. Кроме этого главного труда, Гелланик написал еще несколько мелких сочинений, из которых заслуживает упоминания хроника Афин как первая попытка изложить историю этой умственной столицы Греции.

Вообще в это время усердно занимались историей. Так, лидянин Ксанф около этого времени написал историю своего народа на греческом языке; Гиппис из Регия изложил историю основания колоний в Италии и Сицилии, Антиох из Сиракуз в обширном сочинении обработал историю западных греков от древнейших времен до Пелопоннесской войны. Напротив, „Путевые записки“ Иона Хиосского, были, по-видимому, не специально историческим сочинением; исторические сведения служили здесь, как позже в „Диалогах“ Платона, только рамкой, причем автор довольно свободно обращался с исторической истиной и в особенности много места отводил анекдотам.

Но все эти труды по историографии затмило сочинение Фукидида о великой войне между Афинами и Пелопоннесским союзом. Происходя из знатной афинской семьи, близкий родственник Кимона, автор всю жизнь вращался среди руководящих кругов Афин и достиг высшей государственной должности — стратега. Его изгнание после потери Амфиполя (выше, с.434), — изгнание, из которого он вернулся только после окончания войны и падения демократии, дало ему возможность лично ознакомиться и с враждебными Афинам государствами Греции; оно же дало ему досуг для литературной работы. Родившийся около 460 г., он принадлежал уже к тому поколению, которое прошло через школу

риторического и философского просвещения, процветавшего в Афинах с середины этого века. Поэтому он свободен от всех предрассудков; в истории он видит результат деятельности этических и политических факторов, рядом с которыми не остается места для вмешательства сверхъестественных сил. Правда, и он не избег той ошибки, в какую неизбежно впадает всякий, описывающий события, в которых он сам принимал активное или пассивное участие; сквозь его повествование повсюду просвечивают его политические симпатии и антипатии, и его „История“ отнюдь не может быть названа объективным изображением описанного в ней периода. Но если это недостаток, то он сторицей искупается живостью представления, которое мы получаем, глядя на события глазами современника и человека партии. Он внимательно изучал и древнюю историю, и этим изысканиям мы обязаны тем мастерским очерком культурного развития Греции, который он предпослал своему труду в качестве введения и который не имеет себе равного во всей уцелевшей исторической литературе древности. При этом он пользовался такими методами исследования, руководился в критике такими принципами, которые еще и теперь или, вернее, теперь снова господствуют в нашей науке. Власть мифа отчасти тяготеет еще и над Фукидидом; в общем и он еще смотрит на содержание эпоса как на историю. Но многие ли из современных ученых имеют право упрекать его за это? Если понимать под историей нечто большее, чем простое изложение фактов или построение хронологической системы, то отцом истории надо признать Фукидида.

Между тем и этика была поставлена на научную почву. Из учения Протагора о сущности познания следовало, что добро и зло — лишь относительные понятия, и в ту эпоху, полную революционных стремлений, едва ли нужно было доказывать, что существующий закон или обычай не может служить критерием для этической оценки наших поступков. А природа знает только право сильного, — и многие действительно были готовы сделать логический вывод из этого положения и признать безграничный эгоизм естественным правом человека. Но Протагор нашел твердую исходную

точку для основания рациональной этики в потребности человеческого общества. Без уважения к правам других обжитие невозможно, и большая часть людей действительно обладает этими альтруистическими чувствами; тот же, у кого их нет, должен быть, как зачумленный, изгнан из государства. Правда, врожденную склонность следует развивать воспитанием, и как раз в обучении добродетели Протагор видел свое главное призвание. Мы не знаем подробностей его этической системы, но нет сомнения, что он и его последователи проповедовали более высокую мораль, чем та, которая в их время господствовала в Греции. Софист Гиппий из Элиды говорил, что от природы все люди — братья и что преграды между ними возвел только закон; исходя из этих идей, софисты первые признали рабство безнравственным учреждением. Этого одного было бы достаточно, чтобы поставить софистов в этическом отношении несравненно выше, чем Сократа и всю его школу. Протагор также первый сказал, что цель наказания — исправить преступника, а не отомстить за преступление. И Протагор не только учил нравственности, но и показывал пример ее; его нравственная чистота выступает даже в рассказах его противников.

Последователем Протагора как в теории познания, так и в этике был Демокрит¹. Он также исходит из того положения, что предметы и явления не бывают хороши или дурны сами по себе, а только по ощущению, которое они возбуждают в нас. Точно так же Демокрит признает естественное право сильного; но и сильный, по его мнению, не может обойтись без слабого; мы неизбежно должны жить вместе и помогать друг другу. Поэтому выше всего стоит государство, в котором воплощается общественный строй, „ибо в нем

¹ Демокрита упрекали в том, что он не связал научным образом своей этической системы со своей физикой: другие считали возможным доказать существование этой связи. Как то, так и другое неверно; что общего между естественно-научной системой, как атомистика, и этикой? Только одно неизбежно вытекало из естественно-научного мировоззрения Демокрита, — необходимость создать автономную этику, в которой божественная санкция не играла бы никакой роли. И именно потому, что он поставил себе эту задачу, он является — по крайней мере для нас, до которых не дошли этические сочинения Протагора, — основателем научной этики.

содержится все: все существует, пока существует государство, и все гибнет, когда оно разрушается“ Следовательно, высшей добродетелью является „справедливость“ (*δίκη*) т.е., по определению Демокрита, исполнение своих обязанностей по отношению к обществу. Кто грубо нарушает интересы общества, кто грабит или убивает, того надо убить, как дикое животное. Но кроме земной кары, преступника не ждет никакое другое наказание, потому что атомистическая теория исключает возможность вмешательства богов в человеческую жизнь, — и так как душевная деятельность связана с движением атомов в нашем теле, то она не может продолжаться после смерти, и вера в ужасы подземного царства есть не более как химера. В этом-то пункте Демокрит и, может быть, еще до него Протагор далеко оставили за собой всю предшествующую греческую мораль, выставив положение, что мы должны делать добро не из страха перед божественной или человеческой карой или перед приговором общественного мнения, а только потому, что оно — добро, из уважения к нам самим. И это касается наших отношений не только к людям, но и к животным; только тех, „которые причиняют или хотят причинить нам несправедливость“, разрешается убивать. А сознание, что мы исполнили наш долг, есть необходимое условие того ясного спокойствия духа, которое составляет высшее счастье человека. Правда, одного этого мало. Мы только в том случае достигаем душевного спокойствия, если ищем удовлетворения не в чувственных удовольствиях, если во всех своих поступках соблюдаем умеренность и ничего не предпринимаем, что превышает наши силы, преимущественно же — если развиваем свой дух, ибо „образование в счастии служит украшением, в несчастье — убежищем“; но высшее удовлетворение составляет созерцание благого и прекрасного и, главным образом, научное исследование. Лучше открыть одну новую истину, чем владеть престолом персидского царя. Ибо счастье и несчастье не зависят от внешних условий; наш добрый или злой демон живет в нашей собственной душе, и только для оправдания своего неразумия люди создали призрак Тихе.

Таким образом, наука дошла до отрицания самых основ

религии. Наряду с механическим пониманием мира для старых богов не оставалось места, и если философия пока еще делала уступку народной вере и не отрицала самого существования богов, то она все-таки лишила их всех главных свойств. Даже такой благочестивый человек, как Эмпедокл, отрицал бессмертие богов и полагал, что они, как и все остальные существа, произошли из смешения его четырех элементов. Анаксагор свел понятие божества к мировому уму (*нусу*), а Демокрит признавал богов блаженными демонами, которые, однако, не в состоянии влиять на ход мировых явлений. Протагор говорил в своем сочинении „Истина“: „Относительно богов я не могу сказать, существуют ли они, или нет; ибо многое препятствует познанию — как неясность предмета, так и краткость человеческой жизни“ От этого агностицизма оставался один шаг до атеизма. Диагор Мелосский, живший в начале Пелопоннесской войны, был, может быть, первым философом, который решился открыто отрицать существование богов и, следовательно, также необходимость культа. Вскоре после него Критий выступил с теорией, по которой религию придумали умные люди, чтобы посредством страха перед богами принудить толпу к нравственному образу жизни — воззрение, имевшее большой успех в древности. Более правильного взгляда держался софист Продик из Кеоса, который производил религию из культа природы; это учение было подготовлено уже орфической теософией, и при прозрачности греческих мифов оно само собой напрашивалось. Вообще вопрос о том, существуют ли боги, был в это время предметом оживленных споров среди образованных людей. Еврипид неоднократно поднимал этот вопрос в своих пьесах и тем заставлял многих задумываться над ним; еще сильнее должна была поколебать в народе древнюю веру комедия, — достаточно вспомнить „Птиц“ Аристофана. Тем не менее в конце V века масса народа, даже в Афинах, еще свято хранила веру и суеверия отцов; дело об осквернении герм и мистерий одинаково хорошо свидетельствует как об этом, так и о неверии, которое господствовало в широких кругах образованного общества.

Новые идеи медленно проникают в народную массу,

тем более в такое время, когда еще не существует читающей публики. Поэтому учения древнейших философов оставались первоначально достоянием небольшого кружка учеников, даже в том случае, если они не были доступны, как в пифагорейской секте, только посвященным. Здесь первый шаг по новому пути сделал Ксенофан, который облек свое учение и свою полемику против традиции в поэтическую форму и, таким образом, сделал их доступными для образованных людей всей нации. Шестьдесят лет странствовал он по греческим странам, от своей ионийской родины до Сиракуз и далекой Элеи в Италии, повсюду декламируя свои стихотворения, наполовину еще рапсод, наполовину уже софист. Его примеру последовали Парменид и Эмпедокл, последний, правда, в совершенно иной форме. Старое и новое мировоззрение соединились в нем, как бы не сливаясь; тот же человек, который, как философ, не отступал даже перед крайними выводами, был вместе с тем жрецом и прорицателем и, как таковой, пользовался славою святого. Мы можем не одобрять этого; но, по условиям того времени, слава чудотворца должна была способствовать распространению его философского учения.

Таким образом, философия мало-помалу становилась достоянием общества. Особенно два новых искусства — риторика и диалектика — все сильнее привлекали к себе молодежь из высших классов общества. В это демократическое время всякий, кто хотел достигнуть политического влияния, непременно должен был владеть словом; главным образом риторика была обязана своими успехами народным судам. Если даже в наших присяжных судах, которые состоят из лиц, принадлежащих к состоятельным и образованным классам, искусная защитительная речь адвоката нередко имеет сильное влияние на характер приговора, насколько более должно было подчиняться силе слова судилище, члены которого выбирались по жребию из всех граждан и в котором, следовательно, представители наименее образованных классов должны были составлять большинство? Притом, в Афинах и, вероятно, во всех других городах каждый обязан был лично защищать свое дело перед судом; вследствие этого

адвокат-крючоктвор часто одерживал верх над честным, но не владеющим речью противником. Естественно, что учителя красноречия не имели недостатка в учениках. Но великие люди, впервые основавшие теорию красноречия, очень хорошо понимали, что простая риторическая дрессировка не может сделать человека оратором. Они старались дать своим ученикам серьезное общее образование, изодрить их мысль обсуждением философских проблем, внушить им честные и стойкие убеждения разъяснением вопросов этики. Поэтому они называли себя учителями мудрости, софистами.

Деятельность учителя поглощает все силы человека; конечно, невозможно было требовать, чтобы софисты преподавали безвозмездно. Этого и не требовали; напротив, те тысячи людей, которые стремились в риторические школы, охотно вознаграждали своих учителей за их труды и потраченное время. В Греции искони привыкли оплачивать духовный труд. Уже рапсоды гомеровского времени пели за плату. Симонид и Пиндар получали за свои победные песни очень значительный гонорар, драматические поэты получали денежные награды, а врачи и тогда, как теперь, требовали крупного вознаграждения за свои услуги (выше, с.339). И общественное мнение, действительно, не видело ничего предосудительного в том, что софисты получали плату. Вначале, вследствие несоразмерности спроса с предложением, эта плата была довольно высока, но вскоре она начала понижаться; впрочем, даже знаменитейшие из софистов, как Горгий и позже Исократ, приобрели благодаря своей педагогической деятельности только очень скромное состояние (выше, с.339).

Поэты, художники и врачи издавна переходили в Греции с места на место; понятно, что люди, как Горгий и Протагор, не могли довольствоваться узкой сферой деятельности в пределах своей родины, Леонтин или Абдеры. Да и без того разрушение Леонтин сиракузянами в 423 г. заставило бы Горгия удалиться на чужбину. Самым удобным средством для распространения новых идей была национальные игры; в Олимпии и Дельфах Горгий произнес перед собравшимися со всех концов мира греками две знаменитейшие свои речи,

и с тех пор чтение ораторских произведений сделалось необходимой составной частью программы празднеств.

Но в Греции теперь впервые образовался и другой умственный центр, который мог гораздо сильнее влиять на духовное развитие нации, чем эти торжественные съезды, собиравшиеся через долгие промежутки времени и только на несколько дней. Со времени Персидских войн Афины сделались политическим, а вскоре и экономическим средоточием для государств, окружавших Эгейское море. Огромные финансовые средства, стекавшиеся сюда, обусловили расцвет искусств, не имевший себе равного; такой город должен был, конечно, привлекать к себе и научные силы всей Греции. Правда, при Перикле духовная жизнь нации сосредоточивалась в Афинах далеко еще не в такой степени, как в следующем столетии; из великих мыслителей этой эпохи, не родившихся в Афинах, только один — Анаксагор — жил здесь продолжительное время, да и тот в конце концов был изгнан. Но за исключением, может быть, одного только Эмпедокла, между выдающимися учеными этого периода не было ни одного, который, по крайней мере короткое время, не жил бы в Афинах и здесь в публичных речах, в частном преподавании, в прениях с единомышленниками и противниками не проявлял бы своего таланта. Таким образом, в Афинах господствовала оживленная умственная деятельность, какой до сих пор нельзя было встретить ни в одном пункте Эллады, да и не ее одной; и неслучайностью было то, что оба человека, которые в следующем веке наиболее сильно повлияли на мировоззрение нации, — Еврипид и Сократ — были афинянами.

Под влиянием всех этих условий начала мало-помалу возникать и находить себе читателей научная литература. После Эмпедокла уже ни одному греческому ученому не приходило в голову выражать свои мысли в поэтической форме, тем более что развитие риторики давало средство облекать и прозаические сочинения в художественную форму, которая составляла потребность для греков. Так, наряду с устным преподаванием явилась учебная книга; уже до конца V столетия существовали такие руководства по всем от-

раслям знания, начиная с математики и риторики и кончая кулинарным искусством. Речи, имевшие большой успех, также распространялись теперь в многочисленных списках. Всякий, кто претендовал на звание образованного человека, должен был теперь иметь свою библиотеку, как бы скромна она ни была; вследствие этого начало развиваться книгопродавческое дело, центром которого были, конечно, Афины.

Тем не менее даже среди руководящего класса новое мировоззрение было воспринято только меньшинством. Мы видели, как суеверен был Геродот. Никий, который во время Пелопоннесской войны долгое время стоял во главе Афин, был еще вполне убежден, что солнечные и лунные затмения предвещают бедствия, и это суеверие в значительной степени было виною уничтожения афинского флота при Сиракузах. С историей своего собственного государства были знакомы лишь немногие; еще ораторы IV века делают в этом отношении грубейшие ошибки; известно также, какие вопиющие анахронизмы позволяет себе Платон в своих диалогах. Между тем эти сочинения были предназначены для сливок общества. Понятно, на каком низком уровне должна была стоять образованность народной массы. Правда, умение читать и писать было широко распространено в Афинах, особенно среди свободного населения, хотя и здесь были исключения. Но мусическое и гимнастическое образование всецело ограничивалось высшими классами; простолудин так же мало знал своих поэтов, как немецкий народ — Шиллера и Гете. Демократический строй давал возможность всякому гражданину принимать участие в политической жизни; однако и это участие не могло иметь большого образовательного значения уже потому, что только небольшая часть населения правильно посещала Народное собрание или заседания гелизи. Именно умственная незрелость масс и погубила греческую демократию. В других частях европейской Греции, особенно в олигархиях, народное образование стояло еще, конечно, на более низкой ступени; например, в Спарте человек, умевший читать и писать, составлял исключение, а о высшем образовании нечего и говорить.

При таких условиях неудивительно, что общественное

мнение еще в течение всего V столетия относилось враждебно к просвещению. Невежество во все времена питает глубокое недоверие к знанию, и ортодоксия справедливо видит в науке своего опаснейшего врага. Как столько раз позже, верующие уже тогда начали требовать полицейских мер против зла науки, которого они не могли искоренить духовными средствами. Пример в этом отношении, к сожалению, подали Афины, чтобы сохранить за собой славу благочестивейшего из греческих городов. Едва возникшая наука уже выставила своих первых мучеников. „Безбожный“ Диагор из Мелоса был во время Пелопоннесской войны, по постановлению афинского народа, изгнан из Афин и за голову его назначена награда. Сочинения Протагора были сожжены в Афинах на площади рукою палача, и сам великий ученый принужден был бежать из города. Точно так же и Анаксагор был привлечен к суду по обвинению в безбожии; и хотя здесь, как мы видели, примешались и политические причины, но для большинства судей главное значение имела, очевидно, опасность, грозившая религии. Тридцать лет спустя Сократ был осужден и казнен за преступления против веры. Характерно, что Анаксагор, будучи вынужден, вследствие упомянутого процесса, покинуть Афины, встретил почетный прием в Лампсаке; население азиатской Греции, колыбели греческой образованности, было просвещеннее, чем жители самой Эллады.

Подобные процессы случались, конечно, редко. Но масса народа, и не одни только низшие классы, была твердо уверена, что каждый софист, т.е., по тогдашнему словоупотреблению, каждый преподаватель философии и риторики, — безнравственный человек, вроде того, как теперь верующий католик представляет себе масона, или многие из тех, которые называют себя образованными людьми, — материалиста. Отсюда само собой следовало, что преподавание таких людей развращает молодежь. Как ни несправедлив был этот упрек в большинстве случаев — достаточно вспомнить, что по такому обвинению был осужден и Сократ, — но в известном смысле он мог казаться до некоторой степени основательным, потому что молодых людей приводила в школы

софистов не столько жажда отвлеченного философского образования, сколько стремление усвоить себе ораторское искусство, необходимое для достижения практических целей, все равно как теперь опустели бы университеты, если бы они перестали служить средством для практической карьеры. А риторика сама по себе в нравственном отношении безразлична. Она — оружие, которое дает или, по крайней мере, тогда давало тому, кто им владеет, преимущество над всеми остальными людьми; за способ пользования этим оружием учитель так же мало ответственен, как купец, продающий револьвер, — за убийство, которое совершает им покупатель. Единственная задача оратора, как такового, — убедить слушателей в справедливости защищаемого им дела; справедливо ли дело по существу, — это для его цели совершенно безразлично. И чем более несправедливо дело, тем искуснее должна быть защита, чтобы дело все-таки могло восторжествовать. В этом смысле противники софистики были правы, утверждая, что цель нового искусства сводится к тому, чтобы слабое дело сделать сильным. Но несправедливо упрекали риторику в том, что она возвела в систему искусство, которым люди эмпирически пользовались с тех пор, как существует человеческое общество. Еще менее справедливо было делать ответственными за это отдельных учителей красноречия, тем более что софисты — именно потому, что они хорошо понимали опасность одностороннего изучения формальной риторики, — старались одновременно внушать своим ученикам твердые нравственные убеждения. Что в среде софистов проникали и нечистые элементы, что некоторые из тех, кто получил образование в их школах, делали безнравственное употребление из приобретенных знаний, — это было вполне естественно; но осуждать за это новое просвещение было так же неразумно, как если бы в наше время кто-нибудь захотел уничтожить железные дороги, потому что на них иногда случаются катастрофы.

И несмотря на все препятствия, просвещение победоносно совершало свой путь. Оно отвечало настойчивой потребности тогдашнего общества. Если еще воспитание сверстников Перикла ограничивалось гимнастикой и музыкой, то

с середины V столетия эти предметы преподавания — хотя им все еще придавали большое значение — отступили уже на задний план; теперь всякий, кто хотел считаться образованным человеком, должен был, по крайней мере отчасти, быть знаком с философией и риторикой. Правда, это увеличило прѣпасть, которая искони существовала между высшими и низшими слоями общества; но это разъединение всегда было необходимым условием всякого умственного прогресса и останется им до тех пор, пока этот самый прогресс не приведет нас к золотому веку социального равенства.

Во всемирной истории было мало переворотов, которые бы в такое короткое время так сильно изменили духовную физиономию народа. Софокл и Еврипид, Геродот и Фукидид — современники; разница в их возрастах не превышает немногих десятилетий; между тем — какая коренная противоположность в их мировоззрениях! Там, у Софокла и Геродота, — еще старая наивная вера и суеверие; здесь, у Еврипида и Фукидида, — уже непредубежденность научного мышления. И это было началом новой эпохи в истории человечества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАРЛ ЮЛИУС БЕЛОХ И ЕГО „ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ“. Вступительная статья Ю.И.Семенова	3
О третьем русском издании „Греческой истории“ К.Ю.Белоха	43
Предисловия переводчика	
К первому изданию	48
Ко второму изданию	49
ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДАНИЕ	51
Исторический интерес. — Генеалогическое предание. — Героическая песнь. — Народный эпос. — Доисторические памятники. — Восточные источники. — Усвоение письменности. — Древнейшие письменные памятники. — Предание до Персидских войн. — Геродот. — Пентеконтаэтия. — Фукидид. — Ксенофонт. — Полибий. — Отношение античных историков к источникам. — Всемирно-исторические повествования. — Диодор. — Плутарх. — История Александра. — Римская история. — История духовного развития. — Документы по политической истории. — Литература по государствоведению. — Изящная литература. — Научная литература. Страбон. — Хронографы. — Надписи. — Монеты. — Монументальные памятники. — Заключение	

ГЛАВА I

Заселение побережья Эгейского моря

76

Индогерманский пранарод. — Разделение племен. — Переселение эллинов. — Греческий полуостров. — Состояние страны во время заселения ее греками. — Соседи с севера. — Греческие пограничные племена. — Оседлость. — Родовой строй. — Родовое государство и его расширение. — Распространение племен. — Областные государства. — Племенные союзы и племенные имена. — Крупные политические союзы. — Завоевание островов. — Доэллинское население островов. — Народы Малой Азии. — Греки в западной части Малой Азии. — Предания о колонизации Малой Азии. — Памфилия и Кипр. — Исходные пункты колонизации. — Дорийцы, ионийцы, эолийцы. — Хронология. — Физические свойства греческого народа. — Нравственные и умственные качества. — Местные разновидности национального характера. — Распадение языка. — Пелопоннесская группа наречий. — Ионийские наречия. — Наречия Северной Греции. — Национальное единство

ГЛАВА II

Культура древнейшей Греции

99

Культура индогерманского пранарода.
Древнейшая эгейская культура. — Древнейшие сношения с Востоком. — Сухопутные сношения через Малую Азию. — Древнейшая морская торговля. — Финикийцы. — Финикийские колонии в Греции. — Микенская культура. — Происхождение микенской культуры.

— Отношение микенской культуры к гомеровской. — Железо. — Паноуплия. — Древность микенской культуры. — Носители микенской культуры. — Экономический и политический строй. — Скотоводство. — Земледелие. — Частная земельная собственность. — Ремесла. — Начатки разделения труда. — Пути сообщения. — Разделение сословий. — Царь. — Совет и Народное собрание. — Правосудие. — Отношения с соседними государствами

ГЛАВА III

Миф и религия

118

Образование мифов. — Анимизм. Одушевленная природа. — Мифы, объясняющие явления природы. — Видоизменение этих мифов. — Происхождение религии. — Религия индогерманцев. — Религия доэллинского населения. — Семитическое влияние. — Божества неба. — Водные божества. — Божества земли. — Божества отвлеченных понятий. — Низшие божества. — Пережитки культа животных. — Культ деревьев. — Священные камни и истуканы. — Культ мертвых. — Местные божества. — Герои. — Теогонические системы. — Сущность божества. — Отношение человека к божеству. — Культ. — Средоточия культа. — Жрецы. — Прорицатели

ГЛАВА IV

Народный эпос

145

Происхождение греческой поэзии. — Гимн в честь божества. — Героическая песнь. — „Илиада“ — Песнь о гневе

Ахилла. — Разработка ее. — Долония. — Патроклия. — Остатки другой „Илиады“ — „Одиссея“ — Эпический цикл. — Авторы эпоса. — Гомер. — Родина эпоса. — Время возникновения эпоса

ГЛАВА V

Традиционная история греческой древности 158

Содержание эпоса считается исторической истиной. — Последствия этого взгляда. — Переселение фессалийцев. — Переселение беотийцев. — Переселение элейцев. Переселение дорийцев. — Время возникновения сказаний о переселениях. — Внутренняя достоверность этих сказаний. — Обратные заключения от условий исторического времени. — Данайцы и ахейцы. — Абанты. — Кавконы. — Куреты. — Лапифы, флегийцы, минийцы. — Пеласги. — Лелеги. — Фракийцы. — Переселения с Востока. — Пелопс. — Данай, Кекропс. Кадм, Минос. — Система традиционной истории греческой древности

ГЛАВА VI

Распространение греков вдоль берегов

Средиземного моря

174

Открытия. — Продолжение колонизации. — Характер колонизации. — Отношения между колониями и метрополиями. — Сказания об основании колоний. — Запад. — Древнейшие сношения с Италией. — Ахейцы в Италии. — Эпизефирские Локры. — Халкидцы на Западе. — Коринфские колонии. — Мегарцы в Сицилии. — Тарент. — Родосцы в Сицилии. — Дальний Запад. — Финикийцы

на западном побережье Средиземного моря. — Финикийцы и греки. — Борьба этрусков против Кум. — Халкидцы во Фракии. — Фасос, Маронея, Абдера. — Греки на Геллеспонте. — Милетцы на Понте. — Мегарцы на берегах Пропонтиды и Понта. — Развитие понтийских колоний. — Греки на восточном побережье Средиземного моря. — Открытие доступа в Египет. — Кирена

ГЛАВА VII

Переворот в экономической жизни

191

Зачатки промышленности. — Центры промышленности. — Эмансипация от Востока в промышленном отношении. — Морская торговля. — Мореходство. — Устройство каналов. — Сухопутные сношения. — Торговые центры. — Развитие городов. — Установление мирных отношений на суше. — Борьба с морским разбоем. — Меры и вес. — Чеканка монет. — Малоазиатская чеканка из электрона. — Лидо-персидская денежная система. — Эгинская и эвбейская системы. — Продолжение господства натурального хозяйства. — Цены. — Сельское хозяйство. — Положение земледельческого класса. — Демиурги. — Рабство

ГЛАВА VIII

Умственное развитие от Гомера до Персидских войн

210

Экономический и духовный прогресс. — Алфавит. — Расширение алфавита. Родина греческого алфавита. — Распространение письменности. — Прогресс в

области нравственности. — Военное право. — Правовые воззрения. — Положение женщин. — Проституция и педерастия. — Этические учения. — Семь мудрецов. — Утилитаризм. — Религия. — Реакция против антропоморфизма. — Зачатки монотеизма. — Загробное возмездие. — Очищения. — Мистерии. — Учение орфиков. — Пифагор. — Гадание по внутренностям жертвенных животных. — Оракулы. — Сборники изречений оракулов. — Культ. — Празднества. — Календарь. — Времясчисление. — Героический эпос. — Пародический эпос. — Генеалогический эпос. — Теогонии. — Музыка. — Архилох. — Последователи Архилоха. — Элегия. — Любовная песнь. — Хоровая лирика. — Образовательное искусство: стиль диплона. — Финикийское влияние. — Эмансипация греческой живописи. — Металлические изделия. — Архитектура. — Каменные храмы. — Декоративная каменная скульптура. — Статуи

ГЛАВА IX

Начало объединительного движения

241

Национальное чувство. — Национальные святилища. — Дедьфийская Амфиктиония. — Имя „эллинов“ — Политические союзы. — Аттический синойкизм. — Беотийский союз. — Союзные государства Северной Греции. — Фессалия. — Священная война. — Упадок Фессалии. — Македония. — Арголида. — Спарта. — Лаконские периэки. — Мессенские войны. — Борьба Спарты с Аркадией. — Фейдон Аргосский. — Элида.

— Пелопоннесский союз. — Острова. — Лелантская война. — Колонии. — Лидийское царство. — Гигес. — Киммерийцы. — Покорение Малой Азии. — Эллинизация Лидии. — Персы в Малой Азии и Египте

ГЛАВА X

Господство аристократии и его падение 258

Аристократия и царская власть. — Уничтожение царской власти. — Господство знати. — Олигархия. — Оппозиция демоса. — Кодификация права. — Законодатели. — Уголовное право. — Обязательственное право. — Судопроизводство. — Политическая реформа. — Революция. — Тирания. — Влияние тирании на экономическое и духовное развитие. — Падение тирании. — Тирания в Малой Азии. — Поликрат. — Начало тирании в Сицилии. — Ортагориды в Сикионе. — Кипселиды в Коринфе. — Феаген Мегарский. — Килон. — Солон. — Социальные реформы. — Право и суд. — Преобразование государственного устройства. — Тирания в Афинах. — Писистрат. — Внутренняя политика. — Внешняя политика. — Свержение Писистратидов. — Реформа Клисфена. — Разрушение родового строя. — Совет пятисот. — Магистратура. — Остракизм. — Реакция. — Победа демократии. — Первые войны аттической демократии. — Заключение

ГЛАВА XI

Освободительные войны 288

Греки и варвары. — Персидское царство.

— Военные и финансовые силы. — Государственный строй. — Причины слабости. — Преобразование государства Дарием. — Скифский поход. — Результаты похода. — Ионийское восстание. — Спарта и Аргос. — Действия афинян против Персии. — Взятие Сард. — Лемнос и Имброс. — Успехи персидского оружия. — Гиэстией. — Битва при Ладе. — Усмирение восстания. — Поход Мардония. — Поход Датиса. — Партии в Афинах, Мильтиад. — Марафон. — Приготовления персов к войне. — Конец деятельности Мильтиада. — Падение Алкмеонидов. — Аристид. — Фемистокл. — Война с Эгиной. — Основание флота. — Политические смуты в Спарте. — Смерть Клеомена и победа эфората. — Поход Ксеркса. — Настроение в Греции. — Переход Фессалии на сторону персов. — Фермопилы. — Битва при Артемисии. — Взятие Афин. — Саламин. — Отступление Ксеркса. — Платей. — Взятие Фив. — Микале. — Флот под начальством Павсания. — Делосский морской союз. — Фракийские походы. — Скирос и Наксос. — Изгнание Павсания из Византии. — Битва при Эвримедонте. — Объединительное движение на Западе. — Гелон. — Ферон Акрагантский. — Поход Дориея. — Битва при Гимере. — Гиерон. — Заключение

ГЛАВА XII

Экономический расцвет после Персидских войн

Последствия побед над варварами. — Перемещение экономического центра. — Пирей. —

322

Крупная промышленность и невольническое хозяйство в собственно Греции. — Метеки. — Крупные городские центры. — Народонаселение. — Ввоз хлеба. — Сельское хозяйство. — Исчезновение натурального хозяйства. Монетное дело. — Средства обращения. — Повышение цен. — Такса процентов. — Прибыль от промышленных предприятий. — Морская торговля. — Земельная рента. — Заработная плата. — Вознаграждение за умственный труд. — Народное богатство. — Распределение богатства. — Богатство частных лиц. — Обстановка жизни: жилище. — Пища. — Одежда. — Государственное хозяйство. — Жалованье. — Издержки на культ. — Другие государственные расходы. Расходы на войско. — Расходы на флот. — Военные издержки. — Доход с государственных имуществ. — Прямые налоги. — Косвенные налоги. — Величина государственных доходов. — Безвозмездные почтовые должности. — Заключение

ГЛАВА XIII

Демократия

355

Демократическое направление. — Цели движения. — Распространение демократии в государствах Афинского союза. — Военные монархии в Сицилии. — Революция в Сицилии. — Демократическое движение в Италии. — Восстание италиков. — Дукетий. — Демократия в Кирене. — Демократическое движение на греческом полуострове. — Внутренний кризис в Спарте. — Восстание илотов. — Падение Фемистокла. — Бегство Фе-

мистокла в Азию. — Афины при Кимоне. — Восстание Фасоса. — Поход Кимона к Итоме. — Разрыв между Афинами и Спартою. — Завершение демократии в Аттике. — Перикл. — Введение жалованья судьям. — Социально-политические мероприятия. — Метеки и рабы. — Стремления к уничтожению рабства. — Эмансипация женщин. — Гетеры. — Аспасия. — Демократическая свобода. — Знать. — Оппозиция против знати

ГЛАВА XIV

Период политического равновесия

380

Афины и Спарта. — Переход Мегары в Афинский союз. — Война между Афинами и Пелопоннесом. — Битва при Таннагре. — Битва при Энофитах и ее последствия. — Сдача Эгины. — Длинные стены Афин. — Наступательные движения афинян против Пелопоннеса. — Капитуляция Итомы. — Восстание в Египте. — Истребление афинского флота в Египте. — Последствия катастрофы. — Перемирие со Спартою. — Поход против Кипра. — Мир с Персией. — Отложение Беотии. — Тридцатилетний мир. — Подчинение Эвбеи. — Фукидид из Алопеки. — Единовластие Перикла. — Централизация морского союза. — Клерухии. — Принудительная юрисдикция. — Организация финансовой системы союза. Настроение союзников. — Восстание Самоса. — Приобретения афинян во Фракии и на черноморских берегах. — Основание Фурий. — Распространение афинского влияния на За-

паде. — Война между Коринфом и Керкирою. — Потидея. — Вмешательство пелопоннесцев. — Мегарская псефисма. — Оппозиция против Перикла. — Процессы Анаксагора, Аспасии, Фидия. — Старания Перикла вызвать войну. — Ресурсы Афин. — Военный план Перикла. — Приготовления к войне в Пелопоннесе

ГЛАВА XV

Пелопоннесская война

411

Настроение в Греции. — Нападение на Платею. — Архидам в Аттике. — Морская демонстрация афинян. — Изгнание эгинян, вторжение в Мегариду. — Результаты первого года войны. — Второе нашествие пелопоннесцев в Аттику. — Чума в Афинах. — Падение Перикла. — Неудача мирных переговоров со Спартою. — Взятие Потидеи. — Битва при Спартоле. — Поход Ситалка в Македонию. — Возвращение Перикла к власти. — Смерть Перикла; его преемники. — Осада Платеи. — Война в Акарнании и битва при Навпакте. — Результаты первых трех лет войны. — Отложение Лесбоса. — Капитуляция Платеи. — Междоусобная война в Керкире. — Война в Сицилии. — Политический переворот в Спарте. — Победа военной партии в Афинах. — Демосфен в Этолии и Акарнании. — Сфактерия. — Господство Клеона. — Взятие Киферы. — Увеличение союзнической дани. — Выборы стратегов на 424—423 год. — Взятие Нисеи. — Брасид под Мегарою. — Фракийский поход Брасида. — Битва при Делии. — Конец сицилийской войны. —

Привлечение к суду стратегов в Афинах. — Перемирие между Афинами и Спартой. — Продолжение Фракийской войны. — Клеон во Фракии. — Последствия битвы при Амфиполе. — Положение дел в Пелопоннесе. — Никиев мир. — Исполнение условий договора. — Настроение в Пелопоннесе. — Союз между Афинами и Спартой. — Аргосский союз. — Победа военной партии в Спарте и Афинах. — Алкивиад. — Союз между Афинами и Аргосом. — Война между Спартой и Аргосом. — Битва при Мантине. — Последствия битвы. — Остракизм Гипербола. — Никий и Алкивиад. — Война в Халкидике. — Завоевание Мелоса

ГЛАВА XVI

Расцвет поэзии и искусства

447

Причины расцвета художественного творчества после Персидских войн. — Центры художественной деятельности. — Классическая музыка. — Дифирамб. — Сатирическая драма. — Трагедия. — Эсхил. — Софокл. — Еврипид. — Комедия. — Эпихарм. — Древняя аттическая комедия. — Драматические представления. — Искусственный эпос, элегия. — Пластическое искусство. — Архитектура. — Восстановление Афин. — Постройки вне Аттики. — Пластика. — Аргосские школы. — Аттическая школа. — Фидий. — Поликлит. — Живопись: Полигнот, Агафарх. — Аполлодор, Зевксис, Паррасий. — Керамика. — Одежда. — Этическое влияние искусства. — Уровень нравственности

Влияние Востока. — Иония — колыбель науки. — Фалес. — Пифагорейцы. — Математика в Ионии. — Астрономия. — Времясчисление. — Землеведение. — Медицина. — Анатомия и физиология. — Патология и терапия. — Ботаника. — Зоология. — Объяснение природы. — Анаксимандр. — Анаксимен. — Гераклит. — Ксенофан. — Парменид. — Эмпедокл. — Анаксагор. Диоген из Аполлонии. — Пифагорейская мистическая система чисел. Демокрит. — Теория познания. — Риторика. — Языковедение. — Начатки историографии. — Геродот. — Гелланик. — Другие историки. — Фукидид. — Научная этика: Протагор. — Этическая система Демокрита. — Знание и вера. — Популяризация науки. — Научное преподавание. — Гонорар. — Выступление ораторов на Олимпийских и Дельфийских празднествах. — Афины как умственный центр. — Научная литература. — Умственный уровень. — Просвещение и общественное мнение. — Победа просвещения

Научное издание

Юлиус Белох

ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В двух томах

Том 1

КОНЧАЯ СОФИСТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ И ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНОЙ

Подписано в печать 23.12.2008. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.- изд. л. 26,3. Тираж 500 экз. Заказ № 233. Цена договорная.

Издательство: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009.

ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.

Отпечатано в ППП „Типография „Наука“

121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-85209-214-4



9 785852 092144

